КОНФУЦИЙ

Владимир Малявин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор предлагает оригинальный взгляд на жизнь и творчество Конфуция, что позволяет значительно полнее раскрыть причину необычайной жизненности наследия великого учителя Китая. Биограф внимательно прослеживает весь творческий и жизненный путь Конфуция, уделяя особое внимание созданному им философскому, этическому и социальному учению, а также тому, как это учение непосредственно воплощалось в жизни и государственной службе самого философа. Учитывая популярный жанр данной биографии, следует отметить два обстоятельства: во-первых, в книге отражены все основные сведения о жизни и взглядах Конфуция и, во-вторых, решительно все высказываемые в ней суждения о китайской культуре в целом и учении Конфуция в частности могут быть подтверждены многочисленными свидетельствами китайских источников.

Основные разделы книги: «Пролог. Возвращение к Конфуцию», «Юность Учителя», «Путь к себе», «Чины и богатства», «На пороге бессмертия», «Эпилог. Учитель Кун: тысячи новых жизней». В приложении даны избранные изречения Конфуция в переводе В.В.Малявина.

Для всех, интересующихся религиозно-философским учением Конфуция и его жизнью.

- Владимир Малявин
  - Предисловие ко второму изданию
  - Пролог
  - Размышления после пролога
  - Глава первая
    - Наследник старого солдата
    - В центре Вселенной
    - Детство и отрочество
    - Когда Небо молчит
    - Обратив свои помыслы к учению…
  - Глава вторая
    - «Имея прочную опору…»
    - Первые ученики
    - Между родиной и чужбиной
    - «Освободившись от сомнений…»
    - Музыка человечности
    - Текст о Пути и Путь в тексте. Истолкование

        - начальной фразы «Бесед и суждений»
    - Глава третья
        - «Познав волю Небес…»
        - Снова на службе
        - Добродетель политики и политика добродетели
        - Новая отставка
        - Годы странствий
    - Глава четвертая
        - «Настроив свой слух…»
        - Последние наставления
        - Конфуций-ученый
        - Смерть единорога
    - Эпилог
    - Приложение
        - Из «бесед и суждений»[2]
        - Разные фрагменты
    - Основные даты жизни и деятельности Конфуция
    - Библиография
- notes
    - 1
    - 2

Владимир Малявин
Конфуций

Моей матери, Ирине Ивановне, урожденной Клёновой

Предисловие ко второму изданию

За девять лет, прошедших со времени выхода в свет первого издания этой книги, и в нашей стране, и за рубежом появилось несколько фундаментальных исследований жизни и учения Конфуция, а также новые переводы древних конфуцианских книг. Эти достижения современной науки не только не поколебали прежних убеждений автора, но, напротив, побудили его еще полнее и резче обозначить свою позицию, как бы ни отличалась она порой от мнений, преобладающих в ученом мире. Кроме того, в настоящем издании существенно изменен и дополнен состав иллюстраций. Для желающих получить непосредственное представление о том, чему и как учил Конфуций, в конце книги помещена подборка изречений первого учителя Китая.

Учитывая популярный жанр данной биографии Конфуция, автор считает своим долгом отметить два обстоятельства: во-первых, в книге отражены все основные сведения о жизни и взглядах Конфуция и, во-вторых, решительно все высказываемые в ней суждения о китайской культуре в целом и учении Конфуция в частности могут быть подтверждены многочисленными свидетельствами китайских источников. Об остальном пусть судит сам читатель.

Владимир Малявин

Пролог
Возвращение к Конфуцию

Чтобы встретиться с Конфуцием, не обязательно отправляться в мир книг и преданий – мир бесплотных идей и летучих фантазий. Еще и сегодня каждый может прийти к порогу дома Конфуция и прикоснуться к вещественным следам жизни древнего мудреца, постоять *в тени Учителя*…

В глубине Китая, среди раскинувшейся за Желтой Рекой бескрайней равнины, расчерченной квадратиками полей, изрезанной неширокими речками и ложбинами, а кое-где дыбящейся цепочками холмов, лежит городок Цюйфу. Въезжающий в него путник, устав от однообразного равнинного пейзажа, поначалу, наверное, не заметит в нем никаких особенностей, которые отличали бы его от сотен таких же провинциальных городов этой китайской глубинки. Те же пыльные улицы, обсаженные тополями и липами, те же приземистые дома за глухими глинобитными стенами, те же однообразные бетонные коробки новых зданий. Но неожиданно взору откроется резной белокаменный мостик, потом покажется украшенный ярким орнаментом дом в старинном стиле, потом еще один… А в центре города приезжего встречает целая крепостная стена, да такая могучая, такая настоящая до последней трещинки в потемневших от времени кирпичах, какую нынче редко увидишь в Китае. За стеной два знаменитых на весь мир исторических памятника: храм Конфуция и семейная усадьба Кунов – родовое гнездо потомков первого китайского мудреца. Цюйфу – родной город Конфуция. Здесь Конфуций прожил большую часть своей жизни, здесь он похоронен.

Идти в гости к Конфуцию – значит возвращаться к истокам трехтысячелетней традиции, погружаясь в толщу ее потаенного, символического тела, наросшего за много столетий на наследии Учителя Куна, как могучая сосна вырастает из крохотного семени.

Проходя анфиладой ворот и залов храма Конфуция, словно спускаешься к прочно вросшим в почву народного быта корням этого могучего древа культуры. В неувядающем саду традиционных символов есть свои указательные знаки. Их роль выполняют всевозможные надписи на воротах, стенах, каменных плитах и экранах. Эти надписи набрасывают на физический мир сложную паутину смысловых ассоциаций, как бы укореняя, заземляя жизнь культуры в жизни природы. Уже крепостные ворота Цюйфу хранят в себе благодарную память о Конфуции.

Вверху на них начертано большими красными иероглифами: «Стена в десять тысяч саженей». Надпись эта напоминает об остроумном высказывании близкого ученика Конфуция по имени Цзы-Гун. Однажды некий его знакомый заявил, что Цзы-Гун умом и образованностью превосходит даже своего учителя, и тогда Цзы-Гун заметил в ответ: «Мудрость человека можно уподобить стене. Моя стена не выше человеческого роста, и потому каждый без труда разглядит все, что за ней находится. А мой Учитель подобен стене высотой в несколько саженей. Кто не сможет отыскать в ней ворота, никогда не узнает, какие прекрасные храмы и дворцы скрыты за ней». Позднее почитатели Конфуция сочли, что сравнивать величайшего мудреца с оградой всего-навсего в несколько саженей не очень-то прилично, и за мудростью Конфуция закрепилось прозвище «стена в десять тысяч саженей». Ну а надпись на крепостных воротах Цюйфу (сделанная, кстати, рукой императора, жившего в XVIII веке) как нельзя более наглядно показывает, что такое «высокие стены» Конфуциевой премудрости и врата в нее.

За воротами крепости топчет камни древней мостовой гуляющая публика, плывут в воздухе острые ароматы местной кухни, и слышатся пронзительные крики торговцев. На Востоке в святом месте не обойтись без базара…

По традиции, к воротам храма ведет ажурный каменный мостик, переброшенный через искусственный ручей, а по обоим берегам ручья, словно в почетном карауле, выстроились рядами благородные кипарисы. За мостом высится каменная плита, выбитые на ней полустертые иероглифы приказывают: «Служилые люди и прочие на этом месте слезают с коней». Говорят, в старое время тут спешивались даже императоры: никто из живущих на земле не мог войти в дом Учителя иначе как на собственных ногах.

Но вот и ворота в храм – массивные, каменные, с лихо загнутыми вверх карнизами, украшенными фигурками драконов. Их построили, по китайским понятиям, совсем недавно – в 1730 году и присвоили несколько громоздкое название: «Врата мудреца, соответствовавшего времени». Перед нами, конечно, очередная дань литературной традиции. От нас требуется вспомнить суждение известного конфуцианца древности Мэн-цзы, который назвал Конфуция «мудрецом, соответствовавшим времени».

За воротами мудреца, знавшего, чего хочет время, стоят еще одни ворота – на сей раз деревянные, покрытые красным лаком и все той же зеленоватой черепицей. Их зовут «Вратами Расширения Пути» (намек на известную фразу Конфуция:

«Человек расширяет путь, а не путь человека»). Эти ворота немного старше первых. Они были воздвигнуты в середине XIV века и до XVIII столетия служили внешними воротами в храм. И, наконец, мы проходим через третьи по счету ворота – «Врата Великой Середины», построенные еще в XII веке. Вот так за многовековую историю китайского царства храм Конфуция оказался окружен как бы тройной оградой, и, минуя этот тройной заслон, мы словно наяву возвращаемся во времена седой древности – времена великих мудрецов и героев.

Миновав Тысячесаженную стену, отделяющую нетленный мир Конфуциевых идеалов от бренной повседневности, мы, к нашему удивлению, не увидим ни величественных храмов, ни роскошных дворцов, достойных памяти величайшего из мужей. Не следует считать это знаком неуважения к Конфуцию. Монументальной архитектуры в Китае, в сущности, и не было. Честолюбивые правители в этой стране должны были зарабатывать себе бессмертие не сооружением грандиозных зданий, а совершенствованием в добродетели. Что же касается дворцов и храмов Китая, то все они, не исключая и храма Конфуция, представляют собой ансамбль небольших по размеру, простых по конструкции деревянных строений с одним просторным залом, что делает их больше похожими на павильоны. В этих ансамблях, как в любой композиции, есть свои акценты, но нет одного-единственного неподвижного центра, одного принципа, подчиняющего себе все архитектурные элементы, одной «истинной» перспективы. Перед нами развертывается пространство, не подчиняющееся абстрактным геометрическим законам; пространство, неотъемлемым свойством которого становится время. Как и в любой композиции, однако, нам дается некий общий принцип устроения частей: основные постройки располагаются одна за другой вдоль центральной оси храмового комплекса в направлении с юга на север. Ведь на севере мерцает Полярная звезда – точка схода мирового круговорота и небесный знак державной власти. Чем дальше на север, тем величественнее здания, богаче их убранство: мы движемся к святыне мироздания. А путь наш есть на самом деле проекция на плоскость восхождения ввысь: шагая по земле, мы поднимаемся в небеса. Нужно быть китайцем с трехтысячелетним опытом цивилизации за плечами, чтобы находить удовольствие в этой безобидной игре глубины и поверхности. И притом игре невидной: все здания имеют одинаковую высоту, ведь небо повсюду одинаково удалено от Земли.

Сам храм – творение непростое, даже изысканное. Композиция есть композиция: тут и лейтмотив, и вариации, и

нюансы, и смена регистров, и разноголосица стилей. Хоровод зданий, беседок, галерей, курильниц, каменных стен рождает впечатление летучего и все же компактного, внутренне определенного единства, беспорядка, в котором угадывается действие свободного и освобождающего духа. Секрет китайской традиции, воплотившийся с особой полнотой в традиционной архитектуре Китая, есть не что иное, как неуклонное уклонение от всякого наличного порядка и даже беспорядка. К этому невозможно привыкнуть. Этому нужно учиться всю жизнь. Видно, не зря Конфуций был первым в Китае, кто объявил учение главным и постоянным делом всей жизни.

А посетитель храма? Ему предстоит пройти несколько почти одинаковых дворов, разделенных все такими же красочными воротами и храмами-павильонами, которые так похожи друг на друга, что сначала кажутся образчиком какого-то экзотического типового домостроения, но при ближайшем знакомстве обнаруживают множество индивидуальных особенностей. Эти здания увековечивают разные стороны жизни Конфуция и его духовные заветы. Вот зал, прославляющий книги и литературный труд. Когда-то он служил книгохранилищем. Необычно для храма, но неудивительно в Китае, где не кто иной, как Учитель Кун, поставил книжные занятия и книжное наследие на высоту подлинного культа. Вот павильон, воздвигнутый в честь матери Конфуция, но почему-то не его отца. Есть здания, посвященные жене и сыну Конфуция, его любимым ученикам. Но самое почетное место отведено Дворцу Великого Свершения, перестроенному в последний раз в середине XVIII столетия. Название дворца говорит само за себя, хотя, конечно, и тут не обошлось без книжного намека – на сей раз на высказывание о Конфуции уже упоминавшегося философа Мэнцзы. Эти здание и ворота, к нему ведущие, выделяются каменными колоннами, которые украшены изумительной красоты разьбой: вдоль колонн сверху донизу вьются змееподобные тела драконов, пронзающих облака. Мастерски переданная резчиками игра пластических форм, внутренняя упругость напрягшегося в полете тела создают впечатление необычайной глубины рельефа, проникновения во внутреннюю жизнь материала, и этот эффект объемности живой плоти еще более усиливается благодаря округлостям колонн и падающим сбоку лучам солнца. Этот поразительный союз рельефа и скульптуры – превосходная иллюстрация Конфуциева откровения как присутствия недостижимой глубины на поверхности, небесной бездны – в земной тверди, фантастики – в естестве материала.

Еще одна достопримечательность Дворца Великого

Свершения – собрание выгравированных на каменных плитах сцен из жизни Конфуция. Говорят, они были созданы еще в VII веке знаменитым художником У Даоцзы. Рисунки, числом более сотни, занимают весь огромный зал и нынче упрятаны под стекло. Выполнены они в живой и динамичной манере, но не слишком тщательно, местами как бы с небрежностью уверенного в себе мастера. Перед нами скетчи, вызванные к жизни по-детски наивным желанием созерцать воочию образы, преподанные в слове. Их назначение – не открывать и удивлять, а подтверждать известное, приуготовлять чаемое. Мы оказываемся в мире подлинно жизненной легенды, сказочной были. Картинки добросовестно воспроизводят действительные события, но рисовальщика не интересовала их историческая достоверность. Конфуций носит халаты и пишет кисточками, каких еще не было в его времена, отрастил длинную бороду, будучи двадцати лет от роду, и т. д. Жизнь величайшего Учителя обозначена здесь пунктиром анекдотических ситуаций, настолько хорошо всем известных, что они выписаны с какой-то непроизвольной фамильярностью. Не следует видеть в этом вызов или насмешку. Просто жизнь и мудрость Учителя десяти тысяч поколений слишком глубоко и органично вросли в быт его потомков и преемников. Не следовало бы забывать и о разнице в восприятии курьезов из жизни кумиров «своих» и «чужих». Если для нас анекдоты о мудрецах других народов служат чем-то вроде лупы, которая позволяет нам разглядеть неприметные, но важные черты малопонятной нам жизни, то для людей им близких те или иные штрихи характера, жизненные эпизоды, памятные жесты – почему бы и не курьезные? – составляют заданный самой жизнью образ Учителя. Ну а налет фамильярности не обязательно означает пренебрежение приличиями. Может быть, как раз наоборот: непоколебимое доверие к высокочтимому наставнику и преданность ему.

Конечно, невозможно представить себе храм Конфуция – как и любой другой китайский храм – без всякого рода вспомогательных сооружений: всех этих павильончиков и беседок, миниатюрных ворот и лестниц, дорожек, вымощенных плитами и гравием, курильниц и, конечно же, каменных стел с памятными надписями и по-восточному пышными славословиями. В храме родоначальника китайской книжности этих надписей особенно много, и они образуют целые галереи. Но есть в храме Конфуция и необычные достопримечательности. В самом центре двора перед Дворцом Великого Свершения стоит беседка, именуемая Абрикосовым алтарем. По древнему преданию, так называлось то место, где Конфуций любил наставлять своих учеников. Время

давно стерло следы этой импровизированной школы, существующая же беседка была воздвигнута по приказу императора в XI веке. Но кому из посетителей храма Конфуция еще и сегодня не хочется думать, что именно здесь, сидя в тени давно сгинувшего абрикосового дерева, первый мудрец Китая дал жизнь своей неувядаемой традиции?

В том же дворе, в двух десятках шагов от Абрикосового алтаря, еще одно диво: обнесенный каменной оградой могучий кипарис, о котором стоящая рядом каменная плита сообщает: «Кипарис, собственноручно посаженный Учителем Куном». Неужели правда? Неправда, но очень правдоподобно. По свидетельству древних, тут когда-то росли целых три кипариса, действительно посаженных самим Конфуцием. Два дерева погибли от молнии или пожара спустя пять-шесть веков после смерти Конфуция, третье, прожив сполна свой срок, засохло позднее. Тогда-то на его месте снова посадили кипарис, и в наши дни этот тысячелетний исполин все еще красуется живым памятником древнему мудрецу. Кто знает, может быть, он и вправду выглядит точь-в-точь как его предшественник, посаженный Учителем Куном?

Рисунки в зале Великого Свершения, Абрикосовый алтарь, кипарис Конфуция принадлежат к числу тех памятников, которые не просто «напоминают» о прошлом, но как бы непосредственно, физически воссоздают мир прошлого, даже если этот мир дается нам только в воображении. И люди охотно помогают воображению стать реальностью. Как только утихли антиконфуцианские страсти времен «культурной революции», храм Конфуция стал местом проведения красочных праздников. Теперь их устраивают каждый год в конце августа. В день праздника процессия местных жителей в костюмах чиновников и воинов императорской эпохи торжественно возносит жертвы величайшему Учителю Поднебесного мира. Под оглушительные удары гонгов и стоны цимбал актеры в причудливых костюмах, с пиками и дротиками в руках исполняют танцы, которые, кажется, мог видеть сам Конфуций. И в воздухе, напоенном благовониями и сладковатым ароматом кипарисовой хвои, звучат слова древних песнопений, которыми в старину сопровождались молебны Конфуцию:

О, сколь велик Учитель Кун!
Ведом ему вселенский путь вещей,
Он телом стал одним и с Небом, и с Землей.
О, Наставник десяти тысяч поколений!
Знамение благое: шелк на роге единорога,

Возвышенный напев исторгнут струны и металл,
Луна и солнце льют неугасимый свет,
Земля и небеса полны блаженной радости…

Но, пожалуй, самый волнующий уголок храма находится в его восточном приделе, в стороне от шумных представлений, гуляющей толпы и архитектурных достопримечательностей. Это дом самого Конфуция. Не настоящий, конечно, и все же, подобно прочим следам Конфуциевой жизни, быть может, совсем как тот, настоящий…

В доме величайшего мудреца Китая почти нет явных примет величия. Мы попадаем в небольшую усадьбу, немногим отличающуюся от обыкновенного крестьянского двора: широкие дворы в обрамлении глухих кирпичных стен, выстроившиеся друг другу в затылок три домика-павильона и скромные боковые пристройки. Большинство зданий здесь прежде служило семейными алтарями рода Кунов. Никаких излишеств, никаких претензий. Вся усадьба от ворот до задворок демонстрирует верность ее обитателей не одной личности, а всему исконно народному укладу жизни. Правда, есть и памятники, напоминающие непосредственно об Учителе Куне. У главных ворот возвышается высеченная из беловатого камня статуя Конфуция в половину человеческого роста. Это не слишком изящное изделие неизвестного мастера – скульптура в Китае ценилась невысоко, и Китай не знал имен своих скульпторов – поставили здесь в том же XVIII столетии, в те времена, когда для китайцев древность оказалась, как никогда, недосягаемой, а желание лицезреть ее, как никогда, сильным. Подобно рисункам во Дворце Великого Свершения, статуя не претендует на воссоздание исторического облика Конфуция. Нарочито вежливая поза Учителя, его бесстрастное лицо с широко открытыми слепыми глазами не выдают и тайн его души. Видно, не зря китайцы с древних времен верили, что мудрее всех тот, кто лучше других умеет прятать свою мудрость…

Во дворике, где, как говорят, стоял домик Конфуция, сохранился колодец, из которого Учитель брал воду. В целом храме этот колодец, кажется, единственный настоящий осколочек того незапамятного времени. Рядом с колодцем – кусок стены Конфуциева дома, в котором, по преданию, две тысячи лет тому назад были найдены списки канонических книг, вышедшие из рук самого Конфуция. Стена нынче тоже музейный экспонат: она поставлена специально для того, чтобы представлять «ту самую» стену. А нам пора бы перестать удивляться мирному соседству

вещей подлинных и мнимых в китайской культуре и учиться понимать, что в таком соседстве – ключ к познанию тайн китайской мудрости.

К восточной стене храма Конфуция примыкает семейная усадьба потомков Учителя – обширный, насчитывающий дюжину дворов и десятки зданий архитектурный комплекс и уникальный в своем роде памятник цивилизации, завещанной Конфуцием. Поразителен уже сам факт существования непрерывной семейной традиции Конфуция на протяжении двух с половиной тысяч лет. Еще и в наши дни в Китае здравствуют прямые потомки – теперь уже в семьдесят восьмом поколении! – древнего мудреца. Сохранилась полная родословная этого досточтимого семейства. Сама же усадьба Кунов, помимо прочего, напоминает о том, что традиция Конфуция была прежде всего традицией семейной, что правда Конфуция каким-то образом неотделима от семейного быта и освящаемой этим бытом естественной преемственности поколений, что бессмертие Конфуция заключено в нескончаемости самого рода. И это тоже очень по-китайски: для китайцев истина не рождается в споре, она рождается в семье. Ибо что может быть более истинного, чем продление рода, возобновление себя в потомках?

Дом за домом, зал за залом усадьба Кунов раскрывает посетителю свои сокровища: ритуальное оружие и музыкальные инструменты, редкая мебель и одежда, картины и антиквариат и многое, многое другое. Есть даже прекрасный сад в классическом стиле: затейливая паутина петляющих тропинок и ручейков, укромные беседки, цветники и горки из камней. Ни один посетитель усадьбы не пройдет мимо уникальной семейной коллекции портретов Конфуция и его потомков. Разумеется, и здесь все портреты не столь уж древние: самые ранние относятся к XIV веку. Есть в усадьбе и богатое собрание ритуальных бронзовых сосудов, отливавшихся в Китае еще в начале I тысячелетия до н. э. Эти предметы вполне могли бы быть весточкой от самого Конфуция. Но и они появились здесь довольно поздно: их подарил все в том же XVIII веке один император, который, посещая дом Кунов, заметил, к своему огорчению, что бронзовые сосуды, стоявшие на семейном алтаре столь славного рода, были довольно-таки позднего происхождения и рука Учителя Куна не могла касаться их.

Реликвиии храма и усадьбы Кунов – не единственное напоминание о жизни Конфуция в Цюйфу. В окрестностях города местные крестьяне охотно покажут вам невысокую, с отлогими склонами гору, скорее даже холм, где родился мудрец Кун. На горе стоит храм, построенный еще восемь веков тому назад, но

главная тамошняя достопримечательность – это пещера, где, по преданию, Конфуций появился на свет. Когда-то там для пущей наглядности тоже стояла его статуя. Теперь статуи нет, пещера же сохранилась в целости и привлекает множество посетителей.

До сих пор мы знакомились лишь со следами жизни Учителя десяти тысяч поколений. Но мудрец завещает людям не только свою жизнь, но и свою смерть, и она-то часто оказывается даже важнее его жизни.

У восточной стены усадьбы Кунов начинается дорога к могиле Конфуция. Необычайно широкая и ровная, с вымощенным камнем центральным трактом для царственных и сановных гостей, она ведет прямо на север через северные ворота крепостной стены Цюйфу, городские посады и поля примыкающих к городу деревень. Очень скоро она упирается в высокие ворота, охраняемые парой свирепого вида каменных львов. Это вход в так называемый Лес Кунов – семейное кладбище потомков Конфуция. Здесь же могила Учителя Куна.

Лес Кунов – это действительно целый лес разных благородных деревьев и притом, наверное, единственный крупный оазис растительности в этом давно уже безлесном краю. Здесь жители окрестной равнины имеют редкую возможность слушать шорох ветра в соснах и шум дождя в густой листве, любоваться зеленой травой и осенним листопадом. По странной игре судьбы, последний приют человека, завещавшего превыше всего ценить культуру, стал для его потомков одним из немногих мест, где человек имеет возможность прикоснуться к жизни природы…

Дорога к могиле Конфуция представляет собой гениальный пространственный образ приближения к святыне. Мы входим в сокровенный, внутренний и, следовательно, интимно-священный мир (этот лес-кладбище опоясан глухой стеной), который выявляется, вырастает непосредственно из движения в пространстве. Тонкий вкус китайцев исключил присутствие в мемориале Конфуция даже малейшего налета помпезности, немедленно умертвившей бы саму идею смыкания культуры и природы, должного и естественного. Вместо вульгарной декларативности геометрически-строгих форм и монументальных пропорций нам открывается умелое сочетание порядка и отклонения от нормы, единства и разнообразия, оповещения и умолчания.

Миновав Смотровую башню, с вершины которой открывается вид почти на весь Кунский лес, мы идем по аллее, сбегающей к небольшому ручью. Среди деревьев повсюду виднеются холмики и надгробные плиты над могилами потомков Учителя Куна. Но,

чтобы попасть к могиле Первого Предка, нужно свернуть на скромную боковую дорожку и перейти через ручей по узкому мостику. За ручьем новая аллея ведет вверх к храму, где раньше совершали жертвоприношения Конфуцию. Аллея обсажена могучими кипарисами, по обе стороны выстроились каменные изваяния фантастических зверей и прислуживающих чиновников. Перед павильоном стоит огромный чан для возжигания благовоний.

За этим памятным залом – огражденный кирпичной стеной двор, в глубине которого и находится могила Конфуция. Ее нельзя увидеть издалека, и к ней нельзя пройти напрямик. Посетители заходят в калитку с восточной стороны ограды, идут по обычной земляной дорожке на север мимо могилы внука Конфуция и, лишь пройдя несколько десятков метров и завернув налево, оказываются перед главным погребением в Лесу Кунов. Их взору открывается округлый холм в форме «конского крупа», приличествующий, как считали в Китае, захоронению особо заслуженного человека.

Перед холмом высится каменная плита с надписью, выведенной древней вязью: «Могила явившего Великое Свершение Высочайшего мудреца, Властителя Просвещения». Надпись появилась в XV веке, а стоит плита на каменном постаменте, заложенном еще два тысячелетия тому назад и не раз перестраивавшемся: время накладывает свою печать даже на священные могилы. Единственный знак почтения живых к тому, кто здесь погребен, – каменная курильница в виде тыквы-горлянки, которую китайцы издревле считали божественным плодом, символом мироздания. Поодаль виднеется еще один интересный памятник конфуцианской театрализации истории: домик, в котором уже известный нам ученик Конфуция Цзы-Гун, единственный среди своих товарищей по школе, прожил целых шесть лет (вдвое больше, чем требовал обычай), соблюдая траур по любимому Учителю.

Стоя перед могилой великого учителя Китая, невольно задумываешься о том, какой путь ты проделал, чтобы прийти сюда. Этот путь не назовешь ни легкой прогулкой, ни утомительным путешествием, которое могло бы служить подобием ритуального испытания. В нем ощутима скорее имитация паломничества с его блужданиями, опасными переправами и грозными знамениями, но тяготы опасного странствия здесь лишь символически намечены, только угадываются в воображении. Этот путь наполняет нас ожиданием встречи с возвышенным, но возвышенное всякий раз является в неожиданно скромном, как бы приниженном образе. Так

откровения священного Леса поддерживают в нас веру в высокие истины культуры, но и освобождают от привязанности к прописным истинам. Снова и снова возвращают они к вечному и, следовательно, вечно новому, вечно обновляемому и вечно чистому в человеческой душе. Не об этой ли свежей жизни, прорастающей из глубин незапамятно-древнего быта, говорится в стихах средневекового поэта Ли Дуньяна, описавшего свои чувства в Лесу Кунов в следующих словах:

Древним могилам памятны тысячи лет.
В чаще глубокой холоден майский день.
Дождик весенний падает с хмурых небес,
Одежд не меняю – страшусь нарушать ритуал.
В башне высокой путник отыщет приют,
В гнездах над крышей птицам неведом покой.
В роще безлюдной не видно старинных могил,
Коли сбился с пути – можно тропу поискать!

В конце концов, встреча с Конфуцием – это только обещание нового, еще непрощенного пути.

Размышления после пролога

На своей родине Конфуций все еще напоминает о себе почти физически осязаемой памятью сердца. Он все еще живет в бесчисленных гранях беспредельного кристалла жизни – в едва уловимом аромате хвои, в узоре света и тени на дорожках и стенах домов, в безмолвии морщинистого камня, в сумраке прохладных залов и в полустертых письменах на забытых плитах… Как распутать, расколдовать эти следы непостижимо-древней и все же такой близкой и внятной жизни? Слишком они разрозненны и запутанны. Слишком легко уводят к произвольным домыслам. Слишком они непритязательны. Слишком порой откровенны.

Не будем бояться постигшего нас недоумения. Не будем спешить расстаться с ним. В конце концов, каждый человек достоин того, чтобы быть тайной, а человек, составивший стиль целой цивилизации, тем более. Прежде спросим себя: случайно ли до наших дней сохранились и дом, и могила Конфуция, и Конфуциев род? Один этот факт поведает нам о Конфуции больше, чем все литературные известия. Мы должны верить в глубинную достоверность вещественной памяти Конфуциевой жизни, невзирая на то, что в ней запечатлелись мнения, вкусы и мечты конкретных людей, а людям, как известно, свойственно ошибаться и, уж во всяком случае, смотреть на мир через очки своего времени. Мы должны верить, что образ Конфуция, отложившийся в этой памяти, вызревал в истории с такой же неизбежностью, с какой семя прорастает в дерево и нить шелкопряда свивается в кокон. В сущности, хотим мы того или нет, иного образа Конфуция мы и не имеем в истории. Материальные следы Конфуциевой жизни, взятые порознь, могут лгать о человеке по имени Конфуций, но в совокупности, воспринятые как вехи бесконечно тянущейся нити времен, приметы чего-то извечно возобновляемого, извечно возвращающегося в потоке перемен, они являют точный образ того, кто преемствен в изменениях и, следовательно, по праву может быть назван Учителем десяти тысяч поколений.

Обратившись к словам и делам основоположника китайской традиции, мы, возможно, не без удивления обнаружим, что он завещал потомкам лишь ряд простых жизненных правил, до предела лаконично и скромно высказанных, чуждых всякой риторики, самовлюбленного резонерства, умственной косности. И тот, кто будет искать в учении Конфуция только те или иные идеи, некую доктрину или абстрактную «систему взглядов»,

существующую отдельно от стихийного, всегда конкретного, бесконечно изменчивого течения жизни, упустит из виду, быть может, самое важное в нем. На то Конфуций и мудрец, на то он и великий Учитель, чтобы слить неразделимо свое учение и свою жизнь, чтобы мерой величия и мудрости человека считать не ум его, не талант и даже не заслуги, а вечно живое в жизни, способность снова и снова возвращаться в мир с каждым мгновением сознательного и одухотворенного существования – единственного, делающего человека человеком. Заветы Конфуция ведут нас к той волнующей и все же как нельзя более простой и естественной правде человеческой жизни, где кончается искусство и всякая искусность и «дышат почва и судьба».

Чтобы понять секрет жизненности наследия Учителя Куна, нужно превзойти мир идей, наших представлений о вещах, а вернее сказать, – снизойти к жизни «как таковой». Гений Конфуция не дружен с отвлеченными, формальными мыслями и произвольными фантазиями. Вот почему он всегда присутствовал и поныне присутствует с убедительностью вещественных сторон китайского быта. Ничуть не чурающийся обыденного и земного, он есть воистину плоть и кровь культуры, возвращенной в лоно народной жизни. И не беда, что вещи, призванные его представлять, не раскрывают его тайн. Обманчивость чувств, святая ложь «мысли изреченной» не только не противоречат заветам Конфуция, но и подразумеваются ими. Ибо дух способен пребывать в вещах лишь отталкиваясь от них. И чем больше он отдает себя вещному бытию, тем скорее ускользает от него. Вещи воистину становятся осмысленными и родными для нас лишь тогда, когда обнажают в нашем сознании бездну невещного, воспитывают в нас упругость духа, дарят нам «легкое дыхание» жизни. Такие вещи не столько сообщают о тайнах души, сколько непосредственно со-общают, соприкасают с ними. И побуждают к творческому поновлению.

Посмотрим вокруг: как странен подбор вещей, нами любимых и нам понятных, как порой тесно сживаемся мы с, казалось бы, совершенно случайно попавшими к нам предметами. Хаотическая паутина вещей, обставляющих наши мысли и чувства, есть правдивое воплощение творческого импульса духа, пульсации «живой жизни». Китайцы называли эту исключительность, неизбывную конкретность вещного бытия «утонченной истиной каждой вещи» – утонченной не просто потому, что эта истина недоступна уразумению, а прежде всего потому, что она открывается в один мимолетный миг жизненной метаморфозы и ускользает, как струится вода между пальцев.

Тот, кто оценивает свершения человеческие по

жизнестойкости их, не может не отдавать предпочтения вещам. Вещи надежнее и долговечнее самых самоуверенных мнений. Материальные памятники переживают своих творцов, переживают даже создавшие их цивилизации и с легкостью принимают на себя новый смысл, присваиваемый им новыми поколениями и даже целыми народами. Вещи святы потому, что несут в себе сверхличную, бессловесную память человечества, обращенную прямо к сердцу каждого человека. Святые вещи веют забытьем бездонной памяти и безбрежных просторов воображения, побуждают устремляться за горизонты всего понятого и понятного…

Подлинная стихия творчества – забытье упоительных грез, освобождающее от необходимости что-то знать, кем-то быть:

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем…

Трудно поверить, что творец создавал мир «в ясном уме и здравой памяти», как утверждали в Европе многие от средневековых схоластов до супрематиста Малевича. Скорее мир творился в отсутствие его создателя, ведь «воображать – значит отсутствовать» (Г. Башляр). Как знать, не были ли семь дней творения семью моментами умопомрачения – умопомрачительными моментами! – в бытии Творца. Древние китайцы хорошо поняли эту истину: идея «забытья» *(ван),* «вольного скитания» *(ю)* духа стала ключевой в их жизненном идеале. Забытья не как мертвенной пустоты забвения, но, напротив, как среды непрестанно ускользающих, уже не ощутимых, немыслимо тонких метаморфоз. Этот мир «утонченной правды», пульсирующей в вещах, на самом деле равнозначен предельному изобилию бытия: жить забытьем в китайском понимании – значит внимать бесконечному богатству разнообразия жизни, воспитывать безупречную чуткость духа.

Бесконечно утончающиеся превращения духа сами себя устраняют: забытье, чтобы быть тем, что оно есть, должно само быть забыто, пустота должна опустошить себя и стать… наполненностью. А потому идея творчества как самоизменчивого океана забытья не дает воздвигнуть какую-либо недвижную «систему понятий». Она не позволяет высокомерному философствованию возвыситься над немолкнущей многоголосицей земли. У нее чисто практическое предназначение: возвращать мысль и слово к естественной простоте жизни, покойной и бездонной, как небо.

Да, жить творчески, по представлениям китайцев, – значит

«брать жизнь от Неба», и главное свойство восточного мудреца-святого – прозрачность. Правда должна светиться сквозь того, кто свят, как светится кристально-чистый купол небес.

Странный удел китайского мудреца: возвращаться к жизни, будучи обожженным небесным огнем; принимать за разумное и реальное то, что является только видимостью, необоримой иллюзией. Этот удел освобождает от привязанности к историческим проявлениям духа, которая в наши дни столь властно заявляет о себе в страстном желании людей сохранить и восстановить памятники культуры в их «первоначальном», единственно «истинном» состоянии; желании, очевидно, неосуществимом и даже абсурдном, но, по-видимому, самым тесным образом связанном с важнейшей посылкой современного миросозерцания: идеей строгого соответствия между понятиями и вещами. Эта идея как раз и ставит во главу угла проблему реализма в творчестве, требование внешней – наблюдаемой или мыслимой – достоверности создаваемого человеком художественного образа.

Очевидные признаки китайской любви к «одухотворенной вещности» мира мы обнаружим в традиционном искусстве Китая, где мирно уживались строгая, порой доходящая до гротеска стильность и не менее развитый вкус к натуралистической достоверности. Стиль – это примета исключительности, качественной определенности, возвышенной интенсивности существования; как некий код, «сокращенная запись» жизни, он есть вестник самоскрывающегося, хоронящего себя духа. Натурализм же в китайском искусстве оказывается в таком случае искусственно воссозданной природой, в сущности – наиболее утонченной маской таинств стиля, все той же «тысячесаженной стеной», охраняющей глубины духа. И чем правдоподобнее будет сработана эта маска, тем лучше выполнит она свое предназначение: быть трамплином для духа, отталкивающегося от мира вещей и идей ради «вольного странствия в просторах забытья». Вероятно, именно такова подоплека грубоватого, почти откровенно бутафорского «реализма» Конфуциева мемориала в Цюйфу. Созданный, как мы помним, лишь под занавес истории традиционной китайской цивилизации, он служит экраном, стеной, охраняющей «внутреннее постижение» Учителя. Нет ничего ошибочнее, чем видеть в таком отношении к наследию Конфуция попытку воссоздать «исторически верный облик древнего мудреца». К несчастью, европейцы часто совершают эту ошибку, вольно или невольно воспринимая искусство Китая через призму собственных представлений о художественном творчестве как подражании миру природы.

Становится понятным теперь и шокирующее европейцев довольно-таки бесцеремонное обращение китайцев с памятниками старины. Для чего благоговеть перед маской, иллюзией? Зачем церемониться с тенью, тем более что она все равно неустранима? В сегодняшнем Китае древние храмы и дворцы, повсеместно отстроенные заново и сверкающие свежей краской, присутствуют скорее как театральные декорации, аттракционы, предназначенные для увеселения гуляющей публики. А на пейзажах китайских живописцев мы не увидим руин старинных зданий: эстетизация памятных развалин, питаемая ностальгией по «единственно правильному» образу вещей, совершенно чужда китайской традиции. Значение эстетики руин в искусстве Запада определено тем, что развалины древних зданий являются местом стихийной встречи природы и культуры, но встречи, ничуть не отменяющей извечного противоборства того и другого. Китайская же традиция допускала лишь контрастное соположение, а по сути – взаимозаменяемость несотворенной бездны небес и рукотворного мира культуры, первозданного Хаоса и хаоса людского «столпотворения». Примечательно, что китайцы никогда не занимались ремонтом старых, обветшавших зданий. Они просто отстраивали их заново после того, как те приходили в негодность. Монументальной же архитектуры, тем более обладающей солидным запасом физической прочности, китайская традиция, как мы уже могли заметить на примере храма Конфуция, почти не знала.

Так правомерно ли вообще говорить о «памятниках» жизни Конфуция? Не следует ли нам признать воссозданные в Цюйфу следы древней мудрости скорее вехами сокровенного пути человеческого сердца, своеобразными указателями, направляющими к еще непрожитому и неопознанному? Эта прикровенная устремленность за пределы всего наличествующего и данного преображает вещи в знаки бесконечной глубины сознания, делает их, как говорили в Китае о произведениях каллиграфа и художника, «следом, уводящим в недостижимую даль…».

Что же такое мемориал Конфуция в Цюйфу? Строго говоря, это не только памятник историческому Конфуцию, но и правдивое свидетельство присутствия Учителя всех времен – того, кто удостоверяет свое бессмертие в неизбывной текучести жизни. Учитель нуждается в бытии вещей, потому что самоограничение духа в вещах, граничность как таковая составляют существеннейшее свойство его собственного бытия. Ставя предел своей мысли, отказываясь от внутренней однородности сознания и потому как бы не имея своего «я», он является миру в чистой

качественности самих вещей и притом не одной-единственной вещи, а именно сочетания, комбинации их. Он приходит в бесконечно разнообразном декоруме жизни, во всякой метке конца, предела, границы. Так он входит в вечность, ибо нет ничего неизменнее изменчивости. Так он достигает истинного величия, ибо нет ничего долговечнее и неуязвимее, чем узор мира. Можно устранить вещь, но нельзя убрать тень. У всякой вещи есть предел, но нет предела самой предельности.

Понять, почему до наших дней сохранились материальные следы жизни Конфуция и даже самое тело Учителя Куна, рассеянное в его потомках, – значит, понять глубочайший смысл заветов основоположника конфуцианства. Все эти следы, правда, дошли до нас в превращенном, как бы псевдореальном состоянии, но такая метаморфоза, как мы уже могли видеть, сама является результатом последовательного продумывания и, более того, осуществления на деле жизненного кредо Конфуция. Необычайный интерес к вещественному, бытовому измерению человеческой жизни – самая поразительная, неповторимая и даже, пожалуй, неподражаемая особенность конфуцианской традиции. Что материального осталось от мудрецов древней Эллады, Персии, Индии? Мы не знаем ни их потомков, ни их могил, ни тем более их домов. Нам известны только их идеи. И надо сказать, что исключительное внимание китайцев к предметной стороне быта (которое не нужно путать с привязанностью к вещам) восходило к самому Конфуцию, который по складу своей учености был прежде всего архивистом и антикваром, знатоком древностей. «Передаю, а не сочиняю; верю в древность и люблю ее», – любил говорить о себе мудрец Кун. И хотя позднее ему приписывали много сочинений, он сам, насколько можно судить по древнейшим источникам, ничего не писал от себя и предпочитал выражать свои взгляды и убеждения опосредованно – беседуя с ближними, редактируя старые книги, а превыше всего заботясь о том, чтобы за него говорили его поступки. Он наставлял преемников своим образом жизни, своим поведением. И находил отклик у потомков. Спустя четыре столетия после смерти Конфуция знаменитый историк древнего Китая Сыма Цянь закончил свою пространную биографию Учителя Куна не оценкой его идей или деятельности, а рассказом о его вещах.

«Когда я прочитал книги, составленные Конфуцием, мне захотелось воочию представить себе этого человека, – писал Сыма Цянь. – Я побывал на родине Учителя Куна и видел его покои, его колесницу и одежды, его сосуды для жертвоприношений и ученых мужей, свершавших в надлежащие дни и часы торжественные

обряды. Я преисполнился благоговения и не мог заставить себя покинуть этот дом. Среди владык мира сего немало было тех, чья слава умирала вместе с ними, а память о Конфуции, даром что носил он платье из грубого холста, любовно сберегается вот уже более десяти поколений. От государей до простых людей все, кто упражняется в Шести искусствах, считают его своим учителем. Нет, не зря зовут его величайшим мудрецом!»

Суждение Сыма Цяня в точности подтверждает наши догадки о жизненной позиции Конфуция. Для китайского летописца мерой величия человека служит благодарная память потомков, но память, питающаяся не мирской славой, а чем-то гораздо более действенным и вместе с тем интимным – обаянием живого присутствия предка-учителя. Вера в вечноживые качества мудрости держалась так прочно среди древних китайцев, что древнекитайской культуре не была свойственна драматизация физической смерти. И не примечательно ли, что нам известны слова Конфуция, произнесенные им за несколько дней до смерти, но мы ничего не знаем о том, как умер Учитель Кун, хотя скончался он в своем доме, в окружении родичей, челяди и многочисленных учеников? Никому из потомков даже не пришло в голову восполнить этот досадный пробел какой-нибудь красивой легендой. Видно, в глазах почитателей Конфуция смерть его была событием, хотя и прискорбным, но все же малозначительным перед лицом сокровенной вечнопреемственности духа. Вот и для Сыма Цяня мудрее тот, кто дольше живет, кто сумеет продлить свою жизнь в своих потомках и вещах, кто сумеет больше наполнить собой устойчивый и утонченный быт, настоянный жизнью десятков поколений. Будет ли это память о каком-то отдельном человеке? Или в его лице мы прозреем неведомый лик некоего неумирающего, родового всечеловека? Того, кто обнаруживает свое присутствие с каждым новым усилием нашего самопознания? Не будем путать этого человека-учителя с индивидом. Человек-индивид одновременно индивидуален, потому что он замкнут в себе, и абстрактен в качестве социального субъекта – подданного, гражданина, представителя сословия и т. п. Всечеловек всеобщ, ибо он преемствен в потоке перемен, но вовек уединен и не подпадает под какие бы то ни было общие определения.

Отношение Сыма Цяня к наследию Конфуция немного сродни желанию современных людей преобразить историю в музей – желанию, вообще говоря, совершенно чуждому европейской древности. Можно ли представить, чтобы ученики, скажем, Платона или Аристотеля больше интересовались личными вещами учителя, нежели его идеями? В древнем Китае такое, как

видим, не казалось странным. Подчеркнем, что китайский историк ведет речь о предметах домашнего обихода, ценных своей полезностью в быту. Конечно, эти предметы являются реликвиями, потому что их чтут, и они исключены из сферы повседневного применения. Но все же они не исключены полностью из человеческой деятельности, подобно святым мощам или экспонатам музея. Способ их использования определяется священным временем ритуала, причем в церемонии они могут вновь явиться как предметы домашнего обихода и выполнять свое бытовое назначение. В сущности, пользование ими есть не что иное, как освящение человеческого быта, которое равнозначно соединению повседневности и вечности. Если культ мощей в религии устанавливает разрыв между человеческим и божественным (снимаемый посредством «чуда»), если музей указывает на дистанцию между прошлым и настоящим, то отношение к прошлому у Сыма Цяня предполагает непосредственную связь, даже взаимопроницаемость времен в извечном самообновлении жизни, в схождении, «чудесном совпадении», как говорили в Китае, времени обыденного и времени ритуального, конечных действий и непреходящей действенности.

Так в китайской традиции предметная деятельность человека оказывается прообразом мирового творения. Предметы нашего обихода вовлекают нас в поток жизненных превращений. Халат, надетый на тело, обретает новое качество и сам дает новое качество телу. Звук, сам по себе ничем не примечательный, неожиданно обретает глубокий смысл, становится моментом музыкального произведения. Нож, который полезен остротой его лезвия, и дерево, ценное своей мягкостью, как бы преображаются, преодолевают себя, взаимно открываются друг другу в работе резчика. В своей функциональности вещи оказываются собранными воедино, хотя и не сливаются в одно. Это собирание бытия, вовлекающее все сущее в поток жизни, как раз и представлено в ритуальном действе. В ритуале все исключительно – и предметы, и обстоятельства, и избранный момент времени. Он вообще есть воплощенное исключение из правил житейской рутины. Но это исключение, которое утверждает некую универсальную полезность всего сущего, «единое на потребу», пронизывающее все явления жизни. Оно проявляет себя в моментах стилизации жизненного опыта, преобразования стихийного течения жизни в цепь сознательно и интенсивно проживаемых моментов существования.

Так культура становится способом духовной ориентации вещей и событий. А поскольку нет и не может быть какого-либо

застывшего, статичного образа перемен, творческий импульс одухотворенной жизни сказывается скорее в моменте деформации всех образов, в их тяготении к собственному пределу, к гротескным формам. Отсюда, в частности, склонность к экспрессивной графике, присущая традиционному изобразительному искусству Китая.

Для Сыма Цяня важно, что вещи Конфуция использовались «в надлежащее время года», – вероятно, в качестве принадлежностей поминальных обрядов по Учителю. Иными словами, способом ориентации вещей, созидающей культуру, является ритуал, который охватывает и приводит к единству в рамках годового круговорота события как в природном мире, так и в человеческом обществе. Ритуал и есть не что иное, как со-бытие, событийность, взаимное соответствие, резонанс различных измерений бытия. Он – вестник неповторимого мгновения. Но он укореняет все скоротечное во всевременном.

Наглядные свидетельства ритуалистического мышления мы найдем в изобразительном искусстве эпохи Сыма Цяня, где изображения вещей сведены к стилизованным иллюстрациям их роли в общем порядке мироздания. Населяющие искусство древнего Китая человеческие типы – древние цари-культуротворцы, высокомудрые мужи, преданные подданные и проч. – демонстрируют порядок жизни, превращенной в одну нескончаемую церемонию, расписанную на нормативные, совершаемые соответственно времени года жесты. Известный русский искусствовед Б. Р. Виппер отмечал, что в цивилизациях древнего Востока сложился «тоталитарно-коллективный» тип культуры, которому свойственно «не столько изображать действительность, сколько ее преображать, сообщая реальным предметам некую новую, иррациональную стихию». Замечание Б. Р. Виппера справедливо и для китайского искусства с его тяготением, как отмечалось выше, к экспрессивности гротеска, но гротеска, данного в наборе нормативных форм. Конечно, нельзя вкладывать в понятие «тоталитарно-коллективной» культуры уничижительный смысл. Это особый тип культуры, не менее самобытный и в не меньшей степени откликающийся человеческой природе, нежели культурная традиция Запада. «Тоталитаризм» в данном случае есть выражение не тирании, а поразительно последовательного развертывания одного мировоззренческого принципа. За свою многовековую историю китайского искусство далеко ушло от примитивности своего древнего стилизма, но оно осталось верным его исходным посылкам. Более того, в своих наиболее зрелых и утонченных формах оно явилось и его наиболее полным, наиболее

продуманным воплощением. И не кто иной, как Конфуций поставил в центр размышлений о человеческом бытии в Китае вопросы о том, кто и как «использует» человека и как сам человек преображает, стилизует свою жизнь. А вот вопросы «что есть человек?», «как человек познает мир?», определившие пути развития европейской мысли, на удивление мало интересовали китайцев.

Вопрошать об условиях и целях предметной деятельности человека – значит стремиться к познанию в нем человеческого.

Заслуга Конфуция, обессмертившая его имя, в том и состоит, что он первый в истории открыл человека как деятельное, творческое и, стало быть, общественное существо.

До Конфуция на земле были только боги. Или потомки богов. Конфуций с простотой, достойной основоположника великой цивилизации, провозгласил: у человека нет более высокого призвания, чем воистину осознать себя человеком и стать творцом культуры – единственной реальности, которая целиком и полностью созидается людьми.

Привыкнув к миру, обжитому человеком и перевоссозданному им для удовлетворения своих нужд и своего самолюбия, воспринимая как должное похвалы могуществу человека и гуманистическим ценностям, люди современной эпохи не без труда могут представить истинные масштабы новаторства Конфуция. Не совсем легко им и подметить иронию, таящуюся в самом факте почитания Конфуция как «первого человека» – не бога и не героя, бросающего вызов богам, а Учителя, который учит всех и каждого «быть человеком» – и не более того. Ибо что же примечательного в самом факте существования человека как такового? Не странно ли чтить, как принято в культе Конфуция – единственного, кстати сказать, из всех мудрецов древности, – просто дом? Просто могилу? Обыкновенные вещи домашнего обихода? Принять это можно, лишь обнаружив в повседневности – неизбежно текучей и мимолетной – неизбывную значимость, ощутив в самых незначительных вещах, в мимолетных впечатлениях присутствие Того, Кто существует воистину. Казалось бы, нет никакой драмы в том, что человек должен быть или стать человеком. И все же как много драматизма сокрыто в этом скромном идеале, если он требует вернуться к себе, открыть себя ценой самого беспощадного самоотречения.

Погружаясь в «тень Учителя», мы возвращаемся к «началу времен», к исконной заданности человеческого сознания, которая предваряет, предвосхищает все наши чувства и мысли. Этот исток нашей жизни рассеян в окружающих нас «родных» вещах – всегда немного таинственных и все же таких красноречивых в своей

«первозданной немоте». Но этот изначальный «язык мира», язык, не отделившийся еще от хаотической музыки бытия, звучит и в литературном наследии Конфуция. Древнейшим и, по общему мнению, самым достоверным свидетельством о жизни и учении Учителя Куна служит книга, именуемая по-китайски «Луньюй», а в русском переводе получившая название «Беседы и суждения» (точнее было бы говорить «Обсужденные речи»). Книга эта была составлена учениками Конфуция уже после его смерти и состоит из самостоятельных, очень разных по содержанию и стилю коротких сюжетов, часто отдельных изречений, развертывающихся перед читателем пестрой вереницей мыслей и ситуаций, порой до курьезного обыденных и тривиальных. Местами в ней заметно стремление тематически объединить записи внутри отдельных глав (всего в «Луньюе» их двадцать), но это бывает не так часто. Недаром названия самих глав откровенно условны: таковыми служат первые два иероглифа в тексте главы – сочетание, как легко догадаться, случайное и даже, казалось бы, бессмысленное.

Происхождение «Бесед…» объясняет цель их создания. Эта книга появилась, очевидно, для того, чтобы не позволить кануть в забвение медленно, но неудержимо угасавшей живой памяти об Учителе Куне. Ибо учение Конфуция для его учеников прежде всего – жизнь и личность самого Учителя. Недаром сразу после смерти Конфуция его преемником по школе хотели объявить того из учеников, кто был больше всего похож на него своим обликом. «Беседы…» – это прежде всего памятник любви учеников к Учителю. Перед нами собрание записей, которые обращены к узкому кругу посвященных и призваны не столько излагать или убеждать, сколько именно напоминать. Обаяние этой книги как раз и объясняется ее необычайно доверительным тоном, полным отсутствием претенциозной литературности – явление для древнего мира крайне редкое, прямо-таки уникальное. Но те же свойства «Бесед…» порождают и особые трудности для их толкователя. От людей очарованных, конечно, нельзя ожидать хотя бы попытки быть объективными. Ни эти ученики Конфуция, ни даже его первый биограф Сыма Цянь и не пытаются сформулировать, изложить своими словами смысл заветов Учителя – очевидно, потому, что они слишком ценили его живое присутствие. Мы вольны, конечно, делать это сами, но кто может поручиться за то, что мы не совершим ошибки? Да и допустимо ли вообще выводить систематическое «учение» из разрозненных высказываний? Нарочитая и притом такая пленительно-архаичная фрагментарность «Бесед и суждений» представляет, конечно, большой соблазн для образованных читателей. Во все времена

китайские книжники с упоением погружались в подробнейшие толкования малопонятных знаков и упоминаемых в книге деталей древнего быта. Порой кажется, что толкователи как будто нарочно старались как можно больше затемнить или исказить смысл наставлений Конфуция – простых, ясных, чуждых всякой напыщенности и мнимой многозначительности. Видно, не зря говорят, что правда «глаза колет»: самые простые и очевидные жизненные истины принять как раз труднее всего… Но за филологическим буреломом нужно уметь видеть величественный лес жизни. Архаическая фрагментарность главной конфуцианской книги перестанет казаться только курьезом, если воспринять ее как средство обратить наш внутренний, духовный слух к тайне всеединства мировой жизни. Возможно, как раз эти качества «Бесед…» имел в виду известный конфуцианский ученый Чэн И (XI в.), когда он писал: «Есть много людей, которые прочли „Беседы и суждения“ и ничуть не изменились. Некоторые выучат пару фраз и потом всю жизнь этим довольны. Есть такие, которые, прочитав эту книгу, в самом деле любят ее. И есть такие, которые, прочтя ее, вдруг пускаются в пляс».

Не счесть ли слова Чэн И неожиданным напоминанием о том, что чтение «Бесед…» в чем-то сродни танцу? Что наследие Учителя Куна принадлежит *памяти сердца* и что оно вписано в нее мимическим языком тела? Зримая ускользаемость образа Конфуция взывает не к рассудку, а к телесным истокам жизненной интуиции; она побуждает искать внутреннюю преемственность опыта, рассеянную в музыкальном хаосе ощущений. Эта преемственность заключена не в содержании, не в «данных» опыта, а в самом качестве, в глубине переживания, доступной нам только благодаря телу. Подлинная жизнь – и жизненность – наследия Конфуция таится в этом непрестанном ускользании от всего наличного и данного; ускользании, создающем отношения между учеником и непостижимым для него Учителем.

Конечно, такая книга просто обречена произвести на разум, питающийся «чистым созерцанием», впечатление неразвитости и бесплодия мысли. Как похож Конфуций из «Бесед и суждений» на принадлежащий Гегелю портрет «примитивного мыслителя», своего рода «недоразвитого» философа, который, «хотя и знает в совершенстве, чего требует жизнь, что именно является ее существенным свойством, связывающим людей и движущим ими, все же не может ни формулировать во всеобщих правилах это свойство для самого себя, ни передать его другим в общих размышлениях, а всегда уясняет себе и другим то, что наполняет его сознание, рассказами о частных случаях, показательными

примерами и т. д.…» Для европейца XIX века очевидным признаком отсталости Конфуция была его неспособность подняться до «общих размышлений». В новейший период человеческой истории, порядком разуверившийся в «общих размышлениях», но все еще прельщенный выгодами умственных абстракций, такого рода хаотическая композиция «Бесед…» порой рождает соблазн искать в ней какой-нибудь тайный, закодированный смысл, отчего-то утаенный от читателя хитроумными составителями книги. По правде говоря, не очень-то верится в плодотворность таких изысканий…

Высказывания Конфуция часто называют афоризмами, но нужно сразу оговориться, что в них нет ничего от салонного остроумия с его позерством, софистикой, игривым морализаторством. Конфуций слишком искренен и серьезен, чтобы размениваться на такие пустяки. Он изрекает как будто бы очевидные, даже банальные истины, но его слова заставляют вглядеться заново в жизнь, текущую вокруг и сквозь нас. Только гении обладают привилегией открывать жизнь заново. В первом же параграфе «Бесед и суждений» мы читаем:

«Учиться и во всякое время претворять это – разве не радостно? Увидеться с другом, приехавшим издалека, – разве не удовольствие? Люди его не знают, а он не печалится – ну не благородный ли муж?»

Эти высказывания Конфуция принимаешь не просто умом, а всем сердцем. Они кажутся родными и понятными. С ними соглашаешься с какой-то радостной легкостью, словно они и вправду открывают давно известную, самую важную, но только забытую в сутолоке дней правду жизни.

Вчитаемся непредвзято в это собрание осколков очарованной памяти, и перед нами возникнет не образ изощренного ума, раскладывающего свой секретный пасьянс из готовых фраз, но образы скромных учеников, движимых простодушным, даже слегка наивным и по-своему возвышенным стремлением сберечь до последних подробностей драгоценный образ Учителя; стремлением, предполагающим возможность добавлять в копилку предания все новые и новые свидетельства. Этим ученикам дороги каждое слово и каждый поступок наставника, для них в его жизни нет ничего незначительного – и это счастливо спасает их от мнимой многозначительности. Они не стремятся изобразить любимого Учителя непременно героем или святым, не скрывают, что при жизни он не был избалован почестями и что многие считали его простаком и неудачником. Они создали самый ранний в истории человечества портрет *человека.* Портрет настолько неприукрашенный, что кажется иногда даже не

портретом, а как бы словесным слепком своего прототипа, явленным, подобно настоящему отпечатку тела на бумаге, в хаотической россыпи пятен, штрихов, нюансов тона. Как всякий след, этот слепок не имеет внешнего сходства с телом, его оставившим, и все же он глубоко интимен ему по самому качеству своего присутствия. Перед нами возникает образ человека, как бы разрастающегося в людях и поколениях. Этого человека мало понимать. С ним нужно жизнь прожить – долгую, углубленную жизнь.

Слова «Бесед…» могут быть обманчивы, здесь есть даже явные ошибки, но искренность тех, кто подхватил и записал их, не может нас обмануть. Эта искренность – искренность чувства прежде всего – заявляет о себе в самом факте извечного присутствия прерывности, паузы, недосказанности в тексте главного памятника конфуцианской литературы. Мозаичность как главный принцип композиции в «Луньюе» свидетельствует все о том же обостренном внимании к вещественной данности жизни, которая так убедительно заявляет о себе в мемориале Конфуция на его родине. И она же делает «Луньюй» памятником традиции. Ведь паузу, безмолвие нельзя сделать личным достоянием; они не принадлежат никому, но доступны всем. И бесконечно тянутся во времени. Отнюдь не случайно «Беседы…» – плод коллективного творчества, создававшийся многими десятилетиями. Здесь видится не только естественное желание Конфуциевых учеников как можно правдивее передать слова и поступки Учителя, но и потребность – быть может, вполне сознательная – сделать наследие Учителя Куна вестью сверхличной жизни, пробуждающей в каждом вкус к сотворчеству, допускающей беспредельное разрастание хранимого традицией смысла. Говоря музыкальным языком, в наследии Конфуция нет темы, а есть только вариации. Пауза же, творящая ритм, как раз и воспитывает наш духовный слух, открытость нашего сознания музыке бытия во всем ее неисчерпаемом разнообразии.

Традиция живет и развивается по закону экономии выражения: чем меньше скажешь, тем больше выскажешь. Ее явленные формы существуют лишь для того, чтобы обозначать необозримо-безбрежное, неизбывное и нерукотворное, каковой только и может быть жизнь подлинная. Говорить, по Конфуцию, нужно ровно столько, чтобы «выразить смысл». В осмысленной речи сказанное уравновешивается неизреченным. Традиция в действительности не имеет основоположников. Она имеет только поручителей. Поручителей несбывающихся, немыслимых, *баснословных* обещаний.

Если мы признаем присутствие в «Беседах…» некоего

затаенно эмоционального, к интуиции обращенного подтекста или фона – тех почти бессознательных эмоций и порывов, которыми питается очарованная душа, – если доверимся этому подтексту, нам не составит труда объяснить, например, почему авторы книги при всем их благоговейном внимании к Учителю Куну, при всей близости к нему остались совершенно равнодушны и к хронологии, и даже ко многим ключевым датам его жизни. Дело в том, что их в жизни Конфуция интересовали не факты, а события, а если еще точнее – события-свершения, обладающие неотразимой силой нравственного воздействия, могущие лечь кирпичиками в здание традиции. Из фактов складывается биография, из свершений получается житие, серия отдельных «случаев», исполненных какого-то таинственного смысла.

Словесная лава «Бесед и суждений» с ее краткими, часто маловразумительными сентенциями, обрывками разговоров, записями разных житейских казусов и проч. исторически и в самом деле отливалась в две литературные формы: афоризм и анекдот. И то и другое указывает внутренние пределы развития конфуцианской словесности. Оба являют собой простейший словесный образ события, а значит – и столкновения, событийности жизненных миров: в них разыгрывается жизнь духа, ищущего опоры в вещах лишь для того, чтобы оттолкнуться от них. В рассказах о Конфуции есть нечто, что нужно понимать прежде слов. И… после всех слов. Ибо жизнь, втиснутая в афоризм или анекдот, ломает указанные ей границы, рвется за пределы сказанного, несет в себе нечто другое. Эту жизнь нужно домысливать, *доживать* (хотя вовсе не обязательно проживать вновь).

Итак, афоризм, как напоминает исходное значение этого греческого слова (оно связано с понятием «проведения границы»), ничего не описывает и даже не называет, а выявляет сами *пределы* понятого и понятного и, следовательно, условие всякого смысла, со-мыслия в человеческой деятельности. Афоризм есть слово, само себя ограничивающее и потому способное указывать на сокрытые глубины смысла. Оно – само в себе, будучи вне себя. Поэтому китайский мудрец способен «все сказать, прежде чем откроет рот», и все его слова «исходят из пустоты» – того внутреннего разрыва в речи, в котором таинственно зарождается всякий смысл. Вот почему он начинает свою книгу с «заглавной фразы» *(хуатау),* в которой уже содержится весь смысл его учения. Такой статус приписывали в Китае и первой фразе «Бесед и суждений» (о ней речь ниже) и первой, самой глубокомысленной фразе книги Лао-цзы «Дао-дэ цзин», которая

гласит: «Путь, которым можно идти, не есть вечносущий Путь» (вариант: «Истина, которую можно счесть таковой, не есть вечносущая истина»).

Немецкий ученый XVIII века Гаман однажды заметил, что истина, или Логос, в языке открывается человеческому разуму как бездна, непостижимая тайна. В Китае афористическая словесность или подлинно осмысленная речь, как вместилище «великой пустоты», и есть вестница этой бездны смысла в языке. Бездна не имеет образа. И русский язык наглядно подтверждает, что истина-Логос не может не иметь своим внешним выражением ложь, – в тютчевском смысле: «Мысль изреченная есть ложь». Афоризм есть некая первородная словесность в том смысле, что он предстает литературным аналогом запечатленной в культуре многих древних народов таинственной нераздельности святости и брани. И эта внутренняя сопряженность истины и лжи подсказывает неизбежность превращения афоризма в анекдот. Последний есть предел развития первого, ведь в анекдоте внутренний разрыв в смысле выводится наружу, становится самим «предметом» сообщения. Иначе говоря, афоризм *разлагается* в анекдот, событие – в случай. И там и здесь сопряжение неизреченного и сказанного, глубины и поверхности становится все более очевидным и контрастным, все менее объяснимым, и то, что воспринималось вначале как тень бездны, отблеск внутреннего света жизни, в конце концов обращается в карикатуру, подчеркивающую разрыв между сущностью и явлением.

В набросанной здесь эволюции «осмысленного слова» уже содержится весь путь развития образа Конфуция в реальной истории. Путь, предопределивший то обстоятельство, что свидетельства об Учителе Куне в Китае так и не вышли за рамки нравоучительного, а часто – и причем гораздо чаще, чем принято думать, – также комического анекдота. В «Беседах…» анекдот выступает еще в своем исконном обличье внезапного происшествия, единичного житейского «случая». Следующая ступень его эволюции отчасти отобразилась уже в тех же «Беседах…», но полнее всего представлена в книге «Семейные предания об Учителе Куне», окончательно сложившейся спустя шесть веков после смерти Конфуция. В «Семейных преданиях» мы находим богатое собрание все тех же анекдотов, но уже подвергшихся литературной обработке, нередко выросших в короткие рассказы и расставленных по тематическим рубрикам. Одновременно набирает силу традиция комментирования слов Конфуция, по существу своему – описательная, придающая буквальному смыслу наставлений Учителя самостоятельное

значение. Со временем получили распространение картинки, иллюстрирующие отдельные эпизоды из жизни Конфуция и сопровождающиеся словесным пояснением: таковы уже известные нам рисунки из храма Конфуция. Появление рассказов в картинках вовсе не случайно, ведь мысль и слово Конфуция всегда слиты с обстоятельствами; они, так сказать, мудро «обставлены» вещами и гораздо прочнее связаны с предметностью быта, нежели с миром отвлеченных идей. Впоследствии эти иллюстрации стали располагать в хронологическом порядке. А в позднее Средневековье появились похожие серии гравюр, которые заметно усилили элемент гротеска в изображении Конфуциевой жизни и отчасти сделали Конфуция персонажем «низовой», народной культуры в противоположность официальным образцам конфуцианской книжности.

Подчеркнем еще раз, что афоризм и анекдот иносказательны по своей природе, но в лучших своих образцах снимают противопоставление буквального и переносного смыслов. Поистине нет более неблагодарного занятия, чем разъяснять, почему нас смешит удачная шутка. И афоризм, и анекдот как бы выводят смысл за пределы наличного значения и оказываются, так сказать, украшением собственного смысла. Им врождено эстетическое качество, и вся история конфуцианской словесности есть не что иное, как все более утонченное раскрытие их эстетизма. В сущности, традиция означает оберегание этого интимно внятного, но неназываемого смысла, этой неизъяснимой преемственности осмысленной жизни.

Теперь мы можем со всей определенностью обозначить главную проблему литературной биографии Конфуция. Каждый пишущий об Учителе Куне стоит перед трудным выбором: либо изобразить жизнь Конфуция чередой анекдотов, орнаментирующих и, в качестве украшения, скрывающих истинный ее смысл, либо устанавливать факты жизни Конфуция как исторической личности, причем такие факты имеют свой идейный прообраз: определенную систему мысли, принадлежащую индивидуальному мыслителю. Конечно, одно не исключает другое. Но если мы хотим понять, каким образом человек по имени Кун Цю превратился в Учителя десяти тысяч поколений, мы должны признать, что литературная история жизни Конфуция выявляется на пересечении жанров биографии и жития. Назовем эту точку условно жизнеописанием. Образу Конфуция, вырисовывающемуся в таком скрещении как будто несовместимых повествований будут свойственны особая зыбкость и даже драматизм, который порожден столкновением двух разнонаправленных литературных тенденций. Одна из них –

это тенденция к максимальному смысловому насыщению слова, и она представлена в импульсе стилизации, выделки символических типов. Другая тенденция представлена стремлением к расширению, все более подробному описанию явлений жизни, одним словом – к инфляции смысла и завершается, соответственно, утратой качественной определенности бытия. Ее логический исход удачно обозначил П. Валери, когда назвал современную цивилизацию миром «бесконечно богатого ничто».

Итак, жизнь Учителя Куна как родоначальника традиции – это не история отдельной личности с ее внутренне единым мировоззрением, а образ творческой метаморфозы жизни, свидетельство событийности миров. Она знаменует *возобновление непреходящего* и выражает себя не в логике суждения или рассказа, а в простой соположенности отдельных событий. Она предстает, совсем как традиционные китайские глоссы, цепью метафор, нанизываемых на одну невидимую нить или, если воспользоваться любимым образом Ж. Делёза, бесконечно ветвящимся корневищем. Интересно, что предание приписывает Конфуцию высказывания о том, что в основе культурного творчества человечества лежит восприятие неких непостижимо сложных «узоров Неба и Земли», которые породили графические символы древнейшего китайского канона – «Книги Перемен», а от этих символов произошли знаки письма. Таким образом, язык, по китайским представлениям, отсылает не к логическому порядку понятий, а к зыбким, расплывчатым «образам», которые в конце концов растворяются в бесконечно-утонченном «узоре» мироздания. Движение к истокам смысла в китайской картине мира требует не столько работы умозрения, сколько усилия воображения. Все это означает, помимо прочего, что по-настоящему понять Конфуция можно только в отдаленной исторической перспективе, в качестве Учителя всех поколений, ибо подлинная цена простых слов и поступков Учителя Куна есть сама вечность.

Принятая идея жизнеописания напоминает, что любое новшество осознается нами лишь на фоне чего-то непреходящего, навеки хранимого в памяти. Новизна формирует память, а память делает возможной опознание новизны. В таком случае так ли уж наивны неизвестные авторы «Бесед…», предоставляющие полную свободу игре случая и потоке жизни? Не свидетельствует ли сама необычайная жизненность их книги о том, что они остались верны, пусть интуитивно, глубочайшим законам жизни самого сознания, в котором память и воображение друг друга определяют и поддерживают. Оттого же «наивность» авторов

«Бесед…», как легко было бы показать, не теряет своего значения и для зрелого, даже изощренного художественного творчества (вспомним хотя бы технику монтажа в современном искусстве). Выходит, первичная и самая непосредственная данность человеческого сознания не отличается от глубочайшей его умудренности; первозданный «сон жизни» не отрицается даже высшей просветленностью духа.

Достичь ускользающего единения темных глубин памяти и кристальной ясности сознания, вечного и вечно нового может лишь тот, кто сумеет «измениться сам», вместить в себя творческое изобилие жизни, возвыситься, умалив свое мелкое, частное «я». Пожалуй, самая примечательная черта Учителя десяти тысяч поколений – нежелание говорить в ущерб другим голосам, а точнее – отделять свой голос от «небесного хора» творческой жизни:

Учитель сказал: «Я не хочу больше говорить…» Тогда спросили его: «Но если вы, Учитель, не будете говорить, какие же наставления передадим мы грядущим поколениям?»

«Но разве Небо говорит? – ответствовал Учитель. – А ведь времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет. Разве Небо говорит что-нибудь?..»

Нет, Конфуций не играл в таинственность. Но тайна неотступно следовала за ним, потому что он был одним из тех «трудномыслимых» мыслителей, которыми движет потребность не высказаться, а указать границы высказанного, не понять, а уразуметь самое усилие понимания, помыслить немыслимое в мысли. Молчание Конфуция – свидетельство высшей гармонии бытия. Отказавшись записать свое учение, Конфуций, несомненно, высказал нежелание ущемлять свободу случая, выстраивать раз и навсегда установленный порядок вещей. Высказывания Конфуция – это всегда отклик на обстоятельства его жизни, будь то внешние события или внутренний опыт; отклик единственный и неповторимый. Иными словами, Конфуций мыслит и действует сообразно «времени года», он уподобляется «небесному» движению мироздания. Для него всякое деяние уникально, и каждый момент самосознания – дверь в вечность. Всегда конкретное, бесконечно изменчивое слово Конфуция есть воистину его жизнь. Это память и мечты, чувства и понимание, обретаемые в жизненном произрастании человека.

Что же за человек был Конфуций? Правда в том, что он мог быть каким угодно! Пестрый набор штрихов и нюансов, составляющих как литературный, так и музейный образ Учителя Куна, делает зыбкими и призрачными всякие извне налагаемые границы личности, зияет бездной всечеловека. И этот образ не

мог не передаться всей китайской традиции. Каждый, кому доводилось видеть, например, игру актеров китайского театра, сплошь состоящую из декоративно-стилизованных жестов, или созерцать старинный китайский пейзаж с его устойчивым репертуаром все тех же стильных образов, без труда узнает в подобной манере освещения жизни Конфуция самобытнейшую черту китайской культуры. Все, что нам известно о жизни Конфуция, словно преподносится с театральной сцены, окутано флером эпической возвышенности. Но все-таки это только «жизнь как она есть», во всей ее непритязательной, даже не предназначавшейся для созерцания будничности. Мы любуемся этими житейскими мелочами, как будто разглядываем в бинокль неразличимые невооруженным глазом детали пейзажа или, если воспользоваться примером из художественной традиции Китая, созерцаем карликовый сад, в котором с игрушечной, но бесподобной по мастерству исполнения точностью воспроизведено богатство природного мира. Мы созерцаем реальность или фантастику? И то и другое сразу. И подобно тому, как миниатюрный сад, созданный китайским мастером, чудесным образом разрушает барьеры между фантазией и естеством, игрой и действительностью, свидетельствования о Конфуции озаряют блеском легенды саму прозу жизни, делают невозможным и ненужным противопоставление воображаемого и действительного. Здесь не просто все мыслимое реально, как мог бы утверждать европейский философ-идеалист. Тут скорее реально именно немыслимое. Даже немыслимо простое!

В усадьбе рода Кунов хранится старинный портрет Конфуция и двух его ближайших учеников, края и складки одежды которых выписаны крохотными иероглифами текста «Бесед и суждений». Трудно придумать более наглядную иллюстрацию существа Конфуциева слова: скромного и практичного, как предметы домашнего обихода, сказанного всегда «к случаю», предназначенного быть усвоенным «всем существом» – и притом слова-орнамента, прикрывающего, как всякое украшение, символическое тело традиции…

Мы не можем «читать Конфуция» – мы можем только читать о Конфуции и благодаря Конфуцию. Ученики излагают заветы Учителя. Но и сам Учитель лишь сообщает об истине, высказываясь по тому или иному поводу. Это погружение в бесплотную твердь парящих облаков, это движение от одного зеркала к другому в поисках источника света, блуждание в лабиринте в поисках выхода-входа не имеет конца в пространстве традиционной культуры. Скажем сразу: мудрецы Китая, призывая своих послушников «возвращаться к истоку», требовали от них

доверяться и самому лабиринту. На самом деле, говоря языком китайской традиции, «исток вещей» и есть движение в «небесном круговороте» мирового времени. Правда одухотворенной жизни – это не идея, не вещь, не кумир, а лишь выверенное, ориентированное движение. Правда китайских мудрецов – это Путь *(дао)* всего сущего. Путь всех путей.

Такой дается нам жизнь Конфуция: хаотическая мозаика фрагментов, череда ускользающих реминисценций, узор мерцающих отблесков незримого лика. «Блики на воде, эхо в ущелье»: мир до реальности фантастичный и фантастически реальный. Стоит нам попытаться собрать из этого калейдоскопа жизни некий целостный образ, воссоздать реальную личность с ее неповторимо индивидуальным характером, с присущим только ей чувствованием мира, с ее стремлением очертить свое пространство, как мы рискуем провалиться в пустоту как раз там, где привыкли находить плотное ядро человеческой души.

Да, учение Конфуция есть воистину только его жизнь, но это жизнь, не вмещающаяся в биографию, в «описание жизни». Словно музыкальный аккорд, эта жизнь навевает память о незапамятном и наполняет сознание ликующей радостью неисповедимых перемен…

Действительный прообраз жизни Конфуция, какой она отложилась в традиции, нужно искать все же не в субъективном, внутренне однородном «я», а в мире телесной интуиции. Ведь именно телесный опыт раскрывается нам как бесконечное разнообразие, изобилие жизни; именно тело является средой нашей сообщительности, событийности с миром и только им определяется качество и глубина переживания. Наконец, тело – это всегда оболочка, покров, укрытие и, следовательно, природное, еще совершенно безыскусное украшение.

Все эти свойства как раз и отличали подлинное слово традиции, которое было словом-плотью – знаком жизненных метаморфоз и единственности каждого мгновения жизни. Это слово обозначало не предметы, не сущности как таковые, а саму предельность опыта, стихию творческого поновления. В конечном счете оно соскальзывало в нюанс, рассеивалось в необозримо сложной паутине мировых соответствий между вещами, являя в этом качестве ускользающе-смутное «настроение», «атмосферу» той или иной жизненной ситуации.

«Седая луна над высокой башней, струится потоком прозрачный свет… Дремлешь, возложив на колени цитру, душистый аромат наполняет складки халата…» Вся эта цепочка образов (приведенная здесь только частично) призвана символизировать, по мысли китайского поэта, «целомудренно

чистую» жизнь.

Образы поминаются как бы вскользь, между прочим: давно накрепко заученные и навсегда осевшие в памяти, они выговариваются словно в полузабытьи, почти непроизвольно и, мгновенно сжимаясь до нюанса, тонут в легкой дымке грез, растворяются в летучем и всеобъятном Чувстве. И вот то, что кажется на первый взгляд смелой метафорой, в конце концов преломляется в среду, то есть всеобщую усредненность, ускользающий от взора фон. Зыбкая атмосфера такой словесности, сотканная из мимолетных образов и трепетных звуков, не улавливается умом, замкнувшимся на видимости и не умеющим смотреть в глубину. Она являет мир бесконечно малых метаморфоз, каждая из которых равнозначна превращению всего мира.

Порой сознание невольно подмечает парадоксальный смысл сведения всего богатства бытия к нюансу, и тогда перед нами возникнет шутливая пародия на поэтически возвышенную игру ассоциаций:

> Что доставляет удовольствие:
> в жаркий день острым ножом разрезать
> спелую дыню на красном блюде…

Приведенные цитаты взяты из китайской словесности позднего периода. Они показывают итоги развития той литературной традиции, начало которой было положено «Беседами и суждениями». И нельзя не подчеркнуть, что заложенное в этой традиции внимание к бесконечной глубине каждого мгновенного впечатления формировало особую двухперспективность видения мира, способность воспринимать мир одновременно в двух разных масштабах, в двух разных и даже противоположных перспективах созерцания. Вот и в классической живописи Китая пейзажи имеют как бы два зрительных плана: с одной стороны – заботливо выписанные эпизоды, предстающие законченными миниатюрами, с другой – уходящие в бесконечность дали, которые требуют всеобъятного, как бы охватывающего целый мир видения. Пейзажные сады Китая – еще более наглядное выражение этой извечной потребности китайцев «постигать великое в малом». Китайская классическая поэзия добивалась сходного эффекта, оперируя естественными, почерпнутыми из повседневного опыта образами, но внушая чувство всеобщего и всевременного в человеческой жизни. Их наглядность – сродни наглядности картины на китайской ширме, где на плоскости, служащей экраном и

призванной ограничивать наше видение, прозреваются бескрайние дали мироздания.

Мифологичность Конфуциева наследия как раз и заключается в этой особой двойственности восприятия, в присутствии незримого второго плана, внутреннего подтекста, какого-то ускользающего *иного* видения в картинах Конфуциевой жизни, где взгляд «в упор» внушает созерцание с бесконечно большого расстояния, а целостное постижение бытия побуждает искать выразительные нюансы. Так жизнь Конфуция обретает свойство казаться одновременно необыкновенной и обыденной, производить впечатление и не иметь в себе ничего примечательного.

«Слова мудрецов просты», – гласит древнее китайское изречение. Слова мудрого Куна просты потому, что они возвращают нас к стихии естественной речи, к извечной потребности человека выразиться в творчестве, прозвучать в многоголосом хоре жизни, как призывно и гордо звучит колокол. Эта простота не имеет ничего общего с банальностью и скукой. Она захватывает и увлекает, ибо рождена чутким откликом на происходящие в мире события. Говорить «вообще», рассуждать без насущной необходимости казалось Конфуцию противоестественным. И это было для него не вынужденным воздержанием, а сознательной позицией: чем лаконичнее речь, тем красноречивее безмолвие. Слово Конфуция, изумляя своим внезапным появлением и открывая перед нами новые миры, мгновенно блекнет и тает, чтобы переплавиться в творческую мощь самой жизни, обрести неотразимую силу воздействия. Неудивительно, что Учителя Куна всегда ценили не столько за то, что он сказал, сколько за то, что он умел безмолвствовать. Конфуций, заметил один ученый муж древнего Китая, «говорил о близком и очевидном, но в себе воплотил далекое и глубокое». Не принимая точки зрения, выраженной в этих словах, нельзя понять, почему слова Конфуция, ничем вроде бы не примечательные, были восприняты китайцами как высшее откровение.

Правда Конфуция, сделавшая его патриархом всей китайской традиции, – это всегда отсутствующее вечнопреемство одухотворенной жизни, небесное безмолвие, вмещающее всю многоголосицу земли. Этот поэтический тезис было бы, наверное, очень трудно разъяснить, если бы сам Конфуций не обронил несколько многозначительных признаний, позволяющих судить даже о том, о чем он умалчивал (да и не мог сказать, даже если бы хотел). Приведем здесь только одно из них – едва ли не единственное, в котором Конфуций оценивает всю свою жизнь.

Вот жизненный путь Учителя Куна в его собственном изложении:

В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учению.

В тридцать лет я имел прочную опору.

В сорок лет у меня не осталось сомнений.

В пятьдесят лет я знал веленье Небес.

В шестьдесят лет я настроил свой слух.

А теперь в свои семьдесят лет я следую влечению сердца, не преступая правил…

Сдержанные, но какие взвешенные и оттого поразительно весомые слова! Слова, вместившие в себя тяжесть человеческой судьбы и потому не нуждающиеся в риторических красотах. Исповедь, высказанная с аккуратностью медицинского заключения, но обозначающая вехи сокровенного пути человеческого сердца. Пожалуй, более всего удивляет в ней то, что духовное совершенствование Конфуция сливается здесь с ритмом биологических часов его жизни, что моменты внутренних прозрений отмерены общепризнанными рубежами общественного мужания человека. По Конфуцию, человек умнеет, как идет в рост семя – неостановимо, непроизвольно и нескончаемо: нет предела совершенству. Это органическое произрастание духа не знает ни драматических поворотов судьбы, ни каких-либо «переломных моментов». Не знает оно ни раскаянья, ни даже сожаленья. Но оно, конечно, не приходит само по себе, а требует немалого мужества, ибо предполагает способность постичь свою границу, ограничить себя, прозреть неизбывное в «прахе мира сего». Конфуциево «я» живет с меняющимися представлениями о самом себе, его жизнь есть именно путь, и всякий временный итог этого пути ничего не перечеркнет из пройденного. Это изменчивое, подлинно живое «я» не есть некая вневременная данность; оно есть то, чего оно *хочет.* Но в своем вольном пути оно повинуется ориентирующей и направляющей силе – способности судить самого себя, преодолевать свои собственные пределы. Этот путь есть *подвижничество свободы.* Учение Конфуция и есть не что иное, как жизнь – чистая и светлая радость пере-живания.

Отсутствие кризисов жизненного роста, которые, как уверяют психологи, неизбежно сопутствуют процессу мужания человека, составляют столь же великую загадку, как и неизбежность таких кризисов. Мы касаемся здесь одного из самых важных различий между цивилизациями Европы и Китая. Нежелание иметь твердое ядро своего «я», невозможность открыто отстаивать свои личные интересы, свойственные китайскому пониманию личности, вполне вероятно, покажутся европейцу чем-то ненормальным и даже противоестественным. Впрочем, столь же ненормальным покажется китайцу присущее западной традиции стремление

четко определить границы и содержание своего «я» – стремление, очевидно, произвольное и догматическое. Остается признать, что жизненный путь Конфуция – это даже не столько произрастание, сколько именно разрастание сознания, которое в конце концов приходит к безмятежности и покою всеобъятного Океана мировой жизни. Впрочем, как ни покоен океан в своих глубинах, он всегда обращен к нам нестихающей зыбью поверхностных вод. Так и в житии великого мудреца нам видны лишь пена дней, треволнения повседневности…

Мудрость Конфуция – это смыкание духа и тела в жизни осознанной и сознательно прожитой. Тяжесть бренного тела – лучшее укрытие для невесомого духа. Плоть и кровь жизни, материальная бытность быта веют непроницаемой глубиной сознания. Китайский мудрец находит безмятежную радость в переживании опыта, который невыразим и не требует выражения, и в этом, пожалуй, заключается главное его отличие от европейского философа, толкующего об истинах всем доступных и всем понятных. Но если каждое слово Конфуция воистину символично и указывает на нечто отсутствующее в понятном и видимом – на сокровенное «тело жизни», то справедливо и обратное утверждение: внутренняя, интимная реальность, о которой сообщает (а точнее было бы сказать, именно не сообщает) нам жизнь китайского мудреца, не может не изливаться в чисто внешние образы, в декорум бытия, и всеобъятное «тело жизни» не может не быть выставленным напоказ, предельно обнаженным. Такова подоплека потребности Конфуция преобразить жизнь в узор стилизованных жестов. Здесь нет никакого эстетства и актерства. Напротив, перед нами искреннее свидетельствование о реальности, не нуждающейся в выражении, и лишь потому, что она вся «на виду»; реальности, которая несводима ни к идеям, ни к представлениям, ни к фактам, а только передается «от сердца к сердцу» в громовом безмолвии мимического языка тела.

Постигать сокровенную правду Конфуция как Учителя, то есть того, кто сообщает о вечнопреемственном в потоке жизни (и приобщает к нему), нам предстоит, сопоставляя две очень разные перспективы созерцания: одна из них направляет наш взор от внешнего к внутреннему, от зримого образа к внутренне убедительному переживанию правды вещей, ставит пределы отвлеченному знанию, заставляет пережить ограниченность всего понятого и понятного, а другая, наоборот, выводит сокровенное на поверхность, представляет внутреннее как внешнее, творит «миф о Конфуции», предоставляет простор повествованию и размышлению. Вряд ли можно по-иному отнестись к наследию

Учителя Куна, в котором обыденнейшие детали быта дышат эпической торжественностью мифа, а священные предания старины вынесены на суд здравого смысла, и где божественное выворачивается к нам своей человеческой изнанкой.

Правда Конфуция – это самое усилие осознания, которое открывает в человеческом бытии одновременно нечто безусловное, непосредственно данное и вовек недостижимое, угадываемое лишь в символах. Она не дана нам в готовом виде, а постепенно выявляется во взаимных отражениях легенды и жизни. Она есть вечность, зияющая в каждом миге существования. Величественный покой кипарисов на древних могилах. Тонкий аромат хвои в прозрачном воздухе. Бездонная чаша неба, залитая золотым сиянием. Простор цветущей равнины. Голубая даль безмятежного, безбрежного океана.

Конфуций уподоблял сердце мудрого горе. Безыскусное, но веское сравнение. Жизнь Учителя и в самом деле возвышается подобно скале, чья твердость учит дух языку гранитной твердости, чей покой хранит в себе рокот забытых подземных бурь.

Глава первая
Юность Учителя

Наследник старого солдата

В свои неполные семьдесят лет старый воин Шулян Хэ мог быть доволен собой. Оглядываясь в этом почтенном возрасте на свою долгую – необычно долгую для воина – жизнь, он не мог припомнить за собой ни одного малодушного поступка. Нет, он не был трусом. С той давней поры, когда он впервые взял в руки лук и копье, он честно служил своим господам, правителям царства Лу, и вышел из яростных схваток живым и невредимым. Поистине Небо благоволило ему! А впрочем, и то верно, что достойных противников для него пришлось бы поискать. Огромного роста, кряжистый и сильный, как буйвол, он был в бою почти недосягаем для врагов. Во времена, когда люди бились бронзовыми мечами и секирами и еще не имели понятия о военной тактике и регулярном строе, когда война была еще жестокой забавой малочисленного сословия господ и их слуг, на поле брани превыше всего ценились личная отвага и удаль воинов. Шулян Хэ был отчаянный рубака, и за ним числились подвиги, прославившие его в целом царстве. В одном из сражений он с горсткой верных товарищей пробился сквозь гущу врагов и спас от неминуемой смерти несколько знатнейших людей царства. Но с особенным удовольствием Шулян Хэ вспоминал случай, произошедший еще раньше во время осады одной маленькой крепости. Тогда сразу несколько царств решили «наказать» правителя небольшого удела и послали против него многочисленное войско. Но жители пограничного городка в тех владениях оказали карательному отряду отчаянное сопротивление, осада затягивалась. И вот однажды, проснувшись утром, осаждавшие увидели, что ворота крепости распахнуты настежь. Решив, что неприятель сдается, Шулян Хэ и его товарищи первыми ринулись в крепость, чтобы захватить лучшую добычу, но едва вбежали они в ворота, как позади них с грохотом опустилась на землю тяжелая заградительная решетка, и нападавшие оказались запертыми во внутреннем дворике ворот. Казалось, их ждала неминуемая гибель. Тогда Шулян Хэ своими могучими ручищами приподнял решетку и держал ее на весу до тех пор, пока все воины, попавшие в западню, не выскользнули наружу. А ведь ему в то время было под шестьдесят! В награду за подвиг и верную службу правитель назначил его управляющим небольшим местечком, которое называлось Цзоу. Хоть и невелика должность, а все же она обеспечивала ветерану сытую и спокойную старость.

Да, теперь, у края могилы, Шулян Хэ мог сказать себе, что не

посрамил своих предков. А они у старого воина были именитые – такие именитые, что, пожалуй, и предкам самого правителя царства не уступили бы. С гордостью объявлял Шулян Хэ каждому новому знакомому, что он человек царских кровей, потомок основателя династии Шан, великого Чэн Тана, о котором люди уже ничего в точности не помнили, но имя его неизменно поминали с благоговейным трепетом.

С незапамятных времен предки Шулян Хэ владели уделом в соседнем с Лу царстве Сун. Первый из них, чье имя сохранила история, жил за пятнадцать поколений до Конфуция. Позднее вожди клана Кун неизменно занимали высокие посты при дворе. Среди них мы встречаем и удачливого полководца, и известного ученого, знатока словесности и музыки, и государева советника, у которого была на редкость красивая жена. Вот эта красавица жена и стала, помимо своей воли, виновницей бед, обрушившихся на род Кунов. Случилось так, что она приглянулась некоему всесильному царедворцу, и тот по доносу добился казни ее мужа, а потом устранил и правителя, вступившегося за честь своего советника. В конце концов Кунам пришлось покинуть родину и перебраться в расположенное по соседству царство Лу. Это случилось при жизни прадеда Шулян Хэ. На новом месте беглецы могли чувствовать себя в безопасности, но надежды на возрождение былого престижа их рода у них, конечно, не было. На их долю оставалось только ратное дело – черная работа знатных людей. Чем они могли утешить себя? Разве что сознанием честно исполненного долга да еще тем, что в злоключениях своих они не были одиноки: в те времена наследников в домах знати было намного больше, чем уделов и должностей при дворе, и обедневшие, захудалые отпрыски знатных семейств повсюду росли в числе.

Некоторые излишне критически настроенные современные историки ставят под сомнение традиционную генеалогию Конфуция на том основании, что она встречается лишь в поздних источниках, и сам Конфуций ни разу не упомянул о ней. В «Беседах и суждениях» не упоминается и имя отца Конфуция. Там его называют просто «человеком из Цзоу». Поэтому современные критики конфуцианства полагают, что версия о «царском происхождении» Учителя Куна была сочинена его последователями для того, чтобы поднять авторитет родоначальника школы. Конечно, в претензиях на родство Кунов с легендарными царями легко угадываются амбиции знатного, но захиревшего рода, и переоценивать их значение не следует. Однако известно, что сам Конфуций считал себя потомком сунской знати, а в Сунском царстве был только один клан,

носивший фамилию Кун. Другое дело, что Конфуцию, сыну мелкого военачальника, не с руки было подчеркивать свое благородное происхождение перед лицом куда более именитых и могущественных людей. Да он и не думал об этом: для него всегда было важно не благородство крови, а благородство сердца. И сам он едва ли не более всех прочих деятелей китайской истории способствовал тому, что аристократизм в Китае не принял ту сословную окраску, которую он имел, скажем, в средневековой Европе или Японии.

Но вернемся к Шулян Хэ. Как бы ни уверял тот себя, что достойно прожил свою жизнь, все же его главный долг перед предками остался невыполненным: он так и не обзавелся наследником. Родить сына – что может быть проще? В молодости он и сам так думал, а в жизни вышло по-другому. Когда подошел срок обзавестись семьей, отец с матерью, как было принято в семьях служилых людей, сами подыскали ему подходящую невесту, выбрали счастливый день для свадьбы, позвали колдуна отогнать злых духов от новобрачных, дали семье невесты выкуп и помолились предкам о рождении сына. Вскоре молодые уже ждали первенца. К огорчению молодого отца, на свет появилась девочка. Потом жена родила ему и вторую дочь, и третью… и пятую… и седьмую! А сына все не было. Никакие посулы духам, никакие заговоры и талисманы не помогали. Соседи уже чуть ли не в глаза подсмеивались над Шулян Хэ: такой здоровяк, а сделать себе мальчика не может! Шутки соседей стерпеть было нетрудно. Но как снести гнев предков? Ведь только мужским потомкам дозволяется подносить душам усопших родителей жертвенное мясо и вино, молить их о защите от напастей и благоденствии дома. Если некому будет заботиться о них в подземном царстве мертвых, где вечно текут-струятся Желтые ключи, им суждено навеки стать злыми духами, терзаемыми голодом и жаждой. И в целом свете уже никто не сможет им помочь. Неужели такая горькая участь уготована небесами честному старому служаке?

Другой на месте Шулян Хэ давно уж обзавелся бы второй женой и с ней попытал бы счастья. Но, видно, храбрый воин крепко любил свою супругу и все надеялся, что рано или поздно она подарит ему наследника. Восьмой ребенок снова оказался девочкой. Шулян Хэ рискнул попытать счастья еще раз. И снова дочь – девятая по счету! Это было чересчур даже для такого любящего мужа. Ему уже пошел седьмой десяток, и медлить было нельзя. Он взял вторую жену – и – о, счастье! – через год у него родился-таки сын. Но горю отца не было предела, когда он, развернув лоскут, в который завернули новорожденного, увидел

его неестественно подвернутую ножку и понял, что сыну суждено до конца жизни быть хромым. Обычай строго запрещал калекам приносить жертвы усопшим предкам. Обращаться, будучи увечным или раненым, с молитвой к тем, кто дал тебе твое тело и продолжает жить в нем, считалось у древних китайцев непростительной наглостью.

Что оставалось делать потомку доблестных Кунов? Он решился подыскать себе новую невесту. Но кто в здравом уме согласится отдать свою дочь за семидесятилетнего старика, да еще обремененного девятью дочерьми и сыном-калекой? Тут уж не до церемоний, не до обходительных речей, а намеки на нежные чувства и любовное томление и вовсе неуместны. Приходилось искать кого-нибудь победнее да посговорчивее… Вскоре Шулян Хэ остановил свой выбор на дочерях человека, о котором известно лишь, что он носил фамилию Янь. Девушек было трое: двум старшим уже минуло двадцать, а третья еще не достигла брачного возраста – ей тогда не исполнилось и шестнадцати. Их отец, кажется, охотно бы породнился с местным начальником, но обстоятельства предполагаемого брака были настолько необычны, что он в нарушение незыблемого порядка решил испросить согласия дочерей. Две старшие, узнав о предложении Шулян Хэ, в ответ лишь опустили головы и, смущенные, промолчали, а младшая – ее звали Чжэнцзай – неожиданно для всех сказала: «Пусть будет так, как желает батюшка. Добрая дочь отцу перечить не смеет!» И Шулян Хэ, рассчитывавший, вероятно, на одну из двух перезрелых невест, нежданно-негаданно получил в жены совсем юную девушку.

Остается только догадываться, каким образом стал возможен столь неравный брак. Наверное, Шулян Хэ полагал, что старшим дочерям его предполагаемого тестя уже не удастся выйти замуж, и соблазнил их отца богатым выкупом за невесту. Возможно, новый тесть был его старинным приятелем и решил помочь ветерану в его беде. Очень может быть, что брак Шулян Хэ с девицей из семьи Янь был неравным еще и по социальному положению новобрачных. Если отец невесты был простолюдином – одним из тех обитателей убогих хижин за городской стеной, которые круглый год трудились в поле, а жили впроголодь, то для него, конечно, было немалой честью породниться с потомком именитого рода, даже если жених оставлял желать лучшего.

Существует, наконец, еще одно объяснение: невеста Шулян Хэ прочилась ее отцом в шаманки, которые жили при родовом храме предков, ведали сношениями живых и мертвых и считались «девушками духов». Собственной семьи такие девицы не имели и в обществе занимали довольно низкое положение. В родных краях

Шулян Хэ такую роль – весьма важную в жизни клана – отводили младшим дочерям в семье. Примечательно, что Конфуций, еще будучи мальчиком и живя вдвоем с матерью, целыми днями развлекался игрой в заупокойные обряды и уже в молодые годы прослыл большим их знатоком. А по мнению современников, лицо Конфуция напоминало маску божества, которую несли в похоронной процессии, чтобы отгонять нечистую силу. В устах древних такие сравнения были в гораздо меньшей степени метафорой, чем кажется нам сегодня.

Сыма Цянь сдержанно сообщает, что Шулян Хэ вступил в «дикий брак» – поступок, не слишком украшающий отца величайшего Учителя Китая. Очевидно, это был брак, заключенный в нарушение обычая, не вполне законный. Жизнь мужчины, считали древние китайцы, регулируется числом восемь: в восемь месяцев у него появляются молочные зубы, в восемь лет он их теряет, в шестнадцать лет (дважды восемь) достигает зрелости, а в возрасте шестидесяти четырех лет (восемь раз по восемь) мужская сила оставляет его. А в жизни женщины все решает число семь: в семь месяцев у девочек прорезываются молочные зубы, а в семь лет выпадают, в четырнадцать лет (дважды семь) девушки достигают зрелости, а в сорок девять (семь раз по семь) женщина перестает рожать. Что и говорить, поздновато было Шулян Хэ жениховаться, да нужда заставила.

Но и «дикий брак» может быть счастливым.

Прошло немного времени, и новая жена Шулян Хэ, к его великой радости, понесла в чреве. Счастливый муж не стал искушать судьбу. Посоветовавшись на всякий случай с местными колдунами и гадателями, он решил просить о заступничестве духа расположенного по соседству Грязевого холма – Ницю. Вероятно, он уже делал так накануне рождения своего хромого сына, потому что дал своему первенцу имя по названию этой самой горы: Бони, что значит «Старший Ни». Шулян Хэ сам сопровождал Чжэнцзай, когда она ходила молиться духу горы, и отбирал для жертвоприношений самое чистое вино и самое нежное мясо, с утра до вечера читал заговоры против нечистой силы.

Дальнейшие события относятся больше к области легенды, что и не удивительно: ведь рождение великого мудреца на этой грешной земле – всегда чудо. Предание гласит, что с тех пор, как Чжэнцзай дала обет духу Грязевой горы щедро отблагодарить его, если он пошлет ей сына, на небе сменилось пять лун, и однажды во сне она увидела бога с черным, как сажа, лицом, и бог сказал ей, что ее мечта сбудется и у нее родится необыкновенный сын. «Но родиться твоему сыну предстоит в дупле тутовника», –

добавил темнолицый бог и исчез. Этому доброму предзнаменованию Чжэнцзай очень обрадовалась. Но что означает пророчество о дупле тутового дерева? Поразмыслив немного, супруги вспомнили, что как раз на Грязевой горе есть пещера, которую окрестные жители называли «Дупло тутовника». Еще люди рассказывали, что, когда Чжэнцзай с мужем шли молить духа Грязевой горы, листья на деревьях поднимались кверху, как бы приветствуя их, а когда супруги шли обратно, листья склонялись, словно отвешивая поклон. В другой легенде повествуется о том, как Чжэнцзай незадолго до появления на свет ее сына встретила (или увидела во сне) единорога – волшебного зверя с телом лошади, хвостом быка и единственным прямым рогом, растущим из середины лба. Чжэнцзай обвязала его рог шелковой лентой (об этом эпизоде упоминается в цитировавшемся выше гимне во славу Конфуция). Едва ли эта легенда родилась среди ближайшего окружения Учителя Куна: не такой он был человек, чтобы рассказывать о себе небылицы. Однако известно, что явление единорога издревле слыло в Китае предвестием прихода в мир великого мудреца. Впрочем, так считали не только китайцы, но и многие другие народы древности. Еще и в средневековой Европе чернокнижники давали советы любителям чудес, как ловить единорога, выставив на него в качестве «приманки» молодую девушку.

Как бы то ни было, когда Чжэнцзай пришло время рожать, она поселилась в указанной ей пещере на склоне Грязевой горы и там произвела на свет малыша. Древние хроники указывают даже точную дату этого события: 22 сентября 551 года до н. э. – точно в день осеннего равноденствия. Разумеется, и на сей раз не обошлось без волшебства. Рассказывают, что при рождении великого Учителя Китая окрестности огласила лившаяся с небес дивная музыка, и где-то в голубых высях неведомый голос изрек: «Небо, вняв твоим мольбам, дарует тебе мудрейшего из сынов человеческих». Еще говорят, что в тот день над крышей дома будущего мудреца резвилась пара драконов, а во двор дома «вошли пятеро старцев». Правда, предание умалчивает, какие дары принесли эти китайские волхвы. Крестьяне в окрестностях Грязевой горы еще и сегодня любят рассказывать истории о том, как птицы небесные обмахивали крылами новорожденного Конфуция, чтобы тот не страдал от жары, как звери защищали его от ядовитых гадов, а вода в ближайшем колодце вдруг стала бить фонтаном, чтобы мать смогла обмыть и напоить младенца.

Действительность, без сомнения, была намного прозаичнее этих красивых рассказов. Чжэнцзай принесла Шулян Хэ счастье, но ей предстояло вернуться к мужу, чьи годы, если не месяцы,

были уже сочтены, и, вероятно, жить в одном доме со смертельно уязвленными старшими супругами Шулян Хэ. На первых порах все было хорошо. Как полагается, отпраздновали рождение сына, и отец дал младенцу имя Цю, поскольку, согласно разъяснению Сыма Цяня, тот родился с продавленным теменем, отчего форма его головы напоминала очертания Грязевого холма. По обычаю, ребенку дали и второе имя – Чжунни, что значит Средний Ни.

В жизни маленького Цю все переменилось, когда умер его отец. Будущему мудрецу в то время едва исполнилось два года. По неизвестной причине Чжэнцзай вместе с сыном спешно покинула дом Шулян Хэ. Возможно, она была вынуждена покинуть дом мужа и уехать из-за ревности двух первых жен Шулян Хэ. А может быть, она выполняла условия своего «дикого брака» и возвратилась к своим родственникам, надеясь к тому же получить от них поддержку. Во всяком случае, разрыв был полным: мать Конфуция даже не узнала, где похоронен ее муж. Скорее всего, жены Шулян Хэ сочли за благо полностью оградить себя от удачливой соперницы. Юная вдова поселилась в небольшом домике у юго-западного угла городской стены столицы Лу – Цюйфу. Там мальчик Цю из рода Кунов и вступил в сознательную жизнь.

В центре Вселенной

С высоты сегодняшнего дня эпоха Конфуция видится такой глубокой, такой темной стариной, что мы почти не различаем или не придаем значения временам, ей предшествовавшим. А между тем Конфуций имел за спиной опыт по меньшей мере полуторатысячелетнего развития самобытной цивилизации и был столь многим обязан достижениям и урокам этого развития, что считал своим долгом «не сочинять, а передавать» будущим поколениям мудрость, обретенную в прошлом. Что же за мир окружал маленького Цю из рода Кунов? Какой открывалась первому Учителю Китая его любимая древность?

Этот мир, казалось, и в самом деле окружал со всех сторон молодого жителя столицы Лу, как если бы он находился в самом центре Вселенной. Ни Конфуций, ни кто-либо из его современников не допускал и мысли о том, что их родина могла быть не единственной и, более того, не единственно возможной цивилизованной страной на свете. Мог ли кто-нибудь усомниться в этом, если вокруг нее простирались дикие, непригодные для обитания людей края – настоящие окраины, задворки мира? На севере – плоские и безводные степи, где зимой не было спасения от лютой стужи. На западе – раскаленные пустыни и заоблачные горы, словно венчавшие землю с небосводом. На юге – смрадные болота и непроходимые леса, полные хищных зверей и ядовитых гадов. А на востоке раскинулся без конца и без края великий океан, кишащий неведомыми чудовищами. Во всех этих пределах могли селиться разве что полулюди, подлые и невежественные варвары, существа «с лицом человека и сердцем зверя». Древние китайцы так и различали другие народы по сторонам света, не слишком интересуясь, соответствует ли такое разделение действительности. На севере, по их представлениям, обитали жестокие и воинственные степняки *ху,* на западе – столь же злобные и коварные кочевые племена *жунов,* на юге – малорослые, по-птичьи говорящие *мань,* на востоке – варвары *и,* наиболее восприимчивые к благам цивилизации. Все эти варварские владения располагались, как воображали древние китайцы, на одном большом континенте, окруженном со всех сторон мировой пучиной.

В центре обитаемой земли и даже всего мироздания находился цивилизованный мир древних китайцев, их ойкумена, что по-китайски с глубокой древности называлось просто Поднебесной – *Тянься.* Уже во времена Конфуция жители древнего Китая (а их потомки и по сей день) называли свою

страну также Срединным государством – *Чжунго*. У них были все основания гордиться своей родиной: сравнительно мягкий климат, плодородные почвы, приятно радующий глаз разнообразный рельеф с широкими долинами и холмами, реками, лесами и даже горами выгодно отличали ее от унылого однообразия «варварских» земель. Границы тогдашней китайской Поднебесной были намного меньше нынешней территории Китая: они охватывали лишь равнину северной части страны. С глубокой древности в Китае сложились устойчивые образы отдельных элементов ландшафта, отобразившие отношение древних китайцев к окружающей их природе. Перечислим основные элементы этой топографии – почти в равной мере физической и духовной – китайской цивилизации.

Земля. В целом мире не найти народа более привязанного и более внимательного к земле, чем китайцы, – самый многочисленный и едва ли не самый древний из всех земледельческих народов. Справедливо было бы сказать, что у китайцев не столько человек мера вещей, сколько почва – мера человека. От плодородия почвы, богатства природы зависело, как верили в Китае, не только процветание местности, но и количество рождавшихся там талантливых и мудрых людей: считалось, что качество почвы, или, по-китайски, дыхание земли, определяло нравы местных жителей. В китайском языке эпитет «земляной» обозначает все, что имеет отношение к родине, к местным особенностям культуры и народной жизни – фольклору, продуктам хозяйства, местным достопримечательностям. Сама же земля воспринималась древними китайцами как бы в двух измерениях. С одной стороны, она есть плодоносящее материнское тело, живой организм со своей сложной сетью невидимых каналов, по которым циркулирует энергия мира. Таков космический лик земли. С другой стороны, земля – это возделанное поле, выступающее прообразом не раздолья и воли, а порядка и ухоженности. В аккуратной геометрии крестьянских полей осуществляется мироустроительная миссия власти. И у самой кромки поля, под холмиками безымянных могил покоятся усопшие предки, так что поле, дающее урожай и вместе с ним – жизнь через смерть, служит еще и посредником между живыми и мертвыми. Таковы грани человеческого лика земли. На деле перед нами, конечно, два профиля одного лика: землеустроение есть не что иное, как устроение мира, сеть полей – прообраз «небесной сети» мироздания, пахота – подобие духовного подвига, произрастание семени – тайна человеческого самосовершенствования.

Реки. Потоки вод – и на поверхности суши, и подземные –

образуют как бы кровеносную систему тела матери-земли. Они питают все живое. Но та же вода, вышедшая из берегов, подобно кровоточащей ране несет изнеможение и смерть. Стало быть, задача мудрого состоит в регулировании течения вод. Пример подал Великий Юй, легендарный царь древности, укротивший потоп и указавший всем рекам путь на земле. Высший подвиг для китайца – строительство дамб и каналов. И уже современники Конфуция делали это умело. Двойственная роль водной стихии – жизнетворной и смертоносной – с незапамятных времен воплощалась для обитателей Срединной страны в главной водной артерии Северного Китая, которая поначалу именовалась просто Рекой, а позднее получила по цвету ее илистых вод название Хуанхэ, что значит Желтая река. Эта самая река, кормившая половину Поднебесной, каждый год угрожала людям катастрофическим разливом… Река как течение общественных событий? Такое сравнение нисколько не казалось китайцам натянутым. Управлять людьми, по китайским понятиям, – все равно что управлять водным потоком: не нужно прилагать усилий для того, чтобы заставить воду течь в том направлении, куда она стремится по своей природе, но горе тому, кто попытается преградить ей путь.

Горы. Островки высоких гор придают особый колорит преимущественно равнинной топографии Срединной страны. Эти гигантские пузыри земли, пронзающие своими вершинами небеса, излучают тончайшую энергию мировых стихий. Обступая равнину с разных сторон, разрезая ее грядами на отдельные области, они напоминают о вселенской планиметрии: пять священных пиков символизируют стороны света и центр мира, цепи гор поменьше устанавливают различия между западом и востоком, югом и севером. Но, пожалуй, в еще большей степени горы напоминают обитателям равнин о возможности иного ракурса, иной перспективы созерцания. Они позволяют людям взглянуть на свою жизнь со стороны, заново открыть мир. В таком случае не покажется случайностью тот факт, что в классической живописи Китая принята точка зрения наблюдателя, стоящего на вершине горы: все предметы изображены как бы с бесконечно большого расстояния издали и сверху. Еще ранее подобный способ созерцания отобразился в китайской поэзии.

Ветер. Наименее материальный и наиболее духовный элемент топографии. И, кажется, наиболее интимный: ветер разносит запахи. В китайской традиции он есть вестник «аромата древности» и в этом качестве доносит веления мертвых до живых. Оттого же он является основой политики. «Ветер», исходящий от правителя, пригибает народ-траву и создает «течения» в

общественной жизни. Существо общественного бытия как интимной публичности и публичной интимности – это «ветер и поток» духовных устремлений людей. В широком же смысле вся земля, весь мир представляют собой комбинации «веяний» и «течений», и знатоки этой науки «ветров и вод» *(фэн шуй)* издавна указывали в Китае места, благоприятные для погребения, строительства дома, рытья колодца и т. д.

Живя в изоляции от других ранних очагов мировой культуры, древнейшие жители Среднекитайской равнины – а они появились там по меньшей мере за шесть тысячелетий до н. э., – создали оригинальную цивилизацию со своим особым типом взаимоотношений человека и природы, прочным и цельным укладом жизни, устойчивыми культурными традициями. Эти люди были, как уже говорилось, прежде всего земледельцами, тысячами уз связанными с родной землей. За много веков до Конфуция они научились выращивать культурные злаки – чумизу, просо, пшеницу, а также рис, хотя тот во времена Конфуция был еще редким угощением и появлялся лишь на столах знатных людей. Не зная винограда, они готовили вино из зерна и добавляли в него ароматные травы. Они очень рано научились получать нить из кокона тутового шелкопряда и изготовлять из нее прочные и теплые шелковые ткани, которыми потом так восхищался весь мир. В те времена возделывать можно было только земли в долинах рек, поэтому крестьянам приходилось бережно ухаживать за каждым клочком своего поля. А зимой, когда поля отдыхали, их жены выделывали шелковую пряжу и с помощью травы индиго красили ее в свой излюбленный темно-синий цвет.

Задолго до Конфуция кончились времена, когда предки древних китайцев умели выделывать только каменные топоры, костяные ножи и глиняную посуду. Уже в начале II тысячелетия до н. э. в Китае открыли секрет изготовления бронзы и с тех пор отливали из этого металла разные виды оружия: мечи, топоры, наконечники стрел, отдельные части боевых колесниц, но главное – сосуды разной формы, предназначавшиеся для жертвоприношений усопшим предкам. При Конфуции бронзовые изделия уже проникли в быт простых людей, но одновременно появился гораздо более прочный металл – железо. Железные предметы были тогда еще в новинку, а литейщики и кузнецы, умевшие повелевать металлом, казались настоящими кудесниками. И все-таки железный век неумолимо надвигался, неся крутые перемены и в обществе, и в политике, и в культуре. На равнине Желтой реки поднялись сотни городов, обнесенных высокими стенами из утрамбованной земли. Порой они

насчитывали по десятку и более тысяч жителей. Большие мастерские и целые кварталы, заселенные ремесленниками, монеты, отливавшиеся в виде ножа, лопаты и, наконец, более привычной для нас круглой монеты с дыркой – все это свидетельствует о высокоразвитой городской жизни, о превращении ремесла и торговли в заметную общественную силу.

Еще за тысячу лет до Конфуция древние жители равнины Желтой реки изобрели собственный календарь, который не имел себе равных по всей Восточной Азии. Это был в своей основе лунный календарь, то есть начало каждого месяца совпадало в нем с новолунием, но он учитывал и движение солнца, которое определяет смену времен года и, следовательно, годовой цикл земледельческих работ. В итоге этот календарь сводил в единый ритм движение светил на небе, годовой круговорот природы и хозяйственную деятельность людей. Так он стал убедительной иллюстрацией фундаментальной идеи китайской цивилизации – идеи взаимного соответствия, органического единства трех сил, трех начал мироздания: Неба, Земли, Человека.

Вместе с календарем в Китае появилось другое великое изобретение – иероглифическая письменность. Последняя первоначально состояла из пиктограмм, то есть рисунков отдельных предметов. Но как быть, если возникала необходимость передать на письме отвлеченные понятия? С этой целью создавались комбинации пиктограмм, служившие иллюстрацией той или иной идеи, – так называемые идеограммы. Например, сочетание знаков дерева и поднимающегося над ним солнца получило значение «восток». Однако и этот прием оказался недостаточным. Со временем появились более сложные знаки, состоявшие из двух частей: одна указывала на класс предметов, к которому принадлежала обозначаемая вещь, другая представляла собой фонетическую запись соответствующего слова. Такие иероглифы составили в китайской письменности подавляющее большинство. Постепенно определились правила начертания знаков, хотя до полной их унификации в пределах всей Срединной страны было еще далеко. Во времена Конфуция не существовало традиционных для Китая письменных принадлежностей – бумаги, кисточек, туши. Письменные знаки вырезали или процарапывали резцом. Тут было не до красоты – от писца требовалась первым делом аккуратность. Уже появились книги, но грамотность все еще оставалась привилегией очень узкого слоя знатных людей и профессиональных писцов.

В глазах древних обитателей Срединной страны их календарь и письменность могли служить очевидным доказательством превосходства над всеми прочими племенами, ведь те никогда не

умели ни писать, ни вести по-своему счет времени. Но то были, конечно, далеко не единственные символы культурной общности древних китайцев. Не забудем, что эти люди населяли единую равнину – некий целостный географический район, и это способствовало их тесному общению между собой. У них сложился единый хозяйственный уклад, а тот в свою очередь предопределил общность самых разных сторон быта, начиная с облика жилищ и кончая годовым ритмом праздников. Условия жизни китайцев были настолько постоянны, что многие их старинные обычаи благополучно дожили до нашего времени. А в ту далекую эпоху древние китайцы, стремясь отличить себя от «варваров», придавали особое значение манере одеваться и причесываться: житель Срединной страны должен был носить халат «не такой длинный, чтобы он касался земли, и не такой короткий, чтобы были видны ноги», а главное – обязательно запахнутый направо. Другим признаком цивилизованности стал для них обычай собирать волосы в пучок и закалывать их шпилькой. Ходить с распущенными волосами и без шапки, сидеть вытянув ноги, а за едой не пользоваться палочками считалось среди них дикостью.

И все-таки главным залогом единства обитателей Поднебесной были их общая память, общий исторический опыт. Предание, уходившее в незапамятные времена, гласило, что сначала, в «золотой век» человечества, Поднебесной управляли премудрые цари, а последний из них, Великий Юй, – тот самый, который укротил всемирный потоп, – положил начало династии Ся. Наверное, царство Ся никогда не существовало на свете, но именно его название стало в эпоху Конфуция самоназванием древних китайцев. Что же касается сменившей Ся династии Инь (или Шан), то о ней имеется множество вполне документальных свидетельств. В период правления Инь – во II тысячелетии до н. э. – на равнине Желтой реки сложилось довольно сильное государство, державшее в подчинении десятки племен. Власть в нем безраздельно принадлежала царю. У иньцев только царь – «единственный из людей», как он себя называл, – имел право обращаться к предкам – заступникам царства, карать и миловать, жаловать звания, затевать военные походы. Уже тогда иньские цари носили традиционный для верховных правителей в Китае титул *вон.* Их любимыми занятиями были охота, пиры и войны с окружающими племенами. Захваченных в этих войнах пленников они обращали в рабство, а чаще приносили в жертву предкам. Пожалуй, самой примечательной чертой общественного строя Инь являлось почти полное совпадение семейно-клановой организации и государства. Отношения между людьми в семье и

клане служили для иньцев образцом иерархии в обществе и всего политического устройства. Собственно, иньское государство было не чем иным, как «родовым телом» иньского царя, включавшим в себя как живых, так и мертвых членов царского рода. Загробный мир у иньцев был не просто отражением, а прямым продолжением земного мира: богами были их предки *(ди),* бывшие живые люди, причем положение и могущество каждого усопшего предка, как и человека, определялось его местом на родовом древе. Здесь надо искать причины любопытного переплетения двух, казалось бы, несовместимых сторон общественной жизни иньцев: скрупулезной, педантичной регламентации поведения и приверженности к разным видам экстатического общения людей и богов – например, во сне, во время праздника или посредством многочисленных человеческих жертвоприношений. В поздний период правления Инь обе эти тенденции заметно усилились, и обнажившееся противоречие между ними повлекло за собой кризис и гибель иньской культуры.

В конце XII века иньцы были покорены племенем Чжоу – бывшим союзником и вассалом на западных рубежах их владений. Одержав военную победу над своими прежними господами, чжоусцы выказали себя прилежными учениками побежденных. Они переняли у иньцев календарь и письменность, технику литья бронзы и строительства крепостей, вооружение и многие черты быта. Их предводитель тоже взял себе титул *вана* и получил власть над всеми обитателями Поднебесного мира. Более того, чжоуский государь считался посредником между Небом и Землей, средоточием мирового круговорота и поэтому носил звание «Сына Неба».

Чжоусцы унаследовали и главную особенность иньского общества: неразрывную связь семьи и государства. Их первые правители ввели традицию пожалования царским родственникам знатных титулов и земельных владений в соответствии со степенью родства. Всего ими было учреждено более пятидесяти уделов для родичей и еще несколько десятков для предводителей дружественных племен. Владельцам уделов присваивались знатные титулы пяти степеней. Самыми почетными считались звания гуна и хоу, а собирательным названием титулованной знати Чжоу стало словосочетание *чжу хоу,* что означает «все хоу». Таковых в начале правления Чжоу было около двух сотен.

Хотя владения «чжу хоу» были наследственными, право владеть ими передавалось только старшему сыну. Младшие же сыновья, основывавшие боковые ветви клана, получали титул рангом ниже, и через несколько поколений их потомки вообще

выбывали из клана и переходили в разряд простолюдинов. Со временем в чжоуском царстве возникла довольно значительная прослойка не имевших уделов и титулов отпрысков знатных семейств. Этот низший слой аристократов называли *ши.* К числу *ши* и принадлежал отец Конфуция.

Чжоусцы обладали гораздо более отчетливым сознанием своей общности, нежели их предшественники иньцы. И сплачивали пирамиду чжоуской аристократии отношения, которые вроде бы знакомы современным людям, а на деле малопонятны и даже чужды им: отношения обмена дарами. Надо сказать, что институт дарения и дарообмена – один из важнейших в архаических обществах, в позднейшие же эпохи человеческой истории он играл скорее декоративную роль. Обмен дарами для древних людей не был, конечно, обычной сделкой. Он прежде всего удостоверял социальный кредит человека, его положение в обществе. Он устанавливал, кто старший и кто младший, кто господин, а кто слуга. Одаривая слугу, господин являл свою милость, слуга же в благодарность за оказанное благодеяние должен доказать свою преданность господину, служить ему «не щадя живота своего». В древнекитайской книге «Записки о ритуале» читаем: «Коли обогатится простолюдин, то пусть подарит он свое богатство главе семьи. Коли обогатится служилый человек, то пусть преподнесет он свое богатство господину.

Коли обогатится господин, то пусть вверит он свое богатство Сыну Неба. А коли придет богатство к Сыну Неба, пусть он уступит блага Небу». У отношений дарообмена своя логика, которая диктует: чтобы обладать, нужно уступать. Оттого институт дара утверждает символическую природу всякого жеста или поступка: чтобы обрести власть, нужно отречься от власти; чтобы возвыситься, нужно умалить себя. Пожаловать удел в чжоуском обществе вовсе не означало одарить подчиненного богатством. По этому поводу обычно дарились мелкие, имевшие чисто символическое значение предметы вроде набедренной повязки, морских раковин, подвесок, поясов, бунчуков и непременно жертвенные сосуды, на которые наносили надписи, удостоверявшие акт дарения. Вырезали эти надписи на внутренних стенках сосуда, ведь они были обращены не столько к живым, сколько к усопшим. Жалуя удел, вручали и символизировавший его кусок земли. В любом случае господину полагалось всячески выказать свою щедрость. Нередко он давал больше, чем получал от подвластных ему людей. В идеале, согласно представлениям чжоусцев, все богатства Поднебесной должны были стекаться к вану, а тому следовало распределять их

в соответствии с рангом каждого его подданного. В чжоуском обществе, таким образом, знатность предопределяла достаток человека: каждый мог иметь ровно столько, сколько ему было указано, и вести только такой образ жизни, который был предписан ему этикетом. Впрочем, это не значит, что в ту эпоху люди более знатные были обязательно богаче менее знатных. Для владетельной знати слава и почет были важнее всех сокровищ мира.

Чжоуский аристократ более всего заботился о своем престиже. Ему приходилось неустанно подтверждать свою личную доблесть и перед богами, и перед людьми. Эта потребность «соответствовать званию» пронизывала все мировоззрение чжоусцев и оправдывала в их глазах самое существование династии. Первые чжоуские цари утверждали, что Небо вручило им власть за их личные добродетели и добродетели их предков, а династию Инь постигла справедливая кара за то, что ее последние правители ожесточились сердцем и погрязли в пьянстве, распутстве и прочих пороках. Небо для чжоусцев – некий высший судья: оно награждает достойных и карает злодеев. Но это означало, что благосклонность небес вовсе не была обеспечена чжоускому дому на все времена, что расцвет и упадок царств – дело рук самих людей и что милости Неба следовало добиваться и постоянно подтверждать успешным правлением.

Новый взгляд чжоусцев на отношения между людьми и небесными силами имел далеко идущие последствия. В частности, он привел к тому, что религия у чжоусцев стала уступать место этике, и священные мифы древности понемногу преобразились в назидательную хронику исторических событий. С легкой руки придворных писцов чжоуского царства, создателей первых канонических книг Китая, древние боги стали персонажами человеческой истории – правителями, сановниками, добродетельными отшельниками, полководцами, тиранами и проч. Чжоуские книжники, в противоположность историкам Древней Греции, не делали различия между историей и преданием; они считали исторической истиной то, о чем сообщали записи древних. Они знали как раз то, о чем никто не мог помнить! Та же мировоззренческая посылка отображена в словах известного конфуцианского ученого XI века Чжан Цзая, который говорил: «Мое я имеет пределы, но сердце пребывает за пределами наличного». Но если сознание бесконечно превосходит человеческую субъективность, то и все формы опыта, превосходящие мое я – сны, видения, фантазии – столь же реальны и даже, может быть, более реальны, чем знание, которым мы обладаем, находясь «в здравом уме и трезвой памяти». Мы

можем устанавливать действительность, воображая ее! Здесь уже заметны истоки одного из ключевых мотивов китайской традиции: стремление равно доверять и сну и бодрствованию, нежелание противопоставлять воображаемое и реальное. Впрочем, взаимное соответствие того и другого подразумевает и известное усилие согласования субъективной воли с внешним миром, а это усилие, в свою очередь, сообщает преданию нравственное оправдание, превращая его в назидательный рассказ.

Об этом странном слиянии фантастики и обыденности, которое порождает назидательный смысл в речи, свидетельствует исторический труд Сыма Цяня, который открывается буквально следующими словами:

«Хуан-ди – потомок Шаодянь, носил фамилию Гунсунь, имя Сюаньюань. От рождения он обладал необычайными способностями, в младенчестве умел говорить, в детстве был смышлен, в отрочестве – прозорлив, а став совершеннолетним, отличался недюжинным умом. В то время чжу хоу погрязли в усобицах и терзали народ. Сюаньюань стал упражняться в искусстве владения копьем и щитом, чтобы покарать тех, кто не являлся с дарами, и тогда же чжу хоу прибыли ко двору с изъявлением покорности» и т. д.

Даже не верится, что перед нами рассказ о первопредке жителей Срединной страны, о первом человеке на земле. Все как нельзя более просто, понятно и даже буднично. Остается только недоумевать, какие предки могли быть у прародителя человечества. А в остальном ни дать ни взять – картинка из жизни чжоуских времен.

Итак, в чжоуской традиции религия обернулась этикой, человек в ней как бы заслонил собой богов. Акцент на моральной и совершенно беспристрастной воле Неба сделал очень важным для чжоусцев понятие народа, что можно заметить уже по процитированному фрагменту книги Сыма Цяня. Народ в чжоуских источниках объявляется глашатаем воли Неба, и забота о нем ставится даже прежде заботы о духах. Ничего удивительного: анонимно всеобщее «чувство народа» казалось древним китайцам самым достоверным проявлением верховной справедливости небес.

Идея главенства Неба в Китае не воспитывала религиозной нетерпимости. Она допускала существование целой иерархии божеств – семейных, общинных, богов природных стихий и проч. Если в официальной историографии Чжоу место прежних богов заняли доблестные чиновники (сохранились даже рассказы о чиновниках, которые вступают в схватку с местными божествами

и побеждают их), то в фольклоре древних китайцев те же самые чиновники сами выступали в роли божеств: им строили храмы, их молили о защите и покровительстве, устраивали в их честь празднества и т. п. Человеческое и божественное по-прежнему находились в неразрывном единстве, разве что поменялись местами: боги словно спустились на землю, а человек, осознавший свою мировую ответственность, свою нравственную природу, вознесся над миром духов. Со временем Небо в представлениях чжоусцев все более теряло присущие ему когда-то личностные черты первопредка и превращалось во всеобщий порядок движения и развития всего сущего, порядок одновременно космический и нравственный. Смысл жизни для древних китайцев заключался в поддержании правильных отношений человека с космосом, в умении всегда соответствовать движению мира. Они ждали не откровения, а благоприятного момента.

Аристократическая этика престижа оказала двоякое воздействие на чжоуское общество. Подогреваемая им потребность соперничать в добродетели развивала в чжоуской знати чувство общности. Не случайно именно в то время появилось само название «Срединное государство». Но та же борьба за престиж способствовала распространению междоусобиц среди знатного сословия. Довольно скоро идеальные отношения господина и слуги, предполагаемые институтом дарения, превратились в недостижимую мечту, нравственный идеал – в формальность. Власть чжоуских правителей над владетельными аристократами неуклонно ослабевала и спустя три столетия стала, по существу, чисто номинальной. Одновременно многие владельцы мелких уделов были вынуждены отказаться от пожалованных им земель в пользу более сильных соседей. В 771 году н. э. чжоуский двор, не имея сил отразить натиск «варварских» племен запада, перенес свою ставку на восток, в город Лон. Это событие положило начало новой эпохе китайской истории. По традиции ее именуют эпохой Ле го – «Обособленных царств» или эпохой Чуньцю (буквально «Весен и Осеней»), по названию хроники, которая велась тогда в царстве Лу.

Теперь для «Срединного мира» чжоусцев наступили времена раздробленности и раздоров. Равнина Желтой реки превратилась в арену неумолимо обострявшегося противоборства почти двух десятков самостоятельных царств, среди которых тон задавали несколько наиболее крупных уделов. В первой половине VII века до н. э. главенствующая роль в делах Поднебесной принадлежала царству Ци, расположенному на восточной окраине чжоуской ойкумены. Позднее усилилось царство Цзинь – северный сосед

владений чжоуского вана. А постоянным соперником Цзинь стало могущественное южное царство Чу, которому, впрочем, жители северных уделов отказывали в праве зваться «Срединным», ибо считали его полуварварским. Вот эти три царства – Ци, Цзинь и Чу – и вели нескончаемую борьбу за первенство в Поднебесной. Позже к ним добавилось еще одно «полуварварское» южное царство – У. А в середине «Срединного мира» находилось несколько сравнительно мелких и слабых уделов. Их правители преследовали более скромную цель: сохранить свой удел или на худой конец свою жизнь в этой безжалостной борьбе за выживание. Правда, ни одно царство не располагало ни военной силой, ни дипломатическими средствами, которые могли бы принести ему власть над всем Срединным миром. Ни одно из них не обладало и достаточным авторитетом для того, чтобы открыто бросить вызов Чжоуской династии. Их властителям приходилось рассчитывать лишь на звание «гегемонов» *(ба),* навязывающих свою волю силой. В целом же политическая обстановка в эпоху Обособленных царств определялась более или менее устойчивым равновесием сил противоборствующих сторон, причем самые честолюбивые правители были вынуждены выдавать свое стремление первенствовать в целом свете за заботу о восстановлении власти чжоуских ванов. Не единожды правители царств заключали между собой мирные договоры, клялись именем предков и «всех духов, принимающих жертвы», быть верными своему слову и любить друг друга – ведь как-никак они приходились друг другу родичами, а потом при случае с легкостью нарушали собственные клятвы, и распри между ними разгорались пуще прежнего. Впрочем, в большинстве царств законные правители и сами оказались не у дел. Их оттеснили от власти местные могущественные кланы, наследственно закрепившие за собой должности придворных советников.

Такой была эпоха Конфуция: время лицемерных деклараций и неуклонно нараставшего разочарования; время явственно обозначившихся предвестий небывалых потрясений.

Но если для верхушки знатного сословия заветы отцов чжоуского государства были больше обузой или прикрытием для осуществления корыстных замыслов, то низы аристократии Обособленных царств, служилые люди из разряда *ши,* могли воспринимать наследие царей Чжоу со всей серьезностью. Этим людям, столь преданным своему честному имени и памяти о доблестных предках, была близка и понятна мечта о самоотречении ради доброй славы. Голос *ши* звучал особенно громко на исторической сцене той эпохи, и именно руками *ши* строилось здание будущей цивилизации Срединной империи.

Дипломатия и воинское искусство, хозяйство и словесность, наука и мораль – кажется, не было области жизни, где *ши* не выступали бы одновременно в роли и знатоков, и мастеров, и законодателей мод. Имели *ши* и свой образ идеального человека, так называемого *цзюнь цзы,* что значит «сын правителя», или, в более вольном толковании, «младший господин». Весьма точное определение места, которое *ши* занимали в чжоуском обществе. Быть преданным старшему – такова была их главная добродетель. «Если вкушал пищу этой семьи, должно разделить и участь этой семьи», – гласила первая заповедь *ши,* и то были не просто слова. К примеру, служилый человек мог отправиться на плаху вместо своего господина, приговоренного к смертной казни, а потом поминальную табличку с его именем держали на домашнем алтаре его патрона, как если бы он был членом семьи. Другая отличительная черта общественной позиции *ши* — соперничество за престиж во всех возможных формах. И первым делом, конечно, на поле боя. Война была профессией *ши,* а воевали в ту эпоху на боевых колесницах. Об аристократе, достигшем зрелости, говорили: «он уже способен управлять колесницей». Сражаться, на языке чжоуских служилых людей, означало «играться» – демонстрировать свою удаль, хладнокровно принимать смерть, а при случае и великодушно дарить жизнь противнику. Цзиньский аристократ во время битвы с войском царства Чу не единожды оказывается у колесницы чуского правителя и всякий раз, сняв шлем, учтиво ему кланяется, за что, не сходя с места, получает в дар от царственного противника золотые слитки. В другой битве колесница цзиньского аристократа застревает в яме, и чуские воины, не желая воспользоваться беспомощностью неприятеля, любезно помогают ему выбраться из ямы, подав колесницу назад. В ответ хозяин колесницы, «спасая лицо», бросает непрошеным помощникам: «В отличие от подданных вашего великого царства нас не учили искусству отступать в сражении!» Подобные истории о рыцарском поведении воинов из числа *ши* были тогда у всех на устах. Но они были, конечно, не единственными в своем роде. Множество рассказов повествует о том, как талантливейшие из служилых людей блистали остроумием на дворцовых аудиенциях и дипломатических переговорах, мастерски плели политические интриги. Сословные интересы служилых людей без труда узнаются в популярных легендах о добродетельных мужах древности, не пожелавших даже под угрозой смерти пойти на службу к неправедному государю. Впрочем, безупречное самообладание, которое воспитывали в себе *ши,* сделало их столь же галантными, сколь и беспощадными. Одно было оборотной стороной другого. Те, кто проигрывал в «играх» чести и, стало

быть, терял лицо, могли надеяться только на милость победителей и должны были благодарить судьбу, если их оставляли в живых. Ни титулы, ни заслуги в расчет не принимались. Правителям побежденных царств, чтобы сохранить жизнь, полагалось явиться к победителям, неся на спине гроб в знак готовности умереть.

Традиции служилых людей подготовили приход Конфуция, сделали его знаменитым и авторитетным Учителем. Благодаря же Конфуцию они обрели новое звучание, новое качество. Конфуций не просто «передавал» былое. Он преобразил его.

Детство и отрочество

Ясно, что рассказы о разных чудесах, которыми ознаменовалось рождение будущего Учителя Куна, – дань позднейших поколений его славе и авторитету. Но есть все основания полагать, что появление на свет маленького Цю из рода Кунов не прошло незамеченным в округе. Брак семидесятилетнего старика и шестнадцатилетней девушки сам по себе давал пищу для пересудов. Но рождение в такой семье сына после того, как его отец родил девять дочерей и одного калеку, было событием почти легендарным. Более того: малыш Цю явился на свет с каким-то странным продавленным теменем, явно предвещавшим ему необыкновенную судьбу. Во времена, когда жители Срединной страны не могли представить себе великого человека с заурядным обликом, когда старинные предания наперебой сообщали им о мудрецах седой древности, наделенных то «двойными зрачками» и «пятицветными бровями», то «пастью лошади» или «печенью величиной с кулак», такая примета значила очень много. Всяческие телесные аномалии имели в глазах современников Конфуция тем больший смысл оттого, что их безмолвствующее Небо, не выбиравшее себе пророков, сообщало людям о своей воле посредством всевозможных знамений.

Надо думать, молва о «диком браке» старого воина с молоденькой девицей очень быстро достигла столицы царства Лу, и молодая вдова невольно привлекла к себе всеобщее внимание. Вероятно, нашлись влиятельные лица, которые благосклонно присматривались к сыну скромной молодой женщины и, заметив у него недюжинные способности, позаботились о том, чтобы дать ему образование, а со временем и представить двору. Во всяком случае, маленький Цю получил возможность учиться, хотя жилось ему нелегко, и он рано узнал, что такое нужда и тяжелый труд по дому. Об этом мы уже знаем со слов самого Конфуция. Много лет спустя, уже став знаменитым ученым, он скажет: «В молодости я терпел лишения». И добавит с добродушной иронией человека, умудренного жизнью: «Наверное, поэтому я способен к разной черной работе. Но должен ли мудрый быть мастером на все руки? Вовсе нет…» Позднее Сыма Цянь, говоря о молодых годах Учителя Куна, напишет, что тот «терпел лишения и был беден». Суждение, ничуть не принижавшее Конфуция в глазах потомков, ведь истинному *ши* бедность и лишения были верной порукой его славы. Недаром с древности выражение «был беден и терпел лишения» стало привычным клише в биографиях достойных

мужей Китая. Часто бывает так, что нужда и обиды, пережитые в детстве, отнимают у человека веру в добро, прививают ему злобу и мстительность. С Конфуцием вышло наоборот. Тяготы детских лет только обострили в нем нравственное чувство. Конфуций был совершенно прав, когда намекал неведомому собеседнику, что многим обязан своим детским переживаниям: без маленького увальня Чжунни, рано и остро осознавшего горькую участь своей матери и свое бессилие, не было бы великого Учителя Куна, собственным примером показавшего, что человек даже в самую тяжелую минуту может оставаться человеком.

Мы ничего не знаем о том, как прошли первые годы жизни Кун Цю в столице Лу. Ведь тогда он был всего лишь мальчиком из бедной семьи.

Когда же он стал Учителем Куном, его детство уже никого не интересовало. Но нет сомнения: он был мальчиком приметным даже в многолюдном столичном городе. Многих он изумлял уже своей неординарной внешностью, странности которой далеко не исчерпывались вмятиной на темени. От рождения крупный и сильный ребенок, он рос быстрее сверстников и в зрелые годы отличался необычайно высоким ростом и грузным телосложением. Много необычного было и в его лице: массивный лоб, чересчур длинные уши, вздернутая верхняя губа, выпученные и, кажется, чуть белесые глаза… Все это давало бы современникам достаточно поводов считать Цю из рода Кунов редкостным уродцем, если бы не его прирожденная грация и привитые с детства хорошие манеры. Примечательно, что на страницах «Бесед и суждений» ученики Конфуция охотно воздают хвалу добродетели, учености и манерам учителя, но ни разу не упоминают о его внешности. Судя по всему, канонам красоты, принятым в тогдашнем обществе, Конфуций и вправду не очень соответствовал.

Первые в своей жизни наставления маленький Цю получил от матушки, что, к слову сказать, и предписывалось обычаем. В Китае даже ходила древняя легенда о том, что мать основоположника Чжоуской династии начала воспитывать своего сына, когда тот находился еще в ее чреве. Чжэнцзай была, конечно, обыкновенной земной женщиной и к тому же очень юной, но с ролью наставницы она справилась превосходно. Ей удалось привить сыну скромность, терпение, выдержку, вкус к безукоризненной аккуратности. Без сомнения, она не позволяла маленькому Цю забыть, что он принадлежит к славному роду и не может даже в мелочах уронить честь и достоинство предков. Вера в свое высокое предназначение не только поддерживала Конфуция в трудные для него юные годы, но и учила его черпать

силы в тяготах и лишениях, извлекать пользу даже из необходимости заниматься «черной» работой. Если Конфуций снискал славу первого мудреца Китая, то прежде всего потому, что он первым в китайской истории показал, как трудолюбие, честность и талант открывают дорогу к успеху. Да и что есть мудрость, как не умение обратить себе во благо даже самые неблагоприятные обстоятельства?

Если верить преданию, серьезность маленького Цю была не менее необыкновенной, чем его внешность. Его не забавляли ни глиняные свистульки, ни палки-скакалки, ни даже шумные подражания баталиям взрослых – это излюбленное развлечение мальчишек во все времена. Уже в столь нежном возрасте он умудрялся соединять детскую игру с учением. Больше всего он любил играть в обряд жертвоприношения предкам, расставляя на игрушечном алтаре дощечки, которые служили ему поминальными табличками пращуров, и черепки, заменявшие жертвенные сосуды. Конечно, он старался сделать все, как у взрослых: нечетное число черепков – сосуды для питья, четное – блюда для еды. Вместо вина в черепках налита вода, вместо мяса – кусочки глины. А столичная жизнь в избытке преподавала ему уроки ритуального благочестия: то проедет по улицам погребальная колесница, сопровождаемая толпой завывающих родственников умершего, то под грохот барабанов и веселые крики пройдет мимо свадебная процессия, то в богато украшенных колесницах подъедут к воротам царского дворца иноземные послы в развевающихся шелковых одеждах, то стремглав промчится по улице кавалькада всадников, сопровождающих царского гонца… А еще народные праздники, когда люди собираются на шумные пиры, смотрят, как танцуют шаманы в масках духов и косматых зверей. Но прежде всего Кун Цю привлекали большие царские жертвоприношения земле, солнцу и всяческим духам. Тут уж Кун Цю не упускал случая подсмотреть всю церемонию от начала до конца. Вот сам государь ведет на веревке рыжего жертвенного быка, а за ним в почтительном поклоне идут его советники. Вот гадатели рассматривают шерсть жертвенного животного, определяя, будет ли угодна жертва духам. Падают на колени степенные сановники, к быку, держа в руке нож с колокольчиками, подходит царский мясник… И вот гадатели уносят в глубину храма жертвенную чашу, чтобы, как говорится, «явить взору шерсть и кровь». Государь возносит молитву, его советники недвижно стоят на коленях… А теперь танцоры в диковинных одеждах исполняют перед алтарем старинную пляску… Кун Цю был готов с утра до вечера глазеть на эти торжественные церемонии, исполненные

благолепия и величавой сдержанности. Перед ним открывался мир удивительных и волнующих вещей – большие колесницы с яркими шелковыми лентами, толпа служилых людей в парадных одеяниях, холеные лошади, древние топоры и пики, звон гонгов и гул барабанов… Поистине, очарование ритуала – это очарование самих вещей, переставших быть только орудиями и предметами, но вдруг обретших самостоятельную, феерически загадочную жизнь…

В рассказе о том, как маленький Цю, забавляясь своими игрушечными сосудами, готовил себя к роли главы семейства и законного наследника предков, сквозит умилительная нота. Ведь нечасто бывает, чтобы ребенок всерьез интересовался таким скучным и непонятным ему делом, как торжественное жертвоприношение духам. Для многих поколений почитателей Конфуция тут был повод лишний раз убедиться в правоте древней формулы: «Велик Учитель Кун!» Но современного биографа в этой истории первым делом привлечет, наверное, мотив постоянства, внутренней преемственности в жизни Учителя десяти тысяч поколений. Мальчик Цю уже разделяет устремления взрослого Учителя Куна. Оба принадлежат жизни, где и впрямь нет места каким бы то ни было колебаниям, переломам, «разрывам с прошлым». Эта жизнь должна быть прожита цельным куском, одним усилием воли, на одном дыхании. Она подобна кропотливому, последовательному врастанию в вечно живое тело родовой, народной жизни. «Одно дыхание» – свободное, органичное, но и безошибочно свое – таков секрет «единой нити», которая, как намекнул однажды Конфуций, пронизывала и связывала воедино его мысли. Нет нужды искать и тем более придумывать себе свое жизненное дыхание – достаточно дать ему проявиться. По-детски вольная игра воображения и мудрость вслушивания в зов сердца – вот начало и конец, альфа и омега жизненного пути Конфуция. И это был также путь от внешнего подражательства к внутренней честности перед самим собой. Путь самопознания…

Детские игры Конфуция примечательны тем, что в них соединялись мир фантазии и серьезнейшая действительность. Мы знаем теперь, что подобное единение делает возможным самое существование человеческой культуры. И держится оно доверием к человеку как мыслящему и творческому существу. Конфуций завещал своим последователям «хранить постоянство Пути». Секрет успехов Конфуция, ставший явным еще в детские годы, обезоруживающе бесхитростен: маленький Цю прилежно и искренне исполнял то, что предписывалось делать обычаем. Нет ничего естественнее интереса ребенка к неизведанной, полной

загадок жизни, которая перейдет к нему по наследству от взрослых. Но этот интерес не мог быть удовлетворен только детской игрой. Он столь же естественно перерастал в желание познать смысл этой жизни. «Любовь к древности» с неизбежностью воспитывала потребность учиться.

Но мало отметить за Конфуцием неутолимую жажду познания. Важно понять, что учеба началась для Цю задолго до того, как он выучил первый иероглиф или выслушал первый совет учителя. Его «ученость» вырастала из чистой игры жизненных сил и была обращена к этой игре. Слияние учения и жизни, сознательной воли и непроизвольного переживания и есть высшая ступень человеческого совершенствования по Конфуцию. Жизнь начиналась с учения и им же завершалась. А отвлеченная книжная ученость – дело второстепенное, производное от поведения и мыслей, завершающий штрих к избранному человеком пути в жизни. Об этом – все заветы Конфуция, столь же незатейливые, сколь и трудновыполнимые:

В кругу семьи почитай родителей.

Вне семьи почитай старших.

Будь честен и милостив с людьми, возлюби добро.

Если, соблюдая эти правила, ты еще будешь иметь досуг, используй его для учения.

Учеба великого Учителя Китая началась задолго до школьных занятий не только в смысле «школы жизни». Начало ей положили уже рассказы и поучения матери, дававшие мальчику пищу для его необычных игр. Надо сказать, что с тех пор, как в древнем Китае мифы первобытной эпохи приняли облик исторических сказаний, а религия превратилась в начала этики (и этикета), китайские мамы не рассказывали своим малышам сказок. В китайском фольклоре место сказок заняли всевозможные назидательные истории о людях ушедших времен. Конечно, в этих историях тоже могли случаться чудеса, но они были все-таки не сказками с их волшебным миром, а былью, «правдивым повествованием»: действие в них происходило не где-нибудь в «тридесятом царстве», а в реально существующем месте, и действовали в них не фантастические существа, а самые обыкновенные люди, «исторические лица», которые могли бы послужить для потомков нравоучительными образцами. Наверное, матушка Кун Цю не только разъясняла сыну простейшие правила хорошего тона, распорядок и значение семейных обрядов, но и рассказывала ему о его доблестных предках и великих героях древности: о змееподобном императоре Фуси и его сестре Нюйва, сотворивших род людской и давших своим детям символы вселенского Пути, о царе Шэньнуне –

первом пахаре на земле, о мудрых царях Яо и Шуне, об укротителе потопа Юе, о славных основателях династий, один из которых дал жизнь и первому из рода Кунов. В те времена, передавала Чжэнцзай сыну то, что слышала от других, люди жили как одна семья, все были довольны и счастливы. Молодые люди трудились в свое удовольствие, старики безмятежно доживали свой век, вдовы и сироты не ведали, что такое голод и холод. Тогда не было безвременных смертей. Не было ни воров, ни разбойников. Не было даже дурных мыслей. Люди не запирали своих домов и не подбирали вещи, оброненные путниками на дорогах…

Но устные предания в эпоху Конфуция были уже не более чем осколками древней мифологии, вытесненными на обочину традиции, и рассказывали их чаще безграмотные простолюдины. Для знатного же юноши знакомство с ними было только преддверием настоящей учебы, изучения писаных канонов и разных государственных документов, ибо в чжоуском Китае грамотность была привилегией правящих верхов, и учащийся с самого начала готовился к карьере служилого человека – чиновника, военачальника, царедворца. Во всяком случае, государственная служба испокон века считалась в Китае единственно достойным грамотного человека делом. Уже в чжоускую эпоху появились первые публичные школы, и это новшество, кажется, можно поставить в один ряд с другими великими изобретениями китайцев вроде компаса, бумаги, пороха или экзаменов на чин. Такие школы, и не одна, были и в Цюйфу. В них отдавали мальчиков из знатных семей семи-восьми лет от роду. Плата за обучение зависела от достатка в семье. Вероятно, посещал школу и маленький Кун Цю, хотя, как ни странно, в зрелые годы он не любил говорить о своем учителе и годах учебы. Возможно, он не находил тут предмета для серьезного разговора, да и учебой у именитого учителя он, конечно, похвастать не мог. Правда, в некоторых позднейших источниках сообщается, что учителем Конфуция был человек по фамилии Янь (весьма распространенной в Лу) и что этот учитель Янь был каким-то небольшим начальником. Проверить достоверность этого известия невозможно. Но кто бы ни был учителем Кун Цю, он, конечно, первым делом рассказывал, как нужно вести себя воспитанному мальчику. «Цю, – говорил он, – всегда слушайся родителей и не уезжай из дома без их ведома, покидая же родительский кров по делам, говори матери, когда вернешься. Разговаривая со старшими, не произноси слова „старый“, чтобы не напоминать им об их преклонном возрасте. Не сиди на середине циновки и в юго-западном углу комнаты – это

неприлично при живых родителях. Слушая старших, стой прямо, не наклоняй голову. Когда ты вместе со старшими обозреваешь окрестности с вершины холма, смотри туда, куда смотрят старшие. Неся вещь двумя руками, держи ее у груди. Если тебе доведется нести вещь правителя, подними руки выше груди; вещи старших чиновников носят на уровне груди, а вещи людей, не имеющих заслуг, – у пояса… А вот как нужно вести себя за едой: от старшего каждое блюдо принимай с поклоном и не ешь быстрее других; не скатывай рис в комочки, не хрусти костями и не бросай кости собакам; не ковыряй просяную кашу палочками и не пей подливку; если старший дал тебе плод и в нем есть косточка, не выбрасывай ее; простолюдину дыню полагается давать целой, низшему чиновнику – разрезанной пополам, старшему чиновнику – разрезанной на четыре части, а если доведется подносить дыню правителю, каждый кусочек следует покрыть тонким шелком… Запомни: после сильных дождей не подноси старшим рыбу или черепаху. Вареную пищу подноси вместе с приправами. Пленника дари, держа его за правый рукав, а когда даришь собаку, придерживай ее левой рукой… Поднося в подарок шелк, иди мелкими шажками, а лицом своим выражай, как говорится, „томительное беспокойство“. Поднося в подарок драгоценную яшму, иди медленно, не отрывая пяток от земли…»

Маленький Цю слушал, затаив дыхание, стараясь не упустить ни слова. Он узнавал десятки и сотни правил поведения на все случаи жизни, и все их нужно было крепко запомнить и в точности выполнять. А наставлениям учителя, казалось, не будет конца:

«Когда беседуешь с чужеземцем, называй его страну „великим царством“, а свою собственную – „ничтожным царством“, а еще можно говорить „захолустный край“. Умей выбирать слова в разговоре. К примеру, государь называет свою жену „супруга“, а жена сама себя называет „отроковица“, подданные государя называют ее „супруга государя“, а перед посланниками из других стран государыня называет себя „недостойный малый государь“…»

А еще требовалось знать, как вести разговор:

«Обращаясь к государю, говори о государственных делах. В беседе с человеком служилым говори о службе государю. В разговоре со старшими веди речь о воспитании юношества, а беседуя с молодыми людьми, говори о сыновнем долге…»

И, конечно, важно было знать, как нужно говорить с разными людьми:

«Когда будешь говорить с чиновником, в начале разговора смотри ему в лицо, чтобы узнать, расположен ли он слушать тебя.

В беседе смотри ему в грудь, выражая этим доверие к собеседнику. А опуская глаза, ты показываешь свое почтение. В конце же разговора вновь посмотри ему в лицо, чтобы узнать, каково его впечатление от беседы. Порядок сей неизменен, помни о нем всегда…»

Но еще важнее всех тонкостей вежливой беседы было для юного Кун Цю и его сверстников знание грамоты. Изучение иероглифической письменности и в современном Китае – дело не из легких, а в те времена и подавно трудное. Иероглифические знаки в эпоху Конфуция были намного сложнее нынешних, не существовало еще единых правил начертания, не было ни прописей, ни книг для чтения, ни букварей. День за днем ученики царапали на деревянных дощечках затейливые письмена, о значении которых они нередко могли только догадываться. Чтобы выучить самые употребительные знаки, требовалось по меньшей мере несколько лет ежедневных занятий. В действительности же письменность и литературные памятники того времени таили в себе столько тайн, что умение толковать тексты давалось очень немногим. Во всяком случае, Конфуций считал, что всерьез начал учиться лишь с пятнадцати лет, и не переставал учиться до самой смерти. Наряду с письмом в школах чжоуской эпохи обучали и основам счета. Кроме того, в школьную программу молодых аристократов входило обучение важнейшим обрядам: жертвоприношений предкам, призывания душ усопших, изгнания злых духов и проч. Учащимся следовало заучить как жесты, из которых складывались эти ритуалы, так и слова всякого рода молитв и заклинаний. Огромное значение придавалось и знанию правильных отношений между людьми – правителем и подданным, отцом и сыном, мужем и женой, а также друзьями. Наконец, в школах чжоуского Китая обучали пению, игре на музыкальных инструментах и, конечно, воинскому искусству: каждый аристократ был просто обязан хорошо стрелять из лука и править боевой колесницей. Письмо, счет, ритуалы, музыка, стрельба из лука и езда на боевой колеснице составляли традиционные «шесть искусств», преподававшихся в школах чжоусцев.

Таков был круг предметов, которыми надлежало овладеть маленькому Кун Цю. Но, кажется, не все из них он изучал с одинаковым рвением. Известно, что он не питал симпатии к военному делу и, даже став отличным стрелком из лука, сохранил стойкую неприязнь к демонстрации воинских доблестей. Известно, что он хорошо освоил искусство управления боевой колесницей, но к своей славе искусного возницы относился с добродушной насмешкой. С детства Кун Цю уверовал

в традиционный чжоуский идеал «управления посредством добродетели» и охотнее всего предавался изучению этикета, обрядов и словесности, которую чжоусцы ставили на одну доску со священными ритуалами, ибо для них письмо, будучи изначально изъявлением воли богов-предков, было не менее действенным атрибутом власти, чем те же ритуалы. Тому, кто в те времена хотел стать эрудитом, не приходилось днями просиживать в библиотеках, роясь в толстых фолиантах. Ни библиотек, ни даже книг в собственном смысле слова тогда еще не существовало. Книги того времени представляли собой связки бамбуковых планок, прошитых кожаными шнурками. Они были громоздки и неудобны в обращении, а их страницы-планки часто терялись. Еще не сложился свод канонических сочинений, не получили окончательной редакции и тексты отдельных канонов.

Первые собрания текстов в Китае составили записи о деяниях великих царей древности – первопредков и устроителей мироздания, культурных героев. Само слово «канон», существовавшее с эпохи Инь, графически обозначало планки для письма, водруженные на высокий столик, то есть «высокочтимые записи». Имелась и своя закономерность в том, что первым каноном китайцев стали ничем не примечательные записи о царствовании прежних правителей, ведь религия богов-предков преображала миф в историю и требовала верить, что суд истории – это суд самого Неба. Ко времени Конфуция такие записи составили так называемую «Книгу Документов» *(Шуцзин)*. Эту книгу и предстояло выучить в первую очередь молодым чжоуским аристократам. С каким трепетом юный Кун Цю впервые взял из рук учителя связку вытертых, потемневших от времени дощечек, развернул ее и погрузился в чтение выстроившихся ажурными столбиками письмен – знак за знаком, строка за строкой! Ему уже доводилось слышать о великих свершениях тех, чьи имена навечно врезались в эти легкие планки. Теперь, замирая от восторга и внезапно нахлынувшей робости, он как будто заново открывал для себя прекрасный мир древних. Вот «Канон Яо». Повествование о первом властелине Поднебесной, добродетельнейшем из царей. Кажется, он уже много-много раз читал эти слова, и теперь они возвращались к нему, словно памятный с детства напев:

«Яо звали Фан Сюнь. Он был благочестив, умен, воспитан и сдержан, и был он таков, не совершая насилия над собой. Он со всей искренностью вел себя добропорядочно и никому не причинял огорчений. Сияние его добродетели достигало всех четырех краев земли и проницало небеса. Он выделял способных и добродетельных и взрастил взаимную любовь среди всех своих

родственников до девятого колена. Он также водворил мир и порядок в своих владениях. Еще он привел к единству все десять тысяч уделов, так что черноголовые вкусили от плодов благого правления…»

А следом шли записи о преемнике Яо царе Шуне, которому Яо не в пример властолюбивым тиранам позднейших времен добровольно уступил престол, сочтя его мужем более достойным, чем он сам.

«По своей натуре Шунь в точности походил на прежнего государя: он был покоен, учтив и мудр. Он был добр и великодушен, всегда и во всем честен. О его непревзойденных добродетелях прослышал царствовавший государь и уступил ему трон. Шунь определил достоинства всех государевых служб. Когда он был Главным Управляющим, в каждом ведомстве управление осуществлялось сообразно временам года. Когда он надзирал за владетельными князьями всей земли, никто из них не задерживался с прибытием ко двору для изъявления покорности. Когда его послали к подножию великих гор, ни страшные бури, ни жестокие ураганы не заставили его повернуть обратно…»

Но любимым героем Конфуция стал человек, живший много позже. Это был Чжоу-гун, брат основоположника Чжоуской династии и регент при втором государе Чжоу, добровольно сложивший с себя регентские полномочия, когда достиг совершеннолетия законный государь. При жизни и первое время после смерти Чжоу-гун, по-видимому, не слишком выделялся из славной плеяды отцов чжоуского государства. Но в последующие столетия слава его неуклонно росла, и ко времени Конфуция Чжоу-гун приобрел репутацию добродетельнейшего мужа Чжоу. Именно в уста Чжоу-гуна автор «Книги Документов» вложил рассуждения о том, что великие предки и Небо тяжко карают распутных правителей и вручают державную власть достойным ее мужам. К тому же Чжоу-гун был первым правителем удела Лу, где его и почитали с особым рвением. Как видим, при всей своей «любви к древности» Конфуций отнюдь не стремился быть нарочито архаичным в своих симпатиях, а здравомысленно принимал традицию такой, какой она давалась ему: он был подданным Чжоу и уроженцем Лу, и, следовательно, само Небо распорядилось так, чтобы он учился у того, кто олицетворял собою мудрость Чжоу и местную традицию луских правителей. Этот как будто извне заданный ему выбор он сделал своим убеждением и пережил как собственную судьбу. Еще только разбирая и заучивая старинные письмена, повествовавшие о славных деяниях мудрого советника Чжоу, маленький Кун Цю в

своих мечтах видел себя новым Чжоу-гуном – скромным и мудрым советником правителя, может быть, даже учителем наследника престола, который возродит древнее благочестие, принесет мир земле, вернет людям счастье!

Цю так много думал о Чжоу-гуне, с таким упорством пытался разгадать секреты неотразимого воздействия этого человека на современников и потомков, что создатель чжоуского государства с некоторых пор стал часто являться ему во сне и даже разговаривать с ним. Возможно, самому Конфуцию казалось, что не столько он выбрал своим кумиром Чжоу-гуна, сколько Чжоу-гун сам определил его быть наследником первых царей Чжоу. Почему бы и нет! Разве Небо не благоволит мужам достойным!

Другим древнейшим каноном Китая стала так называемая «Книга Песен» *(Шицзин)*– самый ранний памятник китайской поэзии. В него вошли и торжественные гимны, исполнявшиеся во время жертвоприношений душам царственных предков, и народные песни, в которых отобразились быт, нравы и чувства простых людей. Еще мальчиком Кун Цю услышал, как слепые музыканты исполняли ритуальные песнопения, подыгрывая себе на цитре с шелковыми струнами и маленьких барабанчиках. Пели они не так, как поют простолюдины, – голоса у них напряженные, грудные, а конец каждой строки отмечается громким ударом в барабан или каменную пластину, подвешенную на высокой раме; слова же песен старинные, непривычные – сразу и не разберешь. Слепые музыканты помнили сотни древних песен, и маленький Кун Цю был готов слушать их дни напролет. Если в «Книге Документов» Конфуций открыл своих любимых героев, то «Книга Песен» стала его любимым произведением. Вероятно, еще в молодые годы он выучил ее наизусть и с тех пор часто обращался к ней по самым разным поводам. Современному читателю нелегко понять, почему «Книга Песен» полюбилась Учителю Куну настолько, что собственного сына, не удосужившегося выучить ее, он назвал «человеком, который уткнулся носом в стену», то есть человеком до предела ограниченным. За редким исключением поэзия этого сборника с ее нарочитой церемониальностью или, напротив, чисто фольклорной простотой, едва ли способна удовлетворить взыскательный вкус. Но Конфуцию она была дорога сразу по нескольким причинам. Во-первых, именно в ней Кун Цю открыл для себя жизнь человеческой души, эмоциональное воплощение нравственных идеалов своей традиции – преданности старшим, верности другу, любви к родине, заботы о чести. Во-вторых, стихи *«Шицзина»* можно было петь, узнавая на собственном опыте, что такое слияние чувства и добродетели. Знание песен воспитывало вкус – вещь далеко не

последняя в обществе, где превыше всего ценилась честь. И в-третьих, над этими песнями можно было размышлять. С легкой руки Учителя Куна этот поэтический канон, подобно библейским рассказам в европейской традиции, прослыл в Китае вместилищем всей мудрости мира, выраженной иносказательным, символическим языком и, следовательно, языком, требовавшим истолкования. Так «Книга Песен» стала в древнем Китае пробным камнем учености. И, наконец, умение к месту процитировать пару строк из «Книги Песен» было в то время важной частью салонного красноречия и ценилось настолько высоко в стенах царских дворцов, что даже дипломатические переговоры нередко превращались в состязания знатоков этого канона. Естественно, что для Конфуция, готовившего себя к карьере государственного мужа, «Книга Песен» была в первую очередь книгой государственной мудрости.

Разумеется, оценка Конфуцием древних канонов, как и все дело воспитания и обучения человека, отображала идеалы чжоуских служилых людей. Еще когда он только разучивал первые иероглифы, учитель поведал ему о правилах, которых придерживается в своей жизни настоящий «сын правителя». «Благородный муж, – говорил учитель, – тревожится о трех вещах: во-первых, прилежен ли он в учении, когда молод, и имеет ли силы, когда стар. Во-вторых, обучает ли он других, когда достигает зрелости, и сохранится ли его имя в памяти потомков после смерти. В-третьих, помогает ли он другим, когда богат, и может ли помочь людям, когда беден. А еще благородному мужу, – продолжал наставлять юношу учитель, – не прощаются четыре вещи: нежелание послужить господину, непочтительность к старшим родственникам, беспечность в отношениях с детьми, жестокосердие в отношениях с друзьями. Прощается же ему только одно: когда он живет во благо людям».

Учитель рассказал Кун Цю о многих благородных мужах древности, чья жизнь стала образцом учтивости и мужества, отличающих настоящего господина. Впрочем, способному юноше было кому подражать и у себя в роду. Еще в детские годы он прослышал, что один из его знатных предков в царстве Сун начертал на своем жертвенном сосуде знаменитую на всю Поднебесную надпись, и надпись эта гласила: «При первой награде склоняю голову, при второй кланяюсь в пояс, при третьей простираюсь ниц. Хожу вдоль стены, и никто не смеет унизить меня. Постная каша утолит мой голод». Так в семейном предании рода Кунов запечатлелись неписаные правила чжоуских аристократов: добиваться славы нежеланием прославиться, возвышаться над светом, умаляя себя, и богатеть, демонстрируя

презрение к богатству.

Заветы предков вставали перед Кун Цю шеренгой лаконичных, чеканных, веками отшлифованных изречений-приказов. Безыскусные и ясные, они выплывали из дали времен, словно верстовые столбы накатанного, хорошо знакомого пути. Пути службы государю – единственно приемлемого для того, кто мечтал стать «сыном правителя». И эти мысли о славном пути жизни могли бы напомнить честолюбивому юноше слова древней песни о «ровных дорогах Чжоу» – дорогах справедливости и благоденствия:

Дороги Чжоу гладкие, как точило,
Они прямы, как стрела.
Мчатся по ним знатные мужи,
А маленькие люди с почтением взирают на них…

За чтением старинных книг легко мечталось о былом. Оттого и будущее виделось молодому Цю неуклонным восхождением к вершинам добродетели и славы, к заветной цели каждого достойного человека: блеснуть талантом и отвагой на службе благородному господину. В часы школьных занятий эта цель казалась такой близкой, такой доступной. А вот в жизни выходило по-другому…

Когда Небо молчит

В жизни современников молодого Кун Цю назревали какие-то неясные еще перемены, вселяя в сердца людей смутное беспокойство, заставляя одних упрямо держаться за старое, а других не менее решительно рвать с прошлым. Юноша Кун Цю, этот выходец из самых низов знатного сословия, уже по своему месту в обществе находился в центре исторического движения своей эпохи. Он знал старину и восхищался ею. Но он в действительности так мало зависел от нее, что не мог не чувствовать и не признавать необходимости обновления прежних идеалов.

Главной темой размышлений Конфуция и темой всей чжоуской культуры было отношение живых к усопшим предкам, присутствие прошлого в настоящем, непреходящего в изменчивом. Следовательно, главной темой чжоуской традиции было пресуществление бренного в вечное, или, говоря другими словами, самоустранение всего конечного как путь к вечной жизни…

Священная древность была все еще перед глазами – близкая, доступная, неоспоримо реальная. Разве не она жила в древних стенах, дворцах и храмах столицы царства Лу – Цюйфу? Легенда гласила, что когда-то сам Чжоу-гун, облаченный в парадные одежды, украшенный благородной яшмой и драгоценными каменьями, вымерил своими шагами всю округу, определил течение вод, соотношение освещенных и затененных мест и потом разметил план своей будущей столицы. А начали строить город с возведения стен, что в Китае было важнейшим мироустроительным актом, ведь таким образом в аморфный, дикий мир первозданного хаоса вносился порядок и вместе с ним – начала цивилизации. С возведением стен устанавливался центр Поднебесного мира, коим, собственно, и была столица Срединного царства. Земля же представлялась китайцам в виде вписанных друг в друга квадратов. Владения удельных правителей Чжоу были маленькой копией Земли. В их столицах внутри квадрата крепостных стен имелась такая же стена, опоясывавшая дворец правителя. Кроме того, стены нередко сооружали по границам уделов и даже всей Срединной страны, о чем и сегодня напоминает Великая китайская стена. Таким образом, стены древнекитайских городов имели большое символическое значение и потому могли присутствовать, так сказать, лишь «символически». Возможно, по этой причине их наскоро сооружали из утрамбованной земли, не слишком

заботясь о прочности. Главными оборонительными сооружениями города были крепостные башни, служившие одновременно воротами. В свою очередь, ворота, как вход в священное внутреннее пространство, тоже являлись важной частью символизма древних китайских городов. В них, по верованиям древних китайцев, обитал божественный покровитель города, на них вывешивали трупы поверженных врагов, головы казненных изменников, отбитое у противника оружие.

Дворец правителя представлял собой большой ансамбль богато украшенных зданий и павильонов: настоящий город внутри города, «внутренний город», как говорили в Китае. Из случайного сообщения хрониста мы знаем, например, что при жизни Конфуция во дворце правителя царства Ци были «светлые, высокие и сухие» залы, а тем временем даже советникам государя приходилось жить в «приземистых, тесных и пропыленных» домах. Планировка дворца в основном воспроизводила традиционный для Китая план семейной усадьбы. В центре, прямо напротив главных ворот (в дом всегда входили с юга), находился зал для больших дворцовых приемов. Боковые постройки предназначались для младших членов семьи правителя. Все здания строились из дерева, внушительными размерами не отличались. Не будем забывать, что дом правителя в Китае был прежде всего композицией, обширным комплексом. В этой многоголосице были, конечно, свои солисты и прежде всего – расположенный прямо напротив главных ворот тронный зал, обитель Хозяина мира. Но во дворцовом ансамбле все же не было ничего незначительного; в нем каждое здание, подобно голосу в хоре или партии отдельного инструмента в оркестре, обладало собственным звучанием и подчинялось единому музыкальному ладу, одному настроению, одному стилю, было значимо не только и не столько своим физическим обликом, сколько своим положением в пространстве. С древнейших времен искусство Китая отличалось акцентом именно на динамических, экспрессивных свойствах формы. Примечательно, что и в отзывах современников эпохи Обособленных царств подчеркиваются как раз летучие, динамичные качества архитектуры. Вот один пример. Когда в столице Лу около 640 года до н. э. был заново отстроен дворец правителя, коньки его новых крыш казались восхищенным наблюдателям «изящными, как птица с чудесным оперением», а карнизы крыш напоминали им «крылья парящего фазана». Между тем чрезмерный блеск и великолепие в архитектуре (как и в других искусствах) отнюдь не поощрялись традицией. На то имелись практические резоны: храмы и дома наследников боковых ветвей клана подлежали сносу после того,

как их ветвь пресекалась. Их назначение было прежде всего практическим. Когда в 669 году до н. э. в храме предков правителей Лу появились стропила, украшенные резьбой, а деревянные колонны храма покрыли красным лаком, в придворных кругах поднялась буря протестов из-за того, что правитель царства отошел от «целомудренных» обычаев отцов чжоуской державы, воздвигавших себе храмы и дворцы с некрашеными столбами и соломенными крышами. Впрочем, нелюбовь китайцев к монументальным зданиям и их вкус к утонченным украшениям – цветному орнаменту или ажурной резьбе по дереву – по-своему отобразили первостепенную значимость момента трансформации, творческой метаморфозы в искусстве Китая. Ибо декорум всегда есть пресуществленное содержание образа и в широком смысле – предел превращений вещей. Отсюда и откровенно декоративный характер всего китайского искусства, и даже стремление китайцев весь быт свой свести к декоруму. Но в таком случае декоративное в китайской культуре не может не оказаться в конечном счете неотличимым от природного. Здесь кроется причина того, что в китайском искусстве с легкостью, неизвестной и даже немыслимой в Европе, декоративно-экспрессивный стиль уживался с тщательнейшей имитацией естества материала, с виртуозным натурализмом.

Религия современников Конфуция тоже являла в своем роде наглядный пример смешения декоративного схематизма и материальности вещей. Первостепенную роль во владениях удельных правителей играли два культа, не вполне отделенные друг от друга: культ предков и культ Земли, ее плодоносящих сил. Ничего нарочито грандиозного, величественного ни в том, ни в другом культе не было. Поклонялись древние китайцы не статуям, не иконам, а стилизованным до полной условности образам богов – деревянным табличкам. Алтарь Земли представлял собой квадратное возвышение из утрамбованной земли определенного цвета, соответствовавшего в древнекитайской космологии той стороне света, где находился данный удел. Располагался он под сенью могучего дерева – прообраза мифологического «мирового древа», соединявшего Небо и Землю. Поминальные таблички предков и божества Земли умещались в одной шкатулке, и правитель царства без труда мог взять ее с собой, отправляясь в военный поход или даже в изгнание. Главное значение в культе имели местонахождение и ориентация алтаря в пространстве (например, поклоняться божествам следовало, стоя лицом к северу), а также время совершения обряда, священный ритм космоса, который китайцы, конечно, не отделяли от хозяйственной деятельности людей.

Весной, перед началом полевых работ, правитель самолично проводил первую борозду на ритуальном поле у алтаря Земли. Осенью он первым вкушал дары нового урожая, и тогда же предавали казни осужденных на смерть в прошедшем году, ибо в древнем Китае считалось непозволительным лишать жизни весной и летом – в пору цветения всего живого. В сущности, ритуалом для современников Конфуция были уже не столько те или иные конкретные действия, сколько непрерывное развертывание, говоря современным языком, пространственно-временного континуума или, по-китайски, «каждодневное обновление» *(жи синь)* всего сущего. Миссия человека, слывшего в Китае «самым одухотворенным существом», состояла в том, чтобы придать определенность движению космоса, поддержать гармоническое взаимодействие всех его сторон. Для правильного отправления ритуала нужно было знать подходящий момент, и потому результаты гадания о воле предков заменяли древним китайцам откровение. С глубокой древности ученых мужей Китая преследовал утопический образ ритуальной обители владыки Поднебесной, так называемого «Сиятельного зала» *(мин тан),* который мыслился зданием с квадратным, как Земля, основанием и круглой, как Небо, крышей, где государь в соответствии с течением времени или, если угодно, качеством момента должен был находиться в определенной комнате, есть определенную пищу и совершать множество других предписанных этикетом действий, так что вся его жизнь превращалась, по существу, в одну нескончаемую церемонию.

Одним словом, ритуал был для современников Конфуция чем-то неизмеримо большим, нежели обряд жертвоприношения предкам и тем более правило хорошего тона. Ритуал, говорил один из них, есть «основа движения небес, закон устроения Земли и порядок жизни людей. Небо и Земля порождают шесть состояний воздуха и пять стихий мироздания, а те проявляются в пяти цветах, пяти вкусовых ощущениях и пяти нотах музыки. Шесть видов домашних животных, пять видов диких зверей и три животные жертвы создают пять вкусовых ощущений. Девять украшений парадной одежды выявляют пять цветов. Девять видов песен, ветры восьми направлений и шесть музыкальных ладов делают слышимыми пять нот. Отношения государя и подданного, верхов и низов следуют устройству Земли. Отношения между отцом и сыном, старшим и младшим братом подобны движению небесных светил. Управление государством – все равно что смена времен года. Законы и наказания подобны грому и молнии. Государева мягкость и доброта, покой и чуткость вторят животворным силам Неба…» и т. д.

В незримом фокусе вселенского круговорота стоял правитель – «единственный» из людей и единственно недвижный среди всеобщего движения. В нем сходились жизненные силы, «семена» всего сущего, отчего он обладал таинственной способностью изнутри, без насилия воздействовать на все живое. Эту мистическую силу в Китае называли *дэ*. Благодаря правителю, утверждалось в китайской традиции, всходят хлеба и созревают плоды, рассеиваются зловредные влияния в мире и благоденствует народ. И, напротив, неурожай или нашествие врагов, мор или усобица – все это признаки немощи государя, и за все это он был в ответе. Одним словом, каков царь, таково и царство. И притом в буквальном смысле: государство мыслилось как тело государя. В китайской традиции правитель не был индивидом, «лицом» или даже должностью. Он был Присутствием, и притом столь же вездесущим, сколь и сокровенным, ибо нет ничего неприметнее того, что сполна присутствует всюду. Власть в Китае была прежде всего делом символическим: правитель был тайной, скрываемой стенами города и дворца. Никто не мог обратиться к нему напрямую, даже в третьем лице. Традиционное обращение к государю гласило буквально: «подножие трона». Даже бросить взгляд на державного владыку было бы непростительной (а теоретически, к счастью, и невозможной) наглостью. Разумеется, никто не имел права давать правителю советы, его приближенным дозволялось лишь намекать на действия, которые необходимо предпринять. В присутствии государя людям его свиты надлежало «стоять, склонившись так, чтобы концы пояса свисали вниз, а туфли как бы наступали на края одежды…». Грязь мира ни в коем случае не должна была коснуться священного тела правителя. Чиновникам при дворе предписывалось мыть руки по пять раз в день, а перед аудиенцией у государя «очистить себя строгим постом, не посещать женских покоев, вымыть волосы и тело». Писец, стряхнувший во время аудиенции пыль со своих книг, подвергался суровому наказанию. Что же касается правителя, то его жизнь была регламентирована до последних мелочей.

Всепокоряющая мощь и безупречная воля, изобилие и чистота: таковы священные атрибуты древнекитайского царя-сверхчеловека – Единственного из людей. Царь в древнем Китае хранил в себе правду: все его зримые атрибуты и образы – это только непреодолимая стена, экран для обманчиво-радужных теней. Он одновременно властитель, мудрец и святой, а единство знаний и свершения достигалось им в усвоении творческого начала мира, подобно тому, как питательная среда усваивается живым организмом. Китайский мудрец (который, будем помнить,

является также царем) не познавал, не переделывал, а «вкушал», «поглощал», «воплощал собой» реальность. И вкушал он не тлен и прах мира, а тончайший экстракт жизни, творческую силу, «семена» вещей. Он питался от верховной гармонии космоса, «небесной полноты природы» – реальности символической, которую нельзя только ощущать или только знать. Эта природа вещей открывалась как неисчерпаемая глубина опыта, угадываемая, предвосхищаемая, но превыше всего как бы оберегаемая сознанием внутри себя. Случайно ли, что в китайской традиции столь видное место занимали понятия, относящиеся к интимным и внеобразным формам восприятия – например, слуху и обонянию? Для китайцев музыка – первое и глубочайшее искусство, и мудрость проистекала из уменья слушать, внимать бездонной музыке творческих метаморфоз бытия. Что же касается пищи, то она уже в древнейших канонах Китая была объявлена «основой жизни народа» – и это стало в Китае отнюдь не только констатацией факта физиологии, хотя… и этим тоже! Простая, на удивление приземленная правда китайской традиции гласила: каждый есть то, что он ест. «Питающиеся зерном разумны и понятливы. Питающиеся травой сильны, но слабоумны. Питающиеся мясом храбры, но безрассудны. Питающиеся землей лишены разума и дыхания…»

Не удивительно, что законы правильного питания, секреты пищи, одновременно вкусной, здоровой и радующей взор всегда привлекали особое внимание ученых старого Китая. Цель же китайского кулинарного искусства заключалась в том, чтобы добиться как можно более гармоничного и чистого смешения животворных эссенций продуктов – такого смешения, которое явилось бы прообразом «неизменной середины и согласия» всего сущего. Даже болезни и лекарства китайские врачи уже во времена Конфуция соотносили с определенными вкусовыми ощущениями. Питаясь в соответствии с движением универсума, правитель, согласно традиционным взглядам, вбирал в себя творческие импульсы всех жизненных метаморфоз. Так он покорял пространство и время и обретал бессмертие, точнее – вечное здоровье в «духовном светоче» *(шэнь мин)* жизни. В сущности, только он, Единственный, обладал бессмертной душой, оказывавшей к тому же благотворное воздействие на потомков. Обыкновенные же люди умирали в момент физической смерти, и души их разлагались вместе с бренным телом.

Что же такое верховная реальность, божественное бытие в классической мысли Китая? Как ни странно, всего лишь количественные и периодические законы развертывания пространства и времени, Великого Пути мироздания, явленного в

бюрократическом распорядке государства и в конце концов рассеивающегося в неисчерпаемом разнообразии жизни; здесь каждая сущность как бы расплывалась, теряла себя в бесчисленном множестве нюансов, в бездонной глубине превращений – глубине живого сопереживания, сочувствия со всем сущим в «едином теле» бытия.

Ясно, что в рамках такого миросозерцания в Китае не могла зародиться идея гражданского общества, состоящего из индивидов, юридических «субъектов права». Все подданные правителя были только статистами при Единственном из людей и его незримом мироустроительном священнодействии. Публичная жизнь в древнем Китае была, по существу, не более чем видимостью и, помимо всецело символогических регламентов царской планиметрии, регулировалась чисто практическими, текучими интересами повседневности. Недаром в литературе старого Китая городская жизнь служила поводом не столько для реалистических описаний быта горожан, сколько для рассказов о всевозможных чудесах, живописания феерических, часто заведомо нереальных картин праздничных гуляний, вольной жизни веселых кварталов и т. д. Правда, некоторые исследователи усматривают известное сходство уделов в Китае эпохи Обособленных царств с городами-государствами, полисами Древней Греции, но сходство это случайное и поверхностное. Оно подсказано скорее обычной скученностью городского населения, неизбежной публичностью быта и культуры горожан. В той же столице Лу дома жителей столь густо лепились друг к другу, что какой-нибудь знатный повеса, взобравшись на крышу своего дома, мог заигрывать с женой соседа. Существовало некое подобие общественного мнения, хотя оно вовсе не имело силы закона и в большинстве случаев играло роль как бы третейского судьи в спорах отдельных кланов. Реальной почвы для оформления собственно городской общины в древнем Китае не было: каждая семья оставалась как бы маленькой копией государства, да и соперничество семей и кланов, сохранившийся обычай кровной мести – тоже черты догородского, патриархального уклада.

В жизни людей эпохи Обособленных царств разрыв между традиционной патриархальной символикой и реальностью общественных отношений становился все более зримым, все более резким. Договоры между царствами, заключавшиеся именем великих предков Чжоу, оставались пустым звуком. Последний раз попытка всеобщего примирения была сделана за несколько лет до рождения Конфуция. Согласно данной участниками договора клятве, правителя, начавшего войну, ожидали «кара духов, потеря царства и гибель рода». Но даже

самые страшные клятвы не могли заставить тогдашних стратегов отказаться от их циничного правила: «Что можно взять, надо брать». Вскоре военные действия вспыхнули вновь. Не стало доверия в отношениях не только между царствами, но и между правителями и их служилыми людьми и даже между родственниками. Интриги, предательства, убийства вчерашних сообщников, кровопролитные мятежи и дворцовые перевороты стали суровой политической действительностью Срединной страны. Всюду торжествовало право сильного.

В 536 году до н. э., когда Конфуцию было пятнадцать лет, советник царства Чжэн Цзы-Чань отлил бронзовый сосуд с полным перечнем царских законов (в Китае знали только одну форму законодательства: уголовный кодекс). Новшество Цзы-Чаня подверглось ожесточенным нападкам родовитой знати, усмотревшей в нем посягательства на ее традиционные привилегии. Однако дряхлевшая аристократия была уже не в силах вернуть старые добрые времена. Еще одним шагом вперед стал новый порядок взимания государственных податей: вместо прежних отработок на господском поле крестьяне стали выплачивать налог с пахотной земли. Впервые земельный налог был введен как раз в царстве Лу в начале VI века до н. э.

В ряду прочих «Срединных царств» Лу не выделялось ни большой территорией, ни военной мощью. Его правителям из века в век приходилось больше думать о том, как противостоять натиску могущественных соседей: с севера лусцев теснило царство Ци, с юга на них наседало не менее могучее «полуварварское» государство У. Чтобы как-то сберечь свои владения и свое достоинство, правителям Лу приходилось проявлять чудеса дипломатической изворотливости. Чаще всего они обращались за помощью к постоянным соперникам Ци – «полуварварским» южным царствам Чу или У. Незадолго до рождения Конфуция луский правитель даже отстроил себе новый дворец в чуском стиле, который местные аристократы нашли вульгарно-пышным и слишком далеким от мудрой безыскусности первых чжоуских царей. Впрочем, и царский дворец, и сам правитель давно уже имели в Лу только декоративное значение. Уже с начала VII века власть в царстве прочно удерживали в своих руках члены трех знатных семей, потомки трех братьев луского правителя Хуань-гуна. Эти семьи звались по именам трех братьев Мэн, Шу и Цзи, означавшим буквально Старший, Третий и Младший. В 562 году до н. э. предводители этих трех семей поделили между собой территорию царства и почти все его доходы, предоставив правителю выполнять церемониальные обязанности. Без покровительства «трех семей» стало невозможно

сделать карьеру на государственной службе.

Мы видим, что Конфуций жил в обществе, пораженном глубоким кризисом традиционных ценностей. Старые боги умерли, а бездонные глубины Небес хранили молчание. На виду у всех клятвопреступники, узурпаторы трона, отцеубийцы не только благополучно избегали кары духов, но преуспевали и царствовали. Вместе с религией тяжкий кризис переживала этика: господа беззастенчиво обманывали честных слуг, подданные предавали своего государя, и даже супружеская измена не была редкостью в придворных кругах. Рухнули старые запреты. Исчезли целомудренные нравы древних: алчность, тщеславие, злоба, похоть завладели умами и сердцами людей. А потому и веры в справедливость небесного суда у современников Конфуция заметно поубавилось: горечью и негодованием дышат строки иных народных песен того времени, звучащих как богоборческий вызов Небесам:

Велик ты, неба вышний свод!
Но ты немилостив и шлешь
И смерть, и глад на наш народ,
Везде в стране чинишь грабеж!
Ты, небо в высях, сеешь страх,
В жестоком гневе мысли нет;
Пусть те, кто злое совершил,
За зло свое несут ответ,
Но кто ни в чем не виноват —
За что они в пучине бед?..[1]

Что было делать свидетелям тогдашнего духовного брожения? Упрямо держаться за одряхлевшие, утратившие власть над умами истины? Разуверившись во всем и вся, искать новые идеалы? Жить, руководствуясь только инстинктами хищника? Конфуций был одним из тех, кто с особой остротой переживал этот выбор, и он сумел дать на него ответ не просто словами, какими бы правильными и искренними они ни были, а всей своей жизнью. Он стал тем, кто сумел поверить сам и убедить других, что человек способен в любых обстоятельствах оставаться человеком и что такой человек сильнее самого могущественного тирана.

Обратив свои помыслы к учению…

«В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учению…» – скажет о себе Конфуций, оглядываясь на свою давно ушедшую молодость. Какой смысл вкладывал в эти слова престарелый Учитель? Едва ли он имел в виду школьное обучение, которое началось для него, вероятно, несколько раньше. Несомненно, он имел в виду нечто совсем другое и даже противоположное школярской зубрежке. Он говорил о стремлении расширять свои познания, свое понимание вещей и благодаря этому изменяться, совершенствоваться самому. Он говорил о жизни, пронизанной сознанием и волей, сознательно и вольно прожитой; о нашей воле быть тем, чем мы должны быть. Такое учение оказывается синонимом человеческой культуры и притом взятой в ее самых глубоких, уходящих в тайну творческого духа истоках. У этого учения есть начало: внезапное открытие бездонной глубины сознания. Но у него нет конца. Будучи всегда вестником нового, усилие Конфуциевой «воли к учению» дает нам возможность осознать присутствие Изначального, снова и снова возвращает нас к недостижимо-древнему. Случайно или нет, иероглиф «учение» стоит первым в тексте «Бесед и суждений», начальная фраза которого гласит:

Учитель сказал: «Учиться и всякое время прикладывать выученное к делу – разве это не удовольствие?»

Примечательно, что удовольствие, доставляемое учением, тут же поставлено Учителем Куном в один ряд с радостью поучительной приятельской беседы и стоической выдержанностью благородного мужа. В том же первом изречении мы читаем далее:

Беседовать с другом, приехавшим издалека, – разве это не радостно? Не быть по достоинству оцененным светом, а обиду не таить – не таков ли благородный муж?

Конечно, Конфуций прекрасно видел различие между показной образованностью и подлинным пониманием. Он охотно повторил бы за Гераклитом его знаменитые слова: «Многознайство не есть мудрость». И он сам, повзрослев, частенько напоминал ученикам:

Древние люди учились для себя. Нынче люди учатся, чтобы подивить других.

К специальным знаниям и профессиональным навыкам он относился по меньшей мере иронически, а порой и с откровенным пренебрежением. Он с готовностью признавал ограниченность своих познаний и не отказывал себе только в одном: в желании

учиться. Эту ненасытную страсть к учению Конфуций считал, кажется, своим главным достоинством:

Учитель сказал: «В любом селении из десяти домов найдется человек, который не уступит мне в добродетели. Но никто не сравнится со мной в любви к учению».

Учитель сказал: «Учись так, словно твоих знаний тебе вечно не хватает, и так, словно ты вечно страшишься растерять свои познания».

Книжное знание редко бывало в чести у основоположников великих религий. Христос не читал книг. Магомет и вовсе был неграмотным. Будда учил неизъяснимой ясности сознания. Да и в Китае родоначальники одного из самых глубоких и влиятельных течений китайской мысли – даосизма – утверждали: «Тот, кто учится, каждый день приобретает; тот, кто живет не по правде, каждый день теряет». Для Конфуция же ученость и отточенный многолетним учением, искушенный ум был неотъемлемой частью жизненного идеала. Конфуций не мог поступиться образованием, ибо видел в нем самый естественный и благодарный путь раскрытия человеческих способностей. Открывая нам богатства духа, образование делает нас более чувствительными к тому, что происходит в нас и вокруг нас; оно развивает духовный слух. А в результате «воля к учению» заставляет острее сознавать наше отличие от других людей, дистанцию, отделяющую нас от мира, и побуждает нас к нравственному совершенствованию. Среди «мужей, преданных учению, редко встретишь человека закосневшего», – резонно отмечал Учитель Кун. Быть может, Конфуциева апология учения и в самом деле начиналась с наивной, по-детски неуемной жажды познания. Но находила она оправдание в доверии к жизни осмысленной и вобравшей в себя всечеловеческий опыт.

Жизнь стоит того, чтобы ее изучать, ибо она хранит в себе загадку человеческого величия: вот главная посылка Конфуциевой философии. Оттого же учение для китайского мудреца – не только практическая необходимость или нравственная потребность, но и часть быта, одна из радостей повседневного существования наравне, скажем, с дружеской беседой или веселой прогулкой.

Следовало бы, однако, помнить, что, решив посвятить себя учению, Конфуций сделал нелегкий личный выбор. Ему, сыну воина, да к тому же не обделенному ни здоровьем, ни физической силой, более пристали бы ратные подвиги. Карьера же ученого или гражданского чиновника по многим причинам была для него особенно затруднительной. С его далеко не привлекательной, а для многих и попросту уродливой внешностью он имел мало

надежды приобрести тот светский лоск и обаяние, без которых в обществе спесивых аристократов его времени было почти невозможно снискать авторитет. Кроме того, не имея высокого покровителя, он не мог рассчитывать и на быстрое продвижение по службе. Наконец, в тот циничный, изуверившийся в старых идеалах век искреннее желание исполнять заветы древних давало, наверное, меньше всего шансов применить свои способности и знания в делах государственного управления.

С того момента, когда молодой Кун Цю решил «обратить свои помыслы к учению», началась его сознательная, взрослая жизнь. Надо заметить, что приблизительно в том же возрасте, лет в шестнадцать-семнадцать, юноши в древнем Китае достигали совершеннолетия. По этому случаю совершали специальный обряд перед семейным алтарем: виновнику торжества укладывали волосы пучком, как у взрослого, и надевали на него высокую шапку мужчины. Возможно, в глазах самого Конфуция решение стать ученым и достижение им совершеннолетия были тесно связаны между собой, так что традиционная церемония приобрела для него еще и особый личный смысл. Что ж, мы не ошибемся, если скажем, что весь жизненный путь Конфуция был поиском внутреннего, личностного смысла традиции.

В скором времени Кун Цю пришлось продемонстрировать серьезность своих намерений. Когда ему шел восемнадцатый год или, может быть, чуть позже, умерла его мать. Цю похоронил ее со всеми почестями, в строгом соответствии с древними обычаями, чем в очередной раз заставил говорить о себе всю округу. Каково же было удивление его соседей, когда они узнали, что благочестивый Цю сделал только временное захоронение у перекрестка дорог, а сам решил во что бы то ни стало отыскать место погребения своего отца и перенести туда прах матери. Он съездил на родину и там от одной старой женщины узнал, что Шулян Хэ похоронили у горы Фаншань в нескольких верстах к востоку от Цюйфу. Он разыскал могилу отца и на том же месте захоронил останки матери. (Место это известно до сих пор.) По преданию, он велел насыпать над родительскими могилами высокий холм, пояснив: «Я слышал, что древние не насыпали курганов над могилами, но я собираюсь в будущем ездить на восток и на запад, на юг и на север и должен позаботиться о том, чтобы я мог легко узнавать могилы предков». Эти слова Конфуция скорее всего вымышленны, но нет сомнений в том, что, занимаясь похоронами матери, Кун Цю и в самом деле показал себя на редкость серьезным и честолюбивым юношей, готовившим себя к необыкновенной судьбе. В его поступках уже без труда угадывается Конфуций зрелой поры жизни – тот Конфуций,

который любил говорить:

Благородный муж распространяет уважение на всех людей, но более всего уважает себя.

Можно не сомневаться и в том, что Кун Цю строго соблюдал правила ношения траура по усопшей матери, а правила эти требовали от сына в течение двух и даже более лет вести прямо-таки аскетический образ жизни: не есть скоромного, не спать на мягком, не слушать музыку, носить одежду из грубого холста и, конечно, не состоять на государственной службе. Но неукоснительное выполнение всех правил траурной аскезы, надо полагать, лишь возвышало юношу в его собственных глазах. Предание донесло до нас любопытный эпизод из тогдашней жизни Конфуция, свидетельствующий о том, что в свои семнадцать-восемнадцать лет Кун Цю и в самом деле был юношей очень честолюбивым и даже явно переоценивавшим свои возможности. Он еще не снял траура по матери, когда глава клана Цзи – самого могущественного из трех семейств царства Лу – устроил большой пир для служилых людей, и Кун Цю, уже видевший себя настоящим «сыном правителя», одним из первых явился в дом всесильного царедворца. Но привратник дома по имени Ян Ху оказал юному посетителю более чем прохладный прием. «К хозяину приглашены служилые люди, а тебя никто не звал», – отрезал он. Более обидных для Кун Цю слов и придумать было невозможно. В полном замешательстве будущий великий Учитель удалился, не сумев найти достойного ответа обидчику.

Несмотря на афронт, полученный от человека, которого Кун Цю прочил в свои покровители (семейство Цзи, кажется, покровительствовало его отцу), целеустремленный и талантливый юноша, несомненно, уже приобрел некоторую известность в родном царстве. Едва ли сын старого солдата мог быть настолько в себе уверен, если бы он не чувствовал за собой поддержки каких-то влиятельных лиц. Правда, аристократы смотрели на него свысока, называли не иначе как «сыном человека из Цзоу», намекая на то, что отец его был из мелких начальников захолустного городка – не чета обитателям столицы. Одним словом, Кун Цю в столичном обществе уже знали, но еще не вполне признали. А будущий Учитель между тем уже вступал во взрослую жизнь. В девятнадцать лет Кун Цю обзавелся семьей, но о жене его почти не сохранилось сведений. Из позднейших источников известно только, что она была родом из служилого семейства Цзи в царстве Сун. Возможно, одинокий и небогатый молодой человек, каким был тогда Конфуций, не смог бы заключить этот брак без протекции влиятельного лица в своем царстве. Похоже на то, что семейная жизнь у Конфуция не

сложилась, и он с женой разошелся, пережив ее на несколько лет.

Во всяком случае, супруга Конфуция никакого участия в делах мужа не принимала, а сам он считал привязанность к домашнему очагу недостойной настоящего мужчины и с готовностью пускался в странствия, претворяя в жизнь собственное пророчество о том, что ему суждено быть «человеком севера, юга, запада и востока». Ну а пока Кун Цю был счастлив с молодой женой: спустя год после свадьбы у него родился сын. И – о, радость! – сам правитель царства прислал ему по этому случаю карпа – традиционный символ удачи. Это был самый мизерный подарок, который только можно было получить от государя, но надо ли говорить, что для гордого юноши он был дороже всех богатств Поднебесной. Его заметили и оценили при дворе! Теперь жди новых радостных вестей… Растроганный отец дал своему первенцу имя Ли, что значит «карп», а прозвище – Боюй, то есть «старшая рыба». Он явно надеялся, что в его дом приплывут новые карпы, но обманулся в своих ожиданиях. Жена впоследствии родила ему еще только дочь.

Если сам правитель царства оказал Кун Цю знак внимания, пусть даже скромный, это означает, по всей видимости, что к тому времени он уже находился на государственной службе. Видно, злополучный визит к семье Цзи не прошел незамеченным, и напористому «сыну человека из Цзоу» дали возможность показать себя. Считается, что карьера Конфуция началась с небольшой должности во владениях той самой семьи Цзи: ему поручили надзирать за какими-то хлебными амбарами и сбором налогов с окрестных земель. Такая служба не сулила ни славы, ни быстрого продвижения наверх и едва ли могла удовлетворить амбиции будущего Учителя всех поколений. К тому же Конфуций всегда смотрел с полным равнодушием, если не сказать с презрением, на всякие технические знания и профессиональные навыки. Он был убежден, что управленческая рутина только мешает благородному мужу претворять его возвышенные помыслы – ведь он верил во всемогущество ритуала – действия не столько технического, сколько символического. Впоследствии он якобы говорил о своей деятельности в роли учетчика при хлебных амбарах: «Я только следил за тем, чтобы записи велись правильно, вот и все». Эти слова Конфуция стали образцовыми для многих поколений ученых мужей старого Китая, которые, принимая служебное назначение, говорили себе по примеру Монтеня, что «возьмут дело в свои руки, но не в свое сердце». Нельзя сказать, однако, что служба при амбарах не принесла Кун Цю пользы. Благодаря ей он близко узнал жизнь простых крестьян, научился понимать их нужды и чаяния и проникся к

ним искренним сочувствием. Опыт, приобретенный им за эти годы, многое определил в его взглядах на способы и цели государственного управления.

Даже если Кун Цю не был в восторге от своих служебных обязанностей, он, конечно, не мог позволить себе хотя бы в малейшей степени пренебрегать ими. Его усердие оценили, и спустя некоторое время он стал управляющим всех пастбищ семейства Цзи. Должность немалая для молодого человека двадцати лет от роду, но по-прежнему далеко не удовлетворявшая амбиций потомка царского рода и уж тем более, как он сам думал о себе, нового Чжоу-гуна в будущем. О своей службе надзирателя стад он скажет потом все в том же то ли снисходительно-ироничном, то ли подчеркнуто деловом тоне: «Я следил за тем, чтобы буйволы и бараны росли здоровыми и жирными, вот и все». Заявление это, кажется, отдает горечью. Однако и это суждение поклонники Конфуция в Китае сочти напутствием служилым людям, восславив Учителя Куна еще и как образцового чиновника.

В свои двадцать с лишним лет Кун Цю мог считать, что кое-чего достиг в жизни. Его заметили, ему дали попробовать свои силы на служебном поприще, о нем знали даже при дворе. У него была репутация талантливого и ученого человека, примерного служащего. Казалось, у него были все возможности сделать блистательную карьеру. Но шли годы, а в его положении не происходило никаких перемен. Мы можем лишь догадываться, что было тому причиной. Быть может, ему просто не везло или у него не было нужных связей. Но скорее всего причиной его невезения был он сам, точнее – его такой неприспособленный для служебной карьеры характер. Конечно, урок, преподанный ему когда-то привратником семейства Цзи, не пропал даром. С годами Кун Цю поборол свои неуклюжие манеры и ту резкость в поступках, которые свойственны честолюбивым юношам из бедных семей. Однако и позднее отец «китайских церемоний» отнюдь не отличался дипломатическим тактом. Он совершенно не умел угождать, лицемерить, плести интриги, выжидать, одним словом, – делать все то, что необходимо для быстрого и успешного продвижения к высотам власти. Он решительно не признавал никаких уверток и ухищрений – ни в большом, ни в малом. Его прямодушие, безукоризненная честность, бесстрашные суждения вкупе с его, мягко говоря, странным обликом могли бы смутить любого из тех, кто пожелал бы ему покровительствовать. И то, что могло показаться поначалу случайностью, обычным невезением, постепенно обретало определенность и весомость жизненной судьбы. Время открывало

ему новый – и суровый, и упоительный – смысл его устремлений:

Не беспокойся о том, что не занимаешь высокий пост. Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте, где находишься.

Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали.

Со стороны положение Кун Цю на третьем десятке его жизни казалось все более незавидным. По бедности он едва ли мог оставить службу, которая, как он знал, не сулила ему ничего, кроме скучной канцелярской рутины. Ему грозила страшнейшая из пыток: жизнь, лишенная событий. Выручила Кун Цю лишь его ненасытная страсть к учению. Живя в предместье Цюйфу, он, без сомнения, мог легко свести знакомство со столичными знатоками канонов, музыки, ритуалов и часто беседовать с ними, перенимая их мудрость. А потом пришел день, когда его впервые провели в дворцовые архивы и он собственными глазами увидел связки книг, а рядом – писцов, заносивших на свежевыструганные дощечки летопись событий луского двора. Здесь на его глазах свершалось величайшее таинство культуры: мимолетные и как бы случайные явления жизни, излившись под резцом летописца столбиком узорчатых знаков, становились вестниками вечного, неуничтожимого, величественного смысла. Писцы, архивариусы, смотрители царских хранилищ охотно открыли перед молодым ученым двери своих кладовых, а там было что посмотреть. Еще первый царь Чжоу позволил своему мудрому брату Чжоу-гуну и его наследникам совершать все обряды в своем уделе по царскому чину. Со времен Чжоу-гуна во дворце луских правителей хранилось богатейшее – наверное, не хуже, чем у самого властелина Чжоу, – собрание всевозможных принадлежностей для древних ритуалов. А сами правители Лу старательно поддерживали незабвенный декорум старины, вдохновляясь не столько любовью к своим августейшим предкам, сколько вполне практическими соображениями: их репутация хранителей чжоуского наследия и высших авторитетов по части церемоний немало помогала им, не располагавшим ни большими богатствами, ни сильным войском, улаживать миром споры со своими могущественными соседями. «Лу держит ритуалы Чжоу», – говорили в те времена. Сохранилась любопытная запись о том, как сановник из Лу однажды прибыл с посольством к правителю царства Цзинь (это случилось как раз за несколько лет до рождения Конфуция). На приеме в царском дворце посол не поблагодарил хозяев за исполнение самых торжественных мелодий, зато отвесил учтивый поклон после того, как услышал более непритязательные песни. На недоуменные вопросы хозяев

он ответил, что торжественные мелодии предназначены только для приемов у чжоуского царя и поэтому решил, что музыканты, исполняя их, «просто упражнялись в мастерстве», и, стало быть, для выражения благодарности нет повода. Зато исполнением менее торжественных од, поспешил добавить безупречно вежливый гость, правитель Цзинь поприветствовал его и возвестил о шести главных добродетелях возвышенного мужа, на что и следовало ответить самыми учтивыми поклонами. Умели луские мужи показать свое превосходство! В 540 году до н. э., когда Кун Цю вступал в пору отрочества, Лу посетил наследный принц одного южного, «полуварварского» царства. Пораженный тщательным распорядком церемоний во дворце луского правителя, изысканными манерами и тонким вкусом хозяев, гость сделал как нельзя более приятное для лусцев заключение: «Ритуалы Чжоу досконально сохранились в Лу!»

Даже если хвалебные отзывы чужеземных послов являются отчасти данью дипломатическому этикету, нет сомнения в том, что Лу было главным оплотом чжоуской культурной традиции. Только здесь и мог появиться такой великий знаток и любитель древностей, как Конфуций. Только здесь юноша Кун Цю с его страстью к учению мог стать Учителем Куном.

Много интересного открыл для себя Кун Цю в сокровищницах царского дворца, много увидел такого, о чем прежде даже не догадывался или знал понаслышке. Взять хотя бы знаменитые «три реликвии» правителя Лу: огромный лук – наследство великого Чжоу-гуна, драгоценная яшма, спрятанная в изящной шкатулке, и парадная колесница – ее сам повелитель Чжоу подарил Чжоу-гуну для того, чтобы его потомки приезжали на ней к чжоускому двору с изъявлением преданности. (Правда, колесница эта уже много лет стояла без дела – цари Лу забыли про свой долг перед хозяином Поднебесной.) Теперь Кун Цю смог разглядеть всевозможные атрибуты дворцовых церемоний – все эти древние знамена, бунчуки и копья с вытертыми до блеска древками, бронзовые топоры и зеркала, расшитые жемчугом шелковые покрывала, кипарисовые ларцы, старинные, с заусенцами на лезвии мечи, боевые колесницы, парадные шапки с плоским квадратным верхом и подвешенными к нему яшмовыми и жемчужными нитями, перламутровые раковины из южных морей, парчовые халаты и полотняные накидки для похоронных церемоний… Была там кладовая, где лежали панцири больших черепах, использовавшиеся для гадания: когда правитель затевал какое-нибудь важное дело, например, военный поход или ремонт родового храма, придворный гадатель прижигал панцирь раскаленной бронзовой палочкой, а потом читал волю Неба по

проступившим на нем трещинам. В отдельном павильоне хранились изделия из яшмы – самого драгоценного для древних китайцев камня. Кун Цю увидел тут зеленоватые кольца *би,* чья округлость символизировала Небо, и граненые бруски *цуй* — символ Земли, яшмовые топоры и всевозможные амулеты, назначения которых Кун Цю и сам толком не знал. Молодой ученый любил, уединившись, подолгу рассматривать эти сокровища: яшма притягивала взор своей таинственной глубиной, в которой, словно тающие в воздухе струйки дыма, затейливо вьются и переливаются друг в друга разноцветные прожилки. Случайный, как будто бессмысленный узор, но стоит вглядеться в него пристальнее, и эти странные линии и пятнышки вдруг складываются в как будто знакомые письмена, увлекают в новые и неведомые дали… «Благородная яшма наделена всеми пятью добродетелями служилого человека, – вспоминал он слова старого хранителя царских камней. – Яшма излучает мягкий и теплый свет: вот ее доброта. Она прозрачна и не скрывает узор внутри себя: вот ее честность. Дотронься до нее палочкой – и она издаст чистый звук: таково ее целомудрие. Ее можно разбить, но нельзя согнуть: такова ее стойкость. Она имеет острые края, но никого не ранит: таково ее великодушие. Поистине, яшма – лучший друг служилого человека!» Кун Цю и сам знал теперь, что старый знаток камней был прав.

Но чаще всего Кун Цю приходил в кладовую, где стояли бронзовые жертвенные сосуды – округлые и с острыми углами, с длинными носиками и узкими горлышками, безногие или на трех ногах, позеленевшие от времени, покрытые замысловатыми узорами и едва проступавшими из-под зелени письменами, украшенные фигурками тигра или феникса, дракона или волшебной черепахи. Некоторых из этих сосудов касалась рука самого Чжоу-гуна! А слова, вырезанные на них, Кун Цю давно уже выучил наизусть:

Говорю вам: в древности наш Вэнь-ван
Сызнова водворил согласие и порядок.
Сподобился от верховного владыки великой благодати,
О верхах и низах по-отечески пекся…
А нынче Сын Неба почтительно продолжает
Великое дело Вэнь-вана.
Да будет даровано ему долголетие без предела…

Со временем Кун Цю досконально изучил царскую коллекцию бронзовых сосудов, а в зрелом возрасте стал, кажется, лучшим во всей Срединной стране знатоком этих благородных предметов.

Теперь Кун Цю мог входить в дворцовые залы для торжественных собраний и приемов почетных гостей. Его приметили знатнейшие люди двора, к его суждениям прислушивались.

По случайности, нам известен один эпизод из жизни Конфуция тех лет, где будущий учитель предстает все таким же неистовым собирателем знаний. В 525 году до н. э. луский двор посетил правитель расположенного по соседству небольшого владения Тань. Прослышав, что именитый гость знает много историй о легендарных царях древности, Кун Цю добился у него аудиенции и долго беседовал с ним о мудрости древних царей. Повод к тому был самый что ни на есть изысканный: правитель Тань считал себя потомком одного древнего правителя, который в своем царстве дал чиновничьим должностям имена птиц. Он охотно пересказал Кун Цю свои семейные предания. По его словам, первый царь Поднебесной считал своей эмблемой облака и поэтому титулы своим чиновникам давал по названиям облаков, а его преемники называли своих чиновников именами огня, воды, драконов и птиц. После беседы с правителем Тань Кун Цю якобы сказал: «Я слышал такое суждение: „Коли Сын Неба не навел порядка в делах правления, можно расспросить дикарей четырех сторон света“. Этим словам и вправду можно верить». Трудно, впрочем, поверить, чтобы в свои молодые годы Кун Цю мог назвать «дикарем» правителя соседнего удела. Зато есть основания полагать, что к тому времени он уже занимал какой-то пост при дворе, иначе едва ли ему представилась бы возможность побеседовать со столь высоким гостем.

Современников Конфуция более всего поразили, вероятно, не его слова сами по себе, а его жажда знаний. Для нас же этот рассказ древней хроники примечателен тем, что он дает понять: Конфуций уже тогда пользовался достаточным авторитетом для того, чтобы на равных вести ученые беседы с правителем удела и даже делать ему двусмысленный, не сказать оскорбительный, комплимент.

К несколько более позднему времени относится другой эпизод, который тоже свидетельствует, помимо прочего, о том, что Цю из рода Кунов рано прослыл очень образованным человеком. Будучи лет двадцати семи от роду, Кун Цю впервые попал на торжественное жертвоприношение в родовом храме Чжоу-гуна и без устали расспрашивал служителей храма обо всем, что видел вокруг. Немедленно среди присутствовавшей там именитой публики пополз насмешливый шепот: «Кто сказал, что сын человека из Цзоу разбирается в ритуалах? Он же спрашивает обо всем подряд!» Когда Конфуций узнал об этих пересудах, он,

ничуть не смутившись, отрезал: «В таком месте спрашивать обо всем подряд и есть ритуал!» Традиция видит в этом рассказе лишь очередное подтверждение необыкновенной дотошности Конфуция в изучении обрядов. Но в поведении Конфуция и особенно в его словах видится более широкий или, если угодно, более тонкий смысл. Спрашивая обо всем и вся, Конфуций, несомненно, во многих случаях заведомо имитировал незнание: он принимал позу ученика и демонстрировал другим, что учится постоянно. Одновременно подобная манера позволяла ему не теряя лица и в самом деле узнать что-то новое. Но эта игра в учение была для Конфуция наисерьезнейшим делом; она была поистине его жизнью. Так условности этикета и самые заветные устремления души сходились для Конфуция воедино.

Молодого смотрителя пастбищ интересовали в ту пору не только старинные обряды и предания. Его главным открытием тех лет стал мир церемониальной, такой непохожей на песни простонародья музыки, мир необычных созвучий и удивительных инструментов, каких не встретишь за стенами дворца. Тут хранились барабаны всевозможных форм и размеров, многострунные певучие цитры, бамбуковые флейты, большие рамы, на которых висели каменные пластины, и даже целый оркестр из шестидесяти четырех больших и малых колоколов! Не каждому хватало способностей и терпения разобраться в тонкостях этой сложной, истинно царской музыки. Еще раньше Кун Цю, как все дети знатного происхождения, учился петь песни поэтического канона чжоусцев. Теперь он узнал, как надо их петь под аккомпанемент, предписанный древними правилами. Ученые люди во дворце называли старинную музыку «изысканной». В ней не было ничего сладкозвучного, ничего возбуждающего низкие чувства, как в новомодных мелодиях, повсюду звучавших на веселых пирушках. Слепые музыканты однообразно, почти заунывно тянули слова древних песен под размеренное бряцанье каменных пластин. Чтобы понять такую музыку, в нее нужно было долго вслушиваться. Это была музыка для человека твердых устоев и незыблемой воли. Что могли понять в ней легкомысленные любители развлечений? Кун Цю уже знал: мудрец тем и отличается от заурядных людей, что благодаря музыке воспитывает в себе сдержанность и постигает сокровенный смысл «чистого звучания яшмы»; в звуках музыки он внимает беззвучному. Дворцовые знатоки музыки разъясняли Кун Цю величие «изысканной» музыки древних, очищающей людей от всего низменного и суетного, обращающей их духовный слух к беспредельной гармонии Неба и Земли. Они рассказывали ему о великих музыкантах древности, которые одним прикосновением к

струнам своей цитры приводили в действие грозные стихии мироздания. Они учили его, как незаметным движением пальцев производить колебания звука, столь же утонченные и неуловимые для неискушенного слушателя, сколь «неуловимы в своей утонченности» творческие превращения Великого Пути мироздания. От них Кун Цю прослышал и о природе музыки в разных царствах: «Песни царств Чжэн и Вэй – это музыка смуты. Песни из области Санцзянь – это музыка гибели. Песни царства Сун – это музыка изнеженного духа. Песни царства Ци – это музыка горделивого духа. Но нет музыки более величественной и глубокой, чем изысканная музыка Чжоу!..»

Из всех инструментов Кун Цю особенно полюбил семиструнную цитру, по-китайски *цинъ*. (К слову сказать, с легкой руки Конфуция именно ей суждено было стать классическим музыкальным инструментом ученых мужей Китая.) Он начал брать уроки игры на цитре у лучшего музыканта в Цюйфу. Старый учитель Ши Сян поначалу был не слишком внимателен к своему новому ученику. Ему хотелось поскорее перейти к музыкальным пластинам и колоколам – самым древним и благородным инструментам. Наиграв Кун Цю одну мелодию, он велел ему разучить ее. Минуло десять дней, он поинтересовался успехами ученика и остался доволен: «У тебя неплохо получается. Я могу дать тебе еще что-нибудь», – сказал он.

– Прошу вас, учитель, не торопиться, – ответил Кун Цю. – Я выучил мелодию, но пока еще не освоил ритм.

Кун Цю поупражнялся еще несколько дней и попросил учителя послушать его. «Теперь ты играешь совсем хорошо, – сказал Ши Сян. – Ты можешь смело браться за другую мелодию».

– Нет, учитель, – снова возразил Кун Цю. – Я еще не могу как следует выразить настроение песни. – И он продолжал с утра до вечера музицировать на своей цитре. Спустя несколько дней учитель Ши Сян еще раз послушал его игру и опять остался доволен. «Теперь ты уловил и настроение песни. Может быть, начнем все-таки разучивать новую вещь?» – сказал он.

– Прошу вас, учитель, дайте мне еще немного времени, – взмолился Кун Цю. – Мне хочется понять, что за человек сочинил эту песню! – И снова Кун Цю долгими часами сидел, склонившись над своей цитрой. Он то впадал в глубокую задумчивость, то вдруг приходил в крайнее волнение. Наконец он пришел к учителю и сказал: «Теперь я знаю, кто был человек, сочинивший этот напев. Это был муж смуглолицый и высокий, прямо-таки величественный! Его взор устремлялся в недостижимые дали, его дух обнимал все пределы небес. Таким мог быть только достопочтенный Вэнь-ван, основоположник дома Чжоу!»

Изумленный учитель встал и отвесил поклон своему упорному ученику. «Ты угадал! – воскликнул он. – Старейшие из знатоков музыки и вправду сказывают, что эту музыку сочинил сам Вэнь-ван!»

Рассказ о том, как Конфуций учился музыке у учителя Ши Сяна, записан в источниках, появившихся намного позже «Бесед и суждений». Но даже если он не соответствует исторической правде, он все же верен духу Конфуциева наследия, отмеченного стремлением постичь человеческое содержание культуры, увидеть за произведением искусства не просто настроение, но сам характер его создателя. Это интуитивное и все же тщательно выверенное погружение в глубины чувства достигалось не легкими мечтаниями и не мимолетным усилием воли, а долгим и многотрудным усвоением исполнительской техники. Это была в полном смысле работа духа и работа тела. Интуиция Конфуция – непременно спутница отточенного мастерства. Музыка же из всех искусств служит, пожалуй, самым наглядным и убедительным примером единства внутреннего опыта и технического умения.

Интерес Кун Цю к «изысканной» музыке древних естественно вырос из симпатий молодого ученого к старине. Как ни характерно это пристрастие ко всему «древнему» для личности и деяний самого Конфуция, в нем угадывается и общее состояние китайской культуры тех времен. Именно тогда в древнем Китае появляется идея истории, а вместе с ней и осознание различий между прошлым и настоящим. Интересно, что самое понятие истории обозначалось в Китае словосочетанием «древнее – современное» *(гу-цзинь)*. И надо сказать, что противостояние «древность – современность» имела для современников Кун Цю вполне зримые и очень приметные черты. Вспомним, что богатство вновь отстроенных дворцов представляло разительный контраст с почти аскетическим бытом чжоуских пращуров. Столь же резко «изысканная» музыка былых времен отличалась от «соблазнительной» музыки в новом вкусе. Существовали столь же заметные различия между древним и современным письмом, древним и современным языком. По свидетельству учеников, Конфуций неизменно декламировал канонические песни и произносил ритуальные формулы на «официальном» наречии, бытовавшем когда-то при чжоуском дворе. Одним словом, во времена Конфуция выявилась целая «культура» древности, которая составила как бы возвышенный стиль жизни, приличествующий благородному человеку. Познать эту искусственно поддерживаемую культуру, усвоить ее и передать потомкам стало целью ученых мужей той эпохи, даже если смысл самой древности уже представал весьма смутным и

малопонятным.

Предание донесло до нас еще один и, кажется, заключительный эпизод учебы Конфуция: его поездку в славный город Лои – столицу чжоуского государства. Такая поездка была, без сомнения, давнишней мечтой молодого ученого. В державе римлян все дороги вели в Рим, а в Срединном царстве, где жил Конфуций, все дороги вели в Лои. На земле не было лучшего места для того, чтобы исполнилось заветное желание Кун Цю: «обозреть установления прежних царей и расследовать истоки ритуалов и музыки». Кун Цю было уже под тридцать, он успел снискать уважение образованного общества в Цюйфу, и о его поездке похлопотал сын предводителя знатного клана Мэн – того самого, которому служил отец Кун Цю. По обычаю, для такого путешествия требовалось испросить разрешение правителя царства Чжао-гуна, и это разрешение было без труда получено. Дело в том, что правители Лу, пренебрегая своими старинными обязанностями, уже много лет не отправляли посольств ко двору чжоуского вана, и Чжао-гун счел, что представился удобный случай хотя бы отчасти искупить свою вину перед «старшим братом», сидевшим на престоле в Лои. Да и кандидатура Кун Цю вполне для этого годилась: пусть знают люди Чжоу, что не оскудела еще талантами вотчина Чжоу-гуна! Кун Цю даже выдали повозку, запряженную парой лошадей, и казенного слугу – теперь ему не стыдно будет показаться на глаза гордым столичным мужам.

Простившись с друзьями, Кун Цю и его знатный спутник покинули Цюйфу. Остались позади родные луские холмы и заоблачная вершина священной горы Тайшань, потянулась навстречу бескрайняя лесистая равнина, за ней – крестьянские поля в пойме Желтой реки, медленно катившей свои мутные воды в Восточный океан. Теперь путешественники ехали прямо на запад по укатанной дороге, среди цветущих деревень, останавливаясь на ночлег в уютных постоялых дворах. Казалось, благоденствие былых времен еще сохранялось в этих краях. На небе не успела смениться луна, как ворота главного города Срединной страны гостеприимно распахнулись перед ними. Это и вправду был город чудес. Чего стоил один дворец чжоуского вана – грандиознейшая из обителей земных владык, длина стен которой достигала трех с половиной километров. А вот высокие могильные курганы, где спят «в торжественном безмолвии» государи былых времен. Но, конечно, больше всего молодого ученого поразили сокровища дворцовых покоев и хранилищ: здесь и богатейшие собрания старинных книг, оружия,

музыкальных инструментов, и целый зал с портретами премудрых царей и их советников, и царские яшмовые скипетры, нефритовые кубки и бронзовые жертвенные сосуды. Перед залом для торжественных аудиенций выстроились в ряд главные святыни чжоуской династии – девять больших треножников по числу древних областей Поднебесной. Говорили, что их в незапамятные времена отлил сам отец человечества Фуси и что чжоуские владыки будут царствовать до тех пор, пока в их дворце будут стоять эти треножники… Еще он увидел в родовом храме чжоуских царей бронзового человека. Рот его был замкнут тремя замками, а на спине виднелась надпись: «Древний человек, осмотрительный в речах». Понятное предостережение: кто много говорит, навлечет на себя и много неприятностей. Совет никогда не лишний. Еще Кун Цю осмотрел алтарь божества «пяти злаков» – квадратную насыпь из утрамбованной земли, на которой, предварительно попостившись и совершив омовение, Сын Неба приносил жертвы божеству «пяти видов злаков» и молил его о даровании плодородия полям. А вот и тронный зал, и сам трон, на котором недвижно сидит, опустив руки на яшмовые подлокотники, властелин Поднебесного мира, и лицо его скрыто нефритовыми нитями, свисающими с высокой шапки. Говорят, что, насмотревшись на все эти поучительные достопримечательности, Конфуций сделал такое заключение: *«Благодаря светлому зеркалу выявляется облик вещей. Благодаря знакомству с прошлым познаешь настоящее!»*

Конечно, не меньше старинных реликвий Конфуцию были интересны столичные ученые. А те, в свою очередь, были поражены умом, образованностью, манерами, да и чего скрывать – необычным обликом гостя из Лу. Придворный учитель музыки после разговора с Конфуцием якобы сказал о нем: «У этого ученого из Лу есть все знаки высшей мудрости: у него и глаза, и лоб, и спина, и даже осанка мудреца. Его ум столь глубок, а познания столь обширны, что он достоин самого высокого поста».

– Если этот человек и вправду мудрец, то чем он должен заняться? – спросил кто-то старого учителя.

– Ныне законы древних царей находятся в небрежении, – ответил тот. – Мудрец должен первым делом восстановить древние уложения о музыке и ритуалах.

Когда Конфуций услышал столь лестный для него отзыв, он скромно возразил, что не обладает задатками великого мудреца и только предан всей душой изучению древней музыки и обрядов. Но слова старого наставника, несомненно, должны были укрепить его юношескую веру в свое высокое предназначение. Только вот подходящее ли было время для осуществления возвышенных

помыслов? Приехав в Лои, Кун Цю собственными глазами убедился в том, как низко пал некогда блистательный чжоуский двор. Никто уже не являлся в столицу с изъявлениями преданности и богатыми дарами. А сам правитель и его окружение погрязли в бесконечных спорах о престолонаследии и мелких интригах. Кто из них стал бы слушать молодого правдолюбца?..

Если верить преданию, Конфуций искал встречи со знаменитым мудрецом Лао-цзы – смотрителем дворцовых архивов Чжоу и родоначальником даосизма, второго наряду с конфуцианством классического течения китайской мысли. Сохранившиеся сведения о Лао-цзы овеяны дымкой почти сказочных легенд. Но если Лао-цзы в самом деле существовал, то повидать его, наверное, было не так-то просто, ибо, судя по приписываемым ему изречениям, он считал мирскую жизнь сплошной суетой, всяческое умствование презирал, а сильных мира сего избегал. Кому, как не царскому архивариусу, знать истинную цену людскому тщеславию! Потомки прозвали его «темным мудрецом»… Однако же и в самом деле мудрено суетному свету понять того, кто говорит, что «высшая сила – это отсутствие силы», и кто советует: «Не ищи приобретений – и все будешь иметь», «забудь о знании – и все узнаешь». О чем с таким говорить? О чем такому говорить с миром? Сам Лао-цзы заключает:

«Когда возвышенный человек слышит о правде, он следует ей. Когда низкий человек слышит о правде, он смеется над ней. Если бы он не смеялся, это не было бы правдой…»

У нас нет уверенности, что Конфуций повидался с Лаоцзы. А если бы даже и повидался, то какой бы разговор у них вышел? Однако есть сведения, что уже очень скоро после смерти Конфуция рассказ о его встрече с Лао-цзы пользовался широкой известностью среди ученых людей. Сохранились древние изображения этой встречи, на которых мы видим Конфуция, склонившегося в глубоком поклоне перед Лао-цзы. Видно, это не роняло достоинства Учителя Куна даже в глазах его последователей – в конце концов, Лаоцзы был вдвое старше Конфуция. О чем же разговаривали два величайших ума Поднебесной? Предание гласит, что Кун Цю поведал мудрому архивариусу о своих мечтах восстановить мир и порядок в Срединной стране, но посетовал на упадок нравов: «Увы! Трудно осуществить ныне праведный путь! – воскликнул он. – Нет нынче правителя, способного идти им». – «Будь осторожен, – ответил Лаоцзы. – Всякий, кто судит, неизбежно ошибается. Всякий, кто пытается понять, не постигнет истинного смысла сказанного». Тут

ему пришло самое время замолчать, и, лишь провожая молодого гостя до ворот дома, он якобы напутствовал его такими словами: «Я слышал, что люди богатые и знатные на прощание дарят гостю деньги, а люди добрые дарят советы. Я не богат и не знатен, но, как ни недостоин я этого звания, люди зовут меня добрым. А посему позволь мне дать тебе совет: человек, любящий подмечать недостатки других, рано или поздно попадет в беду; человека, который любит разоблачать промахи других, подстерегает опасность; почтительный к старшим не стремится быть впереди всех, и так же держится добропорядочный подданный».

Так говорил Лао-цзы, проповедник скрытной честности. Мы не знаем, понравились ли слова ученого старца тогда еще молодому, полному возвышенных замыслов Конфуцию. Сам Учитель Кун всегда учил быть осмотрительным и в словах, и в поступках. Правда, не ценой нравственной расслабленности и потворства злу. Но глубокомысленные и уклончивые речи премудрого архивариуса вряд ли пришлись ему по вкусу. Впрочем, он не мог не воздать должное своему уважаемому собеседнику. «Всякую тварь, земную и небесную, поймать немудрено, да только не дракона, который взмывает в поднебесье вместе с ветром и возвращается на землю с дождем, – сказал он своему спутнику. – Сегодня я повстречался с драконом!» С этими словами он отправился в обратный путь. Ну а Лао-цзы, как истинный дракон, ускользнул из тенет мира. Вконец разуверившись в людях, он сел на буйвола и уехал куда-то далеко на запад. С тех пор о нем ничего не было слышно. Позднее Конфуций в разговорах с учениками ни разу не упомянул о своей встрече с «темным мудрецом», но часто говорил, что в своих наставлениях «следует порядкам Чжоу». Зная основательность Конфуция в ученых изысканиях, трудно поверить, что он мог заявить так, не зная по собственному опыту, что такое ритуал чжоуского двора. А значит, рассказ о его поездке в Лои нельзя назвать полной выдумкой.

Глава вторая
Путь к себе

«Имея прочную опору…»

Конфуцию тридцать лет. И у него уже есть «прочная опора». Этой опорой стали ему пятнадцать лет – половина прожитой им жизни – пролетевших как один день, в учебе и размышлениях. Теперь он пожинал плоды своих тихих трудов. Книжная премудрость и благородная музыка, старинные обряды и правила хорошего тона, управление хозяйством и даже ратное дело – во всех науках и искусствах, которые в те времена обязан был изучать каждый благородный человек, он чувствовал себя уверенно, а кое в чем, например в знании ритуалов, не уступил бы и самым именитым ученым царства. Безупречные манеры, неподдельная скромность и редкостное трудолюбие принесли ему необычные для человека его лет известность и авторитет даже среди высших придворых чинов.

Для чего же была нужна ему «прочная опора»? Для собственного удовлетворения, конечно, но и не только для этого. Мужчина тридцати годов, издревле говорили в Китае, должен иметь семью и детей, быть хозяином дома, а иначе его и мужчиной назвать нельзя. Наследник у Кун Цю уже был, собственный дом тоже. Более десяти лет он состоит на службе, чести своей не уронил, но вот за серьезное дело пока браться не доводилось. Теперь он может и даже обязан посвятить себя государственному правлению, занять ответственный пост, а если повезет, стать советником самого правителя, раскрыть до конца свои таланты, облагодетельствовать все царство, весь Поднебесный мир. Кун Цю чувствовал, что может многое свершить. Как знать, не суждено ли именно ему, так глубоко вникшему в заветы древних, вернуть людям счастье?

Свидетельства Конфуциевых учеников сохранили для нас многие черты быта, образа жизни, характера Учителя Куна. Как ни отрывочны, как ни разрозненны эти свидетельства, вместе они рисуют образ очень цельный, непосредственный и, без сомнения, на редкость обаятельный. Они сообщают о человеке, уверенном в себе, но не самонадеянном, аккуратном, часто даже педантичном, но умеющем слушать и понимать ближнего, мягком и уступчивом, но наделенном непреклонной волей; человеке, следующем мудрому чувству меры во всем, кроме одного: в стремлении быть лучше, неустанно совершенствовать себя.

Внешность у Конфуция, как уже говорилось, была очень необычная, даже удивительная. Одна только вмятина на его темени, хотя и скрытая под шапкой (древние китайцы снимали шапку только на ночь, ибо показаться на людях с обнаженной

головой считалось большим позором), давала пищу для бесконечных пересудов. Кроме того, Конфуций отличался необыкновенно высоким ростом, так что кое-кто из недоброжелателей за глаза называл его «верзилой». Грузный, рано раздавшийся в талии, да к тому же немного сутулившийся – то ли еще от подростковой застенчивости, то ли от привычки стоять чуть наклонившись вперед в вежливом поклоне, – он казался бы смешным увальнем, если бы не его умение держаться и располагать к себе любого собеседника. Лицо его отличалось крупными, не сказать грубыми, чертами: большие, чуть выпученные глаза, мясистый нос с широкими ноздрями, вытянутые уши, вздернутая верхняя губа, из-под которой выступали два неестественно больших передних зуба, густые брови и борода. Многим это лицо напоминало устрашающий лик четырехглазого демона, который на похоронах несли перед гробом с покойником, чтобы отпугивать нечисть.

Разумеется, все эти странности в облике Конфуция вовсе не обязательно должны были вызывать только насмешки и неприязнь окружающих. Напротив, древние китайцы, как и многие другие древние народы, относились к ним с немалым почтением, порой даже суеверным ужасом, видя в них самим Небом данные знаки необыкновенной судьбы и необычайных способностей. Недаром мифических царей древности наделяли в Китае какими-нибудь диковинными физическими признаками – «разноцветными бровями», «лошадиным ртом», «печенью величиной с кулак» и проч. В одном древнем анекдоте из жизни Конфуция какой-то его современник утверждает – то ли в шутку, то ли всерьез, что у Учителя Куна «лоб, как у Яо», «шея, как у Гао Яо» (еще один мудрый правитель древности), «плечи, как у мудрого советника царства Чжэн Цзы-Чаня», а «нижняя часть тела на три вершка короче, чем у великого Юя». Услыхав об этом отзыве, Конфуций заметил: «внешность человека не так уж важна». И надо сказать, что призыв Конфуция судить о человеке не по облику, не по телесным приметам его избранности, а лишь по его делам и силе духа был для того времени большим новшеством.

Столь же несущественной Конфуций считал материальную сторону человеческого быта. Он не дорожил житейскими удобствами, не имел, насколько известно, ни пристрастий, ни привычек и отличался полным равнодушием к внешнему устроению своей жизни, когда это не касалось правил этикета.

С многозначительной скрупулезностью ученики Конфуция сообщают о том, что и как носил их наставник. Их внимание понятно: ритуал немыслим без декорума, без подобающего

состоянию духа украшения, и только в ритуале вещь-предмет, закабаляющая человека, становится вещью-символом – свидетельством человеческой свободы. Такая вещь по определению реализует себя в самоустранении. И не будет неожиданностью узнать, что великий учитель ритуала в Китае одевался очень скромно и практично. Летом он носил «простой холщовый халат, непременно надетый на легкую рубашку, чтобы соблюсти различие между верхним платьем и исподним». В зимней одежде Конфуций следовал определенным правилам сочетания цветов: черный халат он подбивал черной овчиной, халат из некрашеного шелка – выбеленной оленьей кожей, а к желтой ткани предпочитал поддевку из лисьего меха. Спать он ложился в длинной ночной рубашке. А вот особенно знаменитая деталь: у себя дома он носил отороченные мехом халаты с обрезанным правым рукавом – так было удобнее и для ученых занятий, и для разных хозяйственных работ. Известно также, что одежды Конфуция, за исключением парадных одеяний, шились из отдельных кусков ткани – так было дешевле, да и обрезкам находилось применение. Еще Конфуций не использовал шелк пурпурного или каштанового цветов для отворотов и обшлагов халата, а дома не носил красных или фиолетовых одежд – весьма модных среди знатных щеголей того времени. Ученики отмечают, что он никогда не ходил выразить соболезнование сослуживцам или друзьям в черном овчинном тулупе и черной шапке (в Китае траурный цвет – белый). Постясь перед торжественным жертвоприношением предкам, он обязательно надевал платье из самой грубой материи, ел самую грубую пищу и не сидел на своем обычном месте. Во время траура он не носил украшений и не подвешивал к поясу халата разные мелкие вещицы, как было принято у древних китайцев. Но при всем своем педантизме Конфуций вовсе не был рабом этикета и всякую зависимость духа от внешних обстоятельств, будь то бездумная покорность мнениям света, угодничество, потворство неправому делу или даже привязанность к домашнему очагу, считал позорной слабостью.

Учитель сказал: «Ученый, взыскующий Пути и при этом стыдящийся своей ветхой одежды и грубой пищи! Я не знаю, о чем тут еще говорить…»

Те же правила мы встречаем и в отношении Конфуция к еде, описанном его учениками с какой-то особенно любовной тщательностью:

Учитель не съедал весь поданный ему рис и все поданное на стол мясо. Он не ел прокисший рис, испортившуюся рыбу или мясо. Он не ел пищу, изменившую свой цвет, и пищу, источавшую дурной

запах. Он не ел плохо приготовленную пищу и никогда не вкушал в неурочное время. Он не ел пищу, если она не была нарезана, как принято, мелкими кусочками, и не принимал пищу, лишенную подобающей ей приправы. Даже если на столе было много мяса, он всегда ел больше риса, чем мяса. Только в питии вина он не имел твердых правил, однако же никогда не бывал пьян. Он не пил вина и не ел сушеного мяса из лавки. Даже если слуги не убирали блюда со стола, он не ел больше, чем следовало. Даже если его пища состояла из неочищенного риса и овощной похлебки, он обязательно со всей почтительностью подносил часть ее предкам. В присутствии человека, носившего траур, он никогда не наедался досыта.

Многие штрихи поведения Конфуция подчеркивают его аккуратность и выдержку. Прежде чем сесть, он, если нужно, поправлял сиденье. Он не разговаривал за едой или лежа в постели и притом «не лежал в постели, как покойник, а будучи один у себя в доме, не сидел там, где обычно располагались гости». Путешествуя, он всегда сидел в коляске прямо, смотрел только вперед, не кричал и не показывал пальцем. Будучи со всеми безукоризненно вежливым, он настолько строго соблюдал этикет, что не отвечал поклоном на подарки, которые не были предписаны церемониалом, даже если ему дарили целый экипаж.

Особенно примечательны заметки, свидетельствующие о необычайном внимании Конфуция ко всему, что происходило вокруг него. В особенности сочувствовал Конфуций чужому горю. Его ученики вспоминают:

Когда Учитель встречал скорбящего человека в трауре, он тотчас принимал торжественный вид, даже если этот человек был его близким знакомым или моложе его. Когда Учитель встречал кого-нибудь в парадной шапке или слепца, он тут же принимал торжественный вид, даже если хорошо знал их. Если он проезжал мимо человека, носящего траур, он выходил из коляски и склонялся в знак почтения; так же он кланялся и всем государевым гонцам. Когда на пиру вносили изысканные кушанья, он вставал с торжественным видом. Когда гремел гром или налетал вихрь, он всегда принимал торжественный вид.

И еще одно замечание:

К ритуальному посту, войне и болезням Учитель относился с особенным вниманием.

Без труда мы заметим, что жесты Конфуция всегда отмечают возвышенные моменты в жизни, будь то могучая игра природных стихий, подвижничество праведника или даже смерть человека. Учитель Кун, как никто другой, умел видеть «великое в малом», и в этом он был лишь утонченнейшим, совершенным продуктом

того жестко ритуализированного общества, в котором он вырос и которое ежечасно, ежеминутно воспитывало в нем особую выразительность манер, обостренную восприимчивость к окружающей жизни. Записи древних знатоков ритуала дают представление о том, сколь тщательно должен был следить за собой участник разных церемоний в ту эпоху – например, обряда жертвоприношения предкам. Сыну, собравшемуся почтить покойного родителя, перед началом церемонии полагалось «стоять, выражая свою почтительность легким поклоном»; приступив к исполнению обряда, он должен был «выказать радость»; когда он приносил жертвы, ему следовало «являть своим видом почтительность и воодушевление»; покидая зал для жертвоприношений, он должен был «нести на лице печать благоговейной торжественности» и т. д. Судя по этому описанию, современникам Конфуция приходилось в повседневных делах быть неплохими актерами! Кстати сказать, древний Китай вообще не знал театра – не оттого ли, что древние китайцы и не имели потребности в созерцании некоего по-театральному отвлеченного образа их чувств, ибо их подлинным театром была их собственная жизнь? Во всяком случае, каждый, кто бывал в Китае, знает, как чувствительны китайцы в общении, как тонко улавливают они малейшие перемены в настроении собеседника. Эти качества, кажется, были присущи и зачинателю китайской традиции, и притом в такой мере, что повергали в недоумение даже некоторых его современников. Известен любопытный разговор, состоявшийся между Кун Цю и неким Вэйшэн Му – возможно, одним из луских вельмож. Этот Вэйшэн Му однажды спросил Конфуция: «Цю, почему ты такой беспокойный? Уж не заискиваешь ли ты?» – «Нет, заискивать я не люблю, – ответил тогда Конфуций. – Просто мне претит черствость». Эта восприимчивость Конфуция к жизненным метаморфозам, которую, как видим, некоторые путали с угодливостью, не вступала в противоречие с его степенным и невозмутимым видом. Ведь у игры свои, непохожие на правила обычной жизни законы: чем больше актер сознает свое отличие от изображаемого им лица, тем искуснее он играет, тем ярче и полнее его чувственная жизнь.

Как бы то ни было, непоколебимое спокойствие и сдержанность дополнялись в Конфуции столь же завидным умением ладить с людьми и необыкновенно развитым чувством такта. Конфуций вовремя говорит и вовремя молчит; он действует, когда того требуют обстоятельства, и выжидает, если благоприятный момент еще не наступил. Его слова как бы растворяются в течении самой жизни, воздействуют необоримой

силой самих обстоятельств и потому не нуждаются в риторических красотах и даже умозрительной доказательности. Он никогда не скрывал своего отвращения к ловким говорунам и считал, что сам не обладает даром красноречия. Он требовал, чтобы слово было делом, и не скрывал презрения к позерству.

Учитель сказал: «Древние поспешали в делах, но медлили в речах: они боялись, что слова не поспеют за делами».

Учитель сказал: «Те, кто красиво говорят и сами любят красоваться, редко бывают истинно человечны».

Конфуций мог быть очень разным, но никогда не создавал неловких ситуаций. У него не было никаких раз и навсегда заданных принципов, кроме одного: открытого и честного отношения к жизни. Он считал, что мудрый не должен ничего «заведомо принимать или отвергать», и с удовлетворением отмечал, что сам «не имеет предубеждений». Педантизм Конфуция озарен светом внутренней свободы, проливающимся наружу в возвышенные моменты жизни.

Общаясь с соседями, Учитель казался послушным и косноязычным. В храме предков и при дворе государя он говорил вдохновенно, и в словах его всегда был глубокий смысл.

Превыше всего ценя в жизни согласие, Конфуций отличался необычайной терпимостью и принимал все обычаи, все черты народного быта, если в них жила душа народа. Он уважительно относился к народным празднествам и игрищам, хотя буйная стихия праздника была чужда и даже враждебна его проповеди сдержанности и безупречного самообладания. Но он понимал и ценил жизнь чувств. Когда на Новый год – а это было в конце зимы – жители Цюй-фу в радостном возбуждении высыпали на улицы и местные колдуны, надев страшные маски чудищ и чертей, плясали среди беснующейся толпы, изгоняя нечисть, Конфуций в парадных одеяниях стоял в почтительной позе на восточном крыльце дома – там, где полагалось стоять хозяину. Вместе со всеми жителями округи он участвовал в праздничных пиршествах, которыми отмечались начало сева и сбор урожая, но давал понять, что делает это из чувства дружбы и солидарности, а не ради низменных удовольствий: он покидал пир, как только кончались предписанные обычаем представления танцоров и ходоков на ходулях. Но он понимал и простых людей, бездумно предававшихся праздничному веселью. Когда один из учеников посетовал в его присутствии на то, что простые люди в дни новогодних празднеств становятся «словно безумные» и не мешало бы запретить их бесноватые забавы, Конфуций заметил, что для крестьян, круглый год занятых изнурительным трудом, вполне естественно предаваться безудержному веселью в

немногие праздничные дни. «Ведь и лук, если его постоянно держать согнутым, потеряет свою упругость», – заключил он. Несомненно, Конфуций обнаруживал больше понимания человеческой психологии и даже, если угодно, законов человеческой культуры, нежели те многие поколения ретивых чиновников, которые именем Учителя Куна воевали с «безумством» народных празднеств и усердно воспитывали свой «темный народ».

Конечно, терпимость Конфуция не нужно путать с мягкотелостью, этикетной вежливостью и тем более всепрощенчеством. Конфуций признавал за каждым право действовать сообразно своему чувству справедливости, иметь свою правду, но… только правду! Он признавал множественность проявлений истины в мире и потому так охотно обсуждал со всеми поступки и характеры разных людей. Он признавал, одним словом, право каждого человека на необычность – и сам был необычным человеком. Но он не терпел своекорыстия, обмана и бесчестия. Он мог быть грубым с грубиянами и хитрым с хитрецами. Конфуциево «согласие» вовсе не означало уподобления другим; оно исключало какой бы то ни было сговор между людьми.

Таким предстает перед нами портрет Конфуция в свидетельствах современников – очень живой и реалистический в своих подробностях портрет не столько «великого Учителя», сколько именно человека «как он есть». Хочется добавить: портрет на удивление обыденный, даже тривиальный, как будто лишенный яркой индивидуальности. В самом деле, что примечательного в одежде Конфуция, если не считать его знаменитых обрезанных рукавов, или в манере есть только хорошо приготовленную пищу, или мясо, нарезанное мелкими кусочками (так исстари повелось в китайской кухне), или, наконец, только свежие плоды? Что необычного в его правиле не разговаривать за едой или приносить жертвы предкам перед трапезой? Перед нами просто хорошо устроенный быт физически и духовно здорового человека. И притом точно воспроизводящий обычай, как бы экстракт народного быта. Никаких странных привычек и причуд, которых ждут от гениев. Никаких недугов и недостатков, слабостей и крайностей, наполнявших жизнь страданиями и борьбой. Никаких душевных мук. Мы должны быть готовы принять тихие, невидные радости человека, умеющего жить в согласии с самим собой и в согласии с жизнью вокруг него.

На досуге учитель был радушен и весел.

Вот, быть может, самая глубокая правда о Конфуции. Но в

этой органической, почти непроизвольной цельности натуры Учителя, в подкупающей простоте и доверительности его манер не было ничего от плоской простоты себялюбца, начетчика или человека, одержимого идеей. Мы наблюдаем как бы многокрасочный сплав очень разных, но дополняющих друг друга свойств характера:

Учитель был мягок, но тверд, повелителен, но не жесток, исполнен достоинства, но располагал к себе.

Эта глубинная уравновешенность характера, не оставляющая места для каких бы то ни было душевных потрясений и кризисов, не говоря уже о каких-то психических комплексах, составляет важнейшее свойство Конфуция-человека и, пожалуй, важнейшее его отличие от личности европейского типа, так часто проводящей жизнь «в борьбе». Чтобы достичь такой сбалансированности духа, такого незыблемого покоя души, нужно, казалось бы, совсем немного: переступить через свое ограниченное, субъективное «я», освободиться от пут наших представлений о самих себе. Начать же нужно с простого: открыть себя миру и понять, что уважение к другому держится уважением к самому себе.

Конфуций живет в пути. Поэтому он охотно признает ограниченность своих позиций и часто повторяет, что «не родился всезнающим, а добился всего благодаря учению». Превосходно разбираясь в этикете и церемониях, он ненавидит всякую вычурность в речи и в поведении. Ему претит любая несвобода, любая зависимость духа от внешних обстоятельств, будь то слава, богатство, власть или вожделение.

Тот, кто, вкушая за столом, не ест до отвала, а находясь на чужбине, не тоскует по домашнему уюту, достоин называться благородным мужем.

Конфуций обходится без привычек и тем более без каких бы то ни было излишеств. Для него, по его собственным словам, нечестно нажитые чины и богатства – «все равно, что облака в небе». Он гордится тем, что может запросто «спать, подложив под голову собственный локоть». Но при всей его беспощадной требовательности к себе он терпим к человеческим слабостям. Он прощает «безумства» простолюдинов на народных праздниках и добродушно улыбается, слушая речи честолюбивых учеников. В нем нет ничего от исступленного аскета, ему претит фанатизм. Он ценит отдохновение от трудов, радости приятельской беседы, музицирования и даже винной чарки. Он любит петь: ученики особо отмечают, что в дни поста и траурных церемоний Учитель никогда не пел. Если рядом кто-нибудь затягивает песню, которая ему по душе, он охотно подпевает. Ему весело, когда вокруг от

души веселятся. Он невозмутим и никогда не жалуется. Почему? Потому что он в самом себе находит свою «прочную опору», а находит он ее потому, что доверяет жизни и верит, что жизнь – или Небо – все даст тому, кто будет достоин своей судьбы. Он лишь хочет жить так, как ему хочется:

Учитель сказал: «Если бы богатство было целью моей жизни, я сделал бы все для того, чтобы добыть его, даже если бы мне пришлось быть сторожем, что стоит у ворот рынка с плеткой в руке. Но так как я этого не хочу, я буду жить по своей воле…»

Тот, кто хочет в этой жизни быть просто «самим собой», позволит так же жить и другим. Примечательная деталь: по убеждению Конфуция, благородный человек ни с кем и ни в чем не соперничает. Единственное исключение Конфуций делал для состязаний в стрельбе из лука, да и то потому, что состязания эти в те времена больше походили на торжественную церемонию, включавшую в себя и дружеский пир, и музыкальные представления, и бесконечные взаимные поклоны участников. Особенно нравилось Конфуцию то, что победителю состязания полагалось почтительно кланяться побежденному и произносить здравицу в его честь. В те времена считалось, что стрела должна обязательно пробить бычью шкуру, служившую мишенью. Конфуций же объявил, что в состязании главное не сила, а твердость руки и меткость глаза, которые, конечно, невозможны без покоя и сосредоточения духа. Мало-помалу ему удалось добиться отмены старого правила.

Не славы и не победы искал Конфуций на площади, где состязались лучники. Испытание физической силы было для него средством испытать силу духовную. Он ценил не крепость мускулов, а твердость добродетели. Он демонстрировал не искусство, а благочестие. Учтивость его степенных, скупых, но всегда точных жестов, острота глаза, твердость руки и сила воли молчаливо, но с неоспоримой убедительностью подтверждали человеческое достоинство – и его собственное, и всякого человека. Он считал неблагородным диктовать свои условия. Он старался оставить другому его шанс.

Учитель ставил силки, но не раскидывал сети; он стрелял из лука, но не по сидящей птице…

Секрет обаяния и, более того, истинного величия Конфуция так же прост, как вся его жизнь и все его учение. Этот секрет – любовь к людям за то лишь, что они – люди. «Любить людей» – гласит завет Учителя Куна, данный им его ученику. Любить по-настоящему – незаинтересованно, не унижая опекой или равнодушием, принимая их такими, какие они есть, помогая развиться всему лучшему в них, но не закрывая глаза на их

пороки и слабости.

«К молодым людям, – говорил он, – нужно относиться со всем уважением. Кто может поручиться, что когда-нибудь он не достигнет того же, чего достиг и ты? Лишь тот, кто, дожив до сорока или пятидесяти лет, ничего в жизни не добился, не заслуживает уважения». А уж о тех, кто действительно заслуживал сострадания, Учитель Кун проявлял и вовсе необыкновенную заботу: непременно кланялся слепым музыкантам и сам провожал их до их места на пиру, учтиво кланялся каждому прохожему, носившему траур и в присутствии таких людей «никогда не ел досыта». Известны случаи, когда он хоронил за свой счет даже незнакомцев, если этого не могли по бедности сделать их родственники. И еще один случай, запомнившийся его ученикам:

В конюшне случился пожар. Учитель, придя домой, осведомился: «Кто-нибудь пострадал?» А о лошадях даже не спросил.

Впрочем, защитникам животных не нужно беспокоиться. Участливость Конфуция распространялась и на братьев наших меньших. По преданию, когда сдохла собака, жившая в его доме, он сказал Цзы-Гуну: «В старину говорили: „Рваные занавеси не выбрасывай – пригодится покрыть лошадь в могиле. Рваный полог не выбрасывай – пригодится покрыть пса в могиле“. Я так беден, что у моего экипажа даже нет полога. Возьми старую циновку и накрой ею нашего пса, когда положишь его в землю!»

Невеликое, казалось бы, событие, но здесь, как и почти во всех свидетельствах о жизни Конфуция, в малом просвечивает великое.

На этом мимолетном эпизоде можно было бы поставить точку в рассказе о манерах и характере Учителя Куна, если бы не необходимость еще раз вернуться к оценке «феномена Конфуция». Что же все-таки за человек был Конфуций? Каким образом сочетались в нем необыкновенные самообладание и совершенно ненаигранная безмятежность, педантизм и способность без опасений и тревог наслаждаться жизнью? В литературе о Конфуции мы не найдем ясного ответа на этот вопрос. Большинство современных исследователей склонны считать портрет Конфуция-педанта делом рук не в меру ретивых поклонников Конфуциевой апологии «жизни по ритуалу» или карикатурой, созданной идейными противниками Учителя Куна в древнем Китае. Они стремятся очистить исторический образ Конфуция от наслоений позднейших легенд и заново увидеть в нем всего лишь обыкновенного человека. Однако сможем ли мы в таком случае понять, почему Конфуций стал Учителем десяти

тысяч поколений? Он, конечно, не был ни рутинером, ни начетчиком, но педантом в известном смысле, без сомнения, был. Из того, что нам известно о манерах Конфуция, складывается впечатление, что он как бы намеренно привлекал внимание окружающих к ритуальной аккуратности каждого жеста, что манерам его свойственна неистребимая, нередко почти гротескная театральность. Каждым своим поступком Учитель Кун словно говорит: «Смотри, как я делаю. Смотри, как надо делать!» Каждым своим жестом Конфуций именно *представляет* реальность, каковая есть для него осмысленность ритуального действия, и, как следствие, – творческая сила жизни. Его поведение, слова и даже облик всегда подчеркивают своеобразие момента, качество переживания. В его манерах часто ощущается элемент игры, но игры неизменно нравоучительной и потому предполагающей полную серьезность и искренность. Вспомним, как вел себя Кун Цю, попав в родной храм луских правителей: он «спрашивал обо всем подряд». Перед лицом предков все поступки должны быть представлением!

Итак, проявляя любознательность или скрывая свое незнание, Конфуций еще и показывал, как нужно себя вести: он и действовал, и созерцал свое действие, и такое продуманное, воистину осмысленное поведение соответствовало, по Конфуцию, «истинному ритуалу».

Конфуциев завет «умудренного педантизма» не сразу становится доступным стороннему наблюдателю, но он не остался незамеченным в самом Китае. Упоминавшийся выше ученый Чэн И в XI веке писал о поведении Конфуция:

«Мудрый подобен Небу, и безмерно далек он от обыкновенных людей. Будучи близкими ему, ученики знали, сколь возвышен и широк он был. Но если бы он казался недосягаемым, у людей пропало бы желание ему подражать. Вот почему, наставляя окружающих, мудрец всегда заботился о том, чтобы его поучения соответствовали ожиданиям людей. Служа старшим и соблюдая траур, он не допускал малейшей небрежности. Когда же речь заходила о том, чтобы „не выпить лишнего“, он был до предела прост в обращении. Но он поступал так для того, чтобы люди с маленькими способностями попытались взять с него пример, а люди талантливые не пренебрегали простым и малым в своей жизни».

Такая «назидательная игра» многое объясняет в наследии Конфуция. Она делает это наследие стеной, орнаментом, не позволяющим определить суть его внутреннего постижения. И она же, как всякая игра, внушает людям опыт живого, интимного, безмолвного понимания, которое приходит как раз там, где

кончается все понятое и понятное. Обаяние Конфуция – в его способности убедить в необходимости принять условия этой игры. Ибо мы взращиваем в себе свободу духа лишь через совершенствование формы. Чтобы взлететь, нужно суметь от чего-то оттолкнуться: мастерство приходит через искусство, но само предстает безыскусностью. Чем строже в своем поведении Конфуций, тем он свободнее: вот секрет жизненности его дела. А заодно исток его мягкой иронии и юмора, не всегда заметных пошколярски поверхностному взгляду позднейших почитателей. Чего стоит, к примеру, следующий эпизод, относящийся, по-видимому, к тому времени, когда Конфуций был еще сравнительно молодым человеком. Какой-то человек, живший по соседству с будущим великим Учителем, подтрунивал над ним, говоря: «Воистину велик Конфуций! Он обладает широчайшими познаниями, но нет занятия, в котором он составил бы себе имя!»

А Конфуций в ответ:

«И правда, в каком бы деле мне прославиться? Может, в управлении колесницей? Или в стрельбе из лука? Да, да! Займусь-ка я ездой на колеснице…»

Позднейшие комментаторы находят в этих словах Учителя всего лишь очередное свидетельство его извечной скромности, а в словах его безвестного соседа – все того же неизбежного почтения к знаменитому мудрецу. Возглас «Велик Конфуций!» и в самом деле стал популярнейшим дифирамбом Учителю десяти тысяч поколений: с него начинались официальные славословия Конфуцию, его несчетное число раз писали в своих ученических тетрадках будущие китайские книжники, он украшал стены императорских дворцов и склоны священных гор. И никто уже не задумывался над изначально таившейся в нем иронией, как никто уже не мог оценить юмор Конфуция, пожелавшего прославиться своим искусством возницы.

Но почему в нас рождается желание быть ироничными? Дело в том, что ирония устанавливает безмолвную общительность человеческих сердец, делает возможным невысказанное и, быть может, вовсе неизъяснимое понимание – понимание, которое вырывает из механически бездумного существования. Но она же защищает личность от натиска извне, дарит уверенность в себе и силу быть выше обстоятельств. Она учит жить легко и позволяет учителю быть безмятежно радушным с учеником, сполна выдерживая строгость, потребную в воспитании.

Конечно, Конфуций – не древнегреческий Сократ. Он не считает себя вправе пренебречь обычаем или людским «мнением», не увлекается «свободным философствованием». Даже ирония его условна и заключена в довольно жесткие рамки. Внутренняя

дистанция, которую она устанавливает между человеком и миром, может и должна быть преодолена ради искренности переживания. В Китае «мудрый живет сердцем народа». И Конфуций – тоже частица народной души, человек среди людей. Порой и он дает увлечь себя душевным порывом, скорбя, гневаясь и даже радуясь не так, как требует этикет. Однажды Конфуций увидел, как один из учеников, в нарушение элементарных приличий, сидел на полу, широко раскинув ноги. «Быть нескромным и грубым в молодости, не создать ничего достойного в зрелом возрасте и бояться смерти в старости – вот что я называю ничтожеством!» – воскликнул Учитель и с размаху ударил юношу посохом. Несдержанность, недостойная мудрого? Может быть. Но в мудром даже несдержанность заставляет других задуматься.

Первые ученики

Теперь, когда мы немного знаем о характере и образе жизни тридцатилетнего Кун Цю, настало время спросить: кем был этот человек в глазах его современников? Какую роль в обществе уготовила ему судьба? С детства Кун Цю мечтал о славе государственного мужа – во все времена единственно достойной талантливого и образованного человека в Китае. Его способности, благонравное поведение и поразительная эрудиция рано принесли ему известность. Он был еще очень молод, когда правитель царства самолично выказал ему благоволение. Еще юношей он поступил на службу и прекрасно справлялся со своими обязанностями чиновника. Его ценили при дворе. Но уходили годы, а назначения на высокую, дающую реальную власть должность он так и не получил. И его возвышенные мечты оставались, как и в юности, только мечтами.

Нельзя не удивляться парадоксальному в своем роде положению Кун Цю на сцене современной ему общественной жизни. Он, как никто другой, осознал и даже собственным примером явил воочию глубочайшие основы государственной политики чжоусцев, политики, по сути своей ритуалистической, зиждившейся на безмолвном, символическом единении людей. Он, как никто другой, был опорой и защитником современной ему государственности. Но насколько привлекателен и даже необходим обществу был Кун Цю в роли охранителя чжоуской традиции, настолько же он был непригоден для реальной политики. Последняя в те времена, как мы уже знаем, очень далеко отстояла от идеалов, завещанных первыми чжоускими царями. Государство управлялось силой, хитростью и безжалостным расчетом. Карьера удачливых политиков писалась кровью. Как раз когда Кун Цю исполнилось тридцать лет, пришло известие об очередной кровавой драме в далеком южном уделе. В тех землях два брата спорили между собой за престол, и претендент на трон пригласил государя на пир. Зная о замыслах хозяина пира, тот принял все меры предосторожности: окружил себя отрядом телохранителей и даже приказал своим людям тщательно обыскивать всех слуг, вносивших на пир кушанья. Но один из этих слуг спрятал нож в брюхе огромной рыбы, поднес ее на блюде правителю, а потом выхватил нож и заколол его. В тот же миг «два меча сошлись в сердце» убийцы, добавляет летописец. Такая вот картинка дворцовых нравов тех времен.

Кун Цю был слишком честен и прямодушен, слишком презирал интриги, лицемерие, пустословие и лесть, чтобы

пользоваться успехом среди царедворцев. Мог ли рассчитывать на благосклонность царей и вельмож тот, кто «ненавидел хитрых говорунов» и считал постыдным для себя «скрывать свое недовольство другими и поддерживать с ними видимость дружеских отношений?» Кун Цю полагал ниже своего достоинства искать покровительства сильных мира сего и тем более заискивать перед ними. Свой долг подданного он видел в том, чтобы говорить правителю правду в лицо. И без колебаний исполнял этот долг, никогда, впрочем, не нарушая приличий. Вся жизнь Конфуция предстает цепью его встреч с правителями – встреч каждый раз многообещающих и всегда оканчивающихся безрезультатно. Многие из власть имущих, кажется, искренне хотели бы привлечь этого мудреца к себе на службу, внять его советам, но каждый раз Конфуций, явившись на аудиенцию, как нарочно выговаривал своему предполагаемому патрону самую горькую, самую болезненную для него правду. И оставался не у дел. Непреодолимая стена отделяла мечты Конфуция от действительности.

Нельзя сказать, впрочем, что планы Кун Цю были только беспочвенными, заведомо несбыточными мечтаниями. У будущего учителя были перед глазами вдохновляющие образцы для подражания. Как раз в его молодые годы сразу в нескольких царствах Срединной страны в должности первого советника государя оказались энергичные политики-реформаторы, не принадлежавшие к олигархии, подобной «трем семействам» в Лу. Их возвышение стало возможным благодаря острым противоречиям среди аристократов, скорее согласных поставить у власти постороннего человека, чем кого-то из своих давних коллег-соперников. Наибольшую известность из этой плеяды государственных деятелей приобрел первый советник царства Чжэн Цзы-Чань, умерший в 522 году до н. э., когда Кун Цю исполнился тридцать один год. Цзы-Чань был достойным представителем нового поколения служилых людей, полагавших, что в управлении государством главное – не обряды и небесные знаменья, а интересы народа. Он вел удачную внешнюю политику, осуществил административную и налоговую реформы, но более всего прославился тем, что отлил бронзовые сосуды, на которых был начертан свод государственных законов. Это новшество всколыхнуло весь Поднебесный мир, ведь прежде жизненный уклад чжоусцев целиком регулировался «ритуалом», то есть, говоря широко, обычаем. Кун Цю высоко ценил в Цзы-Чане талант государственного деятеля и позднее отозвался о нем в следующих словах: «…в поведении был учтив, в служении господину уважителен, в управлении народом мудр, в

отношениях с людьми справедлив». Однако сам он был убежден, что исправление общества надо начинать с исправления людей, а исправление людей – с усовершенствования самого себя. Он верил в неотразимую силу нравственного воздействия. Он не сомневался в том, что тот, кто уповает на действие закона, не заботясь о воспитании и нравственных качествах людей, будет строить на песке.

Как может управлять другими тот, кто неспособен управлять собой?

Если сам прям, то люди все исполнят и без приказаний. А если сам не прям, то слушаться не будут, даже если им прикажешь.

Трудно оспорить эти истины, хотя, возможно, не менее трудно вывести из них какие-нибудь практические правила для политики. В них говорит жизненная мудрость, которую не так-то просто облечь в отвлеченные формулы. Подлинная стихия Конфуция – не публичность законов, не «общие выводы», а всегда конкретные, изменчивые, несводимые к абстрактным правилам отношения между людьми. Отношения между личностями, которые держатся интимным пониманием и не нуждаются ни в каких внешних свидетельствованиях: Конфуций – убежденный противник принуждения и споров. Он не ищет истину, ибо носит ее в себе. В сущности, он должен жить в кругу близких, доверенных людей, захваченных общей целью, общим отношением к жизни. Его среда – это не общество, даже не та или иная община, а сама социальность, сообщительность людей. Его занятие – не деятельность, а отдохновение, возвышенная праздность, приучающая внимать затаенному ритму жизни. Настоящая мудрость, часто повторял Конфуций, – это «знание людей». Конфуций-учитель живет в этом сокровенном пространстве доверительного общения, интимного сообщества сердец. Примечательно, что само слово «ученый» *(цзы)* употреблялось в школе Конфуция для обозначения как учителя, так и учеников!

Как обрести круг сочувствующих, событийствующих душ? Им могла бы стать семья – самая естественная среда интимного общения людей. Но семья явно не занимала большого места в духовной жизни Конфуция. О жене своей Конфуций, кажется, не говорил вовсе. Положим, это и неудивительно, так как обычаи древних китайцев строго предписывали женщинам коротать свой век на женской, или «внутренней», половине дома и еще строже запрещали всякое публичное изъявление симпатий (а равно и антипатий) между мужчиной и женщиной. Конфуций же приличия соблюдал строго. Чувствуется, однако, что за умолчанием Конфуция о своих домашних скрывалась не только

дань этикету, но и не очень утешительный личный опыт и даже, возможно, особая убежденность. Недаром он обронил фразу, как бы подводящую итог его размышлениям о семейной жизни:

«В собственном доме трудно иметь дело с женщинами и слугами. Если приблизить их – они станут развязными, если удалить их от себя – возненавидят».

Такое впечатление, что Конфуций знал, о чем он говорил. Но все же кажется несколько неожиданным откровенно прохладное отношение Учителя Куна к единственному сыну Боюю, которому он, по-видимому, не оказывал предпочтения перед прочими учениками. Во всяком случае, на расспросы некоего любопытного приятеля, желавшего узнать, не передал ли Конфуций своему сыну каких-то неведомых другим знаний, Боюй ответил, что отец ничему не учил его втайне от других, и честно рассказал об отцовских наставлениях. «Однажды, когда я, выражая почтение, ускоренным шагом шел мимо отца, он спросил меня: „Изучил ли ты Книгу Песен?“ – „Нет“, – ответил я. – „Если ты не выучишь Книгу Песен, ты не научишься хорошо говорить“, – сказал мне отец. И тогда я взялся за изучение Книги Песен. В другой раз, когда с той же почтительностью я торопливо проходил мимо отца, он спросил меня: „Изучил ли ты ритуалы?“ – „Нет“, – ответил я. „Если ты не выучишь ритуалы, ты не сможешь правильно держаться“, – сказал мне отец. И тогда я принялся изучать ритуалы». Выслушав рассказ Боюя, его собеседник воскликнул: «Я задал один вопрос, а получил сразу три ответа! Я узнал, для чего нужна Книга Песен, я узнал, для чего нужен ритуал, и я узнал, что благородный муж не оказывает особых милостей даже собственному сыну!»

Конечно, нелепо думать, что Конфуций не придавал значения семье, ведь почитание предков и любовь к родственникам – основа основ добродетельной жизни в конфуцианской традиции. И разве не Конфуций положил начало роду, который не пресекается вот уже без малого восемь десятков поколений? Известно, что в старом Китае многие традиции знания и ремесла передавались только от отца к сыну, и в них не посвящали даже дочерей из опасенья, что те, выйдя замуж, раскроют семейные секреты чужим людям. Но для Конфуция раз и навсегда заданные узы кровного родства, очевидно, оказывались слишком стеснительными для вольного общения людей, живущих нравственным совершенствованием. Он предпочитал родство по духу: отношения между учителем и учеником. Не преуспев в политике и не обретя свой идеал в семье, он снискал славу Учителя десяти тысяч поколений, а заодно сделал личность учителя, учение в широком смысле слова подлинным

средоточием традиционного уклада китайцев. В наставничестве он нашел способ осуществить свою просветительскую миссию, избегая опасностей служебной карьеры, и тем подал пример всем позднейшим поколениям китайских ученых.

Конфуций вовсе не отделял учение от жизни и не противопоставлял школу семье. Он называл учеников своими детьми, да и сами понятия «семья» и «школа» в Китае с древности сливались в одном слове – *цзя*.

По существу, Конфуций стал основателем первой в Китае, а может быть, и во всем мире частной школы, и притом не просто школы, где преподавались те или иные науки и искусства, а школы воспитания человеческих характеров. События такого масштаба редко вмещаются в сознание их непосредственных очевидцев. Во всяком случае, начало учительской деятельности Кун Цю осталось незамеченным современниками. Сыма Цянь сообщает, что, возвратившись из поездки в чжоускую столицу, Конфуций «стал брать больше учеников». Он же упоминает о том, что знатный луский сановник Мэн Сицзы, когда-то допустивший промахи в устроении дворцовых ритуалов и с позором изгнанный с должности царского церемониймейстера, перед смертью завещал двум своим сыновьям взять своим наставником по части ритуалов Кун Цю. Правда, если верить Сыма Цяню, будущему великому учителю в ту пору шел только восемнадцатый год. И то и другое сообщение явно относится к области домыслов. Скорее всего точной даты превращения юноши Кун Цю в Учителя Куна никогда не существовало. Конфуций-учитель, как и Конфуций-учащийся, начинался исподволь, почти незаметно для окружающих – по мере того, как росла его слава ученого мужа и все отчетливее проявлялась могучая сила его обаяния.

Чем же привлекал Кун Цю своих первых учеников – людей, которые были немногим его моложе, почти что сверстников? Вряд ли перспективой блестящей карьеры, которую он не мог посулить, даже если бы желал. Для тех, кто хотел поскорее выбиться в чиновники, разумнее было бы искать покровителей среди дворцовых вельмож. Английский китаевед Г. Крил, автор одной из самых популярных на Западе книг о Конфуции, пишет, что Кун Цю привлекал учеников своей «мечтой о мире, в котором на смену войне, ненависти и нищете придут покой, доброта и счастье». Не похоже, однако, чтобы Кун Цю когда-нибудь рисовал перед своими последователями утопические картины всеобщего процветания, да и высокопарных разговоров он терпеть не мог. Обещаний он тоже не раздавал, а скорее всего предлагал приходившим к нему за советом начинать с малого. К примеру, быть верным своему слову, в поступках и мыслях своих не терять

достоинства, твердо держаться избранных идеалов и не изменять им даже перед лицом смерти. Вроде бы простые и ясные требования, да только выполнить их совсем нелегко… Но помогал и вел вперед сам Кун Цю – его неизменное радушие и жизнелюбие, его могучая воля и неподдельная доброта. За таким человеком просто нельзя было не пойти.

Если говорить по существу, учителем Кун Цю стал в том возрасте, когда почувствовал, что обрел в себе «прочную опору» и, значит, мог служить опорой для других. Наверное, в те самые тридцать лет…

Рассказывают, что Конфуций за свою жизнь принял две тысячи учеников, а семьдесят два (или просто семьдесят) из них «прославились в мире». Обе эти цифры – часть легенды об Учителе Куне, и верить им вовсе не обязательно.

Ни Конфуций, ни кто-либо из его учеников не назвали имена тех, кто первым пришел за наукой к будущему Учителю десяти тысяч поколений. Надо думать, это был кто-нибудь из живущих по соседству с Кун Цю, давних его знакомых, почти ровесников – обитателей таких же глинобитных домишек, в каком прошла молодость Учителя Куна, и таких же честолюбивых поклонников Доброго Пути. Может быть, это был житель «задней улочки» Янь Лу, который родился всего лишь на шесть лет позже Конфуция и всю жизнь прожил в такой бедности, что даже не смог как подобает похоронить своего сына. Или Жань Гэн, рожденный от «человека подлого звания», но наделенный благородным сердцем. Этот был на семь лет моложе Кун Цю. И наверняка среди первых учеников был Цзы-Лу, почти ровесник Кун Цю, – рослый, вспыльчивый и наделенный чудовищным честолюбием парень, приехавший из какой-то глухой деревушки в Цюйфу на поиски удачи и удививший столичных жителей своими грубыми манерами и несуразной шапкой с пуком петушиных перьев. Это был прирожденный воин, искавший лишь повода помериться с кем-нибудь силой, – лучше всего на мечах, а на худой конец на словах. А в городе все подряд только и твердили ему об учености и талантах «сына человека из Цзоу». Вот Цзы-Лу и решил, что в лице Кун Цю он как раз найдет себе достойного соперника. Недолго думая, этот грубиян ввалился в дом мирного ученого с оружием и «накинулся с бранью» на хозяина. Выхватив из ножен свой меч и яростно размахивая им в воздухе, он задиристо крикнул Кун Цю: «Не мечом ли защищали себя благородные мужи древности?»

«Благородные мужи древности были сделаны из преданности и обороняли себя человечностью. Не выходя из своей комнаты, они знали о том, что происходит даже за тысячи ли от них.

Оттого они и не нуждались в мечах», – ответил Кун Цю. Слегка смутившись, гость задал хозяину главный вопрос: кому дается власть в этом мире? «Если вы так мудры, уважаемый, – закричал он, – то ответьте мне без ухищрений, как добиться повиновения людей, не заставляя их жить в страхе?» – «Своим личным примером побуждай людей трудиться», – ответил Кун Цю. Цзы-Лу был немного смущен: ответ-то, оказывается, скрыт в нем самом! Но он все еще не хотел уступать и спросил: «Положим, я добьюсь этого. А что потом?» – «Не позволяй себе расслабляться», – последовал ответ. Цзы-Лу растерянно молчал, и тогда Кун Цю продолжил:

– А теперь позволь мне спросить тебя: любишь ли ты музыку?

– Я люблю свой длинный меч, – с вызовом ответил Цзы-Лу.

– Ты не ответил на мой вопрос, – сказал Кун Цю. – Я спрашиваю о том, не следует ли тебе к твоим способностям добавить еще и знания?

– А от учения есть какой-то прибыток?

– Правитель, не поучающий подданного, не может быть прям. Благородный муж, не наставляющий друга, не может быть добродетелен. Честный человек, получивший урок, станет великим мудрецом. И никто из тех, кто любит учиться, не пойдет наперекор должному.

– В южных горах растет бамбук, который сам по себе прям, и стрелы, изготовленные из него, пробивают даже панцирь из носорожьей кожи. А ведь этот бамбук ничему не учился!

– Приладь к стреле оперение, надень на нее железный наконечник, и разве не войдет она еще глубже? – сказал Кун Цю.

Тут, если верить преданию, Цзы-Лу понял, что нашел своего учителя, и с тех пор служил Кун Цю с такой же пылкостью, с какой поначалу жаждал доказать ему свое превосходство.

Наверное, в те годы были у Конфуция и другие ученики, но имена их не сохранила история, да это и не столь важно. Важнее понять, как строил отношения со своими учениками Кун Цю, чему учил их и чего от них хотел. Много нового, дотоле неслыханного внес в дело обучения этот человек, так радевший о возрождении древних порядков. Более всего современников поражало радушие молодого учителя: он был готов принять и выслушать любого посетителя, даже такого несносного, как Цзы-Лу, каждому помочь советом и наставлением. «Только самым мудрым и самым глупым учеба ни к чему», – говорил он не без легкой иронии. Первым нет необходимости учиться, вторым уже ничто не поможет. Кун Цю не спешил откланяться, если гость был плохо одет и не знал каких-то тонкостей этикета. Прежде в Цюйфу учительствовали сплошь чиновные люди, которые брали в ученики только знатных детей и

учили их «шести искусствам», без которых не обойтись служилому человеку. Кун Цю первым стал учить простолюдинов, почти не имевших надежды когда-нибудь поступить на службу. Не без вызова заявлял он чопорным луским царедворцам, что берет в ученики каждого, кто заплатит ему за обучение «связку сушеного мяса». Всюду высказывал он непривычную для многих дерзкую мысль:

В обучении не должно быть различий между людьми.

Если переложить это заявление на современный язык, то можно сказать, что Конфуций первым в истории стал ратовать за равенство всех людей как учащихся, за предоставление всем равных возможностей учиться. Новшество революционное! И стало оно возможным потому, что Конфуция интересовали не происхождение его учеников, не их жизненные планы, даже не их способности, а прежде и превыше всего – сами эти ученики как личности. Его интересовало все человеческое в человеке. Он никогда не судил о людях, если не встречался с ними лично и не мог сам составить о них суждение. Поднявшись выше сословных предрассудков и всех предубеждений своего времени, он пришел к одной простой истине – истине настолько здравомысленной и всеобщей, что в наши дни она стала одним из девизов ЮНЕСКО:

По своей природе люди друг другу близки, а по своим привычкам друг от друга далеки.

Итак, в человеке Конфуция интересовал… сам человек. Отсюда все особенности, все невиданные прежде тонкости его учительского метода. И главная из них: отвращение к любой формалистике, любому техницизму в обучении. Кун Цю ничуть не был похож на так хорошо знакомого каждому из нас преподавателя-профессионала, который является в класс по часам, чтобы преподать учащимся «знание предмета», а в остальное время живет своей личной жизнью, порой очень далекой от того, что проповедует в классе. Для Кун Цю учение настолько слито с жизнью, что в его школе трудно понять, где кончается одно и начинается другое. Юноши, поклонившиеся ему как своему отцу-наставнику и поднесшие в знак преданности свои подарки, – не обязательно, конечно, сушеное мясо, а кто что может, в зависимости от средств и возможностей, – приходят в дом Учителя на целый день, часто постоянно живут в нем и помогают по хозяйству. Не существует ни установленных часов для занятий, ни программы обучения, ни чего-либо подобного экзаменам. Обычно с раннего утра, сразу после завтрака, ученики собираются в главном зале учительского дома, где по обычаю хозяин принимает гостей. Отбив учителю земной поклон, как делает сын, приветствующий отца, они рассаживаются по

старшинству друг против друга вдоль восточной и западной стен комнаты, а учитель садится меж ними у северной стены, перед алтарем предков. Кун Цю не читает лекций, не проверяет знаний учеников, даже не толкует древние книги. Он просто отвечает на вопросы, делится своими мыслями. Изредка спрашивает сам. Учитель и его ученики даже не нуждаются в специальной классной комнате. В погожие дни они выходят во двор и рассаживаются на циновках в любимом месте Учителя – в тени абрикосовых деревьев. Музыка – постоянная спутница их занятий: она связывает слушателей незримыми узами гармонических созвучий, дарит отдохновение от споров и размышлений. Часто учитель и ученики отправляются гулять за город, и эти прогулки, дающие свежие впечатления, пробуждающие новые мысли, тоже школа. Учитель Кун не пытается превратить жизнь в иллюстрацию выношенных в кабинете идей. Он великодушно впускает жизнь в свой мир, ибо доверяет ей и допускает бесконечную осмысленность каждого ее явления.

Его ученикам не нужно искать предмета для размышлений – им может стать любой житейский случай, любой человеческий поступок, даже, казалось бы, самый обыкновенный. Вот один из учеников спрашивает, был ли тверд некто Шэнь Чэн, житель луской столицы, известный своим буйным нравом, и учитель отвечает: «Чэн – горячлив, разве может он быть тверд?» В другой раз учитель замечает о некоем земляке: «Кто сказал, что Вэйшэн Гао прям? Когда у него попросили уксуса, он постеснялся сказать, что его у него нет, и занял уксус у соседа!» Оказывается, внешние проявления чувств не обязательно соответствуют душевным качествам человека: безрассудная отвага не означает твердости духа, желание помочь ближнему – искренности, вежливость – истинному благородству и т. д. На этих простых примерах молодой учитель побуждает и себя, и своих учеников задуматься над истинным смыслом понятий, учиться серьезному и взвешенному отношению к жизни.

Да, для своих уроков Кун Цю не нуждается в специально выбранных темах. Обучение для него находит опору во всяком нечаянном чувстве, каждом новом повороте мысли, каждой внезапной догадке – во всех многозначительных случайностях, из которых складывается жизнь, осмысленная и доподлинно прожитая. И учит он не только словом, а и всем своим образом жизни и всем своим обликом – жестом, взглядом, осанкой, даже молчанием. Он, конечно, не отказывается от усилий познания, но не желает ущемлять знанием жизнь. Напротив, он советует учиться у жизни:

Учитель сказал: «Наверное, есть люди, которые берутся за

дело, не обладая знаниями, но я такой ошибки не совершаю. Я внимаю всему, что слышу, и следую всему доброму из того, что услышал. Я всматриваюсь во все, что происходит вокруг, и следую всему доброму из того, что увидел. Такова нижняя ступень познания.

Успехи учеников измеряются для Конфуция не их эрудицией или школьными навыками, а умением вслушиваться в собственное сердце, оберегая гармонию разума и чувств.

Конфуций дает простой совет, как воспитывать в себе это невиданное, но такое ценное качество:

Учитель сказал: «Внимай всему, что слышишь, но отбрасывай прочь все сомнительное, повторяй усердно оставшееся и избегнешь многих ошибок. Всматривайся во все, что происходит вокруг, и отбрасывай прочь все случайное; прилежно следуй оставшемуся, и у тебя нечасто будет повод сожалеть о своих поступках».

Человек ищет истину в жизни, а находит ее в себе.

Простые жизненные ценности – самообладание, здравый смысл, любознательность, скромность – способны мало-помалу привести его к вершинам мудрости, сделать хозяином собственной судьбы. Путь Конфуция до предела разумен и естествен: идти им, как утверждал сам Учитель, «все равно что ходить через дверь». Неужели к этому нужно призывать? Тем более непонятны Кун Цю те, кто отворачивается от очевидных истин. Учитель сказал: «Тех, кто отвергает правила, а сами живут неправедно, кто ничего не ведает, но уверен в себе, ничего не умеет, но не ищет надежных друзей, я совершенно не могу понять».

Проповедуемое Конфуцием вслушивание в музыку сердца открывается как безмолвный диалог миров, как истина человеческого со-присутствия в мире и, в конце концов, как присутствие Учителя, дающего нам быть самовластными даже в сознании собственной ограниченности. Достижения учеников в школе Конфуция измеряются не внешними успехами, а степенью близости к Учителю. Есть ученики, выказывавшие искренность в учении и допущенные в главный зал дома Учителя. И есть ученики особо доверенные, допущенные в «личные покои» Учителя. Ибо отец-наставник в Конфуциевой традиции – это само Небо в ученике, глубочайшая реальность его жизни, и награда в учении – не титулы и должности, а со-присутствие с Учителем в переживании подлинности жизни.

Чтобы понять учительское кредо Конфуция, нужно пойти дальше школьных регламентов и прикоснуться к очень деликатной, трепетно-интимной теме «безмолвной встречи сердец», материи настолько чувствительной, что она не поддается

упорядочиванию и прячется под коркой иносказаний, недоговоренности, иронии.

Никакие доказательства и опровержения, никакие похвалы или запреты не могут ничего изменить в этой внутренней жизни. Всякий, кто искренне возжелал быть учеником и искать причастности к опыту людской со-общительности, заслуживает внимательного и радушного обращения. Учитель не может унижать его подозрительностью, мелочной опекой, разговорами о пустяках, суетливым репетиторством. В Конфуции-учителе поражают его неизменно дружелюбное, человечное в самом высоком смысле этого слова отношение к ученикам, его способность прощать слабости, даже проступки, если за ними нельзя усмотреть злого умысла. Эту терпимость Конфуция лишь отчасти можно объяснить тем, что в начале своей учительской карьеры он был немногим старше своих учеников и потому волей-неволей представал для них не столько отцом, внушающим беспрекословное повиновение, сколько старшим другом. Но, несомненно, природное радушие Кун Цю и объективные обстоятельства первых лет его учительской деятельности помогли молодому учителю отчетливее осознать свою исходную жизненную интуицию, превратить ее в убежденность, в свою самую «прочную опору».

Необычайная доброжелательность и преданность Конфуция тем, кого он считал своими близкими, породили немало анекдотов. Вот один из них, относящийся, возможно, как раз к началу учительской карьеры Конфуция. Когда у некоего Юань Жана, соседа и старинного приятеля Кун Цю, умерла мать, Кун Цю немедленно отправился в дом Юань Жана, чтобы выразить ему свои соболезнования, и застал хозяина весело поющим песни прямо у гроба матери. Как честный друг, Кун Цю высказал непутевому сыну все, что думал о его поведении, но не забыл посочувствовать ему, а позже помог с устройством похорон. «Учитель, разве не лучше было бы порвать отношения с таким человеком?» – спросили потом его ученики, смущенные благодушием обычно строгого учителя. «К узам дружбы нельзя относиться легкомысленно», – ответил Кун Цю.

Не надо думать, конечно, что ученикам Конфуция легко жилось. Не будем забывать, что им следовало посвятить себя учению. Признавая за каждым право учиться, Конфуций вовсе не брал в ученики всех подряд. Напротив, он предъявлял необычайно высокие, неслыханные в его времена требования к тем, кто приходил к нему за наукой. Не раз он повторял, что считает годным к обучению только тех, кто «изо всех сил» стремится постичь Путь, понимает необходимость учиться и

притом умеет думать сам. Он отказывался тратить время и силы на «круглых дураков».

Учитель сказал: «Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет высказать свои заветные думы. Обучай только тех, кто способен, узнав один угол квадрата, додуматься до трех остальных».

А еще Кун Цю не любил тех, кто учился ради собственной выгоды – чинов, богатства, славы. Правда, он признавал, со свойственным ему здравомыслием, что в мире «трудно найти человека, который мог бы отдать учению три года жизни, не позволяя мечтам о наградах овладеть собой». Наконец, он отказывался даже говорить с теми, кто, вступив на стезю учения, стыдился своей бедности.

Очевидно, что Кун Цю с самого начала надеялся на добрую волю самих учеников, резонно полагая, что заставить учиться силой невозможно. Его бережное обращение с учениками особенно приметно на фоне чрезвычайно ритуализированного быта людей его круга, да и его собственного педантизма как в семейной, так и в публичной жизни. Он предоставлял ученикам самим делать черновую работу: читать и учить наизусть книги, размышлять, упражняться в искусствах. Он видел свою задачу в том, чтобы заставить ученика ощутить ограниченность своих познаний, открыть новую перспективу его размышлениям. Он заботился первым делом о возмужании человека. Ему не было нужды требовать от учеников личной преданности. Он добивался преданности учеников их общей цели, перед которой все «ищущие Путь», и даже сам Учитель, навеки равны. Поэтому и долг Учителя – быть столь же уважительным и преданным ученикам, насколько почтительны и преданы ему ученики. Кун Цю был деликатен: без обиняков выговаривая ученикам за их промахи и недостатки, когда он беседовал с ними наедине или в узком кругу доверенных людей, он всегда брал под защиту своих «детей» перед посторонними. Это он учил не относиться неуважительно к молодым людям хотя бы потому, что когда-нибудь они и сами могут стать учителями. Он знал и самое могучее средство завоевать преданность учеников: самоотверженно служить своим идеалам. Разве не показал он своей жизнью, как можно добиться почета и славы не наследственными правами и лестью, а единственно усердием, честностью, талантом, любовью к учению? Кун Цю первым стал учить других самым трудным, но и самым благородным способом – собственной жизнью:

Расширять познания, не хвастаясь перед другими, прилежно

учиться, не чувствуя усталости, наставлять других, не зная разочарований, – это дается мне без труда.

И еще он мерил всех учеников одной мерой: их успехами в учении, их способностями. Исключения он не делал даже для собственного сына и с горечью убеждался в том, что тот не оправдывал его надежд.

«Если слова выражают мысль, этого достаточно» – гласит завет Конфуция, убежденного противника всякого краснобайства. Эта максима лишний раз подтверждает диалогическую и, точнее, учительную природу слова в конфуцианстве: для Учителя Куна вопрос не в том, кем сказано слово, а в том, для кого оно выговаривается. Конфуций-учитель не может жить в одиночестве, он постигает смысл как со-мыслие, момент межчеловеческой сообщительности, а не индивидуального самовыражения. Речь для него – лишь словесная оболочка безмолвно-интимного понимания дружественных сердец, но понимания воспитывающего, а значит, научающего ограничению себя. Посредством слова Учитель Кун определял вехи человеческого Пути, рубежи жизненного опыта, которые он предлагал пройти, преодолеть своим ученикам. А устанавливал он эти рубежи, регулируя дистанцию в отношениях со своими духовными «детьми», поощряя их или побуждая учиться еще прилежнее. И он умел перемещать эти рубежи таким образом, чтобы всегда указывать предел возможного для ученика, привлекая его к себе и в то же время оставаясь, как подобает учителю, недоступным и даже недостижимым для него. Он был равно любезен со всеми и равно от всех отстранен, всем сочувствовал и жил в ненарушаемом уединении. Учиться, по Конфуцию, значит постигать единую меру сродства и отчужденности между людьми.

Конфуций был все же не столько философом, сколько учителем. А это значит, что его интересовало не знание само по себе, а «сокровище сердца» – открытость души миру, способность вслушиваться в извечно «другое» и все же вкорененное человеку, в потаенный, всегда ускользающий ритм вселенской жизни. Путь его обучения и был не чем иным, как жизнью, испытанием себя, пробой новых путей; он требовал от учеников умения взглянуть на известное по-новому, оттолкнуться от прожитого, *найти себя:*

Учитель сказал: «Лишь тот, кто, храня тепло древности, открывает новое, способен быть учителем».

«Хранить тепло древности»: красиво сказано! И как многосмысленно! Тепло человеческого присутствия, неосязаемое, но такое родное, воспитывающее без наставлений, утешающее без обещаний, – вот подлинная стихия Конфуция-учителя, секрет вечной жизненности его наследия. Но без усилия воли, без

осознания своей единственности, без решимости найти опору в себе нельзя стать учителем, нельзя увековечить себя в своих духовных преемниках:

Тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, попадет в беду.

Учитель Кун поднялся над школьным обучением в собственном смысле слова. Он даже не преподавал традиционные «шесть искусств», явно считая всякое техническое знание не способствующим и даже мешающим истинному совершенствованию. А когда у него, случалось, спрашивали совета по части земледелия, он отмалчивался или с несвойственной ему резкостью объявлял интерес к ремеслам недостойным благородного мужа. Впрочем, и в таких случаях он мог дать дельный совет: расспросить обо всем у какого-нибудь старого крестьянина!

Впоследствии ученики Конфуция пришли к мнению, что их учитель обучал четырем вещам: «словесности, благонравному поведению, преданности и доверию». Что и говорить, не совсем привычно для нас видеть в списке школьных предметов такие, казалось бы, расплывчатые моральные качества, как «преданность и доверие». Но для Кун Цю – и мы только что могли убедиться – взаимная преданность учителя и ученика, их безмолвно доверительное общение, покойное вслушивание в музыкальный поток жизни как раз и составляли подлинный смысл и цель учения. А это потаенное и потому безупречно учтивое единение человеческих сердец не может не проявлять себя в безукоризненной четкости и честности каждого жеста и каждого поступка. Наконец, книжное образование укореняет живой опыт открытости миру в культурной традиции, сообщает духовной жизни благородный «пафос дистанции», делает воспитанное поведение осмысленным и потому не только не препятствующим, но и способствующим творческому созиданию новых форм жизни. В перечне четырех качеств, которым обучал Конфуций, действительно начертана вся учительская – а равно и жизненная – программа первого китайского Учителя.

В те годы, когда Кун Цю едва перевалило за тридцать, путь наставничества был еще только его смутной интуицией, почти неразличимой в череде будничных забот. Молод был сам Кун Цю, еще не имевший возможности как следует показать себя. Совсем молоды были его ученики. Но огромная известность Кун Цю и столь же великая любовь к нему учеников уже предрекали этому человеку великое будущее. Стараниями его поклонников имя Кун Цю мало-помалу сменилось почетным прозвищем Кун Фу-цзы, что означает Почтенный Учитель Кун. А много веков спустя первые

европейцы, узнавшие об Учителе Куне, окрестили его на латинский манер Конфуцием. В таком виде его имя и стало известным в Европе.

Между родиной и чужбиной

Итак, в четвертое десятилетие своей жизни Кун Цю вступил, все еще горя мечтой о «великих свершениях». Безупречная репутация, слава ученейшего человека царства, благосклонное внимание двора, любовь и преданность быстро множившихся учеников – всем этим судьба наградила его за его тихое подвижничество. Он мог гордиться собой. Собой, но, увы, не своим положением в обществе. Вся его известность и весь его авторитет никак не отразились на служебной карьере – главном мериле жизненного успеха для современников Кун Цю, да пока еще и для него самого. Он по-прежнему прозябал на каких-то незначительных должностях, даром что в столице, и ни на шаг не приблизился к власти. А ведь он жил одной идеей: мудрый только тогда не напрасно живет в этом мире, когда может приложить свои таланты к делам управления и воскресить чистоту древних нравов. Роптать на судьбу он отучился давно, но думы о людской несправедливости время от времени ложились тяжелым камнем ему на сердце.

Жизнь вокруг все упрямее шла наперекор его надеждам и мечтам. С беспощадной ясностью он понимал теперь, что заветы древних мудрецов утратили власть над умами людей. Но это было еще полбеды. Он понял больше: никто из сильных мира сего на самом деле и не помышлял о возрождении древних порядков. В царских дворцах процветали интриги, разврат, грызня за чины и доходы. Казалось, сами стены царского дворца пропахли злобой и коварством. Уже двадцать с лишним лет на престоле в Цюйфу восседал нынешний правитель царства Чжао-гун, что значит Сиятельный, но реальную власть прочно удерживали в своих руках три могущественных семейства, которые вели свой род от правившего за два столетия до того царя Хуань-гуна. Вожди «трех семейств» и их люди занимали при дворе Лу почти все ключевые посты, своей волей казнили и миловали, упиваясь властью как истинные временщики. Еще когда Кун Цю шел шестнадцатый год, они поделили между собой все войско и все доходы царства, оставив своему законному повелителю более чем скромное содержание. Это наглое самоуправство, впрочем, не помешало им именем Чжао-гуна вводить все новые подати ради собственного обогащения. Наконец, правление «трех семей» постоянно подогревало вражду и усобицы в луских владениях. Скрытая вражда извечно разделяла Чжао-гуна и его самозваных попечителей, но не угасало соперничество также между могущественными кланами и даже отдельными семьями внутри

этих кланов. Разумеется, «три семейства» имели предостаточно врагов и среди прочих знатных родов царства.

Не заручившись покровительством кого-нибудь из главарей «трех семейств», нечего было и думать об удачной карьере государственного мужа. Кун Цю не составило бы труда заполучить такого покровителя. Собственно, он и начал служить во владениях самого могущественного из «трех семейств» – клана Цзи и с тех пор вот уже полтора десятка лет исправно выполнял свои служебные обязанности. Долг подданного – святое дело. А предводитель семейства Мэн даже послал своих сыновей учиться у Кун Цю. Без сомнения, у Кун Цю хватало возможностей получить из рук всесильных царедворцев какую-нибудь видную должность и занять наконец подобающее ему место у подножия трона. Но этого не произошло. И причину угадать нетрудно: диктатура «трех семейств» была в глазах Кун Цю вопиющим нарушением ритуала, попранием священных заветов предков. Вероятно, Кун Цю, формально служивший все-таки Чжао-гуну, не слишком заботился о том, чтобы скрыть свое истинное отношение к «трем семействам», и те отвечали ему такой же неприязнью, скрытой за маской холодной вежливости.

С каждым годом все тяжелее становилась властная рука «трех семейств», а в царстве повсюду росло недовольство развязными узурпаторами. Неумолимо таяли радужные надежды Кун Цю. Ему уже тридцать пять! И каждый день отнимал у него частицу великого будущего, которое – он все еще твердо в это верил – ожидало его впереди. Далее молчать уже было невозможно. Терпение покидало его.

Гроза грянула с приходом новой весны, на двадцать пятый год царствования Чжао-гуна, а по европейскому летосчислению – в 517 году до н. э. По старинному обычаю знатные люди совершали в это время Большое жертвоприношение предкам, сопровождающееся пиршествами, красочными плясками, состязаниями лучников и борцов и прочими увеселениями. В храме вконец обнищавшего, бесправного даже в собственном доме Чжао-гуна не набралось и половины требуемых для столь торжественного случая музыкантов и танцоров. А тем временем в родовом храме семейства Цзи вовсю гремит музыка, и лучшие танцоры царства в новых звериных шкурах, грозно потрясая копьями и секирами, пляшут перед главным алтарем. Они показывают танец Царя Воинственного – основателя чжоуской державы. На площадке перед алтарем вновь оживают героические события былых веков. Вот Царь Воинственный идет походом на Инь и убивает иньского царя. Вот он отправляется на юг и устанавливает южные рубежи своих владений… Вот подданные

чествуют и славят его… Вот снова Царь Воинственный идет войной против строптивых иньцев, и разгорается жестокая сеча… Зрители восхищенно следят за редкостным зрелищем, и никто из них не задумывается над тем, что танцоры выстроились в восемь рядов и в каждом ряду их тоже насчитывается по восемь – как полагается по царскому чину. А ведь предводитель клана Цзи имеет только титул дафу, и по правилам ему разрешается два ряда танцоров. Кун Цю, как служащий клана Цзи, тоже стоит в толпе гостей, заполнивших родовой храм его патронов. Грозно рокочут барабаны, звенят каменные пластины, завывают длинные трубы… Слаженно кружатся в танце воины, блестят на солнце их щиты и копья, мерно раскачиваются яркие перья на шлемах… Такое только раз в году и увидишь! Но Кун Цю стоит, потупив взор. Стыд обжигает его – он чувствует себя невольным соучастником унижения законного государя. И гнев горячей волной поднимается в нем…

Кончились пляски, смолкла музыка, довольные гости уже собрались отвесить поклон своим благодетелям, и вдруг в толпе раздается громкий голос Кун Цю:

– Восемь рядов танцоров! Если не стыдятся такого, то чего ж еще можно устыдиться?

Вокруг разом воцарилась мертвая тишина. А Кун Цю повернулся и быстро пошел прочь, провожаемый изумленными взглядами публики.

Возглас Кун Цю в храме клана Цзи был подобен первому раскату грома, внезапно грянувшему из гущи черных туч. На следующий день в городе только и было разговоров что о смелой выходке Цю из рода Кунов. Вот тебе и безобидный знаток церемоний! Оказывается, смелости ему не занимать: прилюдно посрамил зарвавшегося властолюбца и не посчитался с тем, что сам у него служит. А предводитель клана Цзи, командующий «войском левой руки» и личный советник государя Цзи Пинцзы, так и не нашел благовидного предлога, чтобы отомстить Кун Цю. Расправиться же с ним в открытую означало бы навлечь на себя еще больший позор. Пришлось ему проглотить обиду. Но в народе недаром говорят, что тому, кто не сумел постоять за себя, не помогут и духи. Теперь семейству Цзи надо было ждать новых неприятностей. И они не замедлили явиться.

Новый скандал разгорелся, казалось бы, по самому пустяковому поводу – из-за петушиных боев. Во времена Конфуция поединки бойцовских петухов были одним из самых любимых зрелищ древних китайцев, и без них не обходился ни один большой праздник. Поединки эти были не только увлекательным зрелищем. Петух, выходивший в них победителем,

приносил почет и славу его хозяевам, так что победить в этой потехе было делом чести каждой знатной семьи. Случилось так, что в дни летнего праздника на площадке для петушиных боев не было равных питомцу семейства Хоу, одной из именитых, хотя и не самых могущественных семей столицы. Тогда Цзи Пинцзы, пытаясь отстоять свое первенство, пустился на хитрость: он приказал посыпать горчицей крылья его петуха, и тот сразу же получил солидное преимущество в схватках с соперниками. В ответ глава семьи Хоу в нарушение правил поединка надел на своего петуха острые металлические шпоры, и тот быстро расправился со своим противником, которого выставил Пинцзы. Тщеславный диктатор не стерпел этого оскорбления. Пользуясь своей властью, он отобрал у семейства Хоу его лучший дом.

Новые бесчинства Пинцзы возбудили всеобщее возмущение, и Чжао-гун, давно уже ждавший подходящего случая для того, чтобы избавиться от унизительного «попечительства» Пинцзы, решил, что настало время действовать. Вместе со своими сыновьями и несколькими доверенными людьми из свиты он составил заговор с целью убийства Пинцзы. Заговорщикам приходилось рассчитывать главным образом на немногочисленную армию самого Чжао-гуна, да еще на внезапность нападения, ибо Пинцзы жил в хорошо укрепленной крепости и без надежной охраны не покидал ее. Но они надеялись, что их поддержат два других могущественных клана царства – Мэн и Сунь. Как-никак, падение Пинцзы предоставляло им возможность расширить свое влияние. Улучив благоприятный момент, Чжао-гун дал сигнал к выступлению. Его воины окружили главную крепость Пинцзы и попытались взять ее штурмом, но были вынуждены отступить. А тем временем собравшиеся на совет вожди клана Сунь здраво рассудили, что гибель Пинцзы и его людей может навредить им самим, хотя бы потому, что Чжао-гуну будут противостоять уже не три врага, а только два. «Без семьи Цзи не быть и семье Сунь», – заключили они. Люди клана Мэн охотно согласились с ними. Тотчас же вожди обоих кланов двинули свои дружины на помощь Пинцзы и без труда рассеяли войско Чжао-гуна. Большинство мужчин семейства Хоу были убиты в бою, остальные заговорщики бежали за границу. Так закончился этот странный мятеж, где в роли главного мятежника выступал сам правитель царства.

Поражение заговорщиков не создавало сколько-нибудь серьезной угрозы самому Чжао-гуну. Никто не собирался оспаривать его прав на престол, да и сами «три семейства», напуганные внезапной вспышкой возмущения, охотно покончили бы дело миром. Чтобы спасти свое достоинство, Чжао-гуну было

достаточно отмежеваться от заговора, выслав за пределы царства замешанных в нем людей из своего окружения. Так советовал ему поступить один из преданных людей, заявивший даже о своей готовности первым отправиться в ссылку. Но безвольный и трусливый Чжао-гун в очередной раз проявил малодушие. Чтобы избежать неприятных объяснений с вождями «трех семейств», он решил попросту сбежать из Цюйфу. Наскоро свершив гадание на могилах предков о своем решении и получив утвердительный ответ, он не мешкая покинул столицу луских земель. Ему не было нужды долго выбирать место своего добровольного изгнания. Конечно, надо было ехать в соседнее царство Ци. Тамошний правитель, Цзин-гун, который вот уже тридцать лет бессменно правил своим уделом, не раз гостил при дворе Лу и был давним и притом неизменно любезным знакомым Чжао-гуна, хотя при случае не стеснялся совершить набег на территорию Лу или отобрать пару-другую луских городов. Посланный Чжао-гуном гонец заранее доложил Цзин-гуну о приближении высокого гостя, и тот, соблюдая этикет, сам выехал навстречу знатному беглецу, позволив себе, однако, передвигаться несколько медленнее, чем допускалось неписаными правилами дружеских приемов. Но вообще Цзин-гун мог бы только радоваться приезду своего царственного соседа: теперь у него появился отличный повод вмешаться в дела лусцев.

Цзин-гун счел предосудительным надолго оставлять гостя из Лу в своей столице. Он поселил Чжао-гуна в одной из пограничных крепостей Лу, заодно присоединив ее к своим владениям. Затем настало время поработать дипломатам. Бегство законного правителя из своего удела было, что ни говори, событием чрезвычайным, и правителям других царств, согласно прежним договоренностям, следовало помочь ему вернуться на трон и покарать виновников смуты. Кое-кто из них поначалу и в самом деле потребовал немедленно покарать «три семейства» Лу. В свою очередь, непокорные луские кланы в чисто восточной манере позаботились о том, чтобы их повелитель не потерял лицо. Они немедленно отправили посольство с подарками и изъявлением покорности в ставку Чжао-гуна. Щедрые дары были посланы и ко дворам всех соседних царств. Прибывший в столицу Ци луский посол не пожалел красноречия ради защиты привилегий «трех семейств». «Все вещи в мире рождаются по двое, по трое или по пять, – начал он издалека, как и подобает дипломату. – Поэтому на небесах есть три вида небесных светил, на земле есть пять стихий, у тела есть правая и левая сторона, и у каждой вещи есть своя тень. А у правителей есть советники, которые следуют за ними как тень. Само небо породило

семейство Цзи, чтобы оно было тенью правителя Лу. Уж так исстари повелось в нашем царстве, и порядок сей изменить невозможно. Правители Лу, сменяя друг друга, все больше теряли власть, а вожди семейства Цзи все более возвышались. Алтари не воздвигают на вечные времена, правитель и подданные могут меняться местами. Вот и в Книге Песен сказано:

Высокие берега станут долинами.
Где были ущелья – там встанут горы…

Посол еще долго доказывал, что клану Цзи прямо-таки на роду написано всегда быть надежной опорой луским государям: вот и фамильный знак клана означал «гром над небесами» и, стало быть, верховенство в делах правления, и сам основатель рода появился на свет со знаком «друг», отчетливо проступавшим на морщинистой младенческой ладошке… Кончилось тем, что триумвират луских узурпаторов оставили в покое, удовлетворившись формальными изъявлениями их покорности, а Чжао-гуну пришлось отсиживаться во владениях своего друга-недруга Цзин-гуна.

Неизвестно, какую роль сыграл Конфуций в бурных событиях 517 года. Скорее всего он подчеркнуто держался в стороне от них. Зато известно, что вскоре после бегства Чжао-гуна он тоже покинул родное царство и переехал в столицу Ци. Поступая таким образом, Конфуций преследовал, вероятно, сразу две цели. С одной стороны, он хотел доказать себе и показать другим, что такое преданность законному государю. Он мог мириться со своим положением, пока сохранялась хотя бы видимость уважения к власти, но служба в царстве, лишившемся правителя, теряла для него всякий смысл. Правда, он был служилым человеком семейства Цзи, и ему следовало бы выполнять его распоряжения. Тем лучше! Пусть благодаря его поступку люди осознают, что такое верность трону, которая выше личных неудобств и кривотолков злопыхателей. С другой стороны, Кун Цю надеялся, что в Ци он встретит больше понимания и получит наконец возможность претворить в жизнь свои заветные замыслы. Казалось, сама судьба теперь толкала его искать удачи на стороне, без опасения показаться слишком охочим до карьеры. К тому же лет пять тому назад ему уже приходилось встречаться с послами из Ци и даже самим Цзин-гуном при луском дворе. Цзин-гун в тот раз спросил Кун Цю, почему некто Му-гун, правитель «маленького и отдаленного» царства Цинь на западной окраине Срединной страны, сумел стать великим завоевателем, на что Кун Цю ответил: «Хотя царство Цинь было маленьким, его люди

мечтали о великом. Хотя оно было отдаленным, его люди в поведении держались мудрой середины. Его правитель за пять овечьих шкур выкупил раба и сделал его своим советником. Побеседовав с ним в течение трех дней, он вручил ему бразды правления. Сразу видно, что он был достоин славы царя, а не просто завоевателя». Цзин-гун счел речь Кун Цю превосходной и с похвалой отозвался о его познаниях и возвышенности духа. На сей раз Конфуций даже заручился приглашением от одного из тамошних сановников – некоего Гао Чжао-цзы. Правда, у этого Гао Чжао-цзы была неважная репутация, да и положение «домашнего советника», уготованное ему в столице Ци, не прибавляло ему авторитета. Но он знал, что Гао Чжао-цзы устроит для него аудиенцию у самого Цзин-гуна, и как знать, может быть, на сей раз счастье улыбнется Кун Цю?

Прежние хозяева Кун Цю были только рады избавиться от своего не в меру щепетильного подчиненного. Несколько близких учеников Кун Цю вызвались сопровождать его в поездке. Богатые почитатели Учителя Куна подарили ему пару экипажей с лошадьми, ученики сложили в них книги, провизию, одежду, все необходимое для долгой дороги. Погадав о благополучном для отъезда дне и принеся жертвы духу дороги, Кун Цю поднялся в свой новый экипаж и велел трогаться. Повозки потянулись к северным воротам Цюйфу, откуда начинался путь в царство Ци.

И снова мимо потянулась бескрайняя равнина, еще почти сплошь поросшая кустарниками и рощами, окаймленная на горизонте низкими холмами. На третий день перед путниками выросла громада горы Тайшань – священного пика, с незапамятных времен являвшегося местом паломничества властителей Поднебесного мира. Рассказывают, что, проезжая мимо какой-то деревеньки, прилепившейся к отрогам Тайшань, Кун Цю увидел на обочине дороги горько рыдавшую женщину и спросил ее, отчего она так безутешно плачет.

– Моего мужа и дядюшку сожрал свирепый тигр, живущий в этих местах, – ответила женщина.

– Почему же ты не уезжаешь отсюда? – спросил Кун Цю.

– Так ведь наш управляющий очень добр к людям, – объяснила женщина.

Кун Цю сошел с экипажа и поклонился женщине в знак сочувствия ее горю.

– Вы слышали? – сказал он, повернувшись к ученикам. – Чиновника, притесняющего народ, боятся больше, чем кровожадного тигра! Запомните это…

За горой Тайшань Кун Цю и его спутники миновали пограничную заставу и въехали во владения Ци.

Тут, по некоторым рассказам, у них состоялась еще одна поучительная встреча. Они увидели на обочине дороги человека, который громко плакал, но не так, как принято оплакивать умерших родственников.

– Если вы, уважаемый, не в трауре, то почему вы так горько плачете? Расскажите мне все без утайки, – обратился к незнакомцу Учитель Кун.

– Ах, уважаемый, – ответил человек. – В этой жизни я совершил три ошибки, а теперь уже ничего нельзя поправить. Как же мне не отчаиваться?

– Что же это за три ошибки? – поинтересовался Кун Цю.

– В молодости я много странствовал, а когда вернулся домой, мои родители уже умерли: вот моя первая ошибка, – ответил человек. – Когда я возмужал, я пошел на службу к правителю царства, но не смог отвратить его от гордыни и пристрастия к роскоши, вот моя вторая ошибка. У меня было много родственников, но теперь все они разъехались, и я больше ничего о них не знаю: вот моя третья ошибка. Дерево желает покоя, но ветер вечно в движении. Сын желает ухаживать за родителями, но они не могут ждать, когда он вырастет. Я не в силах уже искупить свою вину!

– Смотрите же, дети мои! – обратился Учитель Кун к ученикам. – Пусть судьба этого человека послужит вам предостережением!

Предание утверждает, что после этого разговора добрая дюжина учеников Конфуция вернулась в отчий дом.

Минуло еще несколько дней пути по тряским циским дорогам, и Кун Цю со своими спутниками наконец прибыл в столицу царства – город Линьань. Гао Чжао-цзы встретил их со всей почтительностью и предоставил им в распоряжение отдельный дом. Гости из Лу тут же оказались втянутыми в водоворот светской жизни. Здешние ученые мужи уже были наслышаны о широких познаниях и добродетелях этого необычного на вид лусца и наперебой зазывали его к себе потолковать о книгах и старинных предметах, о героях и мудрецах былых времен, а чаще расспросить о злободневных вопросах политики. Гость из Лу и вправду оказался умным, приятным, а главное, прекрасно воспитанным собеседником – и ходит, и ест, и говорит строго по ритуалу. С таким поистине «поговоришь один вечер – приобретешь на сто лет»! Конечно, местные ученые, как везде, были большими патриотами, и им было очень любопытно знать, что думает Кун Цю о выдающихся уроженцах их родного царства – ну, например, о знаменитом Гуань Чжуне. За полтора столетия до того этот советник циского

правителя Хуань-гуна провел в Ци смелые реформы и превратил его в могущественнейшее государство Поднебесной. Спору нет, Гуань Чжун проявил незаурядные способности государственного мужа, но в его биографии имелось пятно, смущавшее многих. Он был одним из двух наставников наследника престола, впоследствии убитого его собственным младшим братом, который и стал правителем Ци. Коллега Гуань Чжуна по наставничеству покончил с собой в знак преданности законному наследнику, а Гуань Чжун как ни в чем не бывало пошел на службу к убийце своего ученика. Конечно, многие думали, что Гуань Чжун поступил предосудительно, или, на языке китайцев того времени, «бесчеловечно». Спрашивали об этом и Учителя Куна, и тот счел возможным оправдать поступок знаменитого советника. «Ведь благодаря Гуань Чжуну правитель Ци сумел, не прибегая к силе, девять раз призывать к себе правителей всех уделов. Вот насколько был человечен Гуань Чжун!» – объяснил Кун Цю одному посетителю. Сидевший рядом ученик не смог скрыть своего недоумения: «Но ведь Гуань Чжун согласился служить убийце своего ученика и законного наследника! Как же можно назвать его добродетельным?» – «Гуань Чжун помог правителю Ци стать первым в Поднебесной и пресечь смуту, – ответил Учитель Кун. – До сих пор люди пользуются плодами его добрых дел. Да если бы не Гуань Чжун, мы бы тут ходили с распущенными волосами и запахивались налево, как делают дикие степняки. Нет, он был не из тех простолюдинов, которые из-за мелочной честности лишают себя жизни в придорожной канаве, а люди даже не смотрят в их сторону!» Так рассуждал Кун Цю, и его собеседники не без удивления убеждались в том, что этот человек, требовавший строжайшего соблюдения нравственных заповедей, мог оценивать людей по реальным результатам их жизни и даже посмеиваться над бесплодной «мелочной честностью». Тут Кун Цю засыпали вопросами о личных качествах Гуань Чжуна, и выяснилось, что гость из Лу не столь уж высокого мнения о них.

– Гуань Чжун был поистине не таким уж вместительным сосудом! – заявил Кун Цю, неожиданно запечатлевая свою мысль, как с ним нередко случалось, в каком-то малопонятном образе.

– А был ли он бережлив? – спросили его.

– Гуань Чжун владел тремя усадьбами с многочисленной дворней – разве можно назвать его бережливым?

– В таком случае разбирался ли Гуань Чжун в ритуалах?

– Судите сами: правитель удела ставит у ворот своего дома стену, и Гуань Чжун тоже воздвигнул перед своими воротами такую стену. Правитель удела, принимая гостей, велит принести

подставку для осушенных чаш, и Гуань Чжун тоже завел у себя такую подставку. Уж если Гуань Чжун соблюдал ритуал, то кто же его не соблюдал?

С еще большим удивлением циские мужи узнавали от Кун Цю, что Гуань Чжун, вроде бы облагодетельствовавший весь мир, сам был далек от совершенства. Возможно ли такое? Но почему нет? Ведь Гуань Чжун только на время добился единения Срединной страны, он не излечил природу людей, не избавил человечество от его давних пороков.

Суждения Кун Цю служили неиссякаемой пищей для ученых разговоров в домах знатнейших мужей циской столицы. Многие восхищались умом и образованностью гостя из Лу, еще больше людей ему завидовали, но находились и такие, которые усматривали в словах Кун Цю оскорбительную насмешку над их родным царством. Что хотел сказать этот пришелец, когда заявил, что, не будь Гуань Чжуна, «мы бы тут ходили с распущенными волосами, как дикари»? Да и больно любит он порассуждать о том, что порядки в Ци чересчур строгие. То удивится, увидев на улице Линьаня лавку, где продаются протезы для тех, кому в наказание отсекли ступни ног, – дескать, многовато у вас казней! – то вслух посочувствует здешним крестьянам, у которых чиновники отбирают больше половины урожая, а у них в Лу берут вдвое меньше… Еще поговаривали, будто он не упускал случая подметить превосходство своих земляков над жителями Ци в знании ритуалов и однажды в разговоре обмолвился: «Даже небольшие перемены в Ци возвысят его до Лу, и даже небольшие перемены в Лу сделают его самым просвещенным царством в Поднебесной». Понятно, что такие суждения нравились далеко не всем в циской столице. Одним словом, у Кун Цю в Линьане появилось много друзей, но и не меньше врагов.

Весь Линьань еще жил первыми впечатлениями о знаменитом ученом из Лу, когда Гао Чжао-цзы добился от Цзин-гуна согласия дать Кун Цю аудиенцию. В назначенный день еще до рассвета – ибо жизнь в резиденциях китайских правителей начиналась непривычно рано по европейским понятиям – Кун Цю подъехал к главным воротам царского дворца и, предъявив начальнику караула специальную бирку-пропуск, переступил через высокий порог дворца, отделявший обитель Единственного из людей от его подданных. Как он ни старался, ему не удавалось прогнать так некстати охватившее волнение: впервые он приглашен к правителю, и, кто знает, не решится ли сегодня его судьба? В конце концов, все его знания и добродетели теряли всякий смысл, если их нельзя было приложить к делу государственного управления. А он мечтал о настоящем деле. Он даже заявлял

циским сановникам, что, будь у него власть, он за месяц добьется благоденствия в целом царстве. Быть может, Цзин-гун вспомнит его слова о мудром правителе, который доверился даже безвестному рабу и снискал славу великого завоевателя?..

В сопровождении стражника Кун Цю прошел через широкий двор, потом миновал еще одни ворота и еще один двор. Подойдя к лестнице, ведущей в просторный и сумрачный, словно пещера, тронный зал дворца, он опустился на колени и отбил поклон, стукнувшись лбом о землю. Стоявшие у входа в зал сановники переглянулись: ну и церемонный же этот человек из Лу! В их царстве о поклонах перед тронным залом, когда-то введенных первыми чжоускими царями, давно уже и не вспоминали. Кун Цю поднялся в зал, почтительно бодро подошел, почти подбежал мелкими шагами к подножию трона, упал на колени и выкрикнул, не поднимая головы: «Десять тысяч лет!» Сидевший вверху, невидимый для склонившихся вокруг простых смертных, правитель ответил словами приветствия. Выждав подобающую паузу, Цзин-гун обратился к Кун Цю с вопросом, который полагалось задавать правителю на подобных аудиенциях.

– Единственный желает знать, – медленно, растягивая звуки, произнес Цзин-гун, – в чем заключается секрет мудрого правления?

В гулкой тишине огромного зала прозвучал ровный, как будто совершенно бесстрастный голос Кун Цю:

– Правитель должен быть правителем, подданный – подданным, отец– отцом, а сын – сыном.

Немало поразились советники государя словам Кун Цю: надо же уметь сказать так просто, безыскусно и кратко – так просто, что проще и не скажешь! Что тут спорить – умел Кун Цю говорить с неоспоримой убедительностью, ничего от себя не придумывая, но словно давая словам самим выговаривать себя, заставляя вновь задуматься над, казалось бы, очевидными и давно всем известными истинами. Какой скромный и какой изысканный в своей скромности совет! Цзин-гун даже замешкался с ответом, но, памятуя, что дворцовые летописцы ждут от него суждения, чтобы записать его для потомков, изрек самое обычное в таких случаях вежливо-похвальное замечание. «Прекрасно! – воскликнул он. – Поистине, если правитель не будет правителем, подданный не будет подданным, отец не будет отцом, а сын не будет сыном, то могу ли я, Единственный, с легким сердцем есть свой хлеб?»

Засим аудиенция была окончена: этикет не позволял правителю при первой встрече с приезжим мудрецом задавать ему больше одного вопроса. Но Кун Цю мог быть доволен собой: он произвел впечатление на Цзин-гуна и прилюдно заслужил от

него похвалу. Вскоре ему доставили и щедрые подарки от государя: штуку тонкого шелка, пояс, расшитый бисером, красивые раковины с морского дна. А еще через несколько дней Кун Цю вновь пригласили на аудиенцию к Цзин-гуну, и тот опять спросил его о секрете мудрого правления.

«Мудрость государя заключается в том, чтобы бережно распоряжаться богатствами», – ответил Кун Цю.

Совет немудреный, но дельный. Однако он едва ли обрадовал того, кто владел одним из самых роскошных дворцов в Срединной стране, а кроме того, обложил крестьян неслыханно тяжелыми налогами, учредил монополию казны на торговлю солью и железом и вообще старался всеми возможными способами умножить свои доходы. А еще прослыл таким большим любителем шумных пиров со слугами, музыкантами и танцовщицами, что злые языки говорили, будто Цзин-гун «по левую руку от себя сажает шутов, по правую – плясунов». Уж не намекает ли гость из Лу на то, что он, великий правитель, слишком расточителен? Вслух Цзин-гун похвалил совет Кун Цю, а про себя подумал, что, пожалуй, большого проку от этого ученого гордеца не будет. Легко сказать: «будь бережлив». А надо и армию содержать, и крепости строить, и послов иноземных удивлять своими богатствами. Если даже он сделает этого чужеземца своим советником, то люди из его окружения, потомки единокровных, старинных родов тотчас поднимутся против него… Царство его пока процветает, так для чего же искать ему лучшей доли? Поразмыслив, Цзин-гун предложил Кун Цю не должность, а удел, который обеспечил бы уважаемому гостю сытую, безбедную жизнь и возможность заниматься в свое удовольствие учеными изысканиями.

Конфуций сразу же разгадал истинные намерения своего царственного покровителя: владение уделом, не дав Кун Цю власти, сделало бы его полностью зависимым от Цзин-гуна. Вот тогда Кун Цю уж точно не доведется наставлять государя. Нет, эта почетная неволя не для него. От предложения принять удел он вежливо, но твердо отказался, заявив, что недостоин такой чести. Придя же домой, сказал ученикам: «Я слышал, что благородный муж стыдится получать награды, не имея заслуг. Нынче государь, не приняв моих советов, решил пожаловать мне удел. Он совсем не понимает, кто такой Кун Цю!»

Предоставив Цзин-гуну решать его судьбу, Конфуций вернулся к своей обычной жизни: беседам с учениками и местными учеными, изысканиям по части церемоний, размышлениям… Тут как раз в Линьань приехали музыканты самого чжоуского вана, бежавшие из Лои после очередного

дворцового переворота, и Кун Цю наконец-то довелось услышать старинную музыку в стиле *шао* — ту самую, которую в незапамятные времена сочинил якобы сам великий царь Шунь. Неизвестно, что это была за музыка, но только Конфуций, послушав ее, потом, по отзыву учеников, в течение трех месяцев за едой не чувствовал вкуса мяса и все повторял: «Я никогда не думал, что музыка может быть так прекрасна!» А недюжинная эрудиция Кун Цю уже плодила легенды. Рассказывали, к примеру, что однажды во дворце Цзин-гуна появилась странная одноногая птица. Никто из мудрецов циской столицы ни о чем подобном даже не слыхивал, и только Кун Цю сказал, что эту птицу зовут шанъ-ян и что появляется она накануне большого наводнения. Правитель велел повсюду укрепить дамбы, преграждавшие путь водам. Вскоре по всей Срединной стране начались проливные дожди, и реки вышли из берегов, затопив дома и поля. Только в царстве Ци потоп не причинил ущерба людям… В другой раз Кун Цю продемонстрировал способности ясновидца, объявив, что в чжоуской столице молния сожгла храм царя Ли-вана, и это была кара Неба за то, что Ли-ван отвернулся от целомудренных нравов первых царей Чжоу и погряз в роскоши. Вскоре пришло известие о том, что храм Ли-вана действительно сгорел во время грозы.

Между тем Цзин-гун, не желая более способствовать славе Конфуция, уже не расспрашивал своего ученого гостя о ритуалах и разных премудростях. Все же не оставлял он и мысли приручить луского строптивца. Он вызвал к себе Кун Цю и объявил ему: «Единственный не может пожаловать тебе титул первого советника, равного по званию предводителю семейства Цзи в твоем родном царстве. Твое место – стоять где-то между первым и третьим рангами». Предложение Цзин-гуна, конечно, не вполне удовлетворяло Кун Цю, но все же оно было лестным для человека, поднявшегося из полной безвестности. И все-таки даже такой, в сущности, чисто формальный знак внимания к гостю из Лу не на шутку встревожил старых министров Цзин-гуна. Их интересы взялся отстаивать сам первый советник правителя Янь Ин – на редкость даровитый администратор и дипломат, большой эрудит и непревзойденный мастер интриг. О его необыкновенной хитрости ходили легенды. Рассказывали, что однажды он убрал сразу трех своих соперников, подговорив правителя призвать их всех вместе к себе и одарить двумя персиками тех, кто подаст ему лучший совет, а сам устроил таким образом, что поначалу к Цзин-гуну явились только двое. Государь, выслушав их наставления, остался доволен и пожаловал каждому по персику. Но потом подошел и третий, и Цзин-гун нашел, что его совет еще лучше. Тогда первые двое со стыда покончили с собой, третий же,

увидев, что он против своей воли погубил сразу двух достойнейших мужей, от огорчения тоже лишил себя жизни.

Наверное, этот рассказ выдуман, но хитрости и ума Янь Ину и в самом деле было не занимать. Подобно Кун Цю он был родом из обедневшей семьи и поднялся к высотам власти благодаря удачному стечению обстоятельств. Янь Ин и Кун Цю еще раньше виделись в Цюйфу и, кажется, понравились друг другу. Что же, между ними и в самом деле было много общего. Но личные симпатии одно, а интересы государства другое. А может быть, там были не только симпатии. Человек невероятно скаредный и к тому же горбун, Янь Ин мог попросту завидовать высокорослому и неподдельно равнодушному к деньгам Кун Цю. Как бы то ни было, Янь Ин употребил все свое красноречие, чтобы убедить своего хозяина отказаться от услуг ученого гостя. «Эти знатоки ритуалов – просто никчемные бездельники, и притом такие гордые и самонадеянные, что на них не найдешь управу. Они разоряют себя долгим трауром и пышными похоронами. А потому их предписания нельзя превращать в закон. Да и как можно доверять этим нищим бродягам власть над целым государством? С тех пор как в мире не стало мудрых царей и доблести Чжоу померкли, ритуалы и музыка пребывают в упадке. А теперь этот Кун Цю с таким усердием наставляет умению правильно держаться и одеваться и выполнять всякие церемонии, что целой жизни не хватит на то, чтобы постичь его науку, – тут потребно не одно поколение! Тому, кто захочет управлять государством, следуя его советам, некогда будет думать о главных нуждах людей».

Цзин-гун охотно согласился со своим советником: вершить дела государства Кун Цю, конечно же, не способен. Да и восстанавливать против себя своих старых помощников ему совсем не хотелось. Поэтому он в очередной раз позвал Конфуция и объявил ему: «Единственный уже слишком стар и потому не в состоянии воспользоваться твоими услугами».

Конфуций спокойно воспринял отказ Цзин-гуна: в конце концов, не он ли всегда говорил, что благородный муж никогда не отчаивается и не ропщет на судьбу, если люди его не понимают? Не затаил он обиды и на Янь Ина, достоинствам которого и позднее отдавал должное. «Янь Ин показал образец настоящей дружбы: даже в обществе старых друзей он держался со всей почтительностью», – гласит одно из высказываний Конфуция в «Беседах и суждениях». Кун Цю, кажется, просто не умел быть пристрастным в оценке других людей.

Отказ Цзин-гуна взять Кун Цю к себе на службу не успокоил циских вельмож. Кто мог поручиться, что этот эрудит, знающий

толк в государственных делах, да к тому же на редкость волевой, в один прекрасный день не завоюет вновь благосклонность государя? В скором времени неприязнь столичных чиновников к гостю из Лу достигла угрожающих размеров. Кое-кто из тайных недругов Кун Цю даже намекал ему, что некоторые горячие головы в столице готовы расправиться с ним. Жить в Линьане для Кун Цю становилось все тревожнее. Ходили упорные слухи, что на него готовится покушение. Во многих домах его перестали принимать. В конце концов Кун Цю пришлось спешно покинуть Линьань и вернуться в Лу. Рассказывают, что он так торопился, собираясь в дорогу, что даже не успел поесть и прихватил с собой в повозку котелок с недоваренным рисом. Впрочем, и в этом его поступке обнаружился назидательный смысл. «Помните, как я уезжал из Цюйфу? – обратился Кун Цю к ученикам, садясь в повозку. – Я ехал как можно медленнее. Вот так надо уезжать из страны своих предков. А теперь мы отправляемся, даже не закусив. Вот так нужно возвращаться на родину!»

Как ни торопился Кун Цю вернуться домой, на обратном пути он не отказал себе в удовольствии подняться на гору Тайшань. Правда, до вершины он не добрался – это было бы с его стороны нескромно и даже, пожалуй, дерзко. Но он вдоволь побродил по лесистым отрогам священного пика. Вот так, прогуливаясь, он повстречал ветхого старца в оленьей шкуре, который весело пел песни, подыгрывая себе на цитре. Кун Цю спросил старца, отчего он так весел. И тот ответил: «У меня есть множество причин для веселья, но главные из них три. В этом мире человек возвышается над всеми существами, а я родился человеком. Вот первая причина для радости. На свете мужчин чтут больше, чем женщин, а я родился мужчиной. Вот вторая причина для радости. Среди родившихся на этом свете многие умирают, не увидев света солнца и луны и не выйдя из пеленок, а я прожил уже девяносто пять годов. Вот и третья причина для радости. Бедность – вечная спутница достойного мужа. Смерть – неизбежный конец для каждого человека. Чего же мне о них печалиться?» – «Как прекрасно, когда человек умеет быть безмятежным наедине с собой», – воскликнул Кун Цю, выслушав речь старца.

Все-таки странные истории рождала жизнь Учителя Куна. Ни остроумием они не отличаются, ни занимательностью сюжета, ни глубиной наставления. Вот и эта история учит лишь утешаться самой жизнью, и ничем иным, кроме жизни, ловить радость в простейшем и безыскуснейшем ощущении: «Я живу…» Но до такого удовольствия надо еще дожить…

«Освободившись от сомнений…»

Пробыв около двух лет в царстве Ци и не найдя себе применения ни при дворе практичного Цзин-гуна, ни в ставке никчемного государя собственного царства, Кун Цю возвращается в свой старенький домик у юго-западного угла городской стены Цюйфу. Судьба его вырисовывалась все отчетливее: он в очередной раз не снискал лавров государственного деятеля, зато вновь подтвердил свою репутацию благонравного ученого. Теперь, прожив на свете без малого сорок лет, он был в том возрасте, когда у него «исчезали сомнения» насчет того, какие силы движут этим миром. И сомнения в том, каким в этом мире должен быть его собственный путь.

Его родина переживала пору безвременья и смуты. «Три семейства» погрязли в мелочных усобицах, и их попытки соблюсти хотя бы видимость законности и порядка лишь заставляли еще острее ощутить лицемерие новоявленных отцов государства. Разумеется, не могло быть и речи о поступлении Конфуция на службу. Учитель Кун поселился в Цюйфу как частное лицо и с тех пор демонстративно держался в стороне от политики. В течение целых пятнадцати лет в его жизни не произошло никаких значительных событий. Эти пятнадцать лет – сплошное белое пятно в его биографии. Пробел тем более поразительный, что он приходится на пору расцвета творческих сил человека. Не странно ли: самый плодотворный период жизни – и такое глухое молчание, такая редкая для мирского человека скрытность. Что это? Вынужденное бездействие, вызванное неблагоприятными обстоятельствами? Отчасти, вероятно, да. Но и нечто совсем иное, ничуть не случайное, а нечто в высшей степени закономерное в земном пути Учителя Куна. По существу, только теперь он сознательно посвящает себя углубленной, невидной со стороны работе самопознания, только теперь, преодолев все сомнения, он начинает претворять свою судьбу. В Кун Цю, по-прежнему обуреваемом жаждой учения, мужает Учитель.

Конфуций вернулся к своей обычной жизни. Впрочем, отходил ли он от нее когда-нибудь? Кажется, вся его жизнь и была одним возвращением к этой самой обыкновенной жизни – с виду, может быть, ничем не примечательной, но серьезно и искренне прожитой, а потому подлинной; жизни, до последних мелочей наполненной кропотливой работой духа. Текли дни, месяцы, годы… Уверенно и гладко, как плавная смена времен года, развертывалось полотно жизни – всегда новой, бесконечно

разной, но как будто проникнутой неведомой музыкой, подчиняющейся неприметному для суетного слуха ритму. Конфуций жил, словно сверяя свое сердце с безбрежной музыкой мироздания. Где искать этот исток творческих метаморфоз жизни, дающий форму всем вещам и событиям? Конфуций, конечно, не задавал и не мог задавать себе такой вопрос. Разве может быть «исток», один-единственный «правильный» образ у реальности, которая сама по себе бесконечно изменчива и никогда не повторяет себя? Но есть неповторимость, единственность и потому полная самобытность каждого мгновения жизни. И в ней сокрыта неистощимая сила Великого Пути мира…

Конфуций вырос в обществе, до предела ритуализированном, пронизанном этикетностью до мельчайших деталей своего устройства. Эта ритуальность стала исходной точкой его размышлений, определившей культурную значимость его наследия. «Для чего ритуал?» – вот главный вопрос Конфуциева учения.

По Конфуцию, ритуальная выверенность каждого жеста, каждого слова и даже каждой мысли есть не что иное, как встроенность в изобильный ритм вселенской жизни. Поэтому управление в Конфуциевой традиции есть прежде всего исправление (оба знака в китайском языке звучат и пишутся почти одинаково). Исправление себя в первую очередь. Возвращение к тому, что изначально заложено в нас, к «первозданной чистоте сердца», но чистоте, освещенной светом сознания, обогащенной бесконечно долгим усилием воли. Конфуций не из тех философов, которые выстраивают свою «систему мысли», закрепляя за словами какие-то особые значения, придумывая новые слова. Вся его теория – это язык, «как он есть». Дело мудрого – лишь очищать кристалл языка от всех личностных наслоений, позволять правде самой выговаривать себя. Ибо правда сама по себе совершенно естественно перетекает от сердца к сердцу неощутимыми токами духа. «Правитель да будет правителем…» Здесь не нужно ни доказательств, ни оправданий, вообще никаких умствований. Мудрый безмятежен, он стремится «меньше думать, меньше говорить». Он спокоен за истину, потому что она не нуждается в его защите. Не нужно говорить там, где правда жизни сама светится в каждом новом впечатлении, каждом жесте и каждом чувстве. Нужно лишь позволить кристаллу жизни светиться своим таинственным внутренним огнем… Жизнь и есть единственное правдивое непридуманное слово…

«Любить древность и доверять ей». Вот фраза, выражающая

глубочайший смысл жизненной позиции Конфуция. Любить то, что предваряет и предопределяет всякую «данность» нашего существования; то, что делает вещи такими, какие они есть. Этот сокрытый исток жизни невозможно знать или определить в понятиях, ведь он предшествует всякому опыту и всякому пониманию. Ему можно только довериться…

Высшая цель Конфуция-учителя – найти этот исток, это семя всего, что случается в мире, совершить непреходящее, бесконечно действенное действие, вернуть культуру к ее корням и дать человеку бессмертие в традиции. Безупречная действенность творческой культуры заключена, по Конфуцию, в самом порядке жизни, в кристаллах ритуальных отношений – совершенно естественных и непроизвольных. Не отсюда ли проистекает странная, казалось бы, по-детски наивная вера в способность его дела – нет, не учения, не проповеди, а именно дела, действительной жизни – оказывать неотразимое воздействие на мир, чуть ли не в одночасье привести все общество к благословенному порядку? И Конфуций прямо-таки настаивал на том, что его обещания надо понимать буквально, что все будет именно так, как он предрекает. Как могли поверить ему «реалистически мыслящие» политики, не знавшие, что такое доверие к человеческому содержанию жизни, признававшие только низменные чувства людей, полагавшиеся только на силу и устрашение? Драма Конфуция – если только тут можно усмотреть драму – заключалась в том, что чем очевиднее представало его внутреннему взору всепокоряющее обаяние «древности», тем более сокрытой и даже неприемлемой оказывалась его правда для мира. Это драматическое расхождение между истиной мудреца и истиной мирского властелина невозможно было замазать ни дипломатическими ухищрениями, ни даже благими пожеланиями обеих сторон. Неудачи Конфуция на политическом поприще, конечно, нельзя объяснить, как иногда делают, лишь его прямодушным и резким характером. Напротив, Конфуций, по общему мнению, был неизменно деликатен, обаятелен и превосходно ладил со всеми людьми, даже самыми жестокими и развращенными властью. Его неудачи не зависели ни от него, ни от окружающих. В них воистину было нечто судьбийное…

Гости, бывавшие в его доме, удивлялись тому, что Кун Цю с его талантами и знаниями оказался не у дел. Кун Цю ничуть не смущался, оставаясь убежденным в том, что благородство души никогда не бывает напрасным. «Даже если человек – только добрый сын и любящий брат, он тоже может исправить нравы», – не так ли говорится в «Книге Песен»? – отвечал он гостям. – Разве добродетельный человек не способствует благому правлению?

Зачем ему служба?» Иной же раз, слыша похвалу своей эрудиции, отвечал добродушной шуткой: «Я, видите ли, никогда не состоял на службе, и у меня было предостаточно времени для учебы!»

А если серьезно, то Конфуций первым в Китае попробовал найти себя в частной жизни. И тем не только не умалил традиционный идеал «младшего господина», но, напротив, открыл новые грани его величия. Он открыл, что всякое дело, даже самое незначительное, есть достойный повод для внутреннего самоусовершенствования. Он открыл свое золотое правило:

Не пренебрегай повседневными делами…

Завет Конфуция, обращенный к каждому: будь мастером не ремесел, а собственного сердца, постигни смысл своей жизни в самоуглубленной работе души, для которой не требуются ни технические орудия, ни власть, ни даже признание людей. Не оттого ли даже в неудачах своих Конфуций черпал уверенность в себе? И это не было ни бравадой, ни самонадеянностью. «Доверие к древности» вообще не было делом его личного выбора. Он просто не мог иначе…

Мерно текла жизнь Конфуция после его возвращения на родину. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Крушение надежд в Ци заставило его быть осторожнее. Он уже не уповал на покровительство сильных мира сего. А вожди «трех семейств» Лу сами предпочитали держаться от него подальше, опасаясь нового скандала. Что же касается Чжао-гуна, то он вскоре перебрался под крыло правителя царства Цзинь – давнего соперника Цзин-гуна. Конфуций оставил его поступок без внимания. Кажется, он почти потерял интерес к государственным делам. Ни в «Беседах и суждениях», ни в хрониках тех лет мы не слышим откликов Учителя Куна на злобу дня. Известно только, что, когда в 513 году до н. э. в царстве Цзинь отлили бронзовый сосуд с текстом законов, Кун Цю, как и в случае с Цзы-Чанем, осудил это новшество, заявив, что владыка Цзинь отныне «потерял меру» в делах правления и сам готовит себе погибель. Учитель Кун по-прежнему не представлял себе политику в отрыве от личностей и отношений между личностями.

Для него управление непременно шло от внутреннего выправления человека. Не далее как за год до того Кун Цю похвалил первого министра того же цзиньского царства, который объявил, что будет отбирать чиновников по их способностям. Кун Цю назвал этого министра «справедливым человеком», ибо он «правильно судит ближних и дает выдвинуться дальним». По достоинству оценивать людей – вот основа основ мудрого правления по Конфуцию.

Очень скоро правитель Цзинь тоже решил избавиться от вконец растерявшегося Чжао-гуна и стал уговаривать его вернуться в Лу. Тот, однако, упорно отказывался ехать, несмотря на то, что «три семейства» его удела охотно выказывали ему свою покорность – ритуал есть ритуал! Наконец зимой 510 года незадачливый государь Лу умер в изгнании, пятидесяти двух лет от роду. Когда гроб с телом покойного привезли в Цюйфу, Пинцзы не отказал себе в удовольствии в последний раз унизить бывшего господина: он приказал похоронить его за южной оградой родового кладбища луских правителей. Вместе с телом Чжао-гуна в Лу возвратились младшие братья и сыновья покойного. В обход старшего сына и законного наследника Чжао-гуна Пинцзы посадил на трон его младшего брата, получившего имя Дин-гуна. Смена правителей ничего не изменила в расстановке политических сил в царстве. По-прежнему «три семейства» прочно удерживали власть в своих руках, а Дин-гуну, как и его предшественнику, была уготована чисто декоративная роль в дворцовой политике. Ни в похоронах Чжао-гуна, ни в торжествах по случаю возведения на престол нового государя Кун Цю, насколько известно, никакого участия не принял. Да и мог ли он ввязаться в эти политические спектакли, столь грубо попиравшие и дух, и букву древних обычаев?

Хотя Кун Цю теперь демонстративно сторонился публичности и избегал делать острые заявления, его молчание было по-своему красноречивее слов. Он обличал произвол уже самим отказом поддерживать отношения с кликой «трех семейств» и их ставленником на троне. А потому присутствие даже безмолвствующего Конфуция накладывало глубокий отпечаток на публичную жизнь в Лу. Конфуций приковывал к себе всеобщее внимание, каждое его слово подхватывали на лету. Мы чувствуем это и по скупым, малозначительным записям о Конфуции в местной хронике тех лет, и по отдельным высказываниям в «Беседах и суждениях», относящимся к этой поре «затворничества» в жизни Учителя Куна.

Если в былые годы Конфуцию, чтобы заявить о себе, требовалось блеснуть ученостью или выступить с обличением неправедной власти, то теперь он мог позволить себе роскошь поучать молчанием, жизнью тихой и уединенной. Он первым воплотил собой особый тип личности, который стал классическим среди ученых старого Китая, а в Европе остался практически неизвестным – тип консервативного нонконформиста, выделяющегося из толпы, как ни странно, лишь безукоризненным соблюдением обычая. Следовательно, он не мог не быть в полном смысле слова мирским человеком – главой семьи, добрым

хозяином и соседом. В свои сорок лет Конфуций и вправду пользовался, по-видимому, непререкаемым авторитетом среди своих родственников и мог своей волей выбрать жениха для племянницы – дочери старшего брата. Подношения учеников и богатых покровителей избавили его от забот о хлебе насущном и даже, возможно, сделали его зажиточным человеком. Известно, что его ученик, выполнявший в доме обязанности управляющего, с позволения Учителя щедро снабжал зерном семьи своих нуждающихся товарищей по школе.

Но при всей своей вовлеченности в мирскую жизнь Учитель Кун превыше всего ценил независимость духа. Интересно, что именно с этой точки зрения оценивал он достоинства тех, кто мог бы стать его родственником. Собственную дочь он выдал замуж за ученика, который хоть и побывал в тюрьме, но «вел себя так, словно на нем не было позора». А свою племянницу он выдал замуж за ученика по имени Наньжун, который «не оставался в стороне в добрые времена и не терпел унижения во времена смуты». Этот Наньжун был известен еще и тем, что часто повторял строчки древней песни:

> Пятнышко на белой яшме еще можно стереть,
> А пятно на своих словах уже никогда не сотрешь…

Милые сердцу Учителя строки!

Разумеется, «уединение» Конфуция вовсе не означало его отгороженность от мира. Он был самым гостеприимным учителем во всей Поднебесной, его дом был открыт для всех желавших учиться, но учил он не знаниям и искусствам, а безыскусной жизненной мудрости: умению жить в согласии со всеми, оставаясь самим собой… Его правда виделась ему настолько простой и очевидной, что было бы совершенно излишним, да и невозможным разъяснять ее. Нет, он мог лишь намекнуть о ней, подвести к ней, приоткрыть лишь «четвертую часть» истины…

Ни люди, окружавшие Учителя Куна, ни даже он сам не смогли бы сказать со всей определенностью, кто он таков и чему учит. Да, Кун Цю носил длинные халаты с широкими рукавами, какие носили в те времена ученые люди, знатоки обрядов. Еще до Конфуция их стали называть словом *жу,* которое несло в себе также значение «юноша», «потомок». Так называли тех, кто изучал установления и заветы древних и кто поэтому более других ощущал себя «детьми» своих предков. Позднее это слово стало собирательным названием конфуцианских ученых. Но во времена Конфуция оно, конечно, еще не указывало на принадлежность к определенной философской школе, а относилось ко всем, кто был

сведущ в ритуалах и канонических книгах.

Итак, Конфуций не придумывал свою истину, а следовал тому, что было установлено прежде: он «передавал, а не сочинял». У него, по сути дела, и не было своего учения. Потому он в конце концов и не мог учить ничему особенному, ничему отличному от вековых устоев жизни. Конфуций пошел до конца по избранному им пути: он вернул учение в лоно самой жизни, он решительно отказался проводить различие между учением и жизнью, задумав свести то и другое в единый путь личного совершенствования. Школьное обучение, по Конфуцию, призвано лишь придать завершенность и блеск мудрости, обретаемой в повседневной жизни. Учение начинается с первых же жизненных шагов, с простейших житейских обязательств и устремлений, с первого проблеска сознания:

Учитель сказал: «Молодой человек должен быть послушным сыном в родительском доме и прилежным работником вне дома, взыскательным и внушающим доверие в своих речах, радушным со всеми и любезным с родственниками. Если у него остаются силы после выполнения этих требований, пусть он отдает их учению».

Подобно Сенеке Конфуций поставил бы выполнение своего долга перед людьми выше занятий «свободной философией». Но если в истории европейской философии подобная точка зрения свидетельствовала скорее об упадке и старческой дряхлости мысли, то в Китае идея превосходства «жизни» над «знанием», идея слияния духа и быта служила как раз наиболее могучим импульсом, но вместе с тем и идеальным пределом философского размышления. «Слова мудрецов просты» – гласит древнее китайское изречение. Наследие Конфуция – одно из самых убедительных подтверждений этой истины.

С чего же, согласно заветам Учителя Куна, следует начинать свое совершенствование? С того, что всего доступнее или, говоря словами самого Конфуция, – с «того, что лежит под рукой». Со служения своим ближним и прежде всего, конечно, родителям. Трудно отказать Конфуцию в здравом смысле, когда он говорит, что только сын, почитающий отца и мать, может стать хорошим подданным (то бишь хорошим членом общества, в понимании древних китайцев). В беседах с учениками Учитель Кун часто с похвалой отзывается о тех, кто «почтителен к родителям в семье и уважителен к старшим по службе». Уже второе высказывание в «Беседах и суждениях», принадлежащее одному из близких учеников Конфуция, гласит:

Редко случается, чтобы люди, твердые в сыновней почтительности и уважении к старшим, затевали смуту. Благородный муж отдает все внимание основе, когда же основа

прочна, появится и правильный путь. Почтительность к родителям и уважение к старшим братьям – вот основа человечности в этой жизни.

Разумеется, в конфуцианской традиции дети должны строго соблюдать все обряды и правила этикета, диктуемые их сыновним долгом: заботливо ухаживать за родителями, с почетом их хоронить, два с лишним года носить по ним траур, в надлежащее время приносить им жертвы и проч. Но, помимо формальной стороны дела, дети должны еще с готовностью повиноваться родительской воле. Непослушания или даже споров со старшими в семье Конфуций не терпел вовсе. «Служа отцу с матерью, увещевайте их как можно мягче, – советовал он ученикам. – Если ваши советы не возымеют действия, будьте по-прежнему почтительны и смиренны. Даже если вы досадуете в душе, не выказывайте своего недовольства».

В конфуцианстве служение родителям – это первая и самая естественная обязанность каждого человека, не потому, что она предписана людям какими-то высшими авторитетами – например, богами или же «чистым умозрением», – а просто потому, что так повелось в жизни: нет никого, кто был бы ближе нам отца с матерью и кому мы были бы больше обязаны на этом свете. Конечно, Конфуций понимал, что у каждого взрослого человека были и другие обязательства перед теми, с кем связала его судьба. Ему следовало быть преданным государю, по-родственному любить братьев, жить в согласии с женой, хранить верность друзьям. Позднее эти традиционные виды отношений между людьми получили в Китае наименование «пяти основ». Но отношения эти, как можно видеть, не были отношениями равных. Даже друзья в зависимости от их возраста делились в Китае на старших и младших. Человека как абстрактного «индивидуума» китайская традиция вообще не знала.

Если бы Кун Цю проповедовал только безропотное служение ближним, он, без сомнения, никогда не стал бы великим Учителем Китая. Но в том-то и дело, что служить старшим и вообще ближним следовало, по Конфуцию, вовсе не для того, чтобы угодить другим, добиться признания в обществе или даже прославиться. Для Конфуция умение правильно строить свои отношения с людьми или, точнее говоря, строить их таким образом, чтобы благодаря связям с другими определять свое собственное место в жизни, познавать самого себя, как раз и было настоящей школой. Ибо истина Конфуциева учения – это сама сообщительность людей, и учиться ей можно всегда и повсюду. Подлинный же учащийся для Учителя Куна – тот, кто сознает внутреннюю необходимость и даже потребность служения. Быть

почтительным к родителям, сказал Конфуций однажды, не означает просто ухаживать за ними, ведь, к примеру, собак и лошадей тоже кормят. Добродетель, по Конфуцию, обретается – и поверяется – внутренним подвижничеством.

Интересно, что, если ученикам, покинувшим ради учебы у него отчий дом, Кун Цю напоминал о важности выполнения своего долга перед родственниками, то своим домочадцам он чаще внушал мысль о необходимости всю жизнь учиться. Своего сына Боюя, согласно преданию, он наставлял в следующих словах: «Если у человека незавидная внешность, а его предки ничем не прославились, то завоевать уважение людей и оставить о себе добрую память он может, лишь отдав все силы учению. Поэтому благородный муж должен посвятить себя учению и обладать внушительным обликом. Если у него не будет внушительного облика, он не завоюет расположения людей. А если он не добьется расположения людей, он не сможет претворить ритуал. Тогда у него не будет опоры в жизни…» Попробуем теперь обозначить отчетливее исходный пункт Конфуциева «культурного проекта». Если для Конфуция, как мы убедились, жизнь и учение неразделимы, то самым ценным свидетельством убеждений великого учителя для нас будет его личный опыт. Мы знаем, что в тридцать лет этот человек «обрел прочную опору». Такой опорой стали для него ритуалы Чжоу и сопутствовавшая им культурная традиция – традиция книжной учености прежде всего. В те времена ритуал действительно еще представал самым надежным и даже единственным верным ориентиром в бурном житейском море. В конце концов обряд – это такое действие, которое просто *нужно* исполнять. Но Конфуцию уже требовалось найти разумные оправдания обычаю, и этот поиск на исходе четвертого десятка лет жизни привел его к тому, что у него «не осталось сомнений» в необходимости быть приверженным ритуалу, вникать в смысл ритуального поведения и любить все, что к нему относится, – предметы, жесты, предания, и превыше всего – духовные качества участника обряда. Конфуций нашел во всем этом самоочевидное оправдание нравственной интуиции в человеке. Оргиастические обряды с кровавыми жертвоприношениями, неистовыми плясками и шаманскими причитаниями он вообще не признавал за ритуал и был бы несказанно удивлен, если бы узнал, что современная наука считает их законной разновидностью человеческой обрядности. Для него открытие человеком своей сопричастности жизни других людей неотделимо от претворения ритуала, дающего внятное выражение этому первичному проблеску человеческого сознания (которое всегда есть именно со-знание).

А если бы Конфуция спросили, откуда берется в человеке моральная интуиция, он смог бы ответить лишь, что человек потому и становится человеком, что сознает себя живущим среди людей. Наверное, добродушно улыбнувшись, он добавил бы, что с таким же успехом можно спросить рыбу, почему она живет в воде… Во всяком случае для него обряды и жизненные правила древних мудрецов полностью соответствуют человеческой природе, в них нет ничего произвольного, нарочитого, надуманного. А раз каждый человек не может не соотносить себя с другими людьми, то, чтобы оставаться человеком, он просто обязан превозмогать свои корыстные желания, жить ради общего блага и по справедливости судить самого себя.

Итак, для Конфуция сознание морально по своей природе, и наш жизненный опыт есть, собственно, форма морального знания. Согласно его учению (весьма напоминающему в этом пункте Аристотелево), люди становятся добродетельными не путем абстрактных размышлений, а выбирая добро или, точнее, путь добродетели в конкретных жизненных ситуациях. Правда, в отличие от западной этической мысли с ее особой религиозной подоплекой конфуцианству не свойственно подчеркивать трудности и непредсказуемые последствия такого выбора, ибо для Конфуция человек может выбирать только свою подлинную самость, так сказать, – находить себя. Соответственно, конфуцианскому мужу, во всяком случае в древности, были неведомы «угрызения совести». По словам Конфуция, подвижник Пути подобен стрелку, который либо поражает стрелой мишень, либо промахивается. И если он допускает промашку, ему следует хладнокровно искать причину неудачи в самом себе и с еще большим усердием продолжать свое совершенствование. Добродетель же есть не что иное, как осуществление своего призвания, своей судьбы; она самодостаточна и сама себе служит наградой. Потому-то для Конфуция добродетель не сводится к тому или иному конечному, преходящему действию, но являет собой как бы бесконечную действенность: мудрому «совсем не обязательно уметь что-то делать».

Легко ли человеку применять заложенное в нем знание нравственных начал? Как человек практический и к тому же не имевший предшественников в своих размышлениях о добродетели, Конфуций не чувствовал необходимости отвечать на этот вопрос. Точнее, он давал на него очень противоречивые ответы: иногда он говорил, что применять это знание очень легко, а иногда – что очень трудно. Кроме того, с присущим ему благоразумием он констатировал, что люди одарены нравственным чутьем неодинаково. Есть такие, кто «все знает от

рождения», а есть и неисправимые глупцы. Первым учиться не нужно, вторым – бесполезно. Но подавляющее большинство людей стоят где-то посередине, и им учение и нужно, и полезно, потому что оно развивает нравственную интуицию, придает ей четкую форму и дает возможность пользоваться этим сокровищем сердца в самых разных житейских делах. Польза учения в том, что оно предъявляет человеку нравственные образцы, то есть типы поступков, соответствующие ритуалу и побуждающие к моральному совершенствованию. Образцы эти необходимы хотя бы потому, что в одиночестве человек не может стать человечным: он добродетелен в той мере, в какой соотносит себя с другими людьми. Человек же, утративший чувство общности с окружающими, неизбежно дичает (и даже, добавили бы мы сейчас, сходит с ума). Однако каждый образец добродетельного поступка по-своему уникален, а число образцов поистине безгранично. Конфуций не желает и не умеет жертвовать уникальностью нравственного знания, то есть, по сути, уникальными качествами каждого момента человеческой сообщительности, которые и делают нравственное знание жизненным и действенным (подобно тому, как ритуал всегда совершается в особых обстоятельствах). Поэтому Конфуций не спешит формулировать всеобщие принципы и идеалы морали. Для него знание всегда есть знание *типа* ситуации. Он не дает отвлеченных определений, а призывает *тематизировать* и, значит, нравственно оценить все пережитое и узнанное, а потом включить выводы нравственной рефлексии в существующие каталоги поучительных примеров. Учение для Конфуция есть именно правильное ориентирование человека на жизненном пути. Небо молчит; но зато «человек расширяет Путь»: каждое поколение вносит свой вклад в копилку нравственной мудрости человечества, вводя новые рубрики знания и уточняя содержание старых. Это не значит, конечно, что человечество у Конфуция обречено на чисто формальную каталогизацию жизненных «случаев» (хотя изрядная доля традиционной китайской учености сводилась как раз к этому занятию). Человек может и должен возвышаться до общего «проникновения» в суть вещей, идти от Земли к Небу, но он должен делать это постепенно, самостоятельно определяя для себя каждую новую ступень своего совершенствования. В конце пути он может «вместить в себя весь мир». Но в конечном счете он может лишь со всей ясностью и убежденностью выявить чувство, которое с самого начала вело его к высотам мудрости. Это чувство выражается в одной – и, в сущности, единственной – универсальной этической максиме. Учитель Кун неоднократно определяет ее в следующих словах:

«Не делай другому того, чего сам себе не желаешь…»

Согласно разъяснениям ученика Конфуция в этой формуле выражена «единая нить», которая, по признанию учителя, пронизывает все его наставления и постигается даже без учения. Надо думать, Учитель Кун был совершенно искренен в этом признании. Если небеса молчат, другой «путеводной нити» в моральном усилии просто не может быть.

Итак, жизнь и учение для Конфуция проницают и обусловливают друг друга. Невозможно указать, где кончается одно и начинается другое: живущий по истине обязательно учится, воистину учащийся непременно живет полноценной жизнью. Мудрость Учителя Куна есть просто решимость и умение принять сполна все, что дается человеку судьбой… Мог ли Кун Цю не принять всех, кто приходил к нему за наставлением? И мог ли он превратить свой дом в какую-то школу наук, помпезную академию? Мог ли он стать философом или проповедником, придумавшим какое-то свое «учение»? Это был учитель, не обучавший никаким предметам…

Молва о необыкновенных познаниях и благонравии Цю из рода Кунов, почтенного Учителя Куна, облетела уже пол-Поднебесной. Отовсюду к домику у юго-западной окраины Цюйфу стекались молодые люди, мечтавшие получить наставление знаменитого ученого. Догадывались ли те, кто благоговейно переступал порог этого скромного жилища, что его хозяин и сам, в сущности, не знал, чему он учит? Понимали ли они, что учитель нуждается в ученике не меньше, чем ученик в учителе? Великие учителя тем и велики, что задают великие загадки…

А пока Кун Цю продолжал жить, «освободившись от сомнений», простой и возвышенной жизнью человека, нашедшего опору в самом себе. Наградой за душевную стойкость ему стал небольшой пока круг преданных учеников – людей очень разных по характеру, возрасту и положению в обществе. Все же тон среди них задавал Цзы-Лу. Прежний хвастун и задира теперь употребил весь жар своей души на служение Учителю. И, кажется, не обманул его ожиданий. Смелый, преданный, безукоризненно честный даже в мелочах, Цзы-Лу словно был создан для того, чтобы являть собой образец душевного благородства, которому учил его Учитель. Этот человек, в былые времена не прощавший малейшей обиды, теперь даже «радовался, когда кто-нибудь указывал ему на его недостатки»: было бы что исправлять, было бы чему учиться! О нем ходила слава, что он «ни разу не нарушил данного им слова». Да что там собственное слово! Однажды он даже признался, что со страхом ждет наставлений Учителя – а вдруг он окажется неспособным выполнить их? А сам Учитель

любил беседовать с Цзы-Лу, хотя частенько подтрунивал над его горячностью. Ценя преданность и усердие своего старейшего ученика, он не умалчивал о его недостатках, советовал ему быть рассудительнее и сдержаннее…

Почти не проходило дня, чтобы в ворота дома Кун Цю не постучался гость, пришедший за наставлением. Кун Цю вежливо принимал каждого и каждому старался помочь. Тем более не прятался он от соседей. Весной и осенью, в дни принесения жертв духам – подателям урожая, он выходил на луг, где жители округи устраивали гулянье, смотрел на буйные пляски ряженых и участвовал в праздничном пиршестве. На людях, свидетельствуют ученики, Кун Цю «держался скромно, а в разговоре как будто с трудом подыскивал слова». Он искал осмысленной беседы, оставаясь безукоризненно вежливым. Уходил он с праздника только после того, как его покидали старейшины здешних мест. Соседи же не скрывали своей гордости тем, что живут бок о бок с такой знаменитостью.

Главным делом Конфуция по-прежнему были его ученики. Став знаменитым, он не изменил своим принципам: брал в обучение каждого, кто мечтал учиться у него. Он учил даже свою невестку. А кто учиться не желал, очень скоро уходил сам, потому что ни чинов, ни богатства, ни славы Учитель Кун не обещал. Людей по-прежнему привлекали не столько те призрачные возможности сделать карьеру, которые сулило им обучение у Конфуция, сколько личный пример и личное обаяние этого человека. А тут уже сословная принадлежность отходила на второй план. По всей Срединной стране ходила молва о луском ученом, в доме которого потомки царских родов и безродные бедняки сидели рядом, вместе читали книги, по-товарищески помогали друг другу. Одним это казалось чуть ли не потрясением государственных устоев, другим – возрождением золотого века «великого единства» людского рода. И редкий чужеземный посол, прибывавший ко двору Дин-гуна, упускал случай навестить необыкновенного ученого, который, не имея никакой власти, собрал вокруг себя так много верных последователей. Сам о том не думая, Конфуций создал невиданную прежде общность людей, некое духовное братство, живущее по мирским законам, но готовое принять в свою среду любого, кто разделял его идеалы. Когда один из учеников, незаслуженно обиженный родственниками, посетовал на то, что у него «не осталось братьев», товарищ по школе возразил ему: «Жизнь и смерть даются судьбой, богатством и знатностью жалует Небо. Благородный муж безупречен в своих поступках, почтителен к людям и усердно блюдет ритуал, а потому все люди среди

Четырех морей – его братья. Разве будет он огорчаться из-за того, что у него не осталось братьев?»

Итак, у Конфуция появлялись все новые преданные ученики, и притом не только местные уроженцы. Среди них мы встречаем, например, потомка одного из знатнейших родов царства Сун и брата первого советника сунского правителя. Его звали Сыма Ню. Этому человеку не повезло в жизни: его семья впала в немилость у государя, и ему пришлось бежать в царство Ци, откуда он перебрался в Лу, где и признал своим учителем Конфуция. Сыма Ню часто жаловался на свою горькую судьбу, и Конфуций, зная, что Сыма Ню «слишком словоохотлив и взволнован», как-то заметил ему: «Главное свойство благородного мужа в том, что он не любит говорить». «Но неужели человека можно назвать добродетельным только потому, что он не охоч до слов?» – не без раздражения спросил Сыма Ню. «Когда нелегко совершить поступок, стоит ли удивляться, что говорить тоже нелегко?» – ответил Конфуций. В другой раз, когда Сыма Ню спросил его о том, что такое благородный муж, Кун Цю вновь попытался помочь ученику одолеть свои слабости. Он сказал:

Благородный муж не ведает волнений и страха.

– Но неужели человека можно назвать благородным мужем только потому, что он спокоен и бесстрашен? – спросил Сыма Ню, и Конфуций ответил:

Если, размышляя о своей жизни, человек ни в чем не может себя упрекнуть, какие могут быть у него волнения и страхи?

Едва ли Конфуцию доставляли большое удовольствие беседы с ворчливым и к тому же не лишенным упрямства Сыма Ню. Но его спрашивали о благородстве и истине, и отмалчиваться он не мог. А отвечая, деликатно намекал на недостатки самого спрашивающего и так указывал собеседнику его собственный путь совершенствования. Впрочем, он и не скупился на похвалы, если ученики их заслуживали. Среди старших учеников он особенно выделял своего земляка Минь Суня, который был моложе учителя лет на пятнадцать. Минь Сунь прожил всю жизнь в нищете, вечно ходил в ветхой одежонке, но, когда однажды семейство Цзи предложило ему поступить на службу, ответил решительным отказом. Ему пришлось многое стерпеть от своей мачехи, которая невзлюбила добродетельного пасынка и обращалась с ним несправедливо и даже жестоко. Узнав об этом, отец Минь Суня хотел было выгнать свою вторую жену из дома, но Минь Сунь отговорил его, не желая лишать матери своих трех сводных братьев. Рассказывают, что он никогда не роптал на свою судьбу и в конце концов благодаря своему несокрушимому благочестию сумел пробудить милосердие и в злой мачехе, и во многих из тех,

кто жил по соседству. Конфуций считал Минь Суня образцовым сыном и особенно хвалил его за способность всегда «говорить по существу».

С годами круг близких учеников Конфуция пополнился новыми яркими людьми. Пожалуй, самым приметным среди них был Цзы-Гун – сын богатого купца из царства Вэй, человек, наделенный пытливым умом, практической сметкой и незаурядным даром красноречия. Общительный, но не навязчивый, деловитый и в то же время совестливый Цзы-Гун легко добивался успеха, но не впадал в гордыню и не забывал о приличиях. Именно Цзы-Гуну, любившему расспрашивать учителя о самых разных вещах и заводить глубокомысленные разговоры с товарищами по школе, мы обязаны многими редкостными известиями о жизни и взглядах Конфуция. Учитель, конечно, ценил блестящие способности Цзы-Гуна и однажды даже назвал его единственным человеком, с которым можно толковать о «Книге Песен». Но он и не скрывал своего недовольства чрезмерной, как ему казалось, прелыценностью Цзы-Гуна мирскими соблазнами. Разве не говорил он, что не верит людям, которые «красиво говорят и приятны на вид»? Разве не должен человек, преданный учению, посвятить всего себя духовному совершенствованию? Не должен ли он слушать прежде всего зов своего сердца, а не призывы сильных мира сего? Наш Цзы-Гун, часто говаривал он, «не желает принимать свою судьбу и больше думает о том, как разбогатеть». Не раз Учитель Кун давал понять своему талантливому ученику, что в истинном своем подвижничестве он преуспел куда меньше, чем в умении беседовать на эту приятную тему. Однажды Цзы-Гун с пафосом объявил Конфуцию свое жизненное кредо: «Я не желаю, чтобы другие обижали меня, но и сам не хочу обижать других!» В ответ Учитель отрезал: «Тебе это недоступно». А ведь Учитель мог заявить и ученику, гораздо менее приметному, что ему пристало бы «сидеть на троне лицом к югу», иначе говоря, – управлять целым царством. Но Цзы-Гун умел трезво оценивать свои достоинства и не только не обижался на учителя, но и беззаветно служил ему до самой его смерти.

Сердце Кун Цю было не с теми, с кем в этом мире был успех. У него была своя, непонятная для толпы мера величия человека: «быть бедным и жить в радости».

Учитель сказал: «Есть простую пищу, запивая ее ключевой водой, и спать, положив под голову собственный локоть, – во всем этом есть своя радость… а чины и богатства мира для меня – все равно что плывущие в небесах облака».

Любимейшим учеником Конфуция был Янь Юань, или Янь

Хой, – сын бедного служащего в Цюйфу. Вероятно, Янь Юань попал в дом Конфуция еще подростком или даже мальчиком, потому что его отец учился у Кун Цю. Сам же он был моложе своего учителя по крайней мере на двадцать с лишним лет. Любовь Конфуция к Янь Юаню так же загадочна, как и сама жизнь великого Учителя Китая. Да, Янь Юань был очень беден и с невероятной стойкостью нес все тяготы своего нищенского житья. «Янь Хою уже почти невозможно стать лучше. Он живет в такой бедности, что дальше некуда!» – заметил как-то Учитель с истинно дружеской иронией. В другой раз Кун Цю воздал хвалу своему любимцу в следующих словах: «Какой достойный человек Янь Хой! У него одна корзина для еды, половинка тыквы для питья, живет в убогом переулке. Другой не выдержал бы таких лишений, а вот Янь Хой живет, и радость его не убывает. Какой достойный человек!»

Янь Хой никогда не служил и даже не помышлял о службе (впрочем, непохоже, чтобы кто-нибудь из власть имущих желал воспользоваться его услугами). Но ведь и бедных, и презиравших карьеру учеников у Конфуция хватало. Между тем Янь Юань не отличался ни решительностью Цзы-Лу, ни остроумием Цзы-Гуна, ни даже необыкновенной ученостью. Его образ в «Беседах и суждениях» лишен отпечатка яркой индивидуальности. Он предстает собранием всех мыслимых добродетелей, за которыми не видно сильного и самостоятельного ума. «От Хоя нет никакого проку. Он соглашается со всем, что я ему говорю!» – в сердцах воскликнул однажды Учитель. Но потом оказывается, что с Янь Юанем не все так просто и что его видимая робость таит в себе какой-то неизъяснимо глубокий смысл. И то верно: разве не говорил у нас Розанов, что настоящий ум – качество «метафизическое», совсем невидное? Вот и сам Конфуций признавался: «С Янь Хоем можно разговаривать целый день, и он ни разу не возразит мне. Ну не глупец ли он? Однако ж стоит мне присмотреться к тому, как он поступает наедине, и я вижу, что он все понял. Нет, Хой совсем не глуп!» А когда Конфуция попросили высказаться о достоинствах Янь Юаня, он сказал просто: «Это был человек, который любил учиться, не винил понапрасну людей и не повторял своих ошибок».

Таковы лишь некоторые, наиболее близкие, ученики Конфуция. Но даже краткое знакомство с ними позволяет увидеть, какие разные по характеру, способностям и даже происхождению люди окружали Учителя Куна. Дом Конфуция стал местом их свободного общения вне уз родства, сословной или служебной иерархии; общения, отобразившего естественное разнообразие человеческих характеров и потому служившего

правдивым зеркалом самой жизни. Педагогический гений Конфуция подтолкнул его – быть может, неосознанно – к тому, чтобы воспроизвести в узких рамках школы природное изобилие человеческих проявлений жизни и тем самым возвратить этой жизни путь и плоды человеческого самопознания.

Учиться и всякое время прикладывать выученное к делу – это ли не радость?..

Ученики Конфуция – первые (и не последние ли?) в человеческой истории профессиональные учащиеся. Они вечно готовятся, «ждут своего часа». Видно, недаром Учитель Кун среди своих воспитанников явно отдавал предпочтение людям бедным, неудачливым, чуравшимся службы – ведь возымевший власть молчаливо признает, что закончил свое обучение. Сам Конфуций провозглашал, что идти на службу нужно, лишь «достигнув совершенства в учении». А кто может сказать о себе, что достиг предела в усовершенствовании себя?

Конфуций открыл заново те силовые линии духа, которые образуются всей паутиной межчеловеческих отношений. Каждая встреча и притягивает, и отталкивает, сводит воедино и разделяет. Глубокое безмолвие висит над Конфуциевой «школой жизни»; безмолвие, разлитое в каждом мгновении существования. Ибо никто не знает, когда свершится встреча, но доподлинно известно, что эта встреча не может не быть. Мудрость Конфуция, повторим еще раз, требует не знания, а доверия. Она начинается с самого простого и доступного, что есть в жизни, с того, что «лежит на ладони» или «о чем думается прежде всего» (так определял свою правду сам Учитель). Начни с выполнения долга перед ближними. Научись находить учителя в каждом встречном.

Учитель сказал: «Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я буду подражать, а на их недостатках сам буду учиться».

Учитель сказал: «Тот, кто не может наставлять к добру своих домашних, не в состоянии учиться сам».

Учитель сказал: «При встрече с достойным человеком думай о том, как сравняться с ним. Встретившись с низким человеком, вникай в себя и сам себя суди».

Тот, кто учится, сопоставляет и взвешивает, открывает новые и неизведанные горизонты, не довольствуясь какой бы то ни было данностью своего бытия. Он становится самим собой, перерастая себя. Поэтому настоящий учитель обучает самим фактом своей непохожести на ученика: он ставит перед учеником рубежи, которые тот обязан преодолеть, а сам остается для него непостижимым и непредсказуемым. Разумеется, учитель должен знать возможности ученика и предлагать ему посильные задания.

«С людьми выше среднего можно говорить о низшем, – наставлял Конфуций, – а с людьми ниже среднего нельзя говорить о высоком». Искусство Конфуция-педагога как раз и заключалось в том, что для каждого ученика он был той самой «непроницаемой стеной», высота которой отмеряла предел возможностей учащегося. Разумеется, наставник, по Конфуцию, действует всегда «по случаю», следуя «моменту». Так выбор слова в разговоре зависит от общего контекста и тона беседы и, в конце концов, от всей совокупности сопутствующих ей обстоятельств. Прозрение всегда приходит внезапно, и дается оно, казалось бы, почти незаметной переменой в нашем восприятии мира. В таком случае и само учение растворяется в череде быстротечных мгновений, в рутине повседневности, становится поистине «жизнью как она есть». Недаром Конфуций заявлял, что учение начинается с выполнения повседневных обязанностей, и советовал первым делом быть серьезным и внимательным в мелочах. Даже самый большой путь проходят маленькими шагами. Любимец Конфуция Янь Хой оставил очень личное, частное, но в своем роде, по существу, единственно возможное свидетельство бесконечно изменчивого образа истинного учителя, который увлекает ученика, как бы высвобождая ему пространство для движения. Янь Хой сказал о своем учителе: «Чем выше я устремляю свой взор, тем возвышеннее он кажется. Чем глубже проникаю я в его наставления, тем он недостижимее. Я ищу его впереди, внезапно он оказывается сзади. Учитель ведет меня шаг за шагом. Я не мог бы бросить учение, даже если бы захотел. Но когда мне кажется, что я уже сделал все, что в моих силах, он как бы воспаряет надо мной, и я, как ни стараюсь, не могу его настигнуть».

Точность выбора слова, жеста и поступка, действие всегда «ко времени» – вот что, по Конфуцию, делает человека учителем. Речь идет, по сути, о точно выверенной мере сообщительности: о подобии без тождества и различии без противостояния. Настоящий учитель вовсе не обязан отличаться необыкновенной эрудицией и благочестием, он будет делать лишь то, чему и другие смогут подражать, но он должен внушить ученикам, что аккуратность в малых делах проистекает из великих замыслов и щепетильность хороша тем, что свидетельствует о непреклонной возвышенности духа. Это не очень привычное для нас, в чисто китайском вкусе стремление учиться даже на пустяках и извлекать пользу для своего духовного развития из всякой случайности, эта подлинная экономика духа определила глубочайший смысл идеи школы в Китае. Школа в китайском понимании есть просто наиболее бережный и действенный способ использования жизненных ресурсов для своего

совершенствования – вполне естественное представление для столь густо населенной и не обладающей значительными природными богатствами страны. Настоящий же учитель – это тот, кто помогает нам понять, что великие свершения начинаются с малых дел:

Учитель сказал: «Попробуйте стать хотя бы немного добрее, и вы увидите, что уже не в состоянии будете совершить дурной поступок».

Великий Путь начинается с нас самих. Цзы-Гун заявил однажды, что правда древних мудрецов «пребывает в каждом человеке». Спустя полтора столетия Мэн-Цзы скажет: «Каждый может стать таким, как Яо и Шунь». Конфуций не делал подобных широковещательных заявлений, опасаясь, быть может, что люди воспримут их как оправдание собственной торопливости и лени. Но возможность бесконечного совершенствования для каждого он допускал. Благодаря учению человек, по Конфуцию, становится самовластен без самоутверждения.

Учитель сказал: «Каждый может стать благородным мужем, нужно только решиться им стать».

Откровеннее и не скажешь. И еще – не менее убежденно, но на сей раз не без царственной иронии:

Даже три армии нашего царства можно лишить предводителей, но никто на свете не может отнять волю даже у обыкновенного простолюдина.

Мы доходим здесь до самой сердцевины Конфуциевого учения, до истока спокойной уверенности в себе Учителя Куна.

Впрочем, Конфуций не любит распространяться о своих заветных думах. Он не читает проповедей, а высказывается «по случаю». Его правду нужно не познавать и определять, а открывать и перенимать. И таится она в молчании Учителя, обрамленном мозаикой словесных фрагментов и стильных, а потому как бы декоративных жестов; в молчании, растекающемся многокрасочным узором всей бездны жизненных случайностей. Только тот, кто принимает Случай, способен принять без изъятия самое жизнь, неисчерпаемое мировое Все. Мудрый потому и мудр, что наделен чувством судьбийности Встречи, поджидающей нас в каждый миг существования. Он не превращает слова правды в косные «средства выражения», орудие спора. Он дает слову родиться в человеке и ждет, когда слово наполнится человеком.

Учитель сказал: «Не поговорить с человеком, который достоин разговора, значит потерять человека. А говорить с человеком, который разговора не достоин, значит терять слова. Мудрый не теряет ни слов, ни людей».

Уметь подобрать слово к человеку, словно ключ к замку, и

есть мудрость, по Конфуцию. Но умение безошибочно говорить, отмыкая словом людские сердца, дается лишь тому, кто умеет внимать и молчать. Мудрец Кун сосредоточен и молчалив. Он презирает краснобаев и любит слушать. Он терпелив. Он может позволить всему случаться в этой жизни…

Став уважаемым учителем, Кун Цю не изменил привычкам своих молодых лет. По-прежнему в его школе нет ни строгого распорядка, ни установленной программы обучения. Ученики Конфуция живут, говоря современным языком, по «свободному расписанию»: пока одни читают книги, другие упражняются в стрельбе из лука, третьи – музицируют и т. д. По-прежнему Учитель Кун, насколько известно, не дает учебных заданий и не устраивает экзаменов. Он знает, что без доверия между учителем и учеником все труды и того и другого пойдут насмарку. Как и прежде, он сидит или прохаживается в окружении учеников, задумчиво слушая их разговоры и время от времени вступая в них сам. Он дает каждому ученику говорить и действовать без принуждения, быть таким, каков он есть, сполна проявить себя. Чтобы правильно наставлять своих воспитанников, он должен досконально знать их душу. Иногда он берет в руки цитру и неспешно перебирает струны, исподволь подчиняя беседу неизъяснимо-музыкальному настроению. Его не слишком беспокоят расспросами: обратиться за напутствием к учителю – большая ответственность, и на это надо решиться. Он отвечает на восточный манер – сентенциями, анекдотами, примерами из жизни. Порой же сам вдруг подзовет к себе кого-нибудь из учеников и даст ему наставление, словно продолжая давно начатый разговор.

Взгляд Конфуция… Ученики почти не замечали его, не смея поднять глаз на учителя, а чаще поглощенные своими разговорами. А между тем, пока они вчитывались в слова древних или обсуждали поступки своих современников, рядом незаметно трудился их учитель: его острый взгляд определял их достоинства и недостатки, меру их талантов, глубину их искренности. Ему нравилось видеть в учениках живых людей – таких непохожих друг на друга. Ученики вспоминают: «Предстоя перед Учителем, Минь-цзы был почтителен и прям, Цзы-Лу – непреклонен, Жань Цю и Цзы-Гун – дружественны. Учитель очень этому радовался».

Ценил Конфуций и своеобразие талантов своих учеников, отмечая, что среди них одни особенно преуспели в добродетели, другие – в управлении государством, третьи – в искусстве беседы, четвертые – в науках. Первейшим долгом учителя он считал развитие в человеке его прирожденных достоинств и устранение

недостатков. Развивать доброе и в зародыше пресекать дурное в человеке – первейший долг наставника. Конфуций охотно делился с учениками секретами своего учительского мастерства.

Учитель говорил: «Наблюдайте за поведением человека, вникайте в причины его поступков, приглядывайтесь к нему в часы его досуга. Посмотрим тогда, будет ли он вам непонятен? Будет ли он непонятен?!»

В других случаях Конфуций предлагал изучать ошибки человека или присматриваться к тому, как он выполняет свой повседневный долг перед ближними – например, служит отцу, а после его смерти соблюдает по нему траур. Как бы там ни было, «знание людей» – одна из главных целей учебы в школе Учителя Куна.

Ведь миссия учителя в том и состоит, чтобы помочь ученику узнать себя, точнее – узнать свой талант. А лучший способ помочь человеку узнать себя – выявить границы его возможностей, определить его сильные и слабые стороны. К тому же знание, которое доставляет человеку образование, неизбежно имеет личностный характер: оно есть знание своего личного предназначения, которое приобретают, соотнося себя с неким образцом и придавая своей индивидуальности значимость непреходящего типа. Другими словами, образование как раз и состоит в том, чтобы увидеть в вещах те или иные ценностные категории, духовные качества бытия – и досконально усвоить эти ценности. Образованность в человеке – не сумма отвлеченных знаний, а почти безотчетная, но в то же время строго взвешенная, выверенная наклонность к *благоразумному* действию. Эта наклонность потому и разумна, что она одновременно культивирована и естественна. Именно так Конфуций определял свой человеческий идеал: это человек, в котором «культура и естество пребывают в согласии».

Что же в таком случае может послужить материалом для образования? Да что угодно! Как уже говорилось, любой жизненный случай может дать повод для типизации какого-либо явления жизни и тем самым – для нравственного самоопределения личности. Но лучше всего для этой цели подходят, конечно, *заветное предание,* ритуалы и книги, завещанные древними мудрецами. Тому, кто доверился жизни, сама жизнь с избытком предоставит материал для учения, но тот, кто не хочет ошибаться, должен много знать. Не может быть умудренной жизни без образованности. «Дети мои, – обращался Учитель Кун к ученикам, – почему вы не изучаете „Книгу Песен“? Песни подвигнут вас на добрые дела, разовьют ваш ум, помогут вам укрепиться в добродетели и управлять своими чувствами.

Они пригодятся вам в служении и родителям, и государю. А кроме того, вы узнаете из них названия разных птиц и зверей, трав и деревьев…»

Учитель Кун – человек практичный, для него книга хороша уже тем, что может пригодиться в жизни. Но всякое впечатление побуждает к размышлению и нравственному совершенствованию. Отклик читателя даже важнее какого-либо «первоначального» смысла текста. Конфуций не разбирает слов древних, а дает им свои оценки, делает их иллюстрациями своих мыслей и, если нужно, не соглашается с ними. Вот он цитирует строки из «Книги Песен» (не вошедшие в современное издание):

Вишневый цвет! Вишневый цвет!
Кружатся в воздухе лепестки.
Могу ли я забыть о тебе?
Да только до дома слишком далеко.

Конфуций замечает: «Нет, на самом деле он о ней не думал, иначе не сказал бы, что до дома далеко». Казалось бы, странный вывод, но объясняется он просто. Перетолковывая слова народной песни, Конфуций высказывает свое заветное убеждение: даже самая высокая цель доступна тому, кто искренне стремится к ней.

Большая ошибка представлять Учителя Куна закосневшим книжником и начетчиком, собирателем засохшей пыльцы стародавних мыслей. Подобно тому, как учение и жизнь в его миросозерцании поддерживают и проницают друг друга, только союз учения и свободного размышления, полагал он, способен вести к совершенству человеческого духа.

Учитель сказал: «Тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, попадет в беду».

Мудрый внемлет и в то же время отстранение созерцает, влеком потоком жизни и покоен. Он непроизвольно соответствует каждому жизненному «случаю». В каждой жизненной метаморфозе он находит подтверждение свободе своего духа. Каждый миг он делом поверяет свои успехи в учении и обретает в том неизъяснимую «радость» – ликующую радость открытия собственной бесконечности. Мудрец Кун не строит теорий. Он – повторим еще раз – относится к жизни практически и часто напоминает ученикам, что книжное образование, оторванное от жизни, делает человека не столько умнее, сколько глупее.

Учитель сказал: «Вы можете вызубрить наизусть триста песен канона, но, если вы окажетесь негодными к управлению, когда вам доверят власть, или не исполните поручение государя, когда

вам поручат вести переговоры, какой прок от ваших знаний, будь вы даже самыми учеными в мире людьми?»

Но практика для Конфуция – это прежде всего общение людей. Учительствующий Конфуций чуток, участлив, не нуждается в каких-либо внешних признаках учительского авторитета и тем более не навязывает своего мнения ученикам. Он воздействует на учеников не окриком и приказом, а показывая – точнее, подсказывая, – что им надо делать. Он всегда оставляет им шанс: известен лишь единственный случай, когда Учитель Кун публично дал отставку ученику, но тот, впрочем, навсегда сохранил преданность бывшему наставнику. Сами ученики находили, что их учитель если и лишен чего-нибудь, то лишь четырех вещей: «предубеждения, упрямства, узости взгляда и самонадеянности». Учительствуя, Конфуций не перестает быть учащимся. Он ни от кого не требовал бездумной преданности, не пытался казаться всезнающим и часто напоминал ученикам, что простоты в мире хватит даже на величайшего мудреца. «Обладаю ли я знанием? – заявил он однажды перед учениками. – Вовсе нет! Вот вчера какой-то простолюдин задал мне вопрос, и я не нашелся, что ответить. Только и осталось мне, что рассуждать и так и этак и понемногу добираться до сути». На вопрос: «Каков смысл весеннего жертвоприношения духам?» – он ответил: «Не знаю. Но тому, кто его постигнет, управлять Поднебесной будет так же легко, как посмотреть на свою ладонь».

А вот Учитель подзывает к себе Цзы-Гуна и говорит ему: «Я еще не обрел трех качеств, присущих возвышенным мужам. Настоящий человек не ведает тревог. Мудрый человек не ведает сомнений. Смелый человек не ведает страха». – «Но, учитель, – восклицает Цзы-Гун, – разве вы не о себе говорите?» Реплика Цзы-Гуна неожиданно придает этому разговору шутливый оборот. Так и видишь, чем он заканчивается: учитель и ученик молча улыбаются друг другу. Вообще стоит прислушаться к беседам Учителя Куна с учениками, и мы различим в них нотки вездесущей, легкой иронии, которая всегда присутствует там, где очень разные люди – каковыми не могут не быть учитель и ученик – искренне и любовно доверяют друг другу. Ибо ирония есть примета безмолвного и даже, может быть, непостижимого единения людей, идущих разными дорогами. Впрочем, Конфуциева ирония порой открыто выплескивается в его разговорах с учениками – конечно, в назидательных целях. Вот тот же Цзы-Гун чересчур увлекается выискиванием недостатков у других, и Учитель объявляет: «Цзы-Гун, видно, уже достиг совершенства, коли так любит упрекать других. У меня на это нет времени». В другой раз он доверительно заявляет храбрецу Цзы-

Лу: «До моей правды никому нет дела. Сяду-ка на плот и пущусь в плавание. И кому быть рядом со мной, как не Цзы-Лу?» – «Конечно, я буду с вами, учитель!» – откликается польщенный Цзы-Лу. «У тебя, Цзы-Лу, отваги предостаточно, а вот рассудительности не хватает!» – заключает учитель, возвращая ученика на грешную землю.

Учитель – это «другое» ученика: он подбодрит робкого, умерит ретивого, вдохновит отчаявшегося. И, конечно, он умеет судить сам себя.

Учитель говорил: «Я не могу назвать себя ни мудрым, ни достойным мужем. Я могу сказать о себе лишь то, что всегда честно пытался наставить других людей».

Повторим еще раз: желание учиться и побудить к учебе других неизбежно предполагает осознание несовершенства каждого из нас и, более того, несовершенства всякой отвлеченной истины. Уже сам литературный образ Конфуция, который словно растекается, рассеивается в мозаике моментально схваченных поз и стильных жестов, сама манера Учителя говорить «по обстоятельствам», не повторяясь и не держась за однажды найденное удачное слово, сообщают о мире, где нет одной-единственной «верховной идеи» и вообще различия между главным и второстепенным, где царствует вездесущая случайность – весомая, как сама Судьба. Учитель воплощает в себе эту непроглядную глубину мировых метаморфоз. Он разный с каждым человеком и в каждый момент времени: он всегда новый – неразгаданный, уединенный, безмятежный. Он вводит в мир, где невозможно «обладать знанием» и всякое понимание держится доверием. Доверие же требует искренности. Превыше всего – беспощадной искренности оценки собственных поступков и мыслей. На вопрос о том, что такое знание, Учитель Кун дает свой знаменитый ответ:

«Когда знаешь, признавай, что знаешь. Когда не знаешь, признавай, что не знаешь. Вот что такое знание».

Очень точное, в своем роде даже классическое определение того вида знания – знания, взращиваемого образованием, – которое только и интересует Конфуция. Подлинно образованный человек, как было известно всегда и всюду, не кичится своими познаниями. Напротив, он знает как раз то, что знает очень мало… Так происходит потому, что образование, выковывающее из человека определенный тип или характер, учит его ценить индивидуальные, исключительные качества вещей и, следовательно, обостряет в нем чувство внутреннего предела всякого существования. Часто говорят, что Конфуций первым в истории выдвинул революционную для его времени идею

равенства возможностей в обучении, как о том свидетельствуют его слова: «В обучении не должно быть различий». Но Конфуцию принадлежит и другое не менее великое открытие: каждый идет в учении своим собственным путем, развивая свой талант, претворяя свои природные свойства в индивидуальный характер, в определенный *тип* личности. Как же созидается и опознается этот тип? Для Конфуция – только благодаря ритуальным действиям, которые, по сути, являют собой взаимодействие человеческого духа и предметной среды. Ритуал превосходит противостояние субъекта и вещей; он преображает и то и другие в некое качество ситуации – регулярно возобновляемое и потому сверхличное, но несущее на себе печать безошибочно угадываемой индивидуальности. В этом смысле ритуал – это форма человеческого бессмертия.

Не будем сейчас говорить о том, возможно ли знать, как предлагает Конфуций, собственное незнание. Но заметим, что совет Учителя касается даже не столько определения знания, сколько искренности самооценки человека. По Конфуцию, учитель превосходит учеников не объемом или содержанием своего знания, а тем, что лучше их понимает ограниченность своих знаний и, следовательно, необходимость учиться самому. Но свой строгий суд над собой он, естественно, вправе распространить на других. Собственно, это обстоятельство и делает его учителем, ибо учить – значит показывать человеку пределы его возможностей. Учитель – тот, кто вправе требовать от другого быть честным перед собой, потому что он безупречно честен сам. Нет ничего ненавистнее Конфуцию, чем «хитрый ум и ловкие речи». И нет ничего дороже для него, чем искренность.

Учитель сказал: «Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять? Если в повозке нет оси, как можно на ней ездить?»

С похвалой отзывался Учитель о сановных мужах, которые держались радушно с подчиненными и не стыдились просить у них совета. Того же, кто прячет собственное невежество под покровом грозной внешности, он сравнивал с «вором, который залез в чужой дом». Но одной искренности поступков и чувств еще недостаточно: в конце концов, можно искренне ошибаться и даже творить зло. Искренность у Конфуция в конечном счете относится к способности человека судить самого себя. «Если человек не спрашивает себя постоянно: „Что я должен делать? Что я должен делать?“, я даже не знаю, как с ним быть», – говорил он.

Вот здесь, как считал Учитель Кун, было уместно вспомнить о стрельбе из лука: когда стрелок не попадает в цель, он «винит сам

себя». Конфуцию принадлежит и классический в своем роде афоризм:

По-настоящему ошибается тот, кто не исправляет своих прошлых ошибок.

Как бы ни был мягок и податлив учитель Кун, он требовал много, неимоверно много от тех, кто шел за ним. Ведь он учил их брать на себя ответственность за свою судьбу и за память, которую они оставляют о себе в этом мире. Он учил, что все успехи или неудачи ученика на пути к совершенству зависят от него самого, что человек, одним словом, сам выбирает свою дорогу в жизни, а точнее – выбирает, идти или не идти ему праведным путем. «Положим, я насыпаю земляной холм, – наставлял он своих воспитанников. – Если я остановлюсь, не донеся хотя бы одной-единственной корзинки, дело не будет сделано. И если я, срывая земляной холм, унесу хотя бы одну корзинку земли, я все равно приближусь к цели». И если жизнь возвышенного человека – это «путь длиною в десять тысяч ли», то для того, чтобы пройти его, для начала нужно сделать хотя бы первый шаг. Для Конфуция в великом деле учения не было мелочей. Более того: подлинное величие, в его глазах, и заключалось в умении заниматься мелочами. Может быть, поэтому он мог вынести ученику необычайно суровый приговор даже за мелкий проступок. Вот один пример. Ученик Цзай Юй, вообще не лишенный способностей, однажды во время послеобеденного отдыха задремал над книгой, и Учитель Кун, увидев его в таком виде, обронил: «Из гнилого дерева ничего не вырежешь, из сухого навоза не возведешь стены. Какой смысл бранить Юя?» И, помолчав, добавил с укоризной: «Раньше я верил людям на слово. А теперь, услышав от кого-нибудь обещание, я проверяю, выполнил ли он его. Таким я стал из-за Юя».

Усердие и верность Учитель Кун ценил выше всех жизненных успехов. Вот и Цзай Юя он считал самым речистым среди учеников, но, приметив в нем лень и недобросовестность, без лишних церемоний объявил его негодным к учебе. Впрочем, и после столь убийственной критики Цзай Юй продолжал благоговейно чтить Учителя. Много лет спустя он назовет Конфуция мудрецом даже более великим, чем великие цари древности Яо и Шунь.

Несомненно, Конфуций считал своим долгом быть откровенным с учениками и говорить им всю правду, как бы горька она ни была. «Хорошее лекарство горько на вкус, но полезно для здоровья», – гласит одно из его изречений. Разумеется, быть откровенным для отца «китайских церемоний» вовсе не означало быть грубым. Искусство учителя, по Конфуцию,

состоит в умении обойтись без чтения прописной морали, а гений учащегося – в способности «понять в сказанном невысказанное». Конфуций отказывался обучать тех, кто не может, «узнав об одном, понять еще три», и каждый его разговор с учеником – это обязательно испытание интуиции и сообразительности собеседника. Безмолвное понимание между учителем и учеником позволяет им быть откровенными друг с другом, не страшась взаимных обид. Положим, Учитель спрашивает Цзы-Гуна: «Как ты думаешь, кто лучше – ты или Янь Хой?» – «Могу ли я осмелиться поставить себя наравне с Янь Хоем? – отвечает Цзы-Гун. – Когда ему говорят одно, он понимает сразу десять, а когда мне говорят про одно, я понимаю только два». Цзы-Гун угадал заветные мысли Конфуция, и тот платит ему предельной искренностью: «Ты и в самом деле уступаешь Янь Хою. По правде сказать, никто из нас не может с ним сравниться». Обиден ли этот разговор для его участников? В их собственных глазах – вовсе нет. Ведь тот, кто признает свое несовершенство, имеет шанс стать лучше, и в этой решимости принять «горькое лекарство» правды не уступит даже величайшим мудрецам.

Конфуций, повторим еще раз, не обучает «предметам», не передает знания, оторванного от вечноизменчивости сознания. Он учит живому и жизненному росту человека – совершенно естественному, непроизвольному и все же полностью сознательному, бесконечно осмысленному: он учит Пути. Естественно, он нуждается в человеческом идеале, который мог бы служить для каждого очевидным и понятным ориентиром на пути нравственного совершенствования. Такими ориентирами предстают в его учении образы уже знакомого нам «сына правителя» *(цзюньцзы),* реже – «служилого человека» *(ши)*. Понятие *цзюньцзы* прежде употреблялось как самоназвание родовитой знати чжоуского Китая, но в наставлениях Конфуция его сословный смысл уже почти неразличим. *Цзюньцзы* у Конфуция – это прежде всего человек высоких моральных качеств, хорошо воспитанный, широко образованный, одним словом – аристократ не столько по крови, сколько по духу. Нет ничего необычного в том, что в древнем Китае эти два вида аристократизма теснейшим образом сплелись между собой. Подобная же двусмысленность свойственна, к примеру, русскому слову «благородство» или английскому «gentleman». Вот и Конфуциев *цзюньцзы* обычно именуется в русской литературе «благородным мужем». Благородный муж, по словам Конфуция, непременно учтив, милосерден и внушает уважение, но главное – обладает несокрушимой силой воли и стойкостью духа. Он не ведает страха и спокойно принимает удары судьбы, даже

мученическую смерть, ибо знает, что всю жизнь служил добру и совесть его чиста. Никто не властен судить его: он сам – самый строгий судья своим делам и словам. Он «ничего заведомо не одобряет и не отвергает в Поднебесной, но в каждом деле берет мерой должное». Им нельзя распоряжаться как вещью или орудием. Ему легко повиноваться, потому что он требует от других только то, что им доступно, но ему трудно угодить, ибо он ценит людей не за услуги, ему оказанные, и даже не за их личные качества, а единственно за бескорыстное служение Великому Пути. Он слишком уважает себя, чтобы подчеркивать свое превосходство перед другими. Он не стремится «быть как все», презирает стадность и ни с кем не вступает в сговор, но умеет ладить со всеми. В сущности, он живет, повинуясь почти безотчетному чувству жизненной гармонии, его возвышенная воля делает его исключительным, ни на кого не похожим, но не превращает в обособленного, своевольного «индивида». Он – прирожденный господин и без усилий держит людей в поле своего притяжения. Так звезды на небе вращаются вокруг Полярной звезды. Разумеется, он ведет образ жизни знатного человека, презирает низменные занятия, а если беден, то сам возделывает поле.

У благородного мужа есть его антипод – так называемый «низкий человек» *(сяо жэнь)*. Таков тот, кто в своих поступках руководствуется лишь соображениями личной выгоды, кто повсюду ищет сообщников, но не уважает ни их, ни себя, кто домогается милостей, а получив желаемое, забывает о благодарности. Когда Учитель Кун противопоставляет благородного мужа низкому человеку, его слова говорят сами за себя:

Благородный муж живет в согласии со всеми. Низкий человек ищет себе подобных.

Благородный муж беспристрастен и не терпит групповщины. Низкий человек любит сталкивать людей и сколачивать клики.

Благородный муж стойко переносит беды. Низкий человек в беде распускается.

Благородный муж; с достоинством ожидает велений Небес. Низкий человек надеется на удачу.

Благородный муж помогает людям увидеть доброе в себе и не учит людей видеть в себе дурное. А низкий человек поступает наоборот.

Благородный муж в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен.

То, что ищет благородный муж, находится в нем самом. То,

что ищет низкий человек, находится в других.

Подводя итоги сказанному, спросим себя вновь: чему же учил Конфуций? На этот вопрос мы можем теперь ответить одним словом: целью Конфуция-учителя было *воспитание характера.* Именно характер, основанный на внутренней уравновешенности, твердой «срединности» (не путать с серой усредненностью) душевной жизни человека и его поступков, составлял в глазах Учителя Куна подлинную добродетель – то высшее, универсальное нравственное качество жизни, которое для него, как и для отца западной этики Аристотеля, само себя обосновывает, в самом себе обретает «самую прочную опору». Вместе с Аристотелем Конфуций мог бы сказать, что добродетель (именно: доброе деяние) есть действие, которое само заключает в себе высшую ценность, а потому не требует оправдания. Оттого же благородный муж, по Конфуцию, отличается несокрушимой твердостью духа: «его не задевают злобные наветы и не лишают самообладания слезные жалобы, даже если он им сочувствует». Он живет в радости, даже если ему приходится «пить воду из ручья и подкладывать под голову собственный локоть». И притом добродетель – вовсе не сумма безликих «добрых дел». Когда она переплавляется в характер, мы находим в ней развитые до совершенства и приведенные к гармоническому единству врожденные свойства личности. Характер – это культивированная индивидуальность, он потому и обладает неотразимым обаянием, что глубоко естествен. Недаром Конфуций заметил однажды, что и в лошади самое ценное – не сила, а «добродетель», то есть ее «норов», достоинства породы. Не случайно также Конфуций был так озабочен распределением знания по отдельным категориям: поиск рубрик для нравственных образцов равнозначен для него опознанию явлений добродетели в жизни, которые невозможно подвести под те или иные общие правила. Известно, что Конфуций определял таланты своих учеников по четырем критериям: «добродетельное поведение», «речи и беседы», «ученость» и «управление». Эта классификация стала в Китае традиционной и легла в основу представлений о человеческих характерах. Впрочем, китайская традиция со временем добавила к этому краткому перечню немало других рубрик, в большинстве своем тоже восходящих к нравственной мудрости Учителя Куна: доверие, верность долгу, человечность, упорство, «культивированность» *(вэнь),* строгий нрав или, наоборот, раскованность, почтение к родителям, мастерство в изящных искусствах…

Но характер для Конфуция – это не просто твердость воли,

тем более не упрямство и не «черта характера», развитая в ущерб другим душевным качествам. Он воплощает мудрую осмотрительность, «срединный Путь» в манерах и поведении; он не имеет раз и навсегда установленных признаков. Благородный муж одинаково невозмутимо заступает на высокий пост и уходит в отставку, ценит жизнь, но не отступает перед лицом смерти; он в равной мере беспристрастен и участлив, ладит с людьми и пребывает в уединении. Его добродетель в конечном счете неотделима от живой сообщительности сердец – она «обязательно соберет людей». Именно: соберет сердца людей в музыкальном согласии, а не сведет их к плоскому равенству, отнимающему у человека его индивидуальность. Собственно, добродетель в понимании Конфуция и есть подлинное условие человеческой социальности. Учитель всех поколений есть там, где внезапно, помимо всех формальностей общественных отношений (но не наперекор им!) загорается искра вольного и искреннего общения сердец. Он не может иметь раз и навсегда установленного образа, одной неизменной формулы истины. Но он возвращается в мир всякий раз, когда сознание человека «претерпевает превращение» – никому не видимое и все же безошибочно узнаваемое, ибо добродетель равнозначна *внутреннему пробуждению,* новому открытию мира и, следовательно, зрелости мыслей и поступков.

Нравственный идеал в конфуцианской традиции означает «обретение себя», «приведение к совершенству себя и других». Он знаменует целостное постижение жизни, единение духа и быта. Этот идеал противостоит отчуждению человека, вызванному господством предметного, чисто функционального знания. О нем можно сказать словами В. В. Розанова, который видел главный порок современной цивилизации в отсутствии душевной гармонии при высоком развитии отдельных форм человеческой деятельности. «Духовное развитие, которое старается дать нам государство и общество и к которому мы стремимся сами, – писал Розанов, – всегда почти состоит в том, чтобы нарушить цельность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуозами, не замечая, что становимся только калеками…»

Жизненность конфуцианской традиции в современном мире теперь уже не должна вызывать удивление. Ведь конфуцианство предъявляет внутренне последовательную и всеобъемлющую альтернативу человеческому отчуждению в технократическую эру. Но странной и непривычной кажется эта традиция, которая не имеет ни откровения, ни догматов, а возобновляется только неизъяснимой «встречей сердец» – столь же непредсказуемой, сколь и неизбежной.

Странная традиция, которая поистине невозможна, но

именно поэтому не может не быть.

Странный первооткрыватель этой традиции, который заслуживает звания величайшего в истории гуманиста потому, что завещал людям наследовать все, чем они не владеют.

Музыка человечности

Знакомясь с непритязательным образом жизни Учителя Куна и его педагогической программой, невольно задаешь себе один простодушный вопрос: почему Конфуций стал великим учителем Китая? Что привлекало молодых, да и далеко уже не молодых людей в этом человеке, не имевшем ни громких титулов, ни связей, ни богатства? Чего хотел сам Конфуций, беря в обучение юношей, полных благих намерений, но не имевших никакого жизненного опыта, а нередко и желания служить? Одним словом, что объединяло учителя и его учеников? Мы могли бы сказать теперь, что этим объединяющим началом было собственно человеческое, личностное измерение традиции, о котором и заговорил впервые Учитель Кун. До Конфуция учеба была только подготовкой к государственной службе и распространялась лишь на узкий слой родовитой знати. В школе Конфуция учение стало делом личного совершенствования, и воспитывались в ней не просто хорошо обученные служащие, а люди духовной элиты, люди-характеры, которые могли бы изменить людские нравы. Предъявляя к человеку высочайшие моральные требования, настаивая на строгом соблюдении правил этикета, Конфуций и его ученики, несомненно, противопоставляли себя окружавшему их укладу – той жизни, в которой торжествовали цинизм, лицемерие, скрытое и явное насилие. На таком фоне их общественная позиция становится вполне понятной, как понятно и их нежелание идти на службу к извращенной, изолгавшейся власти. Гораздо труднее сегодня понять, почему в представлении Конфуция именно строгое соблюдение обрядности, пусть даже дополненное нравственным подвижничеством, должно было легко и просто, как по волшебству, возродить в Срединной стране порядки «золотого века» древности? Почему Конфуций был убежден в том, что в любом «селении из десяти домов» найдутся люди, которые не уступят ему в добродетели и отличаются от него лишь тем, что меньше заботятся о совершенствовании себя? Чем питалась эта непоколебимая вера Учителя Куна в неотразимую силу нравственного примера?

Учитель сказал: «Добродетель не останется в одиночестве. Она обязательно соберет вокруг себя людей».

Может быть, эту истину трудно доказать, но у Конфуция в запасе было самое убедительное доказательство своей правоты: его собственная жизнь… Да, жизнь самого Кун Цю, превратившегося из безвестного «сына человека из Цзоу» в почтенного Учителя Куна, нагляднее всех словесных аргументов

продемонстрировала обаяние душевного целомудрия. И все-таки: чем покорял сердца людей этот человек? Он ведь не спустился с китайского Синая, не обещал своим приверженцам ни райского блаженства, ни даже земного благополучия. Не пытался он и превратить свою школу в замкнутую общину, которая могла бы стать первым ростком будущей благочестивой жизни (попытки такого рода предпринимались позднее некоторыми древнекитайскими философами). Напротив, он был убежден, что истинно праведный человек должен жить, как все живут, жить по обычаю и искать в жизни лишь морального удовлетворения. Одним словом, в наследии Учителя Куна мы встречаемся с особым, глубоко оригинальным взглядом на человека, согласно которому высшим оправданием человеческого существования является сама человеческая культура. У этого мировоззрения есть своя логика и своя целостность, и она откликается по-своему не менее глубоким потребностям человека, чем те, которые породили великие религии Запада.

Как наследник древних творцов культуры, Учитель Кун озабочен сохранением и упрочением того начала в жизни людей, которое он именует «ритуалом». Несомненно, ритуал был центральным понятием чжоуской традиции, причем древние китайцы не делали различия между религиозными обрядами и светскими церемониями. Так получилось оттого, что в основе китайской религии лежал культ предков, столь естественно соединяющий в себе божественные и человеческие черты. Загробный мир для современников Конфуция был не просто, как принято говорить, «отражением» земного мира, а непосредственным его продолжением. Покойники наделялись такими же потребностями (и обязанностями), как и живые: они нуждались в пище и одежде, им сообщали о земных событиях и ждали от них заступничества. Им даже следовало самолично присутствовать на церемониях жертвоприношений и разделять трапезу с их здравствующими потомками.

Храм предков был средоточием и религиозной, и семейной, и даже публичной жизни чжоусцев. В нем устраивали не только жертвоприношения, но и свадьбы, и разные другие торжества. В родовых храмах правителей уделов объявляли войну и награждали вернувшихся из похода полководцев, принимали иностранных послов, давали пиры и т. п.

Ничего удивительного, что Конфуций увидел в чжоуских ритуалах самое действенное средство возрождения древнего благочестия – другого средства он попросту не знал. Современники считали его в первую очередь знатоком ритуалов, и сам он был о себе такого же мнения. Но Кун Цю никогда не стал

бы Учителем Куном, если бы остался только знатоком и толкователем обрядов. На самом деле Конфуциева проповедь ознаменовала решительную переоценку и углубление самого понятия ритуала. Впервые задумавшись над простым вопросом «что такое ритуал?», Конфуций дал на него столь же простой ответ: ритуал – это главное условие человеческого общежития и, следовательно, лучшее средство воспитания в людях человечности. Тот, кто посвятил себя учению, говорил он, должен «черпать вдохновение в Песнях и обретать опору в ритуале». Другими словами, Учитель Кун открыл в ритуале фундамент всей человеческой деятельности, рецепт правильного поведения на все случаи жизни. Мы читаем в «Беседах и суждениях» напутствие Учителя:

«В обществе держитесь так, словно принимаете почетного гостя. Исполняя служебные обязанности, ведите себя так, словно руководите торжественным жертвоприношением. Не делайте другим того, чего себе не желаете. Так вы не сотворите зла ни в государстве, ни в семье».

Совет Конфуция на службе держаться, как на торжественной церемонии, напоминает о том, что святость для него не была отделена от политики и вообще обыденной жизни. Более того, священнодействие полностью вмещало в себя жизнь. Благородный муж, по слову Конфуция, не желает замечать и сам не делает ничего противоречащего ритуалу. Конфуцианский человек – ритуальное существо.

Что еще важнее, Конфуций здравомысленно увидел в ритуале воплощение вечноживых качеств человеческого бытия, ведь всякое ритуальное действие не может не быть общепринятой нормой жизни людей и, следовательно, их общим достоянием. Ритуал принадлежит всем, но никто не имеет на него исключительных прав; он есть и средство, и сама среда человеческого общения. Его роль в обществе двойственна: он ставит предел индивидуальным устремлениям, но утверждает непреходящие, а точнее – переходящие к следующему поколению жизненные ценности. Ритуал от каждого требует самоумаления – и об этом его свойстве напоминает знакомое нам с детства представление о слащаво вежливых китайцах с их «китайскими церемониями». Но тот же ритуал сообщает человеку подлинное достоинство. По Конфуцию, благородный муж в общении должен быть непременно «уступчивым» (а образец этой уступчивости подали мудрые цари древности, которые, по преданию, уступали престол в пользу более достойных людей), но он всегда хранит «величественно грозный вид» и, не прилагая усилий, внушает уважение окружающим.

Так живущий по ритуалу, согласно Конфуцию, живет в сообщительности со всеми людьми. Живет «общим достоянием». Он существует постольку, поскольку находится в общении с другими. Он есть то, чем он является для других. В сущности, у него нет своего обособленного, замкнутого в себе «я», от имени которого можно было бы вести монолог и выводить отвлеченные истины. Его речи – только отклик на обращения других, его жесты и поступки – знаки сверхличного свершения. Его добродетель – это его способность исправлять других: она есть добродетель в его исконном значении, запечатленном латинским словом virtus – сила, которая невозможна без могучей воли и твердого характера. О такой добродетели свидетельствуют все душевные качества конфуцианского человека – «доверие», «преданность», «воздаяние» и проч. И напротив: любой психологизм, драматизация духовной жизни личности в понятиях выбора, греховности, страха, раскаяния, спасения и проч. начисто отсутствуют в учении Конфуция. Никакого самокопания или упоения чувствами, никаких «душевных мук». Правда Конфуция – в прозрении человеком своего соприсутствия, своей событийственности с другими людьми. Ритуал же оказывается у него всеобщей мерой гармонии в отношениях между людьми, в отношении человека к себе. Сдержанность, сдержанность и еще раз сдержанность – вот жизненное кредо китайского учителя. Но сдержанность, не ущемляющая чувственную природу человека, а, напротив, способствующая ее культивированному, культурному развитию. Ибо Конфуций не Будда, и он никогда не звал к «искоренению страстей». Он учит ритуалу, который придает чувствам надлежащую форму и не дает им уклониться в гибельную крайность. Жить по ритуалу означает идти «Срединным путем»: жить по обычаю, вроде бы обыкновенно, но бесконечно осмысленно, совершенно сознательно. Знания, дающие возможность сопоставлять и взвешивать, да и к тому же обставлять, украшать свои поступки, с неизбежностью сопутствуют ритуальному поведению.

Учитель сказал: «Муж, обладающий широкими познаниями и сдерживающий себя ритуалами, крайне редко выходит за границы разумного».

Учитель сказал: «Почтительность без знания ритуала превращается в самоистязание. Осторожность без знания ритуала превращается в трусость. Храбрость без знания ритуала превращается в безрассудство. Прямодушие без знания ритуала превращается в грубость».

Конфуциев ритуал – это поистине каллиграфия сердца, и он далеко не исчерпывается бездумным соблюдением тех или иных

правил благопристойности. Жизнь по ритуалу предполагает состояние неусыпного бдения, твердый контроль над собой, но контроль, не утесняющий природные задатки человека, а как бы вовлекающий их в органическую гармонию телесно-духовного бытия, ведущий к единению культуры и природы. Одно из самых знаменитых высказываний Учителя Куна гласит:

«Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если воспитанность затмит естество, получится книжник. Лишь тот, в ком естество и воспитанность друг к другу прилаживаются, может зваться достойным мужем».

Идеал «вглядывания в себя» заставлял Конфуция и его последователей с подозрительностью относиться к зрелищной стороне церемоний, ведь «муж, ищущий Путь», не мог не спрашивать себя, насколько ритуальные жесты и слова соответствуют внутреннему состоянию участников обряда. Однажды, раздосадованный поверхностным разговором на тему ритуалов, он в сердцах воскликнул:

«Говорят: ритуалы, ритуалы! Разве это только приятное взору зрелище яшмы и шелка? Говорят: музыка, музыка! Разве это только ласкающие слух звуки струн и колоколов?»

В другом случае, отвечая на вопрос ученика, как лучше соблюдать ритуалы, Учитель Кун отвечает:

«Поистине ты спросил меня о важном деле! Вообще в ритуалах сдержанность предпочтительнее пышности. А выражая почтение покойнику, лучше давать волю чувствам скорби, чем страха».

Сдержанность и самообладание, потребные в ритуале, проистекают в конечном счете из опыта «самопреодоления» нашего «я», перехода к некоему высшему, всеобъятному сознанию. Ритуальный человек иерархичен. Он склоняется перед собой – и тем самым обретает в себе истинно царственное достоинство. Ритуальный человек живет внутренним опытом «самопочитания». Недаром Учителю Куну приписывали слова: «Незримый ритуал – это почтение. Тот, кто его претворяет, ничего не говорит, а внушает доверие, ничего не делает, а добивается послушания».

Подчеркнем, что благородный муж у Конфуция чтит именно самого себя. Конфуциев ритуал прославляет в человеке… исконно человеческое, и в быту претворение ритуала почти неотличимо от воспитанности и хорошего вкуса. В любом случае он означал не просто то или иное предписанное обычаем действие, а именно действие, соответствующее «обстоятельствам момента». Конфуций и сам допускал различные новшества в обрядах, если они, по его мнению, не искажали существо ритуала. К примеру,

совершая жертвоприношения предкам, он надевал шапку не из конопляных нитей, как было принято в древности, а из шелка, объясняя это тем, что «так нынче поступают все, и к тому же выходит дешевле». Зато, добавляет он тут же, на аудиенции у государя он по-прежнему отбивает поклон перед ступеньками трона. И пусть этот обычай уже забыт, все же благородному мужу не подобает пренебрегать подобным знаком уважения к своему господину.

Конечно, ритуал – всегда условность и соблюдение его заключает в жесткие рамки любые наши поступки. Но тот же ритуал позволяет нам с безукоризненной точностью выражать наши чувства и тем самым делает наши действия намного более осмысленными и выразительными. Именно ритуал способен превратить жизнь человека в особый стиль поведения и, следовательно, придать ей возвышенные и эстетические качества. Конфуцианский ритуализм лежит у истоков той отмеченной выше наклонности к типизации всех форм жизни, начиная с порядка употребления слов и кончая выразительными приемами в искусстве, которая пронизывала всю китайскую традицию.

Ритуал у Конфуция – это выражение ритма и красоты самой жизни, возвышенности и гармонии души. Правда, он может выродиться в пустую формальность, привычку или, хуже того, в обманчивую позу. Конфуций, конечно, эту опасность видел и не единожды заявлял, что «ненавидит хитрых говорунов и обманщиков, разрушающих царства». Но он не занимался разоблачениями всевозможных узурпаторов морали. И не только потому, что благородному мужу полагалось не уличать в пороках других, а поощрять людей к добру личным примером. В глубине души Конфуций верил, что лицемерная церемонность все равно не тронет людские сердца.

И сила привычки, и желание «показать себя» выдают привязанность к своему «я», стремление отождествить себя со своим собственным представлением о себе. Между тем ритуал, вводя личность в область «межчеловеческого», разрушает замкнутость человека-индивида. Одно из самых знаменитых в Китае изречений Учителя Куна гласит:

«Смиряй себя, следуй ритуалу, и Поднебесная вернется к человечности».

Жизнь по ритуалу – это всегда исполнение роли. Она требует признать бесконечную изменчивость человеческой личности, неисчерпаемое разнообразие образов человека. В ритуале человеческая жизнь становится нескончаемой галереей масок. Недаром образ учителя дан нам в мозаике экспрессивных штрихов, и сам Учитель, по свидетельству знавших его людей, так

часто «менялся в лице».

Но, требуя от человека постоянного самопресуществления, ритуал освобождает личность от всего частного, произвольного, преходящего. Он требует от человека жить самоустранением, сокрытием его явленного образа, ради выявления его вечноживых родовых свойств. В ритуале, очищающем человеческую практику от всего случайного, обнажается стройная и прочная, как кристалл, матрица человеческой социальности. Кстати сказать, не только в Древнем Китае, но и у других древних народов говорить и жестикулировать полагалось так, чтобы не привлекать к себе внимания окружающих. Это означало отсутствие отклонений от предписанных обычаем норм поведения: человек произносил каждое слово только «к месту», каждое действие совершал «ко времени». И в этом, напомним, ритуал являл исключительное в жизни. То было, так сказать, правило исключения, открывавшее непреходящее именно в неповторимом…

Нечто подобное имел в виду Конфуций, когда определял сущность управления (а по его логике, и ритуала) как «исправление имен» *(чжэн мин)*. Речь шла вовсе не о соответствии имен вещей их сущностям, как может показаться на первый взгляд. Учитель Кун едва ли мог принять эту идею хотя бы потому, что вообще не допускал существования слов в отрыве от дел; поиски соответствий между именами и предметами показались бы ему, наверное, пустой и вздорной затеей. Пожалуй, Конфуций говорил о правильной оценке вещей: он ищет не определения понятий, а, скорее, определенность в понятиях. Как знаток обрядов, он печалится о том, что люди путают названия древних ритуальных предметов или присваивают себе регалии не по рангу, лишая действенности и самый ритуал. Однажды, когда Цзы-Гун решил отказаться от заклания жертвенного барана на церемонии чествования духов, Учитель сурово отчитал скаредного ученика: «Тебе жалко барана, а мне жаль ритуал!» Всего менее в этих словах слепого следования обряду. Учитель Кун всегда ратовал за разумную бережливость, а однажды верхом неразумия назвал поступок некоего вельможи своего царства, который, приобретя панцирь «волшебной» черепахи, положил его в комнате, колонны которой были украшены резными изображениями гор и водяных растений. (Как тут не вспомнить слова древнего даоса Чжуан-цзы, который заявлял, что предпочитает быть живой черепахой, хотя бы и «волочащей свой хвост по грязи», нежели черепахой мертвой, пусть даже хранимой в золоченом ларце в покоях государя.)

Учитель Кун озабочен, в конце концов, не значениями слов и жестов, а тем, чтобы ритуал выполнял свое предназначение и,

значит, был действен. Вот и в своем знаменитом призыве: «Правитель да будет правителем, отец – отцом…» – он ведет речь лишь о соответствии понятия отца состоянию отцовства и даже, если так можно выразиться, «отцовничанья», поскольку он говорит о природе жизни как деятельного и творческого начала. Конфуция интересуют, напомним еще раз, не сущности, а события. Заниматься «исправлением имен» в понимании Конфуция – значит выявлять долженствующее в данном, настоятельное в настоящем. Свершается это как бы спонтанно и незаметно для самих участников ритуального действа, ибо ритуал, по Конфуцию, осуществляется сполна в безукоризненном следовании обстоятельствам «текущего момента». Такой слитый с самим течением времени ритуал и есть тот самый Великий Путь мироздания, которым, как сказано в древних китайских канонах, «все люди пользуются каждодневно, а о том не ведают».

Главный вопрос Конфуциевой мысли – не что и даже не как, а когда: когда вещи претворяют свое назначение? Мудрость Конфуция – это только «соответствие моменту». Разговоры Учителя и его учеников неизменно сводятся к оценке качества тех или иных жизненных ситуаций, всех бесчисленных житейских «случаев». И без разговоров здесь нельзя, ибо ситуации требуют по крайней мере двух действующих лиц, творятся, «задаются» скрещениями сил. Их новизна навлекает обыденность:

«Живя в семье, чти старших; находясь на службе, будь предан государю…»

Каждому делу свое время. Учиться и, следовательно, осмысливать, оценивать обстоятельства нужно «во всякое время», по мере естественного хода вещей – от годового цикла природы до возрастов жизни:

Учитель сказал: «В юности, когда жизненные силы в избытке, остерегайтесь вожделений; в зрелости, когда жизненные силы в расцвете, остерегайтесь соперничества; в старости, когда жизненные силы в упадке, остерегайтесь скупости».

Чем естественнее и проще – тем умудреннее и возвышеннее: такова несколько неожиданная и все же бесхитростная логика речей Учителя Куна, в которых говорится «ровно столько, сколько нужно». Конфуций не выдумывает новых понятий, а пользуется обыденным языком, ибо для него главное, чтобы слово было сказано «вовремя». А назначение языка – выделять в нашем опыте типовые явления, состояния, впечатления, где сиюминутное и преходящее наделяется завершенностью целого. Жизнь в ритуале – бесконечная череда исключительных моментов, вечнотекучая временность, некое, так сказать, временование времени. В ритуале жизнь непрестанно возобновляется. Но этот творческий

исток жизни недоступен непосредственному восприятию. Здесь самое время вспомнить о том, что ритуал – это действие по своей природе символическое. Другими словами, ритуальное действие непременно обозначает нечто внеположенное ему, у него есть не только зримый образ, но и образ невидимый, внутренний, причем первый является только тенью, отблеском второго. «Вещи имеют свои корни и ветви», – говорится в древней конфуцианской книге «Середина и постоянство», приписываемой внуку Конфуция. Реальность, символизируемая ритуалом, как бы предваряет физический мир, подобно тому, как ветви предполагают существование невидимых корней, а семя предвосхищает собою плод. И всякое усилие самоосознания, высвечивая бесконечную – и непроницаемую в своей бесконечности – перспективу времен, неизбежно означает припоминание: оно внушает опыт присутствия чего-то «другого», и в каждый момент времени уже «бывшего». Как мудро заметил Вильям Блейк, «все, что есть сейчас, прежде существовало в чьем-то воображении». Жизнь по ритуалу – и значит, жизнь сознающего сознания – есть музыкальная преемственность, перекличка «предшествующего» *(сянь)* и «последующего»

(хоу). Недаром в конфуцианской традиции мудростью объявляется знание различий между «тем, что идет впереди», и «тем, что идет следом». Так ритуал в конце концов сливается с органичным произрастанием живого существа и обосновывается не логикой доктрины, не идеями и словами, а преемственностью стиля, укорененного в непроизвольном, совершенно естественном ритме самой жизни.

Оказывается, все церемониальные жесты логически предваряются неким верховным, истинно царским ритуалом, и этот «ритуал ритуалов» по природе своей является самой сущностью типизации бытия, формой становления, которая не преходит в потоке времени, некой матрицей деятельности, которая предопределяет все конечные деяния. Верховный ритуал – безупречно действенный покой, предвосхищающий все метаморфозы мира, подобно тому, как семя символически уже содержит в себе плод. В полноте своего осуществления он есть предельно стилизованный, самоустраняющийся, вечно отсутствующий жест, который вмещает в себя внутреннюю преемственность всех моментов существования. Он хранит в себе тайну символического языка культуры. Дух Конфуция живет в утверждениях ученых старого Китая о том, что забытую правду древних можно «сердцем перенять» из книг (и не только из книг), в популярных легендах о безграмотных крестьянах, которые во время болезни (ослабившей их индивидуальное «я») вдруг

принимались без ошибки декламировать стихи древних поэтов, ибо подлинное искусство, по китайским представлениям, хранит в себе вечные качества вещей. Конфуций и сам утверждал, что получил свою правду непосредственно от Чжоу-гуна и даже от самого Неба! Позднее Мэн-цзы объявил Конфуция преемником величайших мудрецов древности – Яо и Шуня. Во всех случаях речь шла о постижении секретов символического языка культуры, равнозначного спонтанности человеческой практики. Тот, кто обладает этими секретами, без усилий станет властелином мира, подобным древним царям. Об одном из тех царей, Шуне, Конфуций говорил:

«Шунь управлял Поднебесной, ничего не делая. Он с достоинством сидел лицом к югу – только и всего». (В Китае правитель сидел на троне, обратившись лицом на юг.)

В этом высказывании (кстати, роднящем Конфуция с Лао-цзы) отобразилось все своеобразие китайской цивилизации. Китайский мудрец не стремится овладеть содержанием своего опыта, а, наоборот, «отпускает», «оставляет» *(фан)* все переживаемое им, то есть раскрывает себя полноте восприятия; он не пользуется вещами, а дает им самим «претворить себя». Эта «открытость сердца» соответствует, в сущности, бесконечному разнообразию мира телесной интуиции, ведь тело и есть изначально заданная матрица нашего восприятия и прообраз предельной цельности бытия. Ритуал может иметь только телесное воплощение. И всеединство жизни, постигаемое в ритуале, есть, согласно китайским представлениям, наше «великое тело» *(да ти)*. Вовсе не случайно то тщательное внимание, которое уделял Учитель Кун диете, телесным позам, правилам гигиены, и вообще тот факт, что он обладал отменным здоровьем. Мудрость Великого Пути немыслима и невозможна вне полноты телесной жизни…

Но «полнота телесной жизни» или, попросту говоря, телесное здоровье – вещь в своем роде загадочная: она не имеет отличительных признаков, остается незаметной для всякого «угла зрения», неизбежно ограниченного. Точно так же подлинный ритуал, вмещающий в себя вселенский поток жизни, предстает как бы бездействием, во всяком случае – неприметным действием. Мы не поймем Конфуциевой любви к ритуалу, если не увидим в ней стремления обнажить сокровенные истоки человеческой культуры, постичь неосознаваемую людьми матрицу их деятельности, в которой все человеческие сердца еще слиты в одно Всечеловеческое сердце. Недаром древние китайцы говорили, что «Великий Путь – это то, чем люди каждый день пользуются, а о том не ведают», и что родители и дети составляют «одно тело». Непоколебимая вера Конфуция в

безупречную действенность ритуала как раз и основывалась на уверенности в том, что ритуальное поведение воплощает в себе самое «семя» человеческой деятельности. Точность артикуляции чувств в Конфуциевом ритуале – это на самом деле точность соответствия внутреннего и внешнего, предшествующего и последующего, единичного и всеобщего. Но эта встреча извечно несходного есть тайна, и хранится она человеком. Анонимные формы ритуала должны быть наполнены интимным переживанием. Еще устроители чжоуской державы оставили потомкам завет: «Приносите жертвы так, словно духи присутствуют воистину». Учитель Кун стал говорить иначе: «Если я не участвую в принесении жертв, то это все равно, как если бы я совсем не жертвовал». Жертвоприношение духам, по Конфуцию, не возымеет действия, если жертвователь не будет в душе «почтителен» к божественным силам (а точнее, почтителен сам по себе, независимо от любых внешних обстоятельств).

Итак, истинный смысл Конфуциева ритуала – это сокровенная, лишь внутренним опытом удостоверяемая вечнопреемственность духа, или, как говорили в Китае, «передача от сердца к сердцу». Тут есть, согласимся, нечто глубоко загадочное. Кто знает, когда в бездне времен «встретятся сердца»? Кажется, никто… Точнее – никто в отдельности. В мире есть лишь мимолетные образы человека, осененные тенью всечеловеческого присутствия. Мудрый умеет правильно держаться в потоке перемен: он обладает чувством долга или справедливости (и). Конфуций нигде не объясняет, откуда берется в человеке это чувство и каково его содержание. Он лишь утверждает, что благородный муж «во всем берет своей мерой должное» и строит на нем свою жизнь.

Учитель сказал: «Благородный муж берет своей основой чувство долга, претворяет его в жизнь посредством ритуала, являет миру в своей скромности, а приводит к завершению правдивостью своих слов».

В другом случае ученик Цзы-Ся попросил Учителя Куна разъяснить смысл следующих строк из «Книги Песен»:

Ее улыбка так мила,
Ее взор так чарует,
Яркие нити по некрашеному шелку…

– Цветными нитями вышивают по белому, – ответил Конфуций в своей обычной иносказательной манере.

– Стало быть, и ритуал накладывается потом? – спросил Цзы-Ся, уже, кажется, догадавшийся, о чем ведет речь Учитель.

– Ты хорошо понял смысл этих строк, – обрадовался Конфуций. – С таким, как ты, толковать о Песнях – одно удовольствие!

Ритуал, как бы хочет сказать Конфуций, оформляет человеческую природу и сам вырастает из характера человека, его «возвышенной воли». (В китайской письменности иероглиф «воля» состоит из знаков «служилый человек» и «сердце» и, таким образом, наглядно подтверждает идею о том, что воля является неотъемлемым свойством мужа, преданного долгу.) В конфуцианстве отличительными признаками человека объявляется не просто сознание или даже разум, а решимость исполнить свой долг, принять до конца свою судьбу, жить волей к совершенствованию – волей всецело нравственной, поскольку она действует в сообществе людей и сама его созидает. Воля требует сосредоточения душевных сил, она соединяет в себе разум и чувства, и недаром китайская традиция никогда не противопоставляла одно другому. Средоточием духовной жизни человека в Китае считалось «сердце» – вместилище и сознания, и чувств. К слову сказать, взгляд на человека как на изначально нравственное существо тоже стал в Китае общепринятым. Человек, преступивший нормы морали, становился в глазах китайцев не более чем «говорящим животным», и с ним дозволялось расправиться самым жестоким образом.

Итак, человек, по Конфуцию, начинается в тот момент, когда осознает себя как сознательное существо; когда он пробуждается. Но когда происходит это событие? Кто осознает себя? И, наконец, откуда берется воля к самоосознанию? Вот вопросы, на которые Учитель Кун мог ответить лишь «бесконечно глубоким безмолвием». Ведь каждый момент озарения заставляет ощутить потаенное присутствие того, кто «стоит прежде» нас самих. В деле самопознания мы всегда за кем-то следуем. Постигая исток Воли, мы ничего не открываем заново, мы идем чьим-то путем. Самые мудрые, по слову Конфуция, «знают от рождения». От физического ли рождения? Не от века ли сознанию положено сознавать? Древние даосские философы довели до логического конца мотив безначальной воли, когда заговорили о «подлинном господине», или «подлинном образе» человека, который существует «прежде нашего рождения». Но долженствование, на котором утверждается ритуал, не есть ни этический принцип, который можно вывести путем отвлеченных размышлений, ни этическое правило, которое можно установить чьей-либо властью. Оно не существует вне конкретных моментов времени, конкретных событий; оно рассеяно в невообразимом хаосе жизненных случайностей и не может быть подведено под какой-

нибудь общий закон. О нем надо молчать. Им нужно жить.

Действие, проистекающее из глубочайшей интуиции справедливости, целиком определено его контекстом и как бы пресуществляется в него. Благородный муж заведомо «ничего не отрицает и не утверждает», он безмятежен и лишен предубеждений. Для Конфуция в действии, вдохновленном долгом, в акте «исправления имени» нет жесткой границы между субъектом и объектом действия: человек не выделен из его среды. Как ни странно, несмотря на морализующий пафос Конфуция, мы не найдем в его высказываниях сколько-нибудь отчетливого представления о человеке как психически целостном субъекте, который оставался бы равным себе в потоке времени. В «Беседах и суждениях» учитель даже не говорит о себе в первом лице, предпочитая называть себя по имени или употребляя собирательное «мы». Примечательно, что Конфуций, так много говоривший о том, что человек должен неустанно судить самого себя и стыдиться своих слабостей, никогда не задавался вопросом, должен ли человек чувствовать вину за совершенные им поступки. Зато ему не казалось странным полагать, что благородный муж должен принимать на себя ответственность за все происходящее в мире. Позднее Мэн-цзы восславил способность мудрого, «вместив в себя весь мир», пестовать в себе «неукротимый дух». Мы сталкиваемся со взглядом на человека, в корне отличающимся от европейских представлений о личности. Здесь отсутствует идея внутренне однородного «я», будь то бессмертная душа в христианстве, «чистый субъект» классической философии или даже самовластье творческой личности. В конфуцианской традиции личность предстает как бы сетью межчеловеческих отношений, общественным «лицом». Человек есть то, чем он является для других, и живет он волей к «преодолению себя», изживанию всего частного и субъективного: волей в своем истоке совершенно непроизвольной, превосходящей индивидуальную жизнь, побеждающей даже смерть. «Утром познав Путь, вечером можно умереть», – гласит многозначительное изречение Конфуция, и чудится, что в этих словах засвидетельствована не только беззаветная преданность Учителя своей правде, но и, как кажется, волнующая близость правды и смерти. Ибо правда творческой воли обрывает старую жизнь и дает жизнь новую…

Безусловная и неизбывная воля, в которой человек обретает единение с творческой силой мироздания, с его всеобщим Путем, – главный мотив Конфуциева учения. Недаром Конфуций ничего не говорил о том, что такое человек, но охотно рассуждал о том, что человек может и должен делать с собой. И главный

вопрос для него – кто волит в воле, кто заставляет человека, превозмогая себя, принимать в себе возвышенную решимость? Вопрос, остающийся безответным, звучащий больше как призыв. Призыв к человеку найти себя за пределами всего «слишком человеческого»… Возвышенная воля делает человека несравненным, единственным, вовеки «одиноким». Благородный муж не дружит с «теми, кто хуже его», и даже в отношениях с давними друзьями не опускается до фамильярности. Есть у Конфуция и хлесткое суждение о том, кто старается угодить свету и прослыть «славным малым». Оно гласит: «Любимчик деревни – вор добродетели». На деле ни хвала, ни хула людей не дают оснований судить об истинных качествах благородного мужа. Помыслы мудреца необозримо величественны, и людям с узким кругозором опознать их нелегко. Но в своей безбрежности они сливаются со всем разнообразием моментов жизни, становятся вездесущей и неизбежной средой и, следовательно, чем-то по определению внешним, безличным, всеобщим. «Глубокое уединение» конфуцианского мудреца изливается в формальности этикета, орнаментальные качества стиля, одним словом – в декорум жизни. Истины, может быть, нет. Но доподлинно есть отблеск и тень истины. Возражая собеседнику, утверждавшему, что в благородном муже главное – характер, а изящные манеры ему вовсе не нужны, Цзы-Гун как-то сказал, что в мудреце «естество не отличается от воспитанности, а воспитанность не отличается от естества. Взять, к примеру, шкуры тигра и леопарда: коли с них соскоблить шерсть, они не будут отличаться от шкуры собаки или барана».

Конфуциев мудрец держится неприметно, но ничего не утаивает для себя. Его жизнь скромна, но свободна от пошлой обыденщины; безмятежна, но исполнена духовной углубленности; непритязательна, но лишена суетности. Она не призвана быть иллюстрацией каких-то идеалов и принципов, не подчинена погоне за успехом. Она развертывается под знаком целомудренно-прикровенной гармонии, кладущей предел всему чрезмерному… Этот мудрец идет «срединным путем», не впадая в крайности, будучи всегда готовым на разумный компромисс. Ведь мудрость начинается с самых простых повседневных дел.

Учитель сказал: «Поскольку я не могу отыскать себе сподвижников, идущих срединным путем, приходится брать либо излишне ретивых, либо излишне осторожных. Первые торопятся сделать слишком много, вторые делают слишком мало».

Не отставать и не забегать вперед в своем подвижническом труде, всегда «соответствовать времени» и уметь пересматривать свой опыт, исправлять свои промахи и хранить верность своей

возвышенной мечте, неуклонно расширяя кругозор, – такова истина «срединного пути», завещанная Учителем Куном. Претворить ее в жизнь нелегко, как нелегко и даже невозможно подвести ее под какое-нибудь общее правило. Кто, кроме целомудренного и любящего человеческого сердца, может ведать, как следует поступать в этом изменчивом мире?

Прообраз подлинно гармоничной жизни Учитель Кун находил в музыке – непременной спутнице торжественных обрядов и церемоний. Если, по словам Конфуция, Песни вдохновляют человека на совершенствование, а ритуалы служат опорой его возвышенным устремлениям, то музыка «приводит к завершению» нравственное подвижничество. Разумеется, музыка для Учителя Куна – это не вульгарное сладкозвучие, и удовольствие, доставляемое ею, не имеет ничего общего с чувственным возбуждением. Лаская слух, изысканная музыка заставляет «забыть о вкусе пищи». Выражая космический ритм бытия, она «взращивает все живое» и является делом огромной политической важности: каждая династия в Китае устанавливала свою систему музыкальных ладов. Помимо прочего, музыка воплощает непостижимое единство внутреннего и внешнего: она говорит языком чистой выразительности, обращается непосредственно к сердцу человека, но в то же время имеет отвлеченный, даже с математической точностью описываемый образ. Конфуций ценит красоту в музыке, но требует, чтобы музыка первым делом способствовала улучшению нравов.

Наслаждение от «правильной» музыки таится, по Конфуцию, в Беззвучном. Идеал мирового согласия – «высокий, как небо, и глубокий, как бездна» – не может иметь ни умозрительного, ни чувственно воспринимаемого образа. Вот почему Путь китайского мудреца сокровенен, или, говоря словами классического изречения из «Книги Перемен», «иметь заслуги и не выказывать признаки добродетели – вот вершина добра». Разумеется, правда Великого Пути сокровенна не потому, что держится в секрете, а потому, что она символична по своей сути и выражает себя в «ином» и даже противоположном. Примерно так, как об этом сказано в отзыве современников о любимце Учителя Куна Янь Хое: «Способный, но расспрашивавший неспособных; обладавший многим, но спрашивавший у тех, кто имел мало; наполненный, но казавшийся пустым…»

Главное качество благородного мужа, воспитываемое ритуалом и музыкой, Конфуций назвал «человечностью» *(жэнь)*. Иероглиф *жэнь* состоит из знаков «человек» и «два», то есть он обозначал отношения между людьми, нечто междучеловеческое, чем в китайской традиции и считалось подлинное бытие

человека. В «Беседах и суждениях» речь о человечности заходит довольно часто, хотя сам Учитель, по свидетельству его учеников, говорил о ней неохотно. А заговорив, каждый раз определял ее по-разному. Ведь каждый случай требует своего слова и поступка. Быть человечным для Конфуция как раз и означает быть разным с разными людьми. Однажды на вопрос: «Что такое человечность?» – Учитель ответил: «Любовь к людям». Этот ответ касается существа морального идеала. А если мы хотим узнать, каким должен быть человек, обладающий человечностью, то нам придется обратиться к другому объяснению:

«Человек, наделенный человечностью, обладает пятью качествами: он учтив, великодушен, честен, прилежен и добр. Тот, кто учтив в обращении, избегнет оскорблений. Тот, кто великодушен, привлечет к себе людей. Тот, кто честен, будет пользоваться доверием других. Тот, кто прилежен, добьется успеха. Тот, кто добр, сможет использовать людей на службе».

В некоторых суждениях Конфуция подчеркивается неразрывная связь «человечности» с ритуалом, а однажды Учитель разъяснил смысл «человечности» словами своей знаменитой максимы, которая напоминает евангельскую заповедь: «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Тот же принцип обоюдности в отношениях между людьми учитель подробнее разъясняет в разговоре с Цзы-Гуном.

– Положим, есть человек, который облагодетельствовал народ и щедро помогает всем людям. Можно ли назвать его человечным? – спросил Цзы-Гун.

– Почему только человечным? – отозвался Конфуций. – Его следовало бы назвать великим мудрецом! Даже Яо и Шуню такое далось бы не без труда. А человечный муж помогает другим обрести опору там, где он обрел опору сам, и ведет людей туда, куда и сам стремится. Способность судить о других по себе – это и есть человечность.

Зная общие посылки Конфуциева учения, мы можем сказать теперь, что человечность у Конфуция – это не столько сумма, сколько мера всех добродетелей, мера социальности человека, которая дает смысл нравственным ценностям, но не позволяет абсолютизировать их. Человечен сановник, сберегший себя в водовороте дворцовых интриг. Но человечны и древние отшельники, которые уморили себя голодом, протестуя против неправедной власти. Интуиция человечности заставляет человека искать свой путь. Но в каждом случае – путь «золотой середины».

– Должен ли человечный человек прыгать в колодец, если ему скажут, что туда упал человек? – спросили однажды Конфуция.

– Зачем же прыгать в колодец? – удивленно переспросил

учитель. – Благородный муж может подойти к колодцу, но не станет сломя голову прыгать в него. Его можно обмануть, но его нельзя одурачить!

А в другой раз Конфуций заметил, что, хотя благородного мужа, человека доверчивого и прямодушного, нетрудно ввести в заблуждение, все же именно благородный муж «первым распознает обман», ведь он не ослеплен теми иллюзиями, которыми пользуются к своей выгоде разные ловкачи.

Одно из лучших разъяснений Конфуциевой идеи «человечности» содержится в трактате известного конфуцианского ученого древности Сюнь-цзы. Здесь помещен рассказ о том, как Учитель Кун в свойственной ему манере испытывал своих учеников, задавая им один и тот же вопрос: «Что такое человечность?» Цзы-Лу сказал, что человечен тот, кто «побуждает других любить его». Цзы-Гун сказал, что человечен тот, кто «любит других». А Янь Юань сказал, что человечен тот, кто «сам себе любовь». И Конфуций больше всех похвалил своего любимца.

Ответы учеников как бы обозначают последовательные стадии нравственного совершенства. Человек, побуждающий других любить себя, не лишен добродетели, но слишком эгоистичен. Тот, кто умеет любить других, продвинулся дальше по стезе добродетели, но еще не достиг совершенства, поскольку чрезмерно увлекается заботой о других. Истинно же совершенный муж умеет вознести свое нравственное чувство выше любви к себе или к другим и сделать его подлинно безусловным и всеобъемлющим. Слова Янь Юаня «сам себе любовь» *(цзы ай)* правильно понимать как «любовь сама по себе». Такова и есть настоящая добродетель: охватывающая все жизненные ценности, самодостаточная и всепроницающая полнота существования; жизнь, ставшая непреложной судьбой.

Человечность – это путь каждого человека к себе. И она делает человека мостом между тем, что он есть, и тем, чем должен быть. Кажется, человечность виделась Учителю Куну каким-то заоблачным, почти недостижимым идеалом. Человечность, говорит он, «приходит лишь по завершении тяжкого труда». Учитель не находит истинно человечных людей вокруг себя и даже не уверен, были ли таковыми мудрые цари древности. Разумеется, он не считает образцом человечности и себя. Среди его учеников только Янь Хой способен «в течение трех месяцев не изменять человечности», а прочие лишь от случая к случаю пытаются обрести это качество, но очень скоро прекращают свои попытки. И все же если человечность – путь, то каждый может пройти его сам. Даже этот возвышенный идеал

достижим для каждого, ведь в конце концов он знаменует наиболее полное раскрытие всего человеческого в человеке: «Быть или не быть человечным – это зависит от нас самих». Но главное, даже маленький шаг в нравственном подвижничестве есть приобщение к идеалу. «Разве человечность далеко от нас? – риторически вопрошает Учитель. – Стоит мне возжелать ее, и она тут же оказывается рядом». И еще одно откровенное признание:

«Есть на свете люди, которые отдали хотя бы один день служению человечности? Я еще не встречал человека, у которого не хватало бы на это сил. Может быть, такие люди и вправду есть, только мне не доводилось с ними встречаться».

Итак, человечность – это нечто всегда доступное и вовек недостижимое. Это, поистине, путь морального усилия, который заканчивается там, где начинается. Путь преодоления себя ради возвращения к себе. Надо помнить, что Конфуций еще не имел понятия о каком-то замкнутом, всегда тождественном себе субъекте, способном конструировать свое индивидуальное «мировоззрение». В письменных источниках он даже нигде не говорит о себе от первого лица. А когда призывает «преодолевать себя», подразумевает, в сущности, преодоление чувства обладания чем-либо и всяческих корыстных желаний. Другими словами, он призывает разумно ограничивать свои претензии и потребности и, следовательно, как раз не отождествлять себя со своим субъективным я. В таком случае «самопреодоление» надо признать совершенно естественным свойством человеческого духа, равнозначным, по сути, качественной трансформации, прояснению сознания, которые даже не требуют особой аскезы. Речь идет просто об уразумении своего места в мире. Недаром тот же термин *цзи* (свое, себя) употребляется в приписываемом внуку Конфуция трактате «Середина и Постоянство» в положительном смысле: здесь целью конфуцианского подвижничества объявляется «приведение к совершенству себя и других». Мы должны добавить, что речь идет о сокровенном превращении духа, которое неизбежно преломляется во внешние *обстоятельства* творческого мгновения. В терминах древнего конфуцианца Мэн-цзы речь идет о переходе от «малого тела» – индивидуальной жизни, воплощенной в физическом теле, – к «великому телу» ритуального всеединства. Однако великая самость человечности и не существует помимо физической данности жизни. Подобная двуплановость сознания прямо соотносится, как можно заметить, с отмеченным выше мерцанием смысла в литературном предании об Учителе Куне, придающем ему характер иносказания, не лишенного иронической окраски.

Конфуциева человечность – это действительно путь человека

от себя к себе. Неприметный со стороны путь погружения *в глубь* своего опыта (всегда, напомним, имеющий моральное содержание). Как гласит старинная китайская поговорка, «рыба, превратившись в дракона, не сбрасывает своей чешуи, а человек, претворивший Путь, не меняет своего облика». Человек, действительно, не волен изменить свой облик, но он может возводить свой путь до бездонной глубины Неба и низводить его до каждого мгновения эмпирического существования. Собственно, его усилие совершенствования в каждый миг времени удостоверяет соприсутствие этих двух полюсов «оси Пути». Уже сам Конфуций говорил, что в пятьдесят лет «познал волю Неба». А его древний последователь Мэн-цзы прямо заявлял: «Сердце исчерпывает себя в Небе». Впоследствии выявление «небесного истока» человеческого сознания стало общепризнанной целью конфуцианского совершенствования. Принадлежит ли этот исток области морали? Некоторые конфуцианцы позднейших времен утверждали, что «небесная правда» выше всяких условных представлений о добре и зле и воплощает некое абсолютное и непроизвольно осуществляемое Добро. Еще в XX веке китайский философ Фэн Юлань назвал Небо «сверхморальным принципом». Наследие Конфуция в самом деле оставляет возможность такой оценки, но прилагать ее к Учителю Куну означало бы проецировать на древнюю китайскую мысль понятия позднейших эпох. Конфуций еще не искал определений морали. Ему хватало интуиции нравственного совершенства.

Общественная деятельность Конфуция призвана подтвердить безусловный приоритет добродетели, именно: доброго деяния. Оба полюса конфуцианского совершенствования – вечность Неба и мгновение земной жизни – пребывают вне каких-либо определений и формул. Но открытие себя открытости Неба само рождает осмысленное слово, то есть слово, свидетельствующее о творческой силе жизни. Вот почему для Учителя Куна «слова должны следовать за делами», а сам он таил в своем сердце желание «не говорить». Конфуциева человечность – это путь опрозрачнивания человека, благодаря которому выявляется Великий Кристалл бытия. Вот почему Конфуций говорит, что нет ничего труднее, чем «держаться за человечность», что человечность приходит «после того, как сделано самое трудное». Нетрудно иметь какие-то добрые чувства и полезные знания. Но трудно иметь достаточно ясный ум и твердую волю для того, чтобы превозмогать себя. И вечно приходить к Неизбывному.

Поскольку человечность сопряжена с устремлением человеческого духа к глубочайшему согласию, она не может не обладать неотразимой силой воздействия. Такую всепокоряющую

благотворную силу одухотворенной жизни Конфуций называл *дэ*. Этот термин обычно переводят словом «добродетель», а с недавнего времени еще и «благодать». Последний выбор никак нельзя признать удачным. Графически знак *дэ* выражает идею произрастания духа, и у Конфуция он означает действующую изнутри силу нравственного совершенства, которая способна гармонизировать социум и все мироздание. Кстати, в древних китайских словарях это понятие объясняется посредством слов «обладать» и «возноситься».

Сила добра, по убеждению Конфуция, бездейственна без досконального знания ритуала и тонкого чувства ситуации. Ей неизбежно сопутствует способность убедительно говорить, безупречно вести себя и без усилий вызывать к себе симпатии.

Учитель сказал: «Добродетельный человек обязательно изрекает слова, которые остаются в памяти, но тот, кто изрекает памятные всем слова, не обязательно добродетельный человек. Человечный человек обязательно отважен, но отважный человек не обязательно человечен».

Человеческая общность, взращиваемая «силой добра», поверяется лишь внутренним опытом людей и не имеет формальных границ. Она существует лишь там, где есть взаимное доверие и сердца людей открыты друг другу. Но она и не может быть насаждена искусственно, в стороне от действительного общества. Любовь к людям, воспитываемая человечностью, начинается с узкого круга близких и доверенных лиц – с собственной семьи и друзей – и лишь в перспективе распространяется на весь человеческий род. Едва ли Конфуций имел сколько-нибудь четкое представление о необходимости равно любить всех людей. В конце концов ему была неведома идея спасения души, и он ничего не слышал о принципах демократии.

Здесь самое время задаться вопросом о природе «небесной ориентации» Учителя Куна. С легкой руки его учеников за Конфуцием утвердилась слава мудреца, «равного Небу»:

«Учитель был недосягаем, подобно Небу, которое невозможно ни разделить, ни измерить…»

Отсюда проистекают многие характерные черты образа Учителя: его ненарочитые довольство и покой, его неподдельно музыкальный строй жизни, выражающийся в учтиво-грациозных манерах и любви к пению и музицированию, его телесное здоровье и бодрость. Как воплощение Неба, Конфуций не мог иметь себе равных в этом мире, поэтому, согласно преданию, у него не было друзей, а настоящим его учителем, по утверждению красноречивого Цзы-Гуна, был «путь древних царей», который

«присутствует всюду». По той же причине Конфуций мог всех учить и у всех учиться (как мы уже знаем, для него одно неотделимо от другого), ибо он мастер не ремесел и даже не искусств, а – «духовных встреч». Вот почему «небесная перспектива» жизни у Конфуция не превосходит самое жизнь, и Небо в конфуцианстве не есть некая божественная субстанция, отделенная от мира людей. Оно есть только «встреча сердец» – неизменно конкретная, всегда новая и потому подлинная. Речь идет, скорее, об открытости сознания не просто тем или иным впечатлениям, а самому зиянию бытия, каковым, собственно, и является пустое, бездонное, сиятельное небо. Великий Путь утверждает как бы высшую форму симпатической магии: в нем пустота сходится только с пустотой. Но это путь существенно человеческий: в нем самореализация отдельной личности есть и условие и следствие самореализации всех. Это путь последовательного одухотворения и самовозрастания жизненной гармонии. Сфера Конфуциевой человечности, вовлекающей в свою орбиту сначала мудрейших мужей, потом весь народ, а затем животный и даже физический мир, неуклонно расширяется. Такая сила духовной сообщительности способна связывать людей несравненно крепче идеологических лозунгов и даже практических интересов, ведь она основывается непосредственно на символических качествах культур, без которых не может быть и человечества. Именно эта сила стала жизненным нервом китайской цивилизации и причиной ее необыкновенной жизненности. Не отсюда ли проистекают свойственные китайцам по-детски искреннее доверие к жизни и какое-то величественно-беспечное отношение к собственной традиции, даже и к лучшим ее достижениям: многие замечательные книги, произведения искусства, непонятным образом утраченные, много позднее обнаруживались в Корее или Японии, незаметно исчезали великие школы живописи и каллиграфии, боевых искусств, ремесел. Китайцы, конечно, знали, что нить вечнопреемственности бодрствующего сердца может скрыться из виду, быть преданной забвению. Но глубочайшей интуицией сердца они понимали, что та же традиция не может не нарождаться снова и снова всюду, где человек сознает себя *человеком среди людей.* В конце концов, что может быть проще?..

Какие еще истины духовного опыта таятся за стремлением Учителя Куна рассматривать человеческую культуру и саму жизнь через призму ритуала? Укажем на самую очевидную среди них: ритуал – это не только символическое, но и воспроизводящееся действие. Ритуал есть воплощенная память общества. Между тем память не обязательно должна иметь отчетливое предметное

содержание. Возможна ли, к примеру, память о смерти? А ведь ритуалы жертвоприношения, составлявшие ядро чжоуской традиции, были призваны именно воскресить память живых об их усопших предках. По существу, в них праздновалось как раз то, что пребывает за пределами памяти, нечто запамятованное. И участник церемонии, ищущий единения с покойными, решается на самоотречение, стремится именно «превозмочь себя». Он ищет встречи с отсутствующим, пытается помыслить немыслимое. Не покажется странным, что он в своих поисках «забывает вкус пищи». Существовавший в древнем Китае строжайший запрет называть предков по их личным именам лишний раз удостоверяет нежелание – да и невозможность – определить эту область навеки неведомого и таинственного, очерчиваемую смертью.

Итак, ритуал несет в себе память о беспамятном, и это обстоятельство как раз и обеспечивает внутреннюю преемственность духовной жизни. Важно понять, что забвение, данное в ритуале, не есть нечто недостижимое и неизведанное. Оно принадлежит интимным переживаниям человека, сливается с бессознательно рутинным в его жизни, с неосознаваемым настоящим. Не будем забывать, что Конфуция интересует первым делом вечнопреемственное, извечно возобновляемое в делах людей. Вот и благородный муж, в его представлении, должен произносить лишь такие слова, которые «достойны того, чтобы их повторяли».

Мы знаем уже, что сердцевиной чжоуской культуры была идея продолжения жизни предков в их потомках, или, что то же самое, самоуподобления потомков предкам. На торжественных обрядах жертвоприношений в чжоуском Китае усопшего предка представлял в своем лице один из его здравствующих потомков, которому полагалось на время церемонии как бы перевоплощаться в изображаемого им человека, как бы непроизвольно имитировать его привычки, мимику и т. д. И когда молодой Кун, изучая старинные обряды и музыку, добивался того, что во сне или в воображении лицезрел воочию основоположников чжоуского царства, создавших эти обряды и мелодии, он поступал в полном соответствии с духом и даже буквой традиции, которая его воспитала. Уже Цзы-Гун, как мы знаем, утверждал, что Учитель Кун в своей жизни не нуждался в наставнике потому, что «постиг Путь» основоположников Чжоу, хотя и оговаривался, что частица его Пути есть в каждом человеке и, следовательно, каждый человек может быть учителем для кого-то другого. А вот Мэн-цзы заявил, что в Конфуции возродились добродетели куда более древних и авторитетных царей – Яо и Шуня. Вспомним и о бытовавшем в Китае мнении о том, что

«правду, утерянную еще в древние времена, можно сердцем постичь из книг», и о многих ученых мужах позднейших времен, которые утверждали, что напрямую переняли «Путь» Учителя Куна. На то она и традиция, чтобы обладать способностью снова и снова возобновляться в опыте «бодрствования сердца»…

Но что же это за реальность, которая подспудно всегда пребывает в нас, хотя извечно отсутствует в нашей мысли, памяти и воображении? Пожалуй, ближайшим ее прообразом оказывается опять-таки наше собственное тело, мир телесной интуиции. Уместно напомнить, что личность в китайской мысли представала прежде всего как «плоть и кровь» – по-китайски, «кости и плоть» *(гу жоу)* – предков; родители и дети, по представлениям древних китайцев, составляли «одно тело», и первейший шаг почтительного сына состоял в том, чтобы сохранить целым и невредимым свое тело, в котором продлевалась жизнь его предков. А в традиционных школах успехи в учении определялись степенью близости ученика к учителю. Известно, что один из любимых учеников Конфуция, Цзэн-цзы, перед смертью созвал своих близких и сказал им: «Взгляните на мои ладони, взгляните на мои ступни. В Песнях говорится:

Страхом объят, я трепещу,
Словно стою на краю пропасти.
Словно шагаю по тонкому льду.

Только теперь я могу быть уверен, что сберег себя…»

Считается, что Цзэн-цзы демонстрировал свои руки и ноги для того, чтобы напомнить своим домашним и ученикам: мудрый человек неизменно осмотрителен в своих речах и делах и потому избегает наказаний, которые в древнем Китае обычно выражались в нанесении физических увечий. Но в предсмертном жесте Цзэн-цзы угадывается еще и некий невысказанный и, может быть, неизъяснимый смысл, выходящий за рамки обычной назидательности. Кажется, что этот жест заставляет нас обратить внимание на самое присутствие тела как необходимого условия мудрости, как вместилища духа. В качестве главного наставления своей жизни Цзэн-цзы явил взору нечто как нельзя более внешнее, очевидное, безличное – абсурдный жест! Но его абсурдность побуждает нас заново осознать то, что всегда отсутствует в сознании, но чего никто не может избежать: телесное происхождение нашего опыта. В жесте Цзэн-цзы нечто от нас отстраненное обнаруживает свою интимную принадлежность нам.

Почему же телесное бытие выступает в наследии Конфуция

прообразом высшего прозрения? На то есть несколько причин. Во-первых, тело пребывает в потоке времени и непрерывных жизненных метаморфоз; не удивительно, что мудрец, по китайским представлениям, не столько знает истину, сколько «воплощает» ее собой, «вкушает» от нее. Во-вторых, телесный опыт предстает прообразом изобилия бытия, бесконечного богатства разнообразия жизни, коим оправдывается сокровенная гармония мира. В-третьих, именно тело придает нашему опыту глубину и тем самым вводит в нашу жизнь тайну. Тело оберегает и скрывает: кожа, одежда, покров – необходимые его атрибуты. Наконец, тело выступает как среда нашей сообщительности с миром и действенности, достигаемой без усилий; оно есть нечто внешнее, относящееся к области декорума. Правда, телесность восприятия под этим углом зрения теряет свое значение физического тела и становится тенью, отблеском внутренней реальности.

Если теперь говорить в целом, в Конфуциевой идее культуры различимы как бы два измерения, два разных взгляда на человеческую деятельность. Учитель Кун «верит в древность» и требует не выдумывать свое, а следовать «тому, что предшествует» нашему опыту, и так делать свою жизнь безупречной. Под скорлупой обычая мы обнаруживаем в наследии Учителя Куна призыв к самообновлению, к творческому воссозданию культуры. Этот импульс творчества, однако, мгновенно преображается в «среду» человеческой деятельности, в нечто внешнее и декоративное и потому вновь и вновь возвращает человека к рутине обычая, и выводит глубину сознания на поверхность человеческого быта, делает речь мудрого неотличимой от говора улицы. Так, в языке Конфуциевой традиции буквальное и переносное значение слов, сказанное и невысказанное, сливаются воедино.

Человеческое творчество, по Конфуцию, не создает новых миров, а возвращает человеку все тот же от века существующий «мир, как он есть». Но оно возвращает ему мир, наполненный человеческим присутствием. Об этом присутствии мы можем догадываться лишь по той особой возвышенности тона слов Учителя, которая выявляется безмолвием, – безмерно глубоким и долгим! – обтекающим эти слова. И еще мы можем различить его по непреходящему ощущению игры, в которую обращается жизнь, ставшая ритуалом. Конфуциевы предания – это игрушечное в своей условности царство, где с фантастической достоверностью свершаются великие события духовной жизни. В этом мире уже угадывается весь быт последующих поколений китайцев с его сонмом легких теней и узором изысканных жестов, просторами

вселенной, сжавшимися до размеров карликового сада, и речью, ожившей из вороха цитат. Быт доподлинно фантастичный и фантастически реальный. Душа мудрого, гласит древний китайский афоризм, – это чистое зеркало, в котором все люди опознают себя, не замечая, что смотрятся в свое отражение. Кто, как не мудрец, даст каждому свободу быть самим собой и не поставит это себе в заслугу?

Текст о Пути и Путь в тексте. Истолкование начальной фразы «Бесед и суждений»

Рассмотрев основные понятия и особенности мировоззрения Конфуция, попытаемся теперь ответить на главный вопрос конфуцианской мысли: почему возможна традиция или, говоря другими словами, какова природа реальности, которая не просто существует, а извечно возобновляется, передается в потоке времени? Случайно или нет, но лучший ответ на этот вопрос дает уже начальная фраза «Бесед и суждений»:

«Учиться и во всякое время претворять это – разве не радостно?..»

Эта знаменитая сентенция Конфуция связывает воедино познание, действие и подлинную награду всякого усилия и свершения – душевную радость и удовлетворение. Конечно, читатель волен видеть в словах Конфуция только житейскую мудрость, констатацию обыденного факта: приобрел знания – приложил их к делу – получил удовольствие. Бесхитростное высказывание Конфуция, столь характерное для его «речи, стремящейся к молчанию», не исключает, конечно, и такого наивного прочтения. Но подобный взгляд все же не был бы вполне рационален: он не помог бы понять причину приносимой учением сокровенной и непреходящей радости, которая составляет подлинную тайну Учителя. Тем более не помогает он понять, когда и как следует на практике применять познанное.

Не все так просто обстоит уже с понятием «учения» – первым словом в тексте «Бесед…», которое китайские толкователи единодушно считают ключом к пониманию всей книги. Дело в том, что для Учителя Куна, как уже говорилось, приобретение знаний и навыков было только первым и, по сути дела, лишь подготовительным этапом учения. Действительная же цель последнего заключалась в проявлении и правильной артикуляции нравственного сознания в человеке. Недаром Конфуций говорил, что все его наставления «пронизывает одна нить», которую нельзя обрести посредством чтения книг. Правда, нравственное совершенствование невозможно без образцов, каковыми для Учителя Куна, как мы уже знаем, служили деяния мудрецов былых времен. Согласно древним комментаторам, учение и означает «познание образцов былых времен», которое позволяет «осознать и понять себя». Более того, самое слово «учение» в китайском языке изначально родственно понятию «учиться у кого-то», «брать пример с кого-то». В одном из древних

толкований говорится о том, что учащийся должен «овладеть своими чувствами и помыслами посредством Пути прежних царей с тем, чтобы он сам пришел к пониманию и отверг заблуждения, принял истину и привел к завершению свою добродетель». Самый авторитетный в эпоху позднего Средневековья комментатор Чжу Си (XII в.) тоже подчеркивает, что учение – это прежде всего «наследование древним правителям». Наследование – чему? Понимание – чего? Явно ошибаются те современные толкователи и переводчики, которые видят здесь только призыв к «подражанию». Последнее просто несовместимо с пониманием, которое всегда дается нам как органическая целостность существования. И сам Конфуций с его проповедью нравственной самостоятельности мудрого и умения «соответствовать обстоятельствам времени», с его готовностью к разумному изменению обычая менее всего похож на робкого подражателя.

Мы должны говорить именно о на-следовании, воспроизведении реальности, которая предваряет, *предвосхищает* все внешние формы; реальности, которая должна быть воспроизведена по ее видимым «следам», подобным отблескам внутреннего света. Как говорится в китайском толковании, цель учения – «возобновить изначальное». Вот почему первая фраза древнего канона (это касается, конечно, не только «Бесед и суждений») имела для китайских книжников особое значение: именно в ней говорилось о том главном, что предшествует всякому предметному знанию и всякому опыту. Поскольку эта истина не есть нечто неподвижно-данное, она никому не принадлежит, а может только пере-даваться «от сердца к сердцу» прежде всяких слов и всякого понимания. Сама жизнь просветленного сознания есть не что иное, как это вечное и все же невидное движение от себя к себе.

В подлинно осмысленной речи каждое слово – лишнее. И все же слова необходимы, ибо они выявляют присутствие неизъяснимой правды одухотворенной жизни. На-следование истины становится возможным благодаря записям о деяниях мудрых царей древности. Особенности китайской иероглифической письменности предопределили то обстоятельство, что древние китайцы возводили письменные знаки и заключенный в них смысл не к умозрительным идеям, а к неким первозданным образам вещей – зыбким и летучим, почти неопознаваемым или, говоря языком китайской традиции, «утонченным до неразличимости». То были, по сути, образы неисчерпаемых метаморфоз бытия, вестники чистой качественности или, что то же самое, беспредельной предельности существования. Как воплощение этой силы

непрестанного превращения, ускользания вещей от самих себя, они составляли «узор мироздания», вездесущий *декорум* жизни. Так в китайской картине мира воображаемое и действительное, украшение и естество вещей не противостоят друг другу. И человеческие письмена – тоже носители этой неопределимой границы между телом и тенью. По преданию, их очертания вторят «следам драконов и змей, звериных когтей и птичьих лап на земле». Так понятие «образа» связывает воедино письменность и, следовательно, культуру с природной данностью жизни. Наследуя древним мудрецам, человек может получить доскональное знание всеобщего порядка мироздания.

Но почему деяния мудрых царей сохранились в истории? Причина в том, что они носили характер *события* в его исконном смысле: речь идет о со-бытии, об обоюдном преображении индивида и его вещественной среды, благодаря которому одно сходится с другим в определенном *типе* ситуации. Эта вечносущая, вознесшаяся над потоком времени ситуация несет на себе печать известного характера, в который возводит себя нравственно возвышенный муж. Обоюдная метаморфоза личности и среды – одновременно среда и средство морального усилия человека – приводит ее составные части к согласию не по их подобию, а по их внутреннему пределу. Иными словами, в этом согласии утверждается одно-единственное отличительное качество каждой вещи, которое составляет внутренний предел ее существования. По этой причине и становится возможной встреча несоизмеримых величин: внутренней глубины духа и внешних обстоятельств события. Помыслы мудрого и окружающая действительность, Небо и Земля смыкаются здесь благодаря тому, что их разделяет. Учение как на-следование древней (именно: всему предшествующей) мудрости есть выявление высшей, потенциально бесконечной гармонии мира.

Конфуцианский мудрец отнюдь не принадлежит к числу «убежденных» ретроградов и тем более к тем псевдообразованным людям, которые, по русской поговорке, «задним умом крепки». Напротив, его призвание – это «каждодневное обновление» *(жи синь),* способность открывать себя безмерности «зияния Небес». Сам Конфуций охотно менял букву обряда, если новшество не противоречило духу ритуального поведения. Скажем больше: сами обряды древних мудрецов, над восстановлением которых из века в век трудились придворные церемониймейстеры Китая, были в действительности лишь плодом импровизации этих книжников. Беда, впрочем, невелика, если учесть, что, как мы только что выяснили, в китайском миросозерцании воображение и действительность не

только не исключают друг друга, но и вовсе не различаются. «Понимание», которое добывается учением, вообще не есть сумма знаний. Конфуцианцы не уставали подчеркивать, что истины учения должны быть усвоены учеником так, как воздух и пища усваиваются организмом: они должны стать почти безотчетным побуждением души, своего рода моральным инстинктом. Добродетель – «вторая природа» мудрого. Вот почему знание для Конфуция принципиально неотделимо от деятельности, а по-настоящему образованный человек прямо-таки органично неспособен щеголять своей образованностью. Но понимание дает опыт *полноты бытия.* Это значит, что учится в действительности тот, кто расширяет свое сознание, включая в сферу мировой гармонии все больше явлений жизни, и в конце концов, по слову Мэн-цзы, оказывается способным «вместить в себя весь мир». Таков предел покоя и умиротворенности в человеке.

Посмотрим теперь на проблему учения-претворения во временном плане. Претворение неизбежно свершается во времени. Но в каком времени? Тут мнения толкователей расходятся. Одни из них понимают слова Конфуция так, что претворять учение – значит с полным сознанием делать любое дело, припоминая высказанное по этому поводу наставление знакомого нам Чэн И: «Сиди как сидишь, стой как стоишь». Другие толкуют упомянутое здесь «время» как удобный или благоприятный момент для действия. Оба толкования заставляют задуматься над тем, каким образом сознание может полностью соответствовать «обстоятельствам момента». Отметим для начала, что в китайском языке иероглиф «время» являет собой сочетание знаков «солнце», «земля» и «вершок», то есть имеется в виду длина тени от солнечного гномона и, следовательно, движение солнца со всем многообразием его воздействия, которое оно оказывает на жизнь земледельческого народа. Древние китайские комментаторы поясняют, что в данном случае понятие времени имеет три значения: возраст человека, время года и время суток. В зависимости от возраста ученика, времени года и суток изменяется и содержание его обучения. Таким образом, «обстоятельства времени» определяют и способ «осуществления учения».

Суждения китайских толкователей могут показаться наивными, но они по крайней мере показывают, что время в китайском восприятии всегда обладает определенным качеством и неотделимо от конкретного жизненного опыта. Время в таком случае – это сама сущность становления. Она не сводится ни к умозрительной длительности, ни к конкретному моменту, имеющему чисто практическое и преходящее значение.

Если предмет учения, по Конфуцию, есть единовременное преображение субъективного и объективного измерений действительности, а цель его состоит в утверждении определенных типов вещей (типов характеров, с одной стороны, и типов ситуаций – с другой), то в конфуцианской картине мира вообще не остается места для каких-либо неизменных субстанций и сущностей. В ней есть только извечная текучесть, чаяния и воспоминания, нечто «уже бывшее» и «еще не бывшее», причем то и другое тяготеет к своему пределу: память погружается в незапамятные глубины прошлого, предвосхищение соскальзывает в невообразимую будущность. В древнейшем конфуцианском трактате «Середина и Постоянство» мудростью названо именно умение различать «то, что идет впереди, и то, что идет следом». И в комментарии Чжу Си к рассматриваемой фразе первым делом сообщается, что в «осознании есть предшествующее и есть последующее». Китайские толкователи соотносят эту последовательность с человеческой историей, но ничто не мешает рассматривать ее и как условие самопознания. Иными словами, акт осознания всегда предполагает опознание со-присутствия «другого» и вместе с тем дистанции между двумя моментами собственного становления. Даже традиционная китайская наука не знала природных «явлений вообще», а соотносила всякое явление с двумя измерениями бытия: одно из них «предшествует небесному», а другое – «наследует небесному». Заметим, что после Ницше, учившего о вечном возвращении без повторения, современная философия хорошо уяснила себе тот факт, что именно воспроизведение, соотнесение себя с неким образцом является условием новизны. Современная же история со всей наглядностью удостоверяет, что революционные перемены в жизни обществ облекаются в оболочку древних мифов.

Что касается понятия «претворения», то древние толкователи просто отождествляют его с «совершенствованием». Между тем этот иероглиф содержит в себе элемент «крылья», и уже древнейший толковый словарь китайского языка, а вслед за ним Чжу Си уподобляют претворение «неустанным перелетам птицы с места на место» – неожиданный, но по-своему очень точный образ! От «уже бывшего» к «еще не бывшему» нужно, действительно, «перелетать», но речь идет и о преемственности в изменениях, ведь птица, перелетев на новое место, остается той же самой птицей. Более того, самое различие между двумя отсутствующими предметами – «уже бывшим» и «еще не бывшим» – не имеет объективных характеристик и остается чисто символическим. Оттого же незапамятная древность неотличима от невообразимого будущего, хотя одно несоизмеримо с другим!

Время в таком контексте предстает вечно отсутствующим водоразделом между несопоставимыми перспективами жизни. По существу, оно оказывается условием абсолютной конкретности существования и в этом смысле – силой типизации всех типов, предельностью всех пределов, вездесущей паузой, именно посрединностью, ускользающей *щелью бытия* (традиционный для китайской мысли образ), которая хранит в себе виртуальную завершенность времени, взятого в качестве Эона, и притом являет собою чистую силу становления. Здесь каждое мгновение оказывается дверью в вечность, началом предвечного Пути. Знаменательный штрих: по мнению некоторых китайских комментаторов, учащийся должен вкладывать все постигнутое им в одну точку «претворения», как птица отдает весь свой вес ветке, на которую садится… Как видим, завет Конфуция всякий час претворять учение не обязательно сводить к плоской назидательности. В нем просматривается апология бесконечной действенности, присутствующей в конечном действии. В позднейшей конфуцианской традиции такое всевременное мгновение стали толковать как «круговорот неуловимой точки духовной просветленности», который пребывает вне пространства и времени и воплощает движение «от себя к себе», некое чистое воздействие или, лучше сказать, чистую действенность, в которой друг друга проницают и замещают присутствующее и отсутствующее, актуальное и потенциальное, воображаемое и реальное. Речь шла, согласно традиционной формуле, о «спонтанном круговороте единого тела всего сущего». Ученый XVI века Ван Цзи уподобляет этот круговорот просветленного духа – одновременно исчезающе малый и необъятно большой – «светящемуся изнутри хрустальному дворцу», в котором становится возможен «сокровенный резонанс» всего сущего. Этот акт мгновенной встречи несходного не имеет формы и не оставляет следов, «подобно полету птицы», и в нем «несуществующее кажется существующим, а существующее – несуществующим». Мы снова встречаемся с образом полета птицы, служащим здесь метафорой абсолютного возобновления, то есть возобновления неповторяемого. Что заставляет вращаться этот круговорот «сокровенного резонанса», предвосхищающий движение всей вселенной? То, *как* бытие есть, сила бытийственности бытия, вечное уклонение бытийственной метаморфозы, само по себе неуклонное. Современный конфуцианский философ Сюн Шили вывел отсюда понятие «малого единства» бытия, которое воплощает чистую качественность момента, но охватывает собою весь мир, не имеет формы, но являет собой лишь «побуждение к обладанию

формой», совмещает в себе полную открытость и полную закрытость. Как чистая действенность вне субъекта и объекта, «малое единство» не может быть предметом умозрения, но доступно «аффективному знанию», которое проистекает из импульса первозданного круговорота Пути, а в повседневной жизни соотносится с динамическим единством нашего жизненного опыта.

Претворение учения – это не факт и не сущность. Свершение, как подсказывает сама семантика этого слова, предполагает совершинность вещей, соотнесенность несоизмеримого. Претворение учения, по Конфуцию, бесконечно превосходит человеческую субъективность, поскольку оно равнозначно непреходящей действенности или действию, охватывающему всевременность Эона. Неподвижность времени-Эона кристаллизуется в типовых качествах ситуации, в запечатленных преданием «обстоятельствах момента». Следовательно, Конфуциево понятие «времени претворения» – это не просто мгновение, одно из многих, а именно *должный момент,* который внутри себя содержит условия для своего возобновления, несет в себе время предшествующее и последующее. Можно сказать, что такой момент вмещает в себя всю жизнь человека, в нем человек делает себя покойным и необъятным, как Небо. Учитель Кун прав: поистине, нет ничего труднее, чем претворить учение, как нет ничего труднее быть достойным вечности…

Связь двух временных моментов во «времени претворения» превращает последнее в привычку. Уже у Конфуция это понятие может обозначать тот или иной уклад человеческой жизни, принятый в культуре. Интересно, что в позднем конфуцианстве (начиная с XVI в.) идея «претворения» *(си)* сближается с понятием индивидуальной привычки и приобретает негативный смысл: став признаком умственной косности, оно воспринимается уже как препятствие для духовного просветления. Подобная метаморфоза свидетельствует об углубившемся разделении между субъективностью и миром и, следовательно, о разложении конфуцианской традиции.

Что же можно сказать о последнем понятии начальной фразы «Бесед и суждений» – понятии радости того, кто наследует Пути и одновременно приуготовляет его? Эта радость явно относится и к учению, и к его претворению, что кажется вполне закономерным, ведь для Конфуция одно неотделимо от другого. Но теперь можно уточнить: радость в собственном смысле слова сопутствует учению как акту «преодоления себя», расширения сознания (в круговом или, точнее сказать, спиралевидном движении Пути), открытия новых и неизведанных горизонтов жизни. По

Конфуцию, мудрый «радуется Небу», то есть необозримой открытости бытия. А вот претворение, выявляя внутреннюю полноту, самоценность каждого мгновения существования, приносит высшее удовлетворение, делает радость *мудрой.* Вновь и вновь Учитель Кун напоминал ученикам, что высший мудрец прежде всего безмятежно-покоен и умеет наслаждаться жизнью.

По мнению китайских комментаторов, радость учения-претворения обусловлена тем, что «сердце совпадает с внешним миром» и при этом, разумеется, «все, постигнутое учением, заключено в нас самих». Что ж, сущность Конфуциева учения как раз и состоит в претворении себя и обстоятельств в тот самый тип ситуации, перед которым бессильно всепожирающее время.

Величайшая тайна Неба заключена в его безукоризненной и непреложной справедливости: Небо каждому дает именно то, что он заслуживает. И мудрому оно дает бессмертие. Как ни скромен Учитель Кун, он предлагает своим последователям великую награду уже в этой жизни: он учит, что человек может сделать себя бессмертным в своей *мудрой радости.*

Глава третья
Чины и богатства…

«Познав волю Небес…»

С тех пор как Учитель Кун возвратился на родину из поездки в Ци, жизнь его текла размеренно, неторопливо и безмятежно. Ничто не нарушало как бы стихийно сложившийся, но четкий и прочный уклад Конфуциева дома: беседы с учениками и встречи гостей, ученые занятия, семейные обряды, музицирование, хозяйственные заботы… Месяцы и годы проплывали мимо, словно бесконечная вереница холодно-бесстрастных облаков. В тогдашней жизни Учителя Куна как будто бы не было ничего особенного, и все-таки она была исполнена неизъяснимого, завораживающего смысла. Она была проста и непритязательна, но в ней не было ничего небрежного. А Конфуцию уже вот-вот исполнится пятьдесят – возраст мудрости и великих свершений. Кун Цю по-прежнему находился на положении частного лица – может быть, и уважаемого, но более чем когда-либо далекого от своей заветной цели: возрождения праведного Пути древних. С каждым годом у его недоброжелателей прибавлялось оснований называть его неудачником. Но с каждым годом росло число его преданных поклонников.

Кун Цю – неудачник? Это как посмотреть… И то верно, что неудача – самый надежный путь к успеху. За фасадом тихого, ничем не примечательного быта Учителя ни на день не прекращались упорная внутренняя работа, кропотливое духовное подвижничество, открывавшее Конфуцию все новые, ему одному ведомые горизонты. Близилось время, о котором он позднее скажет: «В пятьдесят лет я познал Волю Небес…»

Что это значит: «знать волю небес»? Много это или мало? Конфуций никак не пояснил свою самооценку. Ученики его даже сочли необходимым отметить особо: «Учитель не говорил о воле небес». Можно почти не сомневаться в том, что и признание-то свое Конфуций сделал только потому, что «к слову пришлось», да к тому же говорил он о деле прошлом и лишь его одного касавшемся. Только сам себя Учитель и мог судить. И суд его – загадка для нас. Но есть в предании еще слова, которые приписываются Конфуцию, и они гласят: «Кто радуется Небу, познает судьбу». И мы сразу же понимаем, что скромный образ жизни Учителя Куна и его незатейливые слова служат той самой неказистой с виду стеной быта, которая ограждает внутренние «дворцы души».

Конфуцию и в самом деле не пришлось долго подыскивать слова, чтобы определить свои достижения в пятьдесят лет. И понятие «неба» *(тянь),* и понятие «веления», «воли» *(мин)*

принадлежали к числу самых важных и распространенных в лексиконе чжоуской традиции. Термин *тянь* — чисто чжоуского происхождения, и на первых порах он обозначал, по-видимому, божественных предков чжоусцев. Древнейшие образчики этого знака являют собой картину просто необычайно большого – и, следовательно, очень важного, всемогущего – человека. Термин *мин* тоже часто встречается в надписях на чжоуских бронзовых сосудах для жертвоприношений и в древнейших канонах, где он обозначает «повеления», «приказы» предков, обращенные к потомкам. Несомненно, такие «повеления» наделялись чжоусцами как бы магическими свойствами: это был как раз тот самый случай, когда слово есть дело. Создав свою династию, чжоусцы придали понятию «воли Небес», как нам уже известно, новый смысл: теперь Небо решительнее осмыслялось как безличная моральная сила, которая награждает за добрые дела и дарует власть над миром достойнейшим из мужей. Оттого и правитель в чжоуском государстве именовался Сыном Неба. Если же государь дает волю своим корыстным желаниям, Небо вручает «повеление на царство» другой династии. Со временем Небо утратило черты личностного божества-предка и приобрело значение беспристрастного этического закона. А его прообразом в физическом мире остался небесный свод и все по той причине, что он, как любили напоминать древнекитайские моралисты, «беспристрастно укрывает собой всю тьму вещей». Конфуций употребляет слово *мин* и как отдельный термин, и тогда оно имеет смысл, близкий к значению русских слов «судьба», «доля», «участь». «Жизнь и смерть – это судьба», – говорит один из учеников Конфуция. Иначе говоря, судьба для Конфуция – это человеческая доля, которую невозможно познать или изменить по своей воле. Ее можно только принимать, храня возвышенное безмолвие.

Не будем недооценивать новизны представлений Конфуция о «воле Небес». Издревле чжоусцы, да и другие племена древнего Китая молили предков и богов о ниспослании им «счастья и удачи». Другими словами, отношения людей с божественными силами строились по принципу «взаимовыгодного обмена»: в качестве благодарности за поднесенные духам дары жертвователь ожидал вполне реальных земных выгод для себя. Еще каких-нибудь полвека спустя после Конфуция философ Мо-цзы высмеивал наивное желание иных своих современников «получить сразу сто милостей за одного жертвенного барана». Мо-цзы вовсе не думал, что духи неспособны принимать участие в людских заботах, он полагал только, что боги воздают по справедливости и не пошлют людям больше того, что те

заслуживают. Но в то же время в обществе быстро усиливалось скептическое отношение к самой идее «небесного воздаяния». Жизнь предоставляла подданным чжоуского государства все новые доказательства того, что божества-предки не хотели или не могли покарать отцеубийц, клятвопреступников, узурпаторов и прочих злодеев и притом не торопились помогать подлинно добродетельным мужам. Сам Конфуций, конечно, не разделял скептических настроений своего времени. Он ничуть не сомневался в том, что «небесное веление» действительно существует и что в нем воплощена высшая справедливость. Но он был столь же твердо убежден в том, что нравственный подвиг оправдывает сам себя и не нуждается ни в милостях, ни в наградах, что единственная награда добру – это само добро.

Учитель сказал: «Благородный муж думает о праведном Пути и не думает о пропитании. Он может трудиться в поле—и быть голодным. Он может посвятить себя ученью – и принимать щедрые награды. Но благородный муж беспокоится о праведном Пути и не беспокоится о бедности».

Тайная свобода Конфуция: она дает ему право голодать, выращивая хлеб, и не отрекаться от богатства, посвятив себя учению – самому бескорыстному из всех человеческих занятий. Она дарит затаенную радость среди всех житейских волнений и невзгод…

Было бы, однако, не менее ошибочным и переоценивать оригинальность представлений Конфуция о «небесном велении». Нравственная проповедь Учителя Куна придала новый размах давно уже проявившейся тенденции к обмирщению религии чжоусцев, замене религиозного идеала этическим. По Конфуцию, «Небесная воля» созвучна извечным устремлениям человека, поскольку и «Небесный путь», и человеческое сердце повинуются моральному закону. Жить согласно требованиям этики – значит осознавать свою принадлежность к миру в той же мере, в какой сознаешь свое отличие от других людей. Первый принцип этики гласит: уважение к другим неотделимо от уважения к себе. В этом, как мы видели, и заключается смысл Конфуциевой человечности, не имеющей психологического содержания, не несущей в себе ничего субъективистского. Той же моральной аксиомой оправдывался у Конфуция и ритуал, который в китайской традиции возводился, как нам уже известно, к недействованию, к возвышенному покою «грозно торжественного» вида, и требовал от тех, кто свершал его, самоуглубления и сдержанности. Парадоксальный вывод из посылки об этической природе «Небесного веления» состоит в том, что размежевание между «путем людей» и «путем Небес» служит в действительности

залогом их нерасторжимой связи. Для Конфуция истинное служение Небу выражается в служении людям, культура оказывается высшей формой религии. Когда его попросили объяснить, что такое мудрость, он сказал:

«Отдавать все силы служению людям, почитать духов и держаться от них в отдалении – вот это и есть мудрость».

По отзыву учеников, Конфуций «не говорил о чудесах и духах». Умолчание Учителя Куна о божественных силах, конечно, не означает, что он не верил в существование этих сил или не придавал им значения. Просто ритуал для него – внутреннее священнодействие, которое совершается лишь в сообществе людей. Приписывая религиозным культам этическое содержание, Конфуций порой на свой лад переиначивает старинные заповеди. Когда ему однажды напомнили древнее правило: «Поклоняйся духам, как если бы духи воистину присутствовали», он заметил, что обряд истинен лишь в том случае, если «мы сами приносим жертвы», иначе говоря – сами удостоверяем свое участие в церемонии и выполняем все необходимые для этого моральные предписания. В другой раз он говорит, что тому, кто пренебрег «Небесным велением», никакие молебны не помогут. Когда Цзы-Лу спросил его, как следует служить духам предков и божествам, он ответил:

– Ты еще не знаешь, как служить людям. Как же ты можешь знать, как нужно служить духам?

– А что такое смерть? – спросил вновь Цзы-Лу.

– Ты еще не знаешь, что такое жизнь. Как же ты можешь знать, что такое смерть? – все так же загадочно ответил Учитель.

Уклончивые высказывания Конфуция о Небе и загробном мире, а точнее нежелание Учителя говорить на эти темы, дают пищу для очень разных толкований и оценок. Некоторые ученые считают, что Конфуций был в лучшем случае равнодушен к чжоуской религии и стоял на позициях агностицизма, то есть непознаваемости божественного бытия. Другие, напротив, подчеркивают его приверженность к чжоуским культам и даже видят в нем основателя собственной религии. Обе эти точки зрения неубедительны. Западное прозвище «агностик» едва ли подходит китайскому мудрецу, который, по его собственным словам, «познал волю Небес». Но Конфуций, конечно же, не претендовал на лавры оракула и пророка хотя бы потому, что, по его убеждению, «Небо не говорит». И недаром он говорил ученикам, неумеренно его восхвалявшим, что он сам «не родился всезнающим, а всего добился благодаря любви к учению». Остается фактом, что он признавал существование духов, но делал акцент на нравственном и воспитательном значении

обрядов: этика для него заслоняла собой религию. Но верно и обратное: религия могла выступать от имени этики. В позднейшем предании сохранился сюжет, в котором со всей откровенностью отобразилось деликатное отношение Учителя Куна к традиционным образам. Однажды Цзы-Лу спросил Конфуция: «Обладают ли умершие сознанием?» Учитель ответил: «Если я скажу, что мертвые обладают сознанием, то, боюсь, сыновья и внуки, истово почитающие предков, будут стараться поскорее отправить живых к мертвым. Если я скажу, что мертвые не обладают сознанием, то, боюсь, легкомысленные потомки не позаботятся даже о похоронах своих умерших родителей. Сейчас тебе не так уж важно знать, обладают мертвые сознанием или нет. Рано или поздно ты сам об этом узнаешь». Вот так неопределенно но и – нельзя не видеть – на редкость здравомысленно рассуждал Учитель Кун о смерти. И ответ сумел дать откровенный и неоспоримый: умрешь и сам узнаешь (или не узнаешь – но тогда и спрашивать некому будет). Рассказ этот очень похож на анекдот, сочиненный для вящего литературного эффекта, но тем он и ценен. Последователи Конфуция словно нарочно подчеркивают нежелательность и даже невозможность ответить на вопрос о том, нуждаются ли усопшие предки в заботе их здравствующих потомков. Важно, что эта забота нужна самим потомкам.

Откуда все же такое нежелание определяться в вопросах веры? Причину, вероятно, надо искать в том, что конфуцианство – это своего рода псевдорелигия: оно трактует на религиозный лад жизненные принципы человека, но утверждает их моральную и культурную самоценность. Духовное подвижничество конфуцианского человека затвердевает в формах культуры – этой мозаике нетленных и общедоступных кристаллических сгустков жизни. Конфуцианцы во все времена с готовностью признавали, что бытующие в народе культы основываются на иллюзии, но иллюзии не только полезной для самих людей, но и неизбежной, и в этом смысле совершенно правдивой. Как ни странно, они смогли бы со всей серьезностью отнестись к известному афоризму Вольтера, который для многих европейцев звучит кощунственно: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». Быть может, они не сочли бы возмутительным и еще более дерзкое, сочащееся ядовитым сарказмом высказывание Стендаля: «Единственное оправдание Бога состоит в том, что его нет». Все же сами китайцы ничего подобного никогда не говорили, и это обстоятельство выдает фундаментальное различие между европейской и китайской традициями: первая отталкивалась от прометеевского самоутверждения мыслящего субъекта, вторая находила опору в

спонтанности народной жизни. Но спонтанности осмысленной и пресуществленной в неуничтожимые, стильные формы вещей.

Духовным наследникам Конфуция поэтому не было нужды ни доказывать существование духов, ни опровергать его. Они могли признать обе точки зрения условно истинными просто в силу того, что они уже приняты в обществе и от них зависит поведение людей. В сущности, уже сама ориентация Конфуция на ритуал – действие непременно образцовое и символическое – с неизбежностью превращала человеческое общение в некую игру, обмен условными знаками, где от партнеров требуются прежде всего знание и правильное выполнение своей роли. Для конфуцианского мудреца, идущего «срединным путем», всякое преходящее чувство и всякий зримый образ лишь условно реальны, ведь они скрывают в себе «подлинность» жизни – сверхличную Волю, безмятежность необозримо широкой души. Примечательно, что в отзывах об Учителе Куне, оставленных его учениками, постоянно подчеркиваются условность, наигранность его жестов. В кругу соседей Учитель «казался косноязычным», в разговоре с вышестоящими держался «как бы уверенно», а в обращении с подчиненными «был как бы мягок», в обществе государей «имел почтительный вид», а покинув дворец, «как бы успокаивался» и т. д. Конфуций, несомненно, осознает себя играющим, он что-то представляет. Что же именно? В конечном счете – самое присутствие воли, делающее человека вовек «одиноким», создающее дистанцию между человеком и миром, дистанцию самоотстранения в самом человеке. Акцент на зрелищности, демонстративности действия есть не что иное, как единственный способ поведать о внутренней глубине сознания. Конфуций, конечно, ничего не разыгрывает, ничего не представляет. Его сокровенная правда и есть его предельно очевидный, самоочевидный облик.

Учитель сказал: «Ученики мои! Думаете ли вы, что я что-то скрываю от вас? Нет, я ничего от вас не прячу. Я говорю вам лишь то, что вам самим ведомо».

И в самом деле: что может быть откровеннее и внятнее первичной интуиции жизни, изначальной непосредственности вашего опыта? Мудрость древних не загадочнее светлого неба, просторной земли или протянутой руки: она, по слову Учителя, всегда находится «совсем рядом», и тому, кто постигнет ее в своем сердце, восстановить порядок в мире будет так же легко, как «взглянуть на собственную ладонь». Это мудрость открытого и доверительного отношения к жизни, способность и умение жить в согласии с другими, быть самим собой как раз в той мере, в какой ты един с другими людьми.

Надо думать, совсем не случайно Конфуций был большим любителем пошутить, устроить состязание в стрельбе из лука, а при случае и сыграть партию в шашки, к тому времени уже вошедшие в быт ученых людей древнего Китая. В «Беседах и суждениях» записаны такие его слова:

«Поистине нелегко приставить к делу того, кто с утра до вечера только набивает себе брюхо. Уж лучше играть в шашки – куда полезнее безделья!»

Можно добавить, что с легкой руки Конфуция шашечная игра стала в Китае традиционным атрибутом «возвышенного» образа жизни. Перипетии шашечной партии слыли своеобразным прообразом противоборства мировых стихий, а время, в течение которого продолжалась игра, символизировало «небесное», космическое время, охватывающее вечность. В этом времени протекает истинная жизнь отрешенного от земной суеты мудреца.

Если для Конфуция представление есть сама жизнь и все символическое возвращается – и возвращает нас – к действительности, то и глубина Небес не может не изливаться на плоскость Земли. «Небо» – это не просто метафора верховного начала мироздания, непостижимой «великой пустоты», объемлющей все сущее. Метафора в своем пределе с необходимостью метафорична по отношению к самой себе; она оборачивается непосредственным свидетельствованием об истине. Правда, такую истину невозможно высказать словами. Ее можно лишь безмолвно удостоверять сердцем, опытом сознания, которое не просто знает, но еще и сознает. Небо как Судьба мирового круговорота и физическое небо – небосвод, конечно, не одно и то же, но одно и неотделимо от другого. Да и само понятие неба наилучшим образом выражает идею вечного самопревращения, перехода в инобытие: небо бездонно, но и являет собой границу мира; оно совершенно прозрачно, но сокровенно в своей бесконечности; оно абсолютно пусто, но вмещает в себя весь мир и потому являет собой предельную полноту бытия.

Всеобъятно-пустотное Небо не есть отдельная сущность, не существует обособленно от мира и потому не может быть особым «предметом» созерцания или суждения, но оно целиком дается нам в явлении светлого купола, со всех сторон окружающего нас. «Разве Небо говорит? А ведь времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет…» Светила в небесах, по представлениям древних китайцев, образуют «небесный узор» *(тянь вэнь),* и этот зримый образ мирового согласия полностью подобен «узору» человеческой культуры *(вэнь),* как образу стилизованной и доставляющей эстетическое наслаждение жизни.

Конфуций потому и стал отцом китайской традиции, что он каждой черточкой своего поведения, каждым своим словом давал понять, что в мире существует всеобщий порядок, проницающий в равной мере природу и человека, материальное и духовное, и этот порядок воплощен в незыблемых законах роста всего живого и в жизни самого сознания. Духовное свершение для Конфуция – это просто сполна прожитая жизнь.

Исследователи древней литературы и фольклора часто отмечают, что сюжеты мифов и сказаний имеют своим прототипом годовой цикл, знаменующий периодическое воскрешение и умирание природы. А вот в наследии Конфуция мы встречаемся с прямо противоположным ходом мысли. Конфуций не стремится преобразить реальность в миф, а скорее обнажает действительные предпосылки мифа, низводит священное до естественного течения жизни со всеми его биологическими, психическими, космическими закономерностями. Разговоры Учителя Куна о Небе – а точнее, как раз умолчание об этом – есть своего рода антимиф, где повествование предстает молчанием, а эпическое – обыденным. Мы видим здесь начала той магистральной линии китайской традиции, которая выразилась в конфуцианском идеале «пребывания в срединном и обыденном» или в известном изречении средневековой эпохи: «обыкновенное сознание – это и есть правда». Сокровенно небесный образ человека преломляется в его земном, очевидном для всех физическом облике: явить его миру – значит в самом деле показать «свои руки и ноги». Будем помнить: не только при Конфуции, но еще и много столетий спустя китайцы были уверены, что истинная мудрость обязательно имеет свои отметины-знаки на теле мудрецов.

Так повседневность оказывается для Конфуция не просто нагромождением случайных, утомительно бессмысленных эпизодов. В глубине потока жизни вьется нить «Небесной судьбы», и эта судьба доступна человеческому знанию, хотя мудрый не знает ее как некий отвлеченный «предмет», а постигает «чутьем сердца». Но чем менее способен мудрый поведать другим о тайне «Небесного веления», тем больше в нем уверенности в обладании этой глубочайшей правдой жизни. Как бы ни был жесток и лжив мир вокруг, какие бы невзгоды и тяготы ни выпадали на долю Конфуциева мудреца, он не ропщет и не отчаивается. Его жизнь кажется ему бесконечно осмысленной. В этой судьбийности своей жизни он находит великую опору и защиту. Даже в минуты смертельной опасности Конфуций не терял самообладания. Он говорил тогда, что Небо не допустит его гибели. Он «знал веление Небес…».

Знать, чего требует «Небесная судьба», – значит иметь в жизни свой Путь. Вот это понятие Пути *(дао)* стало ключевым для Конфуция, не отделявшего свое учение от своей судьбы. В текстах раннечжоуской эпохи слово *дао* чаще всего обозначает дорогу; реже оно имеет значение «вести», «говорить», «порядок действий». Конфуций первым заговорил о *дао* как о «праведном пути», жизненной правде, которая стоит выше людских мнений и всей «тьмы низких истин». *Дао* у Конфуция – это правда каждого отдельного человека и народной жизни в целом. Существует и «Небесный путь», в котором претворяется всеобщий порядок мироздания. Конфуций говорил о себе, что у него есть «свой Путь»; он часто давал ученикам совет, как им нужно поступать, если в государстве «есть Путь» или «нет Пути». Он заявлял, что «лучший советник – тот, кто в служении государю следует Пути», и т. д. Праведный Путь, по Конфуцию, невозможно претворить силой или угрозами; он проистекает из духовного подвижничества каждого человека и неотделим от глубочайшей интуиции человеческой сообщительности. Истинный Путь в жизни, утверждал Конфуций, берет начало в человеческой природе и проявляется благодаря правильно выстраиваемым связям человека с другими людьми. В понимании мудрости и праведной жизни как Пути есть и особый смысл: идея пути указывает на скрытую, «отсутствующую» дистанцию между символическим и действительным, «небесным» и «человеческим» в Конфуциевой картине мира, но также и на смыкание, даже взаимопроникновение того и другого. Такое понимание отчетливо выразилось в книге «Середина и Постоянство», где мы читаем, например:

«От праведного Пути невозможно отойти ни на миг, а то, от чего можно отойти, не может быть праведным Путем…

Даже невежественные мужчины и женщины могут претворить праведный Путь, но истоки его не под силу постичь даже величайшему мудрецу…»

Путь мудрого, по Конфуцию, – это способность «одним шагом», «в одно мгновение» пройти дистанцию между тем, что «лежит рядом», и беспредельностью, нанести знаки вечности на ширму зримого мира. Именно так, кстати сказать, понималась в Китае работа каллиграфа или художника, который, согласно классической сентенции, своей кистью наносил на бумагу «след, тянущийся на тысячи ли и уходящий в недостижимую даль…». Впрочем, на поверхности видно только «то, что лежит совсем рядом». Конфуций любил повторять, что в мире нет ничего более естественного, чем праведный Путь, и нет ничего более удобного, чем идти этим путем. Однажды он так и объявил – и шутливо, и

печально – ученикам:

«Кто может выйти из дома, не пройдя через дверь? Так почему никто не идет этим путем?»

Намек Учителя Куна совершенно ясен: праведный Путь – это самый простой и естественный выход из мира смуты и обмана.

Но, как говаривал Мережковский, «пошло то, что пошло». Праведный Путь – всегда не тот, которым идет толпа.

Истина совершенно неопровержимая. Конфуций настолько свыкся с нею, что мог даже, хоть и не без горечи, шутить по поводу своей неудачи в мире:

«Мой путь не проходит… Сяду на плот и поплыву в океан…»

Конфуций верил, что показать пример праведного пути – единственный способ исправить нравы и что перед благотворным воздействием такого примера не устоят даже самые грубые и невежественные люди. Во всяком случае, он считал, что таким способом можно воспитать «варваров» на восточных окраинах чжоуского государства – людей, настолько мирных и восприимчивых к древнекитайской цивилизации, что многим современникам Учителя Куна они казались настоящими «добрыми дикарями», сохранившими первозданную чистоту и целомудрие души. В «Беседах и суждениях» записан и такой сюжет:

Учитель хотел поселиться среди девяти варварских племен на востоке. Некто спросил его: «Как же вы будете ладить с этими дикарями?» Учитель ответил: «Если там поселится благородный муж, то какая там будет дикость?»

Будем считать, что разговор этот был вызван минутной слабостью Учителя Куна. Все-таки Учитель мечтал возродить древние нравы в Срединной стране. Да и какой смысл бежать? Разве нужно ехать далеко, чтобы найти себя? Благородному мужу подобает воспитывать людей там, где он находится, – только так и может он доказать свою праведность. Хотел ли Конфуций власти, признания его заслуг владыками мира сего? Без сомнения, да. Это подтверждает его разговор с Цзы-Гуном, выдержанный в обычной для Учителя иносказательной манере.

– Если бы у вас была драгоценная яшма, то что бы вы сделали с ней? Сохранили бы в шкатулке или подыскали на нее покупателя? – спросил Цзы-Гун.

– Конечно, подыскал бы покупателя! – без раздумий откликнулся Учитель. – Видишь ли, я только жду, когда за нее назначат достойную цену…

А «покупателя» на Учителя Куна все не находилось… И он, во всеуслышание объявивший, что «добродетель никогда не будет в одиночестве», что благородный муж перевоспитает даже дикарей,

был вынужден у себя на родине довольствоваться ролью стороннего наблюдателя. Славы он добился, а мир не переделал. Тут немудрено и отчаяться. Но Конфуций уже «знает веление Неба». И он знает, что только он сам может его исполнить.

Учитель сказал: «Человек возвеличивает Путь, а не Путь возвеличивает человека».

Конфуций знает, каким должен быть мир и каким должен быть он сам. Правда, в мире есть еще просто судьба – то, каков мир в действительности. С такой судьбой Учителю Куну нелегко примириться. Порой его охватывает здоровое чувство возмущения царящими вокруг ложью и произволом. Разве виноват он, что повсюду у власти узурпаторы и ничтожества? Чванливые царедворцы называют его неудачником и мечтателем. Но в целом царстве не найти человека столь же умиротворенного. Он знает, что нет большего счастья, чем быть самим собой.

Ничего не добившийся и ничуть не сомневающийся в себе, разочаровавшийся в «князьях мира» настолько, что впору к дикарям бежать, и ненаигранно безмятежный, всем известный и скрывшийся от мира – вот таким удивительным, ни на кого не похожим человеком был Учитель Кун в свои неполные пятьдесят лет…

Снова на службе

Пятнадцать лет пролетели как один день, ничего по видимости не изменив в жизни Учителя. Разве что прибавилось морщин на лице, проступила седина на висках да чуть тяжелее стали его шаги. Но все так же блестели его выпученные глаза и вытягивались в доброй улыбке толстые губы. По-прежнему он был со всеми приветлив и весел, хотя держался независимо и не позволял себе ни малейшей расслабленности. Он научился спокойно ждать и не терял надежды, что его час придет. В сущности, он уже давно мог занять какую-нибудь приличествующую его репутации должность при дворе, но сам недвусмысленно давал понять окружающим, что не пойдет на службу, пока в царстве не восстановится законная власть. А вообще-то он понимал, что при дворе найдется немало охотников воспользоваться его славой и недюжинными знаниями. Недаром он говорил ученику, что «ждет достойного покупателя» на свой товар.

Между тем владычество «трех семейств» оказывало все более губительное воздействие на политику и нравы в родном царстве Конфуция. Возведение на трон Дин-гуна в обход законного наследника на много лет превратило дворец луских царей в арену ожесточенных интриг и конфликтов, а взаимное недоверие и подозрительность участников одиозного триумвирата грозили превратить тлеющие угли дворцовых раздоров в пламя открытой войны. Впрочем, не было мира и внутри каждого из могущественных кланов, где не утихала столь же ожесточенная борьба за верховенство. Так продолжалось не год и не два, но долго так продолжаться не могло.

Летом в третий год правления Дин-гуна – то бишь в 505 году до н. э., – когда Конфуцию шел сорок седьмой год, глава клана Цзи и самый могущественный человек в царстве Цзи Пинцзы затеял в своих владениях большую охоту и в самый ее разгар неожиданно умер. Не успели предать земле тело вчерашнего диктатора, как столь же внезапно скончался предводитель клана Сунь – второго по величине и влиянию. В обоих случаях наследниками покойных оказались еще совсем молодые люди, не обладавшие ни опытом политических интриг, ни железной волей, ни административным талантом. Как водится, разгорелись споры о наследовании. Всеобщим замешательством воспользовался бывший приближенный и доверенное лицо Цзи Пинцзы по имени Ян Ху. Это был типичный выскочка, каких тогда было уже немало: человек низкого происхождения, профессиональный воин,

грубоватый и не слишком умный, наделенный огромной физической силой, незаурядными способностями и непомерными амбициями. Не прошло и нескольких месяцев, как он прибрал к рукам командование войском клана Цзи, заключил в темницу или отправил в ссылку почти всех людей из окружения своего бывшего господина и даже взял под стражу его преемника – юного Цзи Хуаньцзы. Вскоре он навязал своему пленнику договор, предоставлявший ему почти неограниченную власть в царстве, а для вящей убедительности отобрал у Цзи Хуаньцзы царскую ритуальную табличку – главный символ державной власти в Срединной стране. Чтобы укрепить свои позиции, он постарался первым делом ослабить своих возможных противников. Способ он выбрал самый надежный: в нарушение обычая объявил вождями кланов Цзи и Сунь отпрысков их побочных ветвей, подлив масла в огонь внутриклановой вражды. Кроме того, он восстановил прежний порядок расположения поминальных табличек в родовом храме правителей Лу, так как в свое время Цзи Пинцзы незаконно переставил таблички своих предков на более почетные места. Так Ян Ху дал понять всем добрым подданным Лу, что его бывшие хозяева лишались привилегий, которые присвоили себе. А потом он велел устроить торжественное жертвоприношение в царском храме, дабы создать себе репутацию верного слуги трона.

Ян Ху добился власти с поразительной легкостью. Он даже сумел отразить нашествие извне и вернуть захваченный цисцами пограничный городок Янгуань. Но можно не сомневаться в том, что удержаться у власти ему было очень трудно. Этот баловень судьбы отчаянно нуждался в опытных и авторитетных советниках. Вот тут он и обратил взор к самому известному ученому царства. Некоторые китайские комментаторы считают, что этот Ян Ху был тем самым привратником семейства Цзи, который много лет тому назад не пустил совсем еще юного Кун Цю на званый пир в доме своего господина. Возможно, памятуя о той давней встрече и желая загладить свою вину, а скорее всего отлично зная, сколь взыскателен Учитель Кун в своих знакомствах, Ян Ху постарался вести себя как можно учтивее. Он послал Конфуцию приятный сюрприз – зажаренного целиком и вымоченного в тончайших соусах поросенка, позаботившись о том, чтобы подарок доставили в тот момент, когда Конфуция не было дома и, стало быть, он не мог отвергнуть подношение. Теперь Конфуцию, дабы не показаться невежливым, следовало нанести Ян Ху благодарственный визит. У Конфуция, конечно, не было никакого желания встречаться с новоявленным временщиком, и он тоже сделал так, чтобы, явившись в дом к Ян Ху, не застать хозяина на месте. Но Ян Ху не привык отступать. Спустя некоторое время его

колесница «случайно» столкнулась на узкой улочке с экипажем Учителя Куна. Сойдя на землю и отвесив вежливый поклон, он тут же завел с почтенным Куном деликатный разговор о том, что пора бы знаменитому учителю найти своим талантам более достойное применение.

– Скажите, уважаемый Учитель Кун, – начал Ян Ху, – благородно ли обладать драгоценной яшмой и не назначать за нее высокую цену?

– Нет, – ответил Конфуций.

– А мудро ли желать оказать услугу государству и не воспользоваться благоприятной возможностью для этого?

– Нет, – все так же односложно отвечал несловоохотливый Конфуций.

– Ну так время не ждет, дни и месяцы уходят невозвратимо! – торжествующе заключил Ян Ху.

– Хорошо, я принимаю предложение служить, – все так же спокойно вымолвил Учитель Кун.

Многие поколения поклонников Конфуция смущенно гадали о том, что побудило их учителя, умевшего так мужественно постоять за себя в других обстоятельствах, без сопротивления уступить уговорам наглого узурпатора. Возможно, самый простой ответ будет и самым правильным: в разговоре с Ян Ху Конфуций действительно был до конца искренен, ибо говорил то, что требовалось говорить в подобных обстоятельствах, и притом не изменял своим убеждениям. Нет никаких оснований полагать, что, окажись Конфуций на службе у Ян Ху, он отказался бы от своих принципов и стал пособником произвола. Наверное, это хорошо понимал и сам Ян Ху, потому что обещанную Конфуцию должность он так и не предложил.

Не исключено, что уступчивость Конфуция подтолкнула Ян Ху к более решительным действиям. Во всяком случае, через некоторое время он решил вовсе избавиться от Цзи Хуаньцзы, задумав казнить его на осеннем празднике чествования предков. Казнить политических врагов в день большого праздника считалось тогда хорошим тоном: казнь в таких обстоятельствах приобретала какую-то особую торжественность. Уверенный в успехе своего дела, Ян Ху не отказал себе в удовольствии устроить очередной фарс: он распорядился доставить жертву на место казни в богато украшенной колеснице и в сопровождении безоружных слуг. Днем раньше он уже отдал приказ собрать на главной площади Цюйфу все боевые колесницы царства, чтобы сразу после убийства Цзи Хуаньцзы дать большой военный парад в собственную честь. Но случилось непредвиденное: по дороге на площадь Цзи Хуаньцзы, прознавший об уготованной ему участи,

сумел ускользнуть от своего почетного эскорта и укрыться в доме семейства Мэн. Дружина клана Мэн без труда рассеяла преследователей Цзи Хуаньцзы, а в столице тут же составилось внушительное войско, готовое отомстить Ян Ху за все обиды, нанесенные им «трем семействам». Теперь «сильному человеку» царства пришлось спасаться бегством самому. В бессильной ярости Ян Ху учинил разгром в царском храме предков и, питая, как все выскочки, слабость к регалиям, забрал с собой главные реликвии луского двора – царскую яшму и лук Чжоу-гуна. Засим он покинул Цюйфу, не отказав себе в удовольствии заночевать прямо в предместье столицы, почти на виду у своих врагов. На следующее утро он переоделся в гражданское платье и умчался на север – туда, где принимали всех смутьянов и свергнутых диктаторов Лу. Этим местом был, конечно, двор циского правителя Цзин-гуна. Там беглый узурпатор пытался сколотить войско для похода в луские земли, но успеха не имел. В конце концов Цзин-гун отправил его в ссылку, а реликвии Лу вернул законному владельцу. До места ссылки Ян Ху не доехал: по дороге он сломал своими могучими кулаками оси колесницы, в которых ехала его охрана, и благополучно сбежал в царство Цзинь. С тех пор он промышлял разбоем.

Бегство Ян Ху не положило конца смуте в луских владениях. Слишком уж низко пал авторитет «трех семейств», а сам государь не имел сил справиться с беспорядками. Не успели вожди «трех семейств» отпраздновать свою победу, как один из воевод клана Цзи по имени Гуншань Фуцзяо снова поднял мятеж и завладел главной крепостью во владениях своих патронов. Прежде Гуншань Фуцзяо числился сподвижником Ян Ху, хотя, по-видимому, не одобрял разбойничьих повадок своего командира. Однажды он даже потребовал от Ян Ху относиться с должным почтением к законному государю. Очень может быть, что и на сей раз он выступил под знаменем реставрации власти потомков Чжоу-гуна. Человек военный и почти неизвестный в столице, он не мог и мечтать об успехе своего предприятия, не заручившись поддержкой влиятельных людей царства. Подобно Ян Ху он задумал привлечь на свою сторону Конфуция, но в отличие от своего бывшего патрона не стал вступать с Учителем Куном в двусмысленные переговоры, а без обиняков прислал к нему гонца с предложением стать первым советником в возрожденном царстве Лу, которое он, Гуншань Фуцзяо, завоюет для Дин-гуна своим мечом.

А что же Учитель Кун? Если верить одному из сюжетов в «Беседах и суждениях», он не устоял перед искушением применить наконец свои способности в деле и решился поехать к

Гуншаню Фуцзяо. Ученики были в полном замешательстве: всю свою жизнь Учитель был так щепетилен в выборе друзей и покровителей, а тут вдруг по первому зову готов бежать к командиру захолустной крепости, которого ждет неминуемое поражение. Особенно негодовал прямодушный и вспыльчивый Цзы-Лу. «Очень может быть, что нам некуда идти, но почему мы должны идти к такому ничтожному человеку, как Гуншань Фуцзяо?» – горячился он. Цзы-Лу, как всегда, рассуждал просто, не отягощая себя излишними сомнениями: восставать против своего господина нехорошо, а Гуншань Фуцзяо именно так и поступил. Следовательно, он вовсе не борец за «праведный Путь», а обыкновенный изменник. Учитель Кун мог бы возразить в ответ, что ведь Чжоуская династия началась с восстания вождя чжоусцев против династии Шан. К тому же патроны Гуншань Фуцзяо сами не отличались благочестием: кто, как не они, ввергли Лу в пучину смуты, изменив заветам древних царей? Разве не они отняли власть у законного государя и обрекли на изгнание многих достойнейших мужей царства? Чжоуская держава началась с небольшого удела. Кто знает, размышлял Конфуций, а вдруг и на этот раз из крошечного владения вырастет могучее царство и добродетели древних восторжествуют вновь? «Тот, кто меня призвал, сделал это неспроста, – рассуждал Конфуций вслух. – Если он сообразит, как лучше меня использовать, я сумею возродить здесь, на востоке, власть Чжоу!» Признание, что и говорить, примечательное, с редкостной откровенностью показывающее, как высоко оценивал Учитель Кун свои способности, как верил он в свое высокое назначение стать новым Чжоу-гуном.

Впрочем, Конфуций, быть может, просто советовался с учениками или даже соблазнительными речами испытывал их добродетель. К Гуншань Фуцзяо он так и не поехал, да и замыслы мятежников были явно неосуществимы. Но обращение взбунтовавшегося воеводы к знаменитому учителю не осталось незамеченным при луском дворе. Однажды утром у ворот дома Конфуция раздались торопливые удары гонга, а следом во двор вошел гонец, державший в руках верительную бирку государя и шкатулку с царским посланием. Дин-гун приглашал Учителя Куна на аудиенцию. Это Цзи Хуаньцзы от имени правителя спешил привлечь к себе Конфуция, опасаясь, как бы тот и в самом деле не ушел в стан мятежников. Возможно, для этого приглашения имелись и другие причины: некоторые из учеников Конфуция уже служили под началом того же Цзи Хуаньцзы, и в таких условиях не призвать на службу их учителя было уже почти позором и для них, и для их начальников.

После многих лет «отдохновения на досуге» судьба давала Учителю Куну шанс «помочь народу, исправить мир». Ослушаться государя было бы большой глупостью да и непростительной дерзостью. На следующий же день Конфуций пошел знакомым путем к царскому дворцу. Вот массивные ворота, укрытые высокой двухъярусной крышей с резными карнизами. Стражники в блестящих латах, с длинными пиками в руках. Обсаженная кипарисами аллея среди просторного двора. Еще ворота с высоким порогом и еще один двор. Дорожка к крыльцу большого здания с красными колоннами по всему периметру. Ступеньки в полумрак тронного зала. Выстроившиеся рядами знатные люди царства в шуршащих шелковых одеждах. Где-то высоко сидит на троне государь, лицо его скрыто за блестящими нитями, спадающими с его шапки. Перед троном Конфуций опускается на колени и склоняет голову, касаясь лбом пола. В гулкой тишине зала звучат приветственные слова государя, а потом следует неизбежный на подобных церемониях вопрос:

– Единственный хочет знать, существует ли на свете такое изречение, которое приведет государство к благоденствию?

– Одним изречением благоденствия в государстве не добиться, – неспешно отвечает Конфуций. – Но вот, осмелюсь доложить, есть такие слова: «Быть правителем тяжело, быть советником отнюдь не легко».

В зале воцарилась неловкая тишина. Сановники недовольны: ответ этого заносчивого Кун Цю граничит с оскорблением царской особы. Желая сгладить неприятное впечатление от слов Конфуция, Дин-гун задает еще один вопрос:

– Ну а есть ли такое изречение, которое приведет царство к гибели?

– Одним изречением царство не погубить, – отвечает Конфуций. Но вот, осмелюсь доложить, есть такие слова: «Счастье правителя в том, что ему никто не смеет перечить!»

Что и говорить, дипломатического такта Конфуцию явно недостает. Но Дин-гун, конечно, даже намеком не выказал своего недовольства. У таких аудиенций свои правила, и их нужно соблюдать. Похвалив Конфуция за мудрые советы и пообещав глубоко вникнуть в них, Дин-гун выразил пожелание иметь у себя на службе столь выдающегося ученого мужа. Разумеется, семейство Цзи впредь не будет вспоминать о былых обидах и даже возьмет Учителя Куна под свое покровительство. Тут же Конфуцию предложили пост правителя города Чжунду. Это назначение оставляло Конфуция за чертой большой политики, но давало ему почти неограниченную власть на вверенной ему территории. Кажется, оно было вызвано желанием достичь

определенного компромисса: с одной стороны, у Конфуция появлялась возможность показать себя в деле, с другой стороны – он не будет досаждать приближенным Дин-гуна, да и служить ему придется под началом Цзи Хуаньцзы.

Так в жизни Конфуция начался новый этап: карьера государственного мужа. Это случилось, вероятно, в начале 501 года до н. э., в то самое время, когда Учитель Кун, по его собственным словам, познал в себе Небесный промысел.

В те далекие времена – как, впрочем, и позднее – местные правители в Китае совмещали в своем лице все виды власти и в административных делах были мастерами на все руки: ведали сбором налогов и строительством оросительных сооружений, казенным делопроизводством и торговлей, заботились о процветании земледелия, вершили суд, командовали войсками, надзирали за учебными заведениями и вообще входили во все вопросы местной жизни. В «Беседах и суждениях» нет никаких сведений о том, как Учитель Кун исполнял свои административные обязанности, что и неудивительно, поскольку из этой книги почти ничего нельзя узнать о тех сторонах жизни Конфуция, которые не имели прямого отношения к его учительской практике. Но позднейшее предание с избытком восполнило этот досадный пробел. В нем сохранилось множество колоритных, подчас курьезных известий о делах Учителя в его бытность правителем Чжунду. Конечно, не бывает предания без вымысла и легенд, и далеко не все из того, что приписывается в нем великому учителю, имеет под собой реальную почву. Но у традиции своя правда – правда наиболее типичных, родовых и потому непреходящих черт народного быта. И Конфуций предстает в ней как идеальный, образцовый чиновник – мудрый, строгий, справедливый и участливый. Он делает то, что должно быть сделано. И для хранителя традиции, в конце концов, не так уж важно, было ли это сделано в действительности.

Но что же именно сделал Учитель Кун, заступив на должность правителя Чжунду? Рассказывают, что по приезде на место назначения он первым делом навел порядок в налогообложении, так что доходы местной управы многократно увеличились, а тяготы народа, напротив, уменьшились. Для людей разных возрастов он установил различные рационы питания, предписав юношам есть больше зерновой пищи, а стариков вдоволь снабдив свининой и бараниной, ибо мясо, как верили в старом Китае, дает пожилым людям силы и продлевает их жизнь. Он разделил все земли в зависимости от их плодородия на пять категорий, а отбирая работников для несения трудовых повинностей, каждому давал посильное задание, слабых же

вообще освобождал от работ. Ради экономии средств он запретил изготавливать орудия, украшенные орнаментом или фигурками зверей. Он следил за тем, чтобы торговцы на рынках пользовались правильными мерами и устанавливали справедливые цены, а пастухи по дороге на торг не поили стадо, чтобы увеличить вес своих баранов. Как истинный любитель древности, Учитель Кун даже запретил подделывать старинные жертвенные сосуды. Разумеется, новый управляющий уделял пристальное внимание заботе детей о своих родителях и усопших предках. Он повелел хоронить покойников в двух гробах, чтобы по возможности предотвратить разложение тела, и сам установил толщину стенок внутреннего и внешнего гробов. Молва приписывала ему введение обычая хоронить покойников на склонах холмов и запрет сажать на могилах деревья. Еще Конфуций прослыл противником чересчур пышных похорон и в особенности человеческих жертвоприношений, все еще нередких в те времена.

Очень скоро весть об успешной деятельности Конфуция на посту правителя Чжунду облетела все царство, а наместники соседних областей, если верить преданию, принялись усердно подражать его методам управления. Узнал об успехах Конфуция-администратора и царский двор. Дин-гун вызвал Конфуция к себе и спросил его: «Годятся ли порядки, заведенные вами, для всего царства?» – «Они годятся для всего мира! Зачем ограничиваться только лускими владениями?» – ответил Конфуций. И тогда Дин-гун назначил удачливого администратора главой ведомства общественных работ в своем царстве. На новой должности Конфуций установил, где и как нужно сеять хлебные злаки, а заодно переселил множество крестьян на пустующие земли. Еще он соединил канавой могилу Чжао-гуна с родовым кладбищем правителей Лу, якобы заявив Цзи Хуаньцзы: «Обвинять в прегрешениях своего государя и тем самым обнажать собственную вину – значит, нарушать ритуал. Ныне я соединил могилы наших правителей, чтобы предать забвению самоуправство вашего отца». Речи слишком дерзкие для подчиненного и к тому же мало похожие на осторожные, щадящие самолюбие собеседника высказывания настоящего Конфуция. Но из уст праведника, снискавшего славу Учителя всех времен, услышать их вовсе неудивительно.

По некоторым рассказам, Конфуций настолько преуспел в руководстве хозяйственным ведомством, что уже через несколько месяцев Дин-гун назначил его на должность придворного судьи. В «Беседах и суждениях» опять-таки нет никаких упоминаний о деятельности Учителя Куна на этом видном посту, который

обычно занимали люди куда более родовитые, чем Конфуций. Достоверно известно, однако, что в то время Конфуций действительно занимал какой-то высокий пост при дворе и был довольно близок к государю. В «Беседах и суждениях» помещен портрет Учителя в его бытность придворным чиновником. Портрет этот, как водится, составлен из разрозненных, экспрессивных штрихов, но мы без труда различим в нем живого, обаятельного человека, чья необыкновенная скромность и педантичное выполнение служебного долга выдают обостренное чувство собственного достоинства.

Когда Учитель разговаривал с подчиненными, он держался как бы непринужденно-дружески. Когда же он обращался к вышестоящим, то был как бы вдохновенно-почтителен. В присутствии же государя он был преисполнен как бы возвышенного смирения…

Когда государь приказывал Учителю принять гостей, его лицо как бы преображалось, и он словно неуверенно ступал по земле. Когда он отвешивал приветственные поклоны и поводил рукой то вправо, то влево, одежды его так изящно развевались в воздухе. Навстречу шел, словно летел на крыльях, а проводив гостей, обязательно докладывал: «Гости больше не оглядываются!»

Входя в ворота государя, Учитель как бы весь сжимался, словно с трудом мог пройти.

В воротах он никогда не стоял посередине и не ставил ногу на порог.

Когда ему случалось проходить мимо трона, он принимал вид строгий и торжественный, ступал как будто в нерешительности и говорил, как бы с трудом подыскивая слова.

Когда он, подняв полы платья, поднимался к подножию трона, то с почтением подавался весь вперед и стоял затаив дыхание. Когда же он шел обратно, то, спустившись на одну ступеньку, как будто приходил в себя, успокаивался. Спустившись с лестницы, он ускорял шаг, точно летел на крыльях. Вернувшись на место, стоял, исполненный достоинства.

Когда он принимал из рук государя яшмовый скипетр, то наклонялся вперед, словно едва мог удерживать его. Сверху держал он скипетр так, словно отвешивал поклон, снизу поддерживал его так, словно подносил подарок. Тогда имел он облик возвышенный и грозный, словно его переполняли благоговение и страх, шел осторожно, как будто не решаясь оторвать ноги от земли.

Когда он подносил подарок, то всем видом являл радушие.

Встречаясь с друзьями, он был неизменно весел.

И снова эта загадка не то феерического, не то вполне обыденного образа Учителя Куна. Поведение Конфуция

развертывается перед нами чередой стилизованных, чрезвычайно выразительных жестов, обретающих значение материализованных форм чувства, настоящей пластики духа. Каждый штрих, каждый нюанс в этом искрящемся портрете не случайны, но исполнены глубокого смысла. Учитель потому и учитель, что не просто живет, но еще и показывает, как нужно жить и как действовать безошибочно в любых обстоятельствах. Что же он показывает? По виду – почтение к государю, которое, впрочем, коренится в «уважении себя». Урок как нельзя более уместный в обществе чванливых аристократов и дерзких выскочек. Но все эти знаки почтения пронизаны еще и нитью бодрствующего духа, в них проглядывает бездонная глубина сознающего сознания. Здесь все жизненные события вовлекаются в один целокупный, по-музыкальному утонченный ритм бытия, одновременно растворяясь в нем и обретая полноту своего бытия. Жизненный идеал Конфуция – это не что иное, как неизбывный поток стильной жизни, именно: жизнь, преображенная в нескончаемую церемонию.

Мудрость Конфуция есть не знание каких-то всеобщих истин и законов, а точность «соответствия моменту», выверенность стильного жеста. Каждым своим поступком Учитель наставляет и воспитывает, одним словом, указывает Путь. Нашему взору предстают штрихи и нюансы поведения, оторванные от их естественного фона, непомерно увеличенные. Нам открывается мир, как бы увиденный сквозь увеличительное стекло, мир нереальный или, лучше сказать, сверхреальный, и нереальность его – свидетельство необыкновенной обостренности внимания, чуткого бодрствования духа. Стоит нам отвлечься от этой волшебной оптики внутреннего созерцания, как мы тут же осознаем, что действия Конфуция неизменно естественны и уместны; что эти действия всегда безукоризненно приличны и в этом смысле воплощают собой нечто общепринятое, почти незамечаемое в рутине повседневности. Они знаменуют самоустранение всего обособленного и частного. Вот почему всякое действие у Конфуция совершается под знаком «как бы», существует лишь условно. Реально же нечто другое – непроизвольное течение жизненных метаморфоз. Жизнь Конфуция подчиняется законам эстетики миниатюры, столь тонко чувствуемой китайцами; эстетики, устанавливающей присутствие великого в малом, всеобщего в частном и потому делающей зыбкими и призрачными границы между фантазией и действительностью, погружающей в мир всеобщей имитации, подражания, уподобления. Нет, неспроста еще во времена Конфуция в китайцах пробудилась страсть к созданию искусных

имитаций старинных предметов… Впрочем, как уже говорилось, истинный смысл и учености Конфуция, и его манер проявляется лишь в далекой исторической перспективе. А для правителей Лу и их придворной знати Учитель Кун был, как нетрудно догадаться, только чудаковатым эрудитом – немного опасным, больше забавным. В позднейших источниках упоминаются два любопытных эпизода из жизни Конфуция в начальную пору его службы при луском дворе. Темы этих рассказов, да и сам образ Конфуция, в них запечатленный, заметно отличаются от тематики и атмосферы «Бесед и суждений», что и понятно: перед нами не свидетельства близких учеников, преданных делу нравственного совершенствования, а народная молва, интересующаяся курьезами и чудесами. В обоих случаях Конфуций выступает в роли толкователя фантастических явлений, хотя, по признанию его учеников, сам он очень не любил распространяться о подобных предметах. В первом рассказе говорится о том, что люди Цзи Хуаньцзы, копая колодец, наткнулись на «комок земли, похожий на глиняный кувшин, а в том кувшине был баран». В ответ на просьбу Цзи Хуаньцзы объяснить находку Конфуций сказал, что его люди, вероятно, нашли экземпляр некоего «овцеподобного чудища», которые, согласно древним книгам, обитают в земле.

Во втором рассказе посланник из далекого южного царства У на пиру во дворце Дин-гуна расспрашивает Конфуция о найденной в его родных краях огромной кости размером с телегу. Конфуций сказал тогда:

– Я слышал, что в древности, когда царь Юй собирал всех духов на горе Куайцзи, правитель одного из уделов по имени Фанфэн явился позже других, и тогда Юй убил его, а тело выставил на всеобщее обозрение. Каждая кость Фанфэна занимала целую телегу».

– А кто из духов Юя отвечал за охрану его владений? – продолжил свои расспросы гость из У.

– Таковы духи гор и рек, – отвечал Конфуций. – А вот алтари для жертвоприношений духам земли и злаков охраняют знатные люди, которые служат царю.

– А что охранял Фанфэн? – спросил посланник.

– Фанфэн был правителем владения Ванмин и носил фамилию Ци. Нынче в тех землях живут высокорослые люди.

– А каков самый высокий рост у человека?

– Люди во владении Цяояо вырастают в три локтя, и это самый низкий рост. А высокие народы выше их в десять раз.

Вот такая получилась на приеме у Дин-гуна ученая беседа, в которой Конфуций в очередной раз подивил собравшихся своей

несравненной эрудицией. Не столь важно, состоялась ли эта беседа в действительности. Важнее то, что Учитель Кун, помимо прочего, санкционировал своим авторитетом страсть к собиранию всевозможных курьезов и небывальщины, которая всегда была свойственна ученым людям старого Китая и так счастливо рассеивала скуку канцелярской рутины…

Но вернемся к служебной карьере Конфуция. О деятельности его в судебном ведомстве традиция почти не сохранила сведений, а то, что известно, не содержит в себе ничего примечательного. Для чего внешняя броскость тому, кто питается родниками внутренней жизни? Сообщается лишь, что Конфуций «упорядочил законы, но не имел нужды применять их, ибо в царстве не осталось преступников». Еще рассказывают, что, став судьей, Конфуций принял участие в традиционной охоте на жертвенных животных, чтобы «показать народу, как следует помещать в сосуды для жертвоприношений пищу, добытую во всех четырех сторонах света». Но наибольшую известность спустя два-три столетия после смерти Конфуция получил рассказ о том, как уже на седьмой день своей службы в должности судьи Конфуций приказал казнить некоего чиновника по имени Шаочжэн Мао, который обладал немалым влиянием в царстве и выделялся дерзким поведением. Чтобы придать больший вес своему решению, гласит предание, Конфуций лично присутствовал при казни и приказал выставить тело казненного у ворот царского дворца. Засим он огласил перед народом судебные заповеди: «Не считая грабежа и разбоя, на свете есть пять преступлений, заслуживающих смерти, – объявил Учитель Кун. – Это, во-первых, злые и подлые умыслы. Во-вторых, коварные и дерзкие поступки. В-третьих, лживые и обманные речи. В-четвертых, обширная память на злые дела. В-пятых, сеяние всяческих соблазнов».

Таковы главные прегрешения человечества, какими они запечатлелись в сознании китайского народа. Авторство же этого перечня было для вящей убедительности приписано «Учителю всех времен». В чем, согласно тому же рассказу, заключалась вина казненного чиновника? Оказывается, он «собирал вокруг себя приверженцев и сколачивал клику; своими речами он причинял вред и обманывал людей; он был настолько могуществен и упрям, что мог идти против истины и превозносить самого себя».

История о том, как Конфуций предал казни Шаочжэн Мао, явно вымышлена. Но она дает и некоторую пищу для размышлений. Не примечательно ли, что основанием для смертного приговора служит здесь не уголовное преступление, вообще не поступок, а образ мыслей, качества характера; еще точнее – своеволие, непокорность власти или обычаю? Как ни

отличается Конфуций этой легенды от реального Конфуция, учившего «любить людей», его поведение продиктовано все тем же, уже знакомым нам нежеланием отрывать слово и даже мысль от дела, человека – от его окружения. Для Конфуция – и в этом он действительно является первым учителем Китая – человек всем обязан своим родным и близким и обязан жить «одной жизнью» с миром; его мысли и чувства не менее значимы, чем его поступки, ведь они должны постоянно удостоверять в человеке присутствие возвышенно бескорыстной воли к мировой гармонии. Оттого же мудрость, по Конфуцию, – это прежде всего правильное воспитание.

Надо сказать, что легенда о расправе Конфуция над велеречивым и непокорным вельможей – не единственная в своем роде в литературе древнего Китая. К примеру, есть сообщение о том, как в 501 году до н. э. – чуть ли не одновременно с казнью Шаочжэн Мао – первый советник царства Чжэн казнил ученого Дэн Си, который прославился как искусный спорщик и составитель «свода законов на бамбуковых дощечках». Известны и еще несколько подобных рассказов, родившихся, по всей видимости, в головах благочестивых ревнителей имперских законов.

Что же касается истинного отношения Конфуция к смертной казни, то о нем можно узнать из помещенного в «Беседах и суждениях» разговора учителя Куна с высокопоставленным сановником луского двора.

– Что бы вы сказали, – спросил этот сановник у Конфуция, – если бы я ради осуществления праведного Пути казнил всех неправедных людей?

– Какая нужда казнить людей, коли управляешь государством? – отвечал Конфуций. – Стремитесь к добру сами, и простые люди будут желать того же. Добродетель благородного мужа подобна ветру, низкие же люди по природе подобны траве. А трава всегда клонится под ветром.

Ясно, что Конфуций не верит в попытку насильственного исправления общества. Он знает: счастье одних людей нельзя построить на крови других. Он мечтает о том, чтобы добро наполняло человеческое сердце неприметно, ненасильственно и неостановимо, как ветер наполняет небесный простор; чтобы человек жил добром так же свободно и естественно, как он дышит воздухом. И не его вина, что эту утопию непроизвольно нравственного общества позднее могла подменить антиутопия деспотического государства, где машина управления тоже работает без перебоев, царит полное единомыслие, много говорится о доброте и справедливости, но нет главного –

искреннего добросердечия в отношениях между людьми. Со своими учениками Конфуций был более откровенен. Когда Цзай Во заявил, что при династии Чжоу у алтаря Земли «стали сажать каштаны, чтобы заставить народ трепетать от страха» (слово каштаны по-китайски звучало одинаково со словом «бояться»), Конфуций строго заметил: «О прошлом не следует зря рассуждать». Рассуждения о том, что народ должен бояться власти, были ему явно не по вкусу.

Как бы то ни было, настоящий Конфуций, конечно, не был бездушным бюрократом, признающим только букву закона. Он, как мы знаем, верил не в законы, а в человека и, даже став судьей, не утратил скромности, не перестал оптущать себя учеником, изучающим самое жизнь. «Найдутся люди, которые умеют разрешать споры не хуже меня, – говорил он. – Но я отличаюсь от них тем, что стараюсь как можно реже прибегать к наказаниям». Именно наследие Учителя Куна предопределило такие характерные черты традиционного судопроизводства в Китае, как равнодушие к судебному регламенту, стремление каждое судебное дело решать, исходя из его особых обстоятельств, ставить во главу угла не безличный закон, а конкретного человека. Подобное отношение к суду имело как недостатки, так и преимущества. Китайский судья (который всегда был просто чиновником, выполнявшим обязанности судьи по случаю) имел право выносить приговор по собственному усмотрению, но каково бы ни было его решение, он не мог найти себе оправдание в том, что поступил в соответствии с буквой закона. Вольно или невольно он руководствовался не столько отвлеченными правилами, сколько здравым смыслом, соображениями нравственности, чутьем законника. Говорят, что Конфуций не выносил своего решения, не выслушав прежде всех своих помощников.

Легко догадаться, что судебная практика в Китае предоставляла китайским чиновникам-судьям немалый простор для импровизации, и лучшие судьи всегда пользовались этой возможностью. Так же поступал и Конфуций. Существует рассказ о том, как Учитель Кун решал тяжбу между некими отцом и сыном. Он долго держал и того, и другого в тюрьме, не вынося приговора. В конце концов отец отказался от обвинений, выдвинутых им против сына, и Конфуций отпустил обоих домой. Некий вельможа выразил недовольство тем, что Конфуций прекратил эту тяжбу, никого не наказав.

«Наш верховный судья, – сказал он, – всегда говорил, что и в царстве, и в семье почтительность детей к родителям – всему основа, и казнить нарушившего эту заповедь ради того, чтобы

преподать народу урок, – значит, поступить по справедливости. А теперь он отпустил непокорного сына с миром. Как же так?»

В ответ Конфуций объяснил свой поступок в следующих словах:

«Когда правитель не следует праведному Пути, а предает казни своих подданных за беспутное поведение, он сам поступает неправедно. Вершить суд, не побуждая людей быть почтительными к родителям, – значит карать невинных. Ибо сначала нужно научить людей, а потом судить их. Правитель должен сам идти праведным Путем и вести за собой народ. Если он не может этого добиться, то пусть окружит себя достойными мужами, а если и это не помогает, он должен прогнать со службы недостойных, дабы сердца их наполнились страхом. Не пройдет и трех лет, как в мире восторжествует добродетель. Если и после этого негодяи не переведутся, позволительно будет применить наказания. Но сейчас наставления государей запутанны, наказания многочисленны, а потому люди пребывают в замешательстве и с легкостью идут на преступления. И чем больше в мире законов, тем больше в нем преступников. Вот истинный порок нашего времени!»

Конфуций, как и подобает великому учителю, уверенно расставляет по местам ценности своего народа: первым делом – личный пример, нравственное воздействие, согласие, «правильные» мысли и поступки и уже потом – регламентация жизни, наказания и награды. Впрочем, и наказания, по китайским понятиям, должны применяться лишь по необходимости, как бы непроизвольно – бесстрастно и беспристрастно. Применение их вовсе не противоречит истинной «человечности». И все же настоящий Конфуций, известный нам по «Беседам и суждениям», видел свою миссию в том, чтобы покончить с наказаниями. Он так и заявлял ученикам: правитель тем мудрее, чем реже ему приходится карать своих подданных. Более того, поскольку власти предержащие должны сами подавать народу пример добродетели, они не могут не нести ответственность за преступления подданных. Когда сановник Цзи Канцзы, наследник Хуаньцзы в роли главы семейства Цзи и действительного правителя Лу, пожаловался Конфуцию на то, что в царстве развелось много воров, тот без обиняков ответил ему: «Если бы вы сами были свободны от вожделений, никто не стал бы воровать, даже если бы за это давали награду».

Мораль Конфуция ясна: если ты обладаешь властью, не кради сам, и тогда не будут красть подвластные тебе люди. Об ответственности правителя перед подданными говорил и ученик Конфуция Цзэн-цзы, давая наставления некоему

свежеиспеченному судье: «Власть имущие у нас давно уже отошли от праведного Пути, и простые люди лишены опоры, – сказал Цзэн-цзы. – Если вы, разбирая тяжбу, дознаетесь до истины, то советую вам не слишком радоваться, а проявить сострадание к этим несчастным».

Нужно ли удивляться, что даже близкие ученики Конфуция ничего не сообщают о службе их учителя на влиятельном и видном посту придворного судьи? Если Конфуций и занимался в то время «упорядочиванием законов», то едва ли с целью издания их нового кодекса, ведь он, без сомнения, не хотел ни «смелых» законов, ни громких судебных процессов. Он хотел понять причины преступлений. А понять, как известно, – это значит почти простить. Простить не легким всепрощенчеством, а признанием общей нравственной вины людей. Каждое судебное дело для Конфуция – повод к самоочищению личности.

А что же правитель? Его долг, по Конфуцию, править так, чтобы его распоряжения, подобные действию истинного ритуала, воспринимались как нечто само собой разумеющееся, совершенно естественное, почти незамечаемое в потоке повседневных дел. Ведь говорил же он, что люди даже не знали, каким словом определить свершения мудрейшего царя древности Яо! Учитель Кун мечтал о той же способности незаметного и ненасильственного исправления нравов, которой будто бы обладали мудрые правители древности. Не будем забывать глубокую истину китайской традиции: недействие – основа действия… Став судьей, Конфуций, конечно, не изменил своему идеалу «сокровенного исправления нравов» и своей обычной взыскательности в поступках; он не торопился вершить суд, подобно тому, как истинно талантливый художник постоянно медлит в своей работе, желая добиться безупречной точности мазка. Пожалуй, он был бы вполне удовлетворен, если бы ему удалось внушить людям самое желание быть точными в своих действиях.

В китайской традиции идеальному суду полагается бездействовать за неимением истцов, и, надо сказать, отвращение к судебным разбирательствам в самом деле пустило глубокие корни в жизненном укладе китайцев. В лучшем случае власти должны разговаривать с народом языком запретов, ограждая подданных от разных «крайностей» и «излишеств», от всяких попыток расстроить правильные (и потому «естественные») отношения между людьми. Они могли указывать, например: «богачи не должны притеснять бедных», «торговцы не должны носить одежды из шелка», «женщины не должны вмешиваться в государственные дела» и даже «не препятствуйте течению вод» и

т. д. В таких бесхитростных наказах тоже живет дух Учителя Куна.

Хотя вокруг Конфуция имелось немало охотников вводить все новые законы, все более жесткие наказания, сам он, без сомнения, был убежден, что начинать нужно не с законов, а с человека, и управлять страной нужно не страхом, а добросердечием. Секрет мудрого правления для Конфуция таился не в регламентах и распоряжениях, а в правильном воспитании. Конечно, запрещать легче, чем воспитывать, но Конфуций по собственному опыту знал, что в человеческой жизни самый легкий путь отнюдь не всегда самый правильный. Вопрос в том, откуда берется решимость идти этим путем.

Добродетель политики и политика добродетели

В пятьдесят лет Конфуций наконец получил в придачу к своему авторитету и славе учителя высокий пост при дворе и возможность хотя бы частично претворить в жизнь свою мечту о «праведном Пути». В служебных делах ему сопутствовал успех, хотя, надо признать, Конфуций был не совсем обычным судьей – судьей, который не желал судить. Какой же политический идеал пытался он осуществить, поступая таким образом?

Определить этот идеал в нескольких словах не так-то легко – слишком уж своеобразна и самобытна политическая традиция Китая. В отличие, скажем, от Европы китайцы не имели представления о различных формах государственного устройства или даже гражданском законодательстве. Мы не находим в Китае и идеи политики как отдельной науки в области общественной жизни. Во все времена китайцы представляли себе государство только в виде абсолютной монархии, но этот привычный наш термин, взятый из европейского лексикона, не раскрывает всего содержания китайской политической идеи. Власть правителя всегда считалась в Китае неограниченной и неделимой, но она никогда не была в полном смысле слова абсолютной. С одной стороны, даже высшие сановники были бесправны перед государем, с другой – признавалась равная ценность всякой жизни, в том числе и жизни рабов. Не допускалось какое бы то ни было неповиновение государю, но и сам государь должен был управлять так, чтобы «удовлетворить чаяния народа». Царя-тирана можно и должно было лишать престола. Это противоречие между деспотическим и, так сказать, «демократическим» уклонами в традиционных китайских представлениях о государственной власти снималось в понятии Неба, которое, как нам уже известно, обозначало всеобщий Путь мироздания в его биологическом, психологическом, общественном и космическом проявлениях. Воля правителя, полагали в Китае, должна сливаться с анонимной и даже неосознаваемой стихией народного быта. Власть государя не знает границ и преград, но она незаметно и, конечно, ненасильственно направляет течение жизни, ибо неизменно совпадает с простейшими и насущнейшими «требованиями времени». В идеале простые люди могли бы даже забыть о существовании государства.

Конфуций не был бы любителем древности, если бы не воспринял эту идею единства политики и жизни. Но он не стал бы

и первым учителем Китая, если бы не сделал ее делом внутреннего убеждения, нравственного усилия. Мы должны помнить только, что образ древности у Конфуция сложился под влиянием не только и не столько письменных текстов, сколько устного предания – источника неопределенного, ускользающего, переменчивого. Древность Конфуция – это, конечно, не действительная история, и не идеи, записанные в книгах, а темный материк памяти, в котором хранятся семена воображения. И потому не будет преувеличением сказать, что не столько древность сформировала Конфуция, сколько сам Конфуций творил свою древность, свою мечту – возвышающую, часто даже фантастическую и все же неизменно практичную. Примечательно, что многие персонажи мира древности, послужившие Учителю Куну живыми образцами добродетели, даже не упоминаются в источниках более ранних времен, а получили известность в обществе чжоуской знати, где они были призваны иллюстрировать ценности нарождавшегося слоя служилых людей. Бывало и так, что герои древних мифов и божества первобытной эпохи обретали совсем новый облик и новую жизнь в чжоуской традиции, наследником которой считал себя и Учитель Кун. Позднейшее предание приписывает ему несколько отзывов об этих пришедших из глубины веков полубогах-полулюдях, и почти всегда его суждения оказываются явной импровизацией, а подчас и плодом курьезного перетолкования древних мифов. К примеру, в древнейших преданиях сохранилось упоминание о некоем «одноногом Куе» – существе с одной ногой, лицом человека и телом обезьяны. Согласно же разъяснению Конфуция, выражение «одноногий Куй» означает: «Людей, подобных Кую, и одного достаточно». В другом случае Конфуций толкует предание о четырех ликах родоначальника человечества – Желтого Владыки таким образом, что речь идет о посылке Желтым Владыкой своих чиновников в четыре предела земли. История о расправе Юя над своим подчиненным Фанфэном и его гигантских костях в изложении Учителя Куна уже приводилась выше. Во всех случаях, как видим, фантастика древнего мифа преображается в назидательное (и в не меньшей степени занимательное) повествование об исторических событиях.

Примечательно также, что Конфуций склонен выделять лишь отдельные, наиболее значимые в его собственных глазах деяния великих мужей древности. Он ищет в их жизни иллюстрации своим идеям. О мудрейшем из древних царей Яо он упоминает лишь, что люди «не могли определить его свершения»; Шунь, по его словам, был велик тем, что «сидел, почитая себя, лицом к югу, и только». В другом случае он замечает о том же Шуне и другом

идеальном царе древности – Юе: «Сколь возвышенны Юй и Шунь были в том, что, владея Поднебесной, они пребывали вдали от нее!»

Но Конфуций не только склоняется в благоговейном трепете перед героями прошлого. Он в то же время ненаигранно, почти непроизвольно ощущает и свое сродство с ними. Он может судить о них как человек, знающий единую меру заслуг и неудач в этом мире. В конце концов, все люди, говорит Учитель Кун, должны добиваться того, что «дается труднее всего». Такая простая и такая нелегкая мудрость:

«Совершенствовать себя и таким путем сеять мир и благоденствие среди людей: даже Яо и Шунь не сочли бы это занятие легким».

Претворение человечности в своей жизни и даже, точнее сказать, всей своей жизнью: такова цель человеческого существования, перед которой все люди равны. Воля, всепобеждающая воля, которая волит самое себя и в одном мгновении бездонной ясности сознания наполняет собой всю жизнь и нескончаемую череду отдельных жизней, – вот недостижимое, недоступное обладанию, неимоверно трудное сверхусилие духа. Но тот, кто в глубинах своего сознания стяжает этот немеркнущий духовный свет, вместит в себя вечность и станет сопричастен семени всего живого. Истинный правитель мира, говорит Конфуций, «правит не управляя»: он правит посредством одного лишь усилия «самопочитания» – усилия прозрения в себе бесконечности.

Глубочайший секрет китайской традиции заключается в том, что величайший подвиг духа освобождает от необходимости что-либо совершать, безупречная воля в своей абсолютной свободе возвращается к полной непроизвольности. Для Конфуция истинный правитель – не тот, кто обременен административными хлопотами, а тот, кто услышал в собственном сердце «Небесное веление» и вместил в себя всеединство вселенского Пути; кто покоен среди вечности движения.

Учитель сказал: «Правление посредством добродетели подобно Полярной звезде, которая покоится на своем месте, а все звезды вращаются вокруг нее».

Коль скоро «добродетель», по Конфуцию, есть то, что вечнопреемственно в человеческой жизни и всегда постигается «изнутри», безличные законы и регламенты, договоры и клятвы ничего не прибавят к делу добродетельного правления. Они даже могут ему помешать, если их превращают в оправдание и цель политики. У Конфуция мудрый правитель не стремится ни запугать народ наказаниями, ни поощрить наградами, ни

разбогатеть за его счет. Он знает, что государство богато богатством подданных и притом не допускает в народе чрезмерного имущественного неравенства, чреватого общественными потрясениями. Мудрый правитель, говорил Конфуций, «помогает нуждающимся, но не делает богатых еще богаче». Постоянством нравственного подвижничества он завоевывает доверие своих подданных.

Надо заметить, что в призыве Конфуция быть человечными с людьми и не относиться к ним как к «объектам» или «орудиям» политики много не только здравого смысла, но и мудрости педагога. Ведь всякое насилие над человеком неминуемо вызовет в нем столь же сильное противодействие. Такова азбука воспитания. Не пытайтесь обладать людьми как вещами, и люди сами обратятся к добру и пойдут за вами – вот совет Конфуция всем земным властелинам. Совет, выявляющий в обыкновенном здравом смысле, в азбучных истинах человеческого общежития восхитительный парадокс человеческой мудрости: не желай обладать, и тебе все будет дано.

Учитель сказал: «Если наставлять приказами и насаждать порядок наказаниями, люди будут стараться обойти запреты и потеряют чувство стыда. Если наставлять добродетелью и поддерживать порядок посредством ритуала, люди будут знать, что такое стыд, и вести себя пристойно».

Так трудно или легко осуществить праведный Путь Конфуция в этом мире? Конфуций не скрывает, что нет ничего труднее. Мнение о «непрактичности» политического идеала Конфуция, высказывавшееся идейными противниками конфуцианства в Китае и подхваченное некоторыми современными исследователями, восходит на самом деле к окружению самого Учителя. Не без тайной гордости составители «Бесед и суждений» приводят следующий эпизод из жизни Цзы-Лу: однажды Цзы-Лу остановился на ночлег в одном из постоялых дворов в предместье Цюйфу, и хозяин двора, узнав, что за человек заночевал у него, воскликнул: «Так значит, ты ученик того самого Кун Цю, который знает, что хочет невозможного, и все-таки хочет этого!» Полезно помнить, что этот, казалось бы, критический отзыв об Учителе Куне на самом деле почти слово в слово повторяет оценку благородного мужа, данную самим Конфуцием. Однако что может быть легче и естественнее, чем предоставить жизни идти так, как она идет? Увлеченность возвышенной целью ничуть не мешает Конфуцию требовать от правителя аккуратного выполнения своих текущих обязанностей. Мудрость Конфуция – это поистине понимание значительности всего преходящего, мелкого, внешнего. Многие политические суждения Конфуция поражают

непринужденным соседством «высокой» морали и приземленных, чисто практических рекомендаций. Трудно отделаться от впечатления, что идеал духовного подвижничества и рутина повседневности были для Учителя Куна неразделимы:

Учитель сказал: «В управлении царством, имеющим тысячу боевых колесниц, правитель должен быть осмотрителен в делах и внушать доверие. Он должен ограничивать свои расходы и любить людей, а народ отбирать на работы по временам года».

Конфуций и в мыслях не допускал столкновения интересов государя и народа. Более того, счел бы ненужными и даже вредными любые общественные институты, призванные согласовывать эти интересы. Последние, на его взгляд, попросту невозможно отделить друг от друга, ибо правитель и его подданные изначально пребывают в безмолвном единении: добродетели (а равно и пороки) верхов сполна отражаются на нравах низов.

«Когда верхи чтят ритуал, никто из простолюдинов не посмеет быть непочтительным. Когда верхи чтят долг, никто из простолюдинов не посмеет быть непокорным. Когда верхи любят доверие, никто из простолюдинов не посмеет быть нечестным. Если в нашем царстве будут такие порядки, люди со всех краев земли придут сюда, неся на спине своих детей».

Что же, по Конфуцию, служит мерой заслуг правителя? Процветание его государства, но в конечном счете – благодарность самого народа. В истории Китая не было недостатка в деспотах, которые строили свои империи на страданиях и крови простых людей, но при этом считали – быть может, вполне искренне, что облагодетельствовали своих подданных. Сильная власть может многое: она может заставить людей до изнеможения трудиться и прославлять свое рабство, совершать тяжкие преступления и даже великие подвиги. Но даже самый могущественный деспот не может заставить людей быть счастливыми. Народ может быть счастлив только при нравственно безупречном правлении.

Теперь не будет удивительным узнать, что «почтение к себе», отличающее правителя, пестование им чувства собственного достоинства означало для Конфуция жизнь ради счастья других, бескорыстное служение людям. Великим образцом такой благородной самоотверженности для современников той эпохи стал легендарный царь Юй. В доисторические времена этот персонаж древних мифов был, по-видимому, водным божеством, покровителем одного из племен, обитавших у берегов Хуанхэ. Для наследников же чжоуской традиции он превратился в основателя династии Ся и великого благодетеля человечества,

который спас мир от потопа. В «Беседах и суждениях» записан хвалебный отзыв Учителя об этом культурном герое, ставшем в Китае образцом благородства, трудолюбия, скромности и беззаветного служения людям. «Я не нахожу в Юе никаких недостатков, – говорил Конфуций. – Он был так скромен в еде и питье, а жертвы предкам и богам приносил по всем правилам и со всей почтительностью. Он никогда не думал об одежде, а для жертвоприношений надевал нарядное платье и шапку. Он жил в маленьком домике, но трудился не покладая рук на каналах и реках. Нет, я не нахожу в Юе никаких недостатков!» Нелишне напомнить, что предшественники Юя, цари Яо и Шунь, по преданию, добровольно отреклись от престола в пользу своих преемников, которых они сами и отбирали. Подобный альтруизм Учитель Кун считал верхом человеческого совершенства.

Заботу о народе, уважение к его нуждам Конфуций относил к числу важнейших обязанностей правителя – не менее важной, чем почитание предков и божеств. Более того, Конфуций и не отделял одно от другого, будучи убежденным в том, что глас народа есть глас самого Неба. Мудрый правитель, согласно Конфуцию, первым делом заботится о благосостоянии своего народа, ибо безнравственно требовать от своих подданных возвышенности духа, обрекая их на нищету и лишения. Едва ли в древнем мире можно найти другой пример столь же ясного понимания того, что материальные интересы людей способны определить ход истории.

Конечно, нельзя думать, что первый учитель Китая был готов предоставить простолюдинам какие-то политические права. Ничего подобного ни один древний китаец и не мог предложить. Народу Конфуций отводил роль пассивного, даже неосознающего свое предназначение свидетеля государевой политики. Общество, по Конфуцию, не может существовать без правителя; более того, народ «можно заставить идти правильным путем, но ему нельзя объяснить, зачем это нужно». Было бы странно, если бы Конфуций, живший во времена строгого сословного разделения и полного бесправия простонародья, думал иначе. Тем не менее он провозгласил нечто совершенно новое для своей эпохи: право каждого человека на обучение. Не раз доводилось ему утверждать, что долг правителя состоит в том, чтобы сначала накормить своих подданных, а потом обучить их.

Идея равенства людей в обучении, их равного права на образование была, наверное, самым важным новшеством, привнесенным Конфуцием в современное ему общество. Понимал ли Учитель Кун, принимая в ученики каждого, кто приносил ему «связку сушеного мяса», и воздавая хвалу тем, кто предпочел жизнь бедного ученого славе царедворца, что его учительское

наследие рано или поздно должно было прийти в противоречие с аристократическими порядками того самого чжоуского государства, возрождению которого он посвятил свою жизнь? Ведь на смену родовой аристократии, обладавшей властью по праву рождения, должна была бы прийти иная элита – люди, добившиеся всего благодаря своим талантам и заслугам. Во времена Конфуция это противоречие было еще почти неощутимым. Позднее же, когда чжоуская государственность окончательно распалась, конфуцианство пережило смерть старой знати и стало служить интересам имперской бюрократии.

В представлении Конфуция, роли правителя и его чиновников в управлении государством существенно разнились: мудрому государю, как уже было сказано, следовало «править, не управляя», «пребывать вдали от мира». Иногда в этих тезисах Конфуция усматривают просто-напросто неверие учителя в способность современных ему правителей совершить задуманное им переустройство мира. Действительно, больших надежд на правителей царств и тем более их советников-аристократов Конфуцию возлагать не приходилось. Жизнь все дальше уводила чжоуское общество от добрых старых ритуалов к практической эффективности законотворчества, циничной дипломатии и открытой войне. Нет серьезных оснований полагать, что Конфуций уповал на авторитет чжоуского вана. Иначе он не надеялся бы собственными силами «возродить Восточное Чжоу». Он даже допускал, что в Срединной стране может и не быть «настоящего правителя». Управление государством, по мысли Конфуция, должно находиться в руках «достойных мужей» – этой новой аристократии духа. Мудрость правителя заключается в том, чтобы «возвышать добрых мужей». Одним словом, Конфуциева политическая программа предписывала правителю хранить возвышенный покой, а его чиновникам, напротив, быть деятельными: весьма удобное требование во времена, когда мало кто из номинальных правителей царств обладал свободой действий. Едва ли, однако, такой вывод Конфуция был вызван только теми или иными практическими соображениями. Он был задан еще и внутренней логикой Конфуциевой идеи ритуала, согласно которой бездеятельность правителя представляла собой символически-завершенное воплощение, «семя» всех действий, что и возвышало правителя, покоящегося, «подобно Полярной звезде», над его слугами. Так в политической программе Конфуция действительность и здравый смысл оказывались неотделимыми от, казалось бы, чисто умозрительных посылок символического миропонимания.

С легкой руки Конфуция отношения между правителем и его

помощниками из числа «достойных мужей» стали главной темой политики в старом Китае. Отношения эти не были лишены особой, в известном смысле даже драматической, деликатности. Государь и его советник не могли обойтись друг без друга, но и сойтись им было не так-то легко, ведь ритуальные отношения, призванные «устанавливать различия между людьми», обязывали обе стороны строго блюсти свое достоинство и ни в коем случае не поддаваться соблазну заключить сделку, войти в сговор. Благородный советник – зеркало государевой чести. Он ставит верность долгу выше всех личных интересов. Он больше жизни предан государю, но, как замечает Конфуций, «может ли быть преданность государю там, где не решаются говорить правду»? Когда Цзы-Лу спросил Учителя, как нужно служить государю, тот ответил: «Не нужно обманывать его, но, если понадобится, будь непреклонен». Идеальный человек у Конфуция предан все же не лично правителю, а праведному Пути.

Чем же должен руководствоваться благородный муж в служении своему идеалу? По Конфуцию, его поведение зависит от того, осуществляется ли в стране праведный Путь.

Учитель сказал: «С чистым сердцем любите учение и, не страшась смерти, идите добрым путем. В страну, где жить опасно, не входите. В стране, где царит смута, не живите. Если мир живет по правде, будьте на виду, а если правды в нем нет – скройтесь».

В другой раз Конфуций советует ученикам все также действовать по обстоятельствам, а в сердце хранить постоянство Пути:

«Когда в стране следуют праведному Пути, говорите и действуйте с мужественной прямотой. Когда же в стране исчез праведный Путь, действуйте столь же мужественно, а вот говорите осмотрительно».

Порядок и смута, путь и беспутство: два извечных состояния мира, общества и человеческого сознания. Они всегда рядом, в опасном и волнующем соседстве. Невозможно истребить в человеческом сердце семена человечности, мечту о свободном и радостном единении человечества. Мечта эта в любой момент способна захватить всех людей, даже самых дурных и испорченных. Но ведь и малейшее ослабление нравственных усилий, забвение правды сердца губит людское согласие, ввергает мир в хаос. Жизнь течет между этими двумя полюсами: всеобщий хаос в любое время может смениться миром. И наоборот: на смену благополучию и довольству внезапно могут прийти ожесточенность и смута. Эта идея чередования «порядка» и «смуты» в мире определила традиционные взгляды китайцев на

человеческую историю.

Свет праведного Пути мерцает даже во мраке всеобщего одичания. Одно слово правды перевесит горы лжи, и одна чистая мысль может перевернуть мир. Тому, кто способен воистину претворить ритуал, управлять миром будет не труднее, чем созерцать собственную ладонь. Таковы убеждения Конфуция, полные оптимизма и веры в человека. Что же, Учитель Кун – утопист, мечтающий разом преобразить жизнь? Конечно. Но он утопист, отлично знающий, что «хочет невозможного». Он уже не ищет правителя на свой вкус и не страшится собрать вокруг себя неудачников и отверженных. Он достаточно узнал и мир, и людей и не питает иллюзий. «Как это верно сказано, – замечает он, – что только после того, как миром сто лет будут править добрые люди, можно будет смягчить нравы и отказаться от казней». И ни один из государей не в силах одним махом избавить общество от его застарелых пороков:

«Даже при истинно добром государе должно смениться поколение, прежде чем в мире восторжествует человечность».

В конце концов, политика для Конфуция – это не повод удовлетворить честолюбие и даже не область применения своих знаний и способностей. Она дается человеку как великое испытание его духа. Ибо сказано: человечность приходит к людям после того, как «совершено самое трудное».

Политический идеал Конфуция может быть утопией. Но человек, идущий к нему, в высшей степени реален.

Новая отставка

Между тем жизнь придворного судьи Куна шла своим чередом. Каждый день с восходом солнца – доклад у правителя, потом разборы судебных дел, приемы иностранных послов, участие в жертвоприношениях и прочих церемониях, чуть ли не ежедневно устраивавшихся во дворце. А на досуге все те же беседы с учениками и еще более частыми, чем прежде, гостями, музицирование, прогулки и чтение, чтение… Даже развлечения выбирались такие, которые приносили духовную пользу: шашки, стрельба из лука, созерцание старинных предметов. Ученость Конфуция, его изысканные манеры и твердый характер вкупе с неиссякаемым жизнелюбием снискали ему всеобщие симпатии приближенных Дингуна. С тех пор как в залах царского дворца стала ежедневно появляться грузная фигура почтенного Куна, казалось, вся жизнь двора наполнилась каким-то новым, возвышенным смыслом. Одно только присутствие этого молчаливого великана с такой странной и даже, пожалуй, уродливой внешностью производило на окружающих неизгладимое впечатление. Глядя на безупречно-выверенные и все же очень естественные и одухотворенные жесты нового судьи, на его лицо, светившееся неподдельным вдохновением даже в томительные часы однообразных аудиенций, одним словом – созерцая всю эту отточенную пластику чувства, которую являли и жесты и мимика Кун Цю, даже самые именитые советники невольно внутренне подтягивались и не позволяли себе ни малейшей небрежности в поведении и речах. На дружеских пирах Конфуций, и без того всегда изысканно вежливый, был особенно почтителен к слепым музыкантам. Каждый раз при появлении музыканта он вставал, шел к нему навстречу и провожал на отведенное ему место, приговаривая по пути: «осторожно, здесь ступеньки», «сейчас нам направо» и т. д., а потом представлял ему всех присутствовавших в зале. Музыканты в те времена, как, наверное, всегда и везде, слыли в знатном обществе людьми второго сорта, и подобное отношение к ним солидного ученого и государственного мужа удивляло многих. «Неужели так нужно вести себя с музыкантами?» – спросил его как-то ученик. «Да, именно так и нужно держаться, принимая в своем доме знатока музыки», – ответил Учитель.

В обществе Конфуция как бы сами собой рассеивались низкие мысли и чувства. Во дворце вдруг заговорили о древних нравах, о ритуале и человечности, о пагубности легкомысленных развлечений… Иностранные гости дивились переменам при

луском дворе и дружно называли Дин-гуна наследником славных деяний отцов Чжоу. От них только и слышно было: какие у лусцев строгие и приятные манеры! Какие изысканные, но скромные церемонии! Какая возвышенная, целомудренная музыка!.. Чужеземные послы с любопытством оглядывали чуть сутулого гиганта, подобно могучей скале возвышавшегося на аудиенциях в пестрой толпе придворных. Так это и есть тот самый Учитель Кун, надежда царства, который вознамерился возродить порядки, завещанные самим Чжоу-гуном? Молва о мудреце из Лу уже облетела все Срединные земли…

Но не только эрудицией и возвышенным обликом покорил Учитель Кун своих коллег при дворе. При своем не столь уж высоком чине – он был одним из низших дафу, или, другими словами, кем-то вроде «последнего среди первых» – Конфуций успел завоевать совершенно исключительный авторитет и в столице, и во всем царстве. Кто еще мог похвастать таким количеством талантливых и образованных учеников, да к тому же и беззаветно преданных учителю? В большинстве своем они были, несомненно, родом из влиятельных семейств, и их искреннее преклонение перед учителем не могло не влиять и на положение Конфуция при дворе. Похоже, что властители царства даже побаивались его и предпочитали держаться от него подальше. Во всяком случае, предание не сохранило ни одного разговора Конфуция ни с Дин-гуном, ни с Цзи Хуаньцзы – истинным владыкой луских земель. Зато в «Беседах и суждениях» записано несколько бесед Конфуция с Цзи Канцзы, сыном и наследником Цзи Хуаньцзы, которому предстояло через несколько лет сменить своего отца в роли «главной опоры» луского трона. Как легко догадаться, Цзи Канцзы расспрашивал Учителя Куна об искусстве мудрого правления, а тот отвечал, как сам учил других, – вежливо, но откровенно, даже если его откровенность могла задеть самолюбие спрашивающего. Впрочем, назидательный тон Конфуция в данном случае не покажется неуместным, ведь собеседник годился ему в сыновья. На традиционный вопрос Цзи Канцзы: «В чем секрет доброго правления?» – Учитель Кун ответил, опираясь на смысловое подобие двух слов, близость которых очевидна как в китайском, так и в русском языках: «Управлять – значит исправлять. Если вы сами явите образец исправления, кто посмеет не быть прямым?»

Цзи Канцзы почтительно внимал словам Учителя, не осмеливаясь вступать в спор. Ему хотелось поскорее понять секреты древних мудрецов. А еще он хотел взять себе в помощники кого-нибудь из Конфуциевых учеников и остановил свой выбор на Цзы-Лу – самом старшем и авторитетном в

окружении Учителя, а главное, прославившемся своей кристальной честностью.

– Осмелюсь спросить вас, Учитель Кун, – однажды обратился Цзи Канцзы к Конфуцию. – Годится ли для несения службы ваш ученик Цзы-Лу?

– Он человек решительный, справиться со служебными обязанностями ему будет нетрудно, – ответил Конфуций.

Так Цзы-Лу – кажется, первый из учеников Конфуция – оказался на службе, да еще в должности советника могущественнейшего клана Цзи. Наверное, Конфуций мог бы и запретить своему ученику служить семейству, с которым его связывали не самые приятные воспоминания. Но его отношения с Цзи Канцзы выдают в нем человека не только незлобивого, но и на редкость здравомыслящего. Маститый учитель явно желал воспользоваться наметившейся дружбой с молодым аристократом для того, чтобы иметь влияние на политику царского двора. Он знал, что другой возможности сделать это у него, скорее всего, никогда не будет. Но, благословляя Цзы-Лу на службу в царском дворце, он дал ему совет в своем излюбленном ключе:

«Благородный муж, наделенный отвагой, избавлен от необходимости убивать. Низкий человек, наделенный отвагой, не перестает убивать».

Ну а Цзы-Лу, узнав о лестном отзыве, который дал ему Учитель, не мог скрыть ликования.

– Правда ли, что мужество более всего украшает благородного мужа? – спросил он Учителя, сияя от радости.

– Благородного мужа более всего украшает верность долгу, – ответил Конфуций. – Благородный муж, наделенный мужеством, но не ведающий долга, учинит смуту. Низкий человек, наделенный мужеством, но не ведающий долга, пустится в разбой.

Другой бы на месте Цзы-Лу поклонился и ушел размышлять о том, что такое долг. Но не таков был Цзы-Лу.

– А если вам случится встать во главе всего царского войска, – продолжал он со свойственной ему напористостью, – кого бы вы взяли себе в помощники?

– Я бы, конечно, не взял с собой того, кто мечтает голыми руками победить тигра или броситься в воду и без сожаления утонуть, – ответил с улыбкой Конфуций, глядя прямо в глаза ученику. Цзы-Лу смущенно замолчал. Он понял учителя. Что ж, теперь он, по крайней мере, знает, чего ему следует больше всего опасаться в самом себе. А уверенность в своих силах, что ни говори, – качество нужное. Ему вспомнились слова, когда-то сказанные о нем учителем: «Если среди нас найдется человек,

который, нося на себе ветхий халат в полинявших заплатках, без смущения встанет рядом с вельможей в лисьей иль барсучьей шубе, то им будет, наверное, наш Цзы-Лу». С тех пор Цзы-Лу любил повторять бесхитростные строчки старинной песни:

Не завистлив, не жаден.
Как может он недобрым быть?

Однажды Учитель, услышав их в очередной раз, не удержался от замечания: «Все же в этих словах не вся истина!»

Цзы-Лу уже давно привык к тому, что Учитель то и дело поправляет его, а порой и посмеивается дородушно над его горячностью. Они уже так много лет были вместе, что Учитель Кун порой казался ему не учителем, а просто старшим другом. Но он по-прежнему чтил его как отца, потому что Учитель Кун словно дал ему новую жизнь, когда помог открыть сокровище своего сердца:

Не завистлив, не жаден.
Как может он недобрым быть?

Цзы-Лу – единственный из учеников Конфуция, о ком достоверно известно, что в те годы он служил советником семейства Цзи и, кажется, пользовался всеобщим доверием: одного его слова было достаточно, чтобы уладить ссору между повздорившими аристократами. Известно, что по крайней мере еще два ученика Конфуция – Дуаньму Цы и Жань Цю – получили от Цзи Канцзы приглашение на службу, и Конфуций рекомендовал обоих, отметив, что первый «постиг истину», а второй «искусен в делах».

Не без влияния Конфуция в его родном царстве постепенно восстанавливались мир и порядок. Прекратились мятежи, как-то незаметно утихли распри, вожди «трех семейств» снова признали верховенство Дин-гуна. А огромный авторитет Конфуция и его недавняя, но уже прочная дружба с будущим предводителем самого могучего клана в царстве предрекали дальнейшее упрочение власти Дин-гуна и даже, возможно, новый расцвет Лу. Но такое развитие событий как раз и не устраивало старого знакомого Учителя Куна и друга всех политических беженцев из Лу – циского правителя Цзин-гуна. К тому времени престарелый властитель Ци уже без малого пятьдесят лет сидел на троне и знал, что править ему осталось недолго. Состарился и его бессменный советник Янь Ин. А между тем среди его

многочисленных потомков не было согласия, во дворце плелись интриги и зрели семена междоусобной розни. К тому же возвысившееся в последнее время дальнее южное царство У вступило в союз с Лу и уже угрожало южным рубежам циских владений. Чтобы быть спокойным за судьбу своего царства, правителю Ци следовало первым делом ослабить своего ближайшего южного соседа Дин-гуна, вновь разжечь в его царстве пожар смуты.

Цзин-гун избрал самый короткий и простой путь к своей цели: он решил попросту устранить Дин-гуна, а заодно – так утверждает предание – и Конфуция. Вскоре подвернулся и удобный случай для этого: весной двенадцатого года правления Дин-гуна (500 г. до н. э.) Ци и Лу заключили между собой мирный договор, а пару месяцев спустя к лускому двору прибыл гонец из Ци и передал Дин-гуну приглашение своего государя приехать в одну из пограничных крепостей в циских землях, подтвердить свою верность новому договору, да и побыть там его гостем. Цзин-гун предлагал встретиться по-родственному, как бы под видом легкой прогулки, без охраны и многочисленной свиты. Польщенный дружеским тоном послания Цзин-гуна, луский правитель тут же собрался чуть ли не в одиночку ехать в гости к своему северному соседу и даже велел заложить скромную прогулочную коляску, которой он любил управлять сам. А Конфуций, узнав о предложении Цзин-гуна, заподозрил неладное. Он слишком хорошо знал этого старого хитреца, чтобы верить ему на слово. И еще он знал, что обладатели больших дворцов очень любят устраивать дружеские пирушки, представления, охотничьи выезды и прочие увеселения только для того, чтобы заманить своего политического соперника и там, предварительно оказав ему всяческие почести, убить, словно жертвенного барана. На следующей же аудиенции, когда Дин-гун назначил его главным церемониймейстером предстоящей встречи, он выступил вперед и сказал:

«Мне доводилось слышать, что мудрые правители древности, выезжая на переговоры о мире, брали с собой свиту из военных чинов. А когда они отъезжали на переговоры о войне, то брали с собой гражданских советников. Когда же они отправлялись в чужие владения, то брали с собой вооруженную охрану. Прошу разрешения выступить в сопровождении полководцев Правой и Левой руки». Дин-гун внял совету своего лучшего знатока церемоний и выступил в поход в сопровождении отборных отрядов дворцовой гвардии. Каково же было его удивление, когда, прибыв на место встречи, он обнаружил, что его северный сосед тоже привел с собой многочисленное войско. Соблюдая

правила вежливости, правитель Ци лично вышел встретить Дин-гуна перед воротами своей крепости. Его люди уже успели соорудить там высокую террасу и водрузить на ней два царских сиденья, обитых узорчатым шелком. К террасе вели три земляные ступени. Хозяин и гость, оба в царских халатах, расшитых драконами, в высоких шапках, с которых свисали двенадцать жемчужных нитей, встретились перед террасой, трижды отвесили друг другу учтивые поклоны и, уступая друг другу дорогу, поднялись по ступенькам наверх. Едва они успели обменяться приветствиями и отпить из больших кубков глоток вина в честь встречи, как распорядитель церемонии от циского двора упал перед ними на колени и громко объявил:

– Прошу высочайшего дозволения показать танцы четырех пределов света!

Любезно испросив согласие гостя, Цзин-гун махнул рукой. В тот же миг загремели барабаны и к террасе ринулась толпа варваров-танцоров с распущенными волосами, в дикарских одеждах и устрашающих звериных масках. Потрясая топорами и копьями, они принялись дергаться и прыгать на все лады в опасной близости от повелителя лусцев. Того и гляди, ворвутся на террасу и оскорбят его царственное достоинство. А что, если случится непоправимое? Охваченный смутной тревогой, Конфуций ловко проскользнул мимо этих странных плясунов и взмыл вверх по лестнице, остановившись перед последней ступенькой (встать на нее было бы непростительной дерзостью даже в столь чрезвычайных обстоятельствах). Степенно поклонившись, он сказал:

– На дружеской встрече сиятельных государей можно ли дозволять дикарям вносить в умы разлад и смуту? Обнажать оружие там, где хотят мира, – значит тревожить духов и преступать человеческие законы. Благородному правителю не пристало так поступать.

Цзин-гун побагровел от ярости, да делать нечего: сто раз прав этот настырный Кун Цю. Пришлось дать знак плясунам очистить площадь. Беседа государей возобновилась. Но вскоре циский церемониймейстер опять испросил у своего господина согласие показать высокому гостю еще одно представление. На сей раз Дин-гуна хотели потешить «музыкой царских покоев». Но вместо тихих слепых музыкантов и обольстительных дев на площадь перед террасой высыпали какие-то странно одетые карлики и уроды, которые принялись прыгать, скакать и кататься колесом, точно одержимые, метать отточенные ножи и жонглировать тяжелыми булавами. Опасная и прямо-таки преступная забава! Поднялся такой переполох, что и самый злодейский поступок

никто не смог бы упредить. И снова Конфуций поспешил подняться на ступеньки перед царской террасой, и снова он обратился к Цзин-гуну со словами укоризны:

– Простолюдины, смущающие государя непристойными зрелищами, заслуживают смерти. Прошу дозволить полководцу Правой руки строго наказать смутьянов.

Цзин-гун был готов провалиться сквозь землю от стыда. С ним случилось самое неприятное, что только может произойти с благородным человеком: его обвинили в дурном вкусе, в любви к «непристойным зрелищам»! Да к тому же заподозрили в попытке оскорбить или даже устроить покушение на царственного гостя. В гневе он велел казнить на месте нескольких шутов, а остальных прогнать взашей с площади. Его приказание было немедленно исполнено. Делать нечего: монархи завели разговор о мирном договоре. И тут-то, по некоторым рассказам, Конфуций сумел воспользоваться смятением Цзин-гуна и, в обмен на обещание военного союза лусцев с Ци, настоял на возвращении его царству части земель, прежде захваченных цискими воеводами. Цзин-гун, вконец расстроенный своими неудачами, отменил все увеселения, наскоро попрощался с Дин-гуном и пустился в обратный путь. «Учитесь у людей Лу, – выговаривал он своим советникам. – Они-то знают, как оберегать достоинство своего государя. А вы выставили меня дикарем! Теперь, чтобы не лишиться уважения, я должен щедро его одарить». – «Низкий человек искупает свою вину словами, благородный муж искупает свою вину делами», – отвечали советники. Что ж, когда на карту поставлена честь государя, скупиться нельзя. И Цзин-гун, недолго думая, возвратил лусцам еще несколько городов, которые ранее отобрал. Так, по крайней мере, гласит предание.

Быть может, на той памятной «мирной встрече» правителей Лу и Ци не все вышло так анекдотически-просто, как рассказано в древних хрониках. Но важен результат: Конфуций и в самом деле одержал блестящую дипломатическую победу, сумев парой фраз добиться того, что было не под силу всем воинам царства, вместе взятым. Не пошевелив и пальцем, Дин-гун получил назад исконные земли предков и в придачу обезопасил свои границы. Теперь Учитель Кун завоевал неоспоримый авторитет при дворе и полное доверие самого государя. Древние летописцы так и пишут о нем, что он с тех пор «действовал как первый советник». Стать официальным первым советником правителя Конфуций никак не мог, поскольку этим постом владели по наследству вожди клана Цзи. Но влияние на политику двора он, конечно, оказывать мог и притом влияние весьма значительное, судя по тому, что два года спустя он затеял одно очень смелое предприятие. На сей раз

Учитель Кун предложил срыть все крепости, принадлежавшие «трем семействам» и их служилым людям.

Решаясь на столь рискованное дело, Конфуций, как часто с ним бывало, руководствовался одновременно и практическими соображениями, и собственными убеждениями. Он радел, конечно же, об искоренении очагов усобиц, о безопасности и благоденствии народа, об упрочении власти государя. Но он заботился еще и о том, чтобы были возрождены и строго соблюдались уложения отцов чжоуского государства. А согласно этим уложениям в Поднебесном мире ни один правитель не имел права владеть более чем тысячью боевых колесниц и крепостью с таким же количеством бойниц. Управлять уделом в «тысячу колесниц», часто напоминал он на дворцовых аудиенциях, – это исключительное право законных наследников первых царей Чжоу.

Учитель говорил: «Чтобы управлять царством в тысячу боевых колесниц, потребны честность, бережливость, верность долгу и милосердие к подданным».

Разумеется, вельможи в свите Дин-гуна менее всего беспокоились о древних обычаях, особенно если этими обычаями нельзя было оправдать их привилегии. Но Учитель Кун завоевал столь прочное положение при дворе, что его планы поначалу не встретили отпора даже со стороны тех, кто мог пострадать от них в наибольшей степени. Без особого труда Конфуцию удалось убедить Дин-гуна и его приближенных в том, что им выгоднее вовсе отказаться от крепостей, где скапливались оружие и профессиональные воины, готовые каждый день повернуть это оружие против своих же господ. Доводам Конфуция благосклонно внимали и предводители «трех семейств», хорошо знавшие на собственном опыте, как ненадежны гарнизонные начальники. Осуществляя свои планы, Конфуций всегда мог рассчитывать на поддержку преданного Цзы-Лу, служившего, как нам уже известно, клану Цзи. Храня верность идеалу «воспитания посредством добродетели», Конфуций предпочел добиваться своей цели не силой оружия, а силой разумного слова, и успех часто сопутствовал ему. Без особого труда он сумел убедить пожертвовать своими крепостями семейство Сунь. Затем настала очередь клана Цзи. Правда, на сей раз государева дружина натолкнулась на упорное сопротивление того самого Гуншань Фуцзяо, который три года тому назад предлагал свое покровительство Конфуцию и с тех пор хозяйничал в главной крепости семейства Цзи, отказываясь подчиниться своим патронам. Был момент, когда воины Гуншань Фуцзяо чуть было не взяли в плен самого Конфуция, но в конце концов войска мятежника были разбиты, а сам он разделил участь всех беглых

политических деятелей Лу – стал почетным беженцем при дворе циского Цзин-гуна. Свои крепости отстояло только семейство Мэн, владения которого находились в северных пределах царства, вдоль границы с Ци.

Предводители клана Мэн сумели убедить двор, что уничтожение этих укрепленных пунктов откроет циским войскам дорогу в глубь их родного царства.

Хотя Конфуцию не удалось довести свой план уничтожения крепостей до конца, он мог гордиться достигнутым. Кажется, он и в самом деле был так упоен своими успехами, что даже не смог скрыть переполнявшей его радости. Заметив эту перемену в облике Учителя, его всегдашний критик Цзы-Лу сухо заметил: «Отчего у вас такой довольный вид? Мне доводилось слышать такие слова: „Благородный муж, столкнувшись с опасностью, не пугается, а встретив удачу, не радуется“.

– И правда, такое изречение есть, – ответил Конфуций. – Но ведь говорят еще и так: «Радостно, себя прославив, быть ниже других».

Да, Конфуций чувствовал себя героем. Он почти претворил свою заветную мечту. Он не ошибся: Небо призвало его возродить древнее благочестие. Может быть, ему и вправду суждено стать вторым Чжоу-гуном… Кажется, таким блаженным временем и запомнились людям годы его власти. Молва гласит, что в ту пору повсюду царили мир и спокойствие. Жители не запирали своих домов, а оброненный кошелек лежал на дороге до тех пор, пока не возвращался к законному владельцу. Иноземцам не было нужды просить местных чиновников указать им безопасное для ночлега место, ибо грабежи прекратились. Возродились целомудренные нравы древних. Мужчинам и женщинам было приказано ходить по разным сторонам улиц. Впрочем, и такая мера не могла показаться слишком суровой в стране, где женщинам вообще запрещалось бывать в мужском обществе, а ученые люди вели жаркие споры о том, можно ли считать распутным человека, который подал руку тонущей свояченице.

Но недаром говорят, что большая радость грозит большой бедой. Успехи Конфуция привели в действие и невидимые силы, противодействовавшие его начинаниям. Как легко догадаться, вожди «трех семейств» относились к нему все более настороженно и даже враждебно. Они поддержали его план усмирения гарнизонных командиров, но вовсе не собирались отказываться от своих прежних привилегий. Сломить их сопротивление Конфуцию так и не удалось.

Между тем события в Лу вызывали все большую тревогу и по ту сторону северной границы царства. Циский Цзин-гун,

одряхлев, потерял интерес к житейским радостям, но еще не разучился искусству дворцовых интриг и лихорадочно искал повод отомстить за свое неслыханное унижение на встрече с Дин-гуном. Еще ему не терпелось поскорее поставить на место этого гордеца Кун Цю. Наконец, он понимал, что нужно обезопасить циский трон от возможного усиления лусцев. Что мог он сделать? В его свите кое-кто советовал ему задобрить луский двор, уступив Дин-гуну новые земли. Цзин-гун отказался: отдавать лусцам земли – все равно что кормить тигра собственным мясом. Да и не для того он всю жизнь расширял свои владения, чтобы потом вот так бесславно отдать их в чужие руки. Нет, здесь требовалось что-то другое. Старая лиса Цзин-гун знал: нет более простого и верного способа стать сильнее самому, чем сыграть на слабостях противника. Но какие могут быть слабости у Конфуция? Всему свету известно, что Учитель Кун – муж без недостатков. Впрочем, если не за что зацепиться в самом Конфуции, то пусть его слабостью станет… Дин-гун! Нужно заставить луского государя поступить наперекор долгу, а потом столкнуть государя и слугу. Тут уж Цзин-гуну долго думать не пришлось: все знали, что Дин-гун откровенно скучает на докладах своих советников, зато бывает не в меру весел на шумных пирах с музыкантами и танцовщицами. Уличенный два года тому назад в попытке устроить грубый и недостойный маскарад, Цзин-гун на сей раз действовал с коварством, присущим истинному деспоту. Он приказал свезти со всего царства в столицу восемьдесят красивейших девушек, обучить их самым соблазнительным танцам, пению и игре на сладкозвучной цитре. Потом девиц посадили в экипажи, украшенные яркими шелковыми лентами, и вместе с сотней лучших рысаков отправили в качестве подарка «любезному брату» Дин-гуну от его северного соседа.

Приехав в Цюйфу, чужеземные прелестницы и их провожатые разбили лагерь у Южных Высоких ворот столицы и стали дожидаться высоких гостей. Те и в самом деле не замедлили появиться. Уже на следующий день первый советник государя Цзи Хуаньцзы, направляясь в свою загородную усадьбу, приметил у городских ворот скопление юных красавиц и породистых лошадей и поспешил доложить об их появлении государю. (Очень может быть, что он вступил в сговор с Цзин-гуном и просто играл свою роль в интриге.) Дин-гун изъявил желание взглянуть на столь изысканное подношение. Увидев все собственными глазами, он пришел в восторг и распорядился отправить лошадей в царскую конюшню, а девиц – в свой гарем. Ему и в голову не пришло поинтересоваться, отчего так расщедрился его давний недруг. Дни и ночи напролет развлекался он с дарованными ему

девицами, забыв о своих обязанностях государя. А ведь для Учителя Куна не было ничего ненавистнее распутства, и тем более распутства, угрожавшего благополучию государства. Разве не приказывал он мужчинам и женщинам обходить друг друга стороной на улице? Разве не говорили древние мудрецы, что женские прелести в царском дворце – это «поруха государства»? Разве не знает даже самый темный мужлан, что увлечение женщинами убивает волю и губит здоровье мужчины? А теперь правитель его родного царства сам попал в плен пагубной страсти! И он, его советник, волей или неволей за него в ответе… Два утра подряд Конфуций простоял в пустом тронном зале, ожидая, что государь выйдет на аудиенцию. Но Дин-гун так и не показался. А Цзи Хуаньцзы в ответ на просьбы передать его доклад государю только вежливо кланялся, и в уголках его рта таилась насмешливая улыбка. На третий день Конфуций решился на крайний шаг: он вручил Цзи Хуаньцзы свою бирку судьи в знак ухода в отставку. И вновь никакого ответа от государя. Возможно, Цзи Хуаньзцы или какой-нибудь другой тайный пособник циского двора позаботился о том, чтобы весть об отставке Конфуция так и не дошла до ушей Дин-гуна.

– Учитель, вы всегда говорили, что благородный муж не живет в царстве, где нет Пути. Вам нужно уезжать отсюда! – в тот же вечер заявил Конфуцию вспыльчивый Цзы-Лу. – Ведь вы сами говорили: «Не живите там, где нет праведного Пути!»

– Да, это так, – отвечал Конфуций. – Но давай подождем еще немного. Ты не забыл, что завтра будут приносить жертвы Небу? Если государь исполнит свой долг, я останусь.

Конфуций был готов пойти на все, чтобы уладить дело миром.

Чествование Неба и божественных предков было торжественнейшим обрядом в чжоуском Китае. По обычаю, вся церемония заканчивалась ритуальным пиршеством, участники которого вместе съедали тушу жертвенного быка, как бы приобщаясь таким образом к божественной силе, «добродетели» рода. Правитель царства одаривал жертвенным мясом своих сановников, удостоверяя тем самым единение всех людей его двора в неумирающем теле родовой жизни. Вот и Конфуций ждал такого знака – такого привычного, но и такого нужного ему в эти дни. И вот настал день церемонии. Все собрались у родового храма луских царей… Но Дин-гун не явился даже для принесения жертв! Придворный церемониймейстер наскоро принес жертвы сам, и тут случилось непоправимое: Цзи Хуаньцзы, замещавший Дин-гуна в его отсутствие, то ли по забывчивости, то ли по злому умыслу не прислал Конфуцию его долю жертвенного мяса. Судьба

Учителя Куна была решена…

В тот же день, вернувшись домой, Конфуций велел ученикам собираться в дорогу. Куда ехать? Только не в Ци! Лучше всего на запад, в царство Вэй, где один родственник Цзы-Лу по женской линии пользовался влиянием при дворе и давно уже звал Учителя Куна к себе, обещая устроить его карьеру. Сборы не заняли много времени. Взяли только немного провизии и самое необходимое на первые дни. Учитель даже не снял парадной шапки на тот случай, если государь одумается и срочно призовет к себе. Вместе с ним вызвались ехать и его старые верные ученики: Цзы-Лу, Цзы-Гун, Янь Юань, Жань Цю… Минула беспокойная ночь. А утром Учитель Кун попрощался с домочадцами и друзьями, пришедшими проводить его, и с невозмутимым видом взошел в свой экипаж. На передок сел Жань Цю, который прежде ведал в доме учителя хозяйственными делами, а теперь стал его возницей. Еще несколько прощальных слов, и повозка Учителя тронулась со двора. Ученики, некоторые друзья и даже сын Кун Ли с женой последовали за ним. Остались позади знакомые улицы Цюйфу, городские ворота и поле, где Конфуций любил состязаться в стрельбе из лука. Надвинулась нескончаемая полоска западного тракта. Как гласит предание: «Учитель ехал медленно, с думой о родном царстве». Конечно, не спеша отъезжать от родного дома требовали правила приличия, но Учитель Кун все еще надеялся, что вот-вот настигнет их гонец луского царя с приказом повернуть обратно… Мерно крутились колеса повозки и так же размеренно и неостановимо текли в голове Конфуция тяжелые думы.

Как мимолетна слава в этом мире! Как призрачно все, чем обладаем мы в этой жизни! Ему сейчас пятьдесят пять… Сорок лет неустанного труда и размышлений, терпеливого восхождения к одной заветной цели, и вот, когда эта цель уже совсем близка, удача отворачивается от него. Да, он многого добился, но и потерял немало… Потерял? Нет, он такой же, каким и был. Он как никогда верен себе. И не будет роптать на Небо… Странно, такие удары судьбы, а в сердце его нет волнения. Видно, верно древние говорили, что мудрого и горе не опечалит, и удача не обрадует… Так и надо жить…

К вечеру путники остановились на ночлег в каком-то постоялом дворе, поужинали. Оставив Учителя в главной комнате дома, ученики ушли в боковые пристройки. И тут в дверях появился хозяин постоялого двора.

«Я всегда захожу к именитым гостям, чтобы выразить свое почтение», – сказал он. Конфуций пригласил его войти, и они беседовали до тех пор, пока на улице не сгустились сумерки.

Наконец трактирщик вышел во двор и, увидев опечаленных учеников, сказал им: «Отчего вы так грустите? Мир уже давным-давно погряз в невежестве и лжи, но Небу угодно, чтобы учитель ваш стал деревянным языком колокола. Он пробудит Срединную страну!»

А Конфуций молча сидел у себя, вслушиваясь, не раздастся ли на улице топот коня или стук повозки, подъезжающих со стороны луской столицы. Но все было тихо…

Один за другим друзья Конфуция покидали его и возвращались в столицу. Последним повернул назад старый учитель музыки Ши Сян. Взявшись за руки, друзья долго стояли в молчании у ворот пограничной заставы.

– Учитель Кун, вашей вины здесь нет, – чуть слышно сказал музыкант, то ли желая утешить старого друга, то ли втайне надеясь, что этот славный муж передумает и вернется обратно. Может быть, еще не поздно?

– Учитель Сян, что толковать о прошедшем! Лучше я вам спою на прощанье, – отозвался Конфуций и, помолчав, тихо запел глуховатым голосом:

Сладкозвучное пенье красавиц
Судьбы честных мужей ломает,
Звонкий смех обольстительных дев
Предвещает тысячи бед.
О, несчастная доля моя!
Мне теперь суждена чужбина…

Когда учитель музыки возвратился в Цюйфу, Цзи Хуаньцзы пришел к нему в дом и долго расспрашивал, как Учитель Кун уехал из Лу, что говорил, очень ли был расстроен, скоро ли собирался вернуться. Выслушав рассказ старого музыканта, он сказал: «Учитель Кун обижен на меня за это происшествие». Но приказа вернуть Конфуция он так и не отдал.

Годы странствий

Почему Конфуций решился покинуть родину? Ответ, казалось бы, ясен. Учитель Кун мог мириться с произволом и несправедливостью властей, пока при дворе блюли хотя бы декорум «праведного Пути» (ибо для него знак был реальностью, а украшение не отличалось от сущности), но он не мог и не хотел оправдывать кощунственное в его глазах пренебрежение ритуальными обязанностями государя. Явное нарушение этикета требовало столь же явного разрыва с нарушителем. Спустя полтора столетия Мэн-цзы утверждал, что Конфуций уехал из Лу из-за того, что ему «не преподнесли жертвенное мясо». Наверное, так оно и было. И нетрудно также понять, ради чего Учитель Кун отправился в странствие по Срединной стране. Его, конечно, не покидала надежда на то, что он сможет найти применение своим знаниям и талантам в других царствах. Ведь добился же он блистательных успехов у себя на родине! И все же не странно ли, что далеко уже не молодой человек, всеми уважаемый учитель и государственный муж бросает высокий пост, срывается с насиженного места и бежит неведомо куда, теша себя мечтой прославиться в чужих краях? Нет, в поступке Учителя Куна проглядывают не только обиды и мечты честолюбивого политика. В нем угадывается куда более весомое и серьезное чувство. В нем есть нечто неотвратимое, судьбийное. Только так, обрекая себя на бесприютность в мире, Конфуций мог теперь оповестить мир о подлинной высоте своих устремлений. В целом мире он более не мог иметь установленного места и звания. В своей книге о Конфуции английский исследователь Г. Крил пишет: «Если бы Конфуций остался в Лу, продолжая жить в свое удовольствие на государственное жалованье и прогуливаясь с учениками, он остался бы проповедником; пустившись в свои безнадежные поиски, он стал пророком». Красивое и точное суждение, но будем помнить, что Конфуций был безмолвным пророком и что пророчества его были неотделимы от поступков, диктуемых светским этикетом и даже практической сметкой. Это был пророк в одеждах скромного мирянина.

Тут следует напомнить, что Конфуцию к тому времени уже пошел шестой десяток и, значит, он, по собственному признанию, вступил в ту пору, когда ему открылась «воля Небес». Отъезд Учителя Куна из Лу помогает понять смысл этой загадочной формулы. С точки зрения человека, наделенного хотя бы малой толикой светского благоразумия, то был в высшей степени опрометчивый шаг. В один день оказались перечеркнутыми все

славные достижения мудреца на единственном достойном благородного мужа поприще и, что еще страшнее, рухнули и все его надежды на будущее. В конце концов, не так уж был наивен Учитель Кун, чтобы тешить себя мыслью о легком повторении своего успеха! Но дело не в поводах и мотивах. Учитель сделал то, чего *не мог не сделать.* Его отъезд не был бегством, в нем не было даже намека на истерику или скандал. Поистине, поступок Конфуция не имеет отношения к земным страстям, его корни – небесные. Самое странствие, постоянно ставившее Учителя Куна перед лицом неведомой будущности, словно служило прообразом открытости мудреца бездонному простору небес. И потому не будет простой игрой слов сказать, что, потеряв все, Учитель Кун все приобрел. Вот и в действиях его не заметно ни следа разочарования или подавленности. Более чем когда бы то ни было он спокоен и уверен в себе.

Примечательно, что, покидая Лу, Конфуций явно не искал для себя каких-то особых тягот и испытаний, которые еще больше возвысили бы его в глазах окружающих. Он не намеревается «бежать, куда глаза глядят», демонстрируя оскорбленную честь. В этот критический и даже, как мы чувствуем, судьбоносный момент его жизни, великий учитель, как всегда, не пренебрегает и здравым смыслом. Он направляется в царство Вэй. Путь туда был недальний, и при необходимости Конфуций мог бы быстро возвратиться на родину. При вэйском дворе у Конфуция имелись влиятельные покровители, да и тамошний правитель состоял в близком родстве с царствующим домом Лу и радушно принимал гостей из этого соседнего царства. Примечательно, что ни в тот момент, ни когда-либо позже Конфуций не захотел предложить свои услуги верховному правителю чжоусцев. Возможно, он окончательно потерял веру в чжоуских царей, давно уже втянувшихся в водоворот мелочных и жестоких дворцовых распрей. А может быть, он считал, что обратиться напрямую к Сыну Неба было бы нескромным, и решил сначала воплотить свою мечту о Небесном царстве в каком-нибудь рядовом уделе.

Как бы то ни было, доподлинно известно, что в 497 году до н. э. Конфуций, разочарованный и оскорбленный невниманием государя, отправился искать счастья в столицу царства Вэй. Стояла поздняя весна, в полном разгаре были земледельческие работы, и в воздухе пахло зеленью и сырой землей. Вдоль дороги тянулись вспаханные поля чумизы и проса, на которых трудились крестьяне в широких соломенных шляпах и с деревянными мотыгами в руках. Поля перемежались холмиками могил, канавками и аккуратными рядами тутовых деревьев. Одна за другой мимо проплывали деревни, издали выглядевшие

невзрачным скоплением приземистых глинобитных домиков, крытых тростником или соломой. Домики укрывались за высокими земляными валами, и такой же вал, только еще более высокий, опоясывал всю деревню. То и дело слышались скрип крестьянских телег и крики погонщиков, ветер доносил собачий лай и бодрое пение петухов… Хотя Учитель Кун никогда не забывал о собственном достоинстве и даже в дороге не глядел по сторонам, он все же не мог не приметить, что проезжает через цветущий, густо заселенный край, уже давно не знавший войн. «Как многолюдно в этой стране», – сказал он, обращаясь к своему вознице Жань Цю. А тот, как всякий способный ученик, воспользовался случаем, чтобы получить от учителя очередное наставление.

– Когда в стране многолюдно, чем надобно заняться ее правителю?

– Он должен сделать так, чтобы все люди жили в достатке, – ответил Конфуций.

– А что нужно сделать потом?

– Обучить их.

Кажется, к Учителю Куну уже возвращался его всегдашний интерес к государственной деятельности. Его натура, приученная жить непрестанным духовным усилием, явно не выносила расслабляющего безделья. И кто знает, быть может, Конфуций уже представлял себя в роли советника вэйского государя?.. Позднее Цзы-Гун скажет, что у его учителя есть собственный, «совсем особенный» способ узнавания положения дел в разных царствах: учитель может как бы сразу схватывать внутренним взором суть вещей.

Но вот и вэйская столица, город Дицюй, что значит Холм предков; она встретила Конфуция и его спутников пестрой, разноязыкой уличной толпой, оживленными торговыми рядами, богато украшенными домами знатных людей. Всюду кипела жизнь. Здесь сходились торговые пути из разных стран, местные жители были привычны к чужеземцам, а нравы их не отличались строгостью. Царство Вэй, сравнительно небольшое и слабое, окруженное со всех сторон более могучими соседями, предпочитало наживаться не на войнах, а на торговле. Люди здесь, как с удовольствием подметил Конфуций, жили богаче, чем его земляки. Может быть, они будут еще и восприимчивее к слову правды?

Конфуций остановился, как и предполагал, в доме свояченика Цзы-Лу, сановника Ми-цзы, доверенного лица самого государя. Родство было самое что ни на есть дальнее: жена этого Ми-цзы была сестрой жены Цзы-Лу. Но хозяин со всей учтивостью

принял гостей из Лу и предоставил им отдельный дом в своей усадьбе. Высший свет вэйской столицы тоже встретил Конфуция благосклонно. Об этом высокорослом человеке в одежде ученого здесь так много слышали! Особенно прославила Конфуция его блестящая дипломатическая победа на переговорах с циским Цзин-гуном. Знали вэйцы и о его успешной борьбе против засилья «трех семейств». Впрочем, брошенный гостем из Лу призыв «пусть подданный будет воистину подданным» не мог не насторожить столичных аристократов, которые не спешили завязывать дружбу с именитым гостем из Лу, ссылаясь на его сомнительное происхождение. Зато Учителя Куна охотно посещали местные ученые мужи – знатоки писаний, ритуалов и древних предметов.

Не прошло и нескольких дней, как гонец от царского двора известил Учителя Куна о желании государя дать ему аудиенцию. Правитель Вэй – его звали Лин-гун – принял Конфуция со всеми почестями, как титулованного сановника. Ему явно очень хотелось иметь столь славного мужа в своей свите. Он сразу же объявил, что такой знаменитый человек, как Учитель Кун, в рекомендациях не нуждается, и спросил своего гостя:

– Какое жалованье получали вы в вашем драгоценном царстве?

– Мое жалованье равнялось шестидесяти тысячам мер зерна в год, – ответил Конфуций.

– Вы будете иметь столько же, – сказал Лин-гун, после чего, как полагалось на первой аудиенции, он поинтересовался у своего нового советника, как должен управлять государством мудрый правитель. Конфуций был готов дать обстоятельный ответ.

– Мудрый правитель первым делом должен называть вещи правильными именами, – отвечал он. – Ведь если вещи будут именоваться неправильно, слова потеряют силу, и ни одно дело нельзя будет довести до конца. А если мы не сможем исполнять свой долг, ритуалы и музыка придут в расстройство. Если же погибнут ритуалы и музыка, преступления не повлекут за собой наказаний. А если уж окажется невозможным применять законы, простолюдины будут ввергнуты в смятение. Посему, когда благородный муж дает имена вещам, эти имена должны жить в языке, а когда он высказывает суждение, слова его не могут не претвориться в дела. Благородный муж не позволит себе быть небрежным в речи. Вот главное его достоинство!

Лин-гун, политик хитрый и опытный, сразу смекнул, куда клонит Конфуций: раз он, Лин-гун, обещал ему звание советника, он должен теперь позаботиться о том, чтобы это обещание не осталось пустым звуком. Видно, с этим ученым из Лу и вправду

надо быть настороже. Он похвалил речь Конфуция, но поспешил переменить тему, заодно устроив своему собеседнику маленький экзамен на сообразительность.

– В народе говорят: «Государство начинается с разметки стен родового храма». Что это значит? – спросил он.

– Поистине, это мудрые слова, – ответил Конфуций. – Тот, кого мы любим, тоже любит нас. Тот, кого мы ненавидим, тоже ненавидит нас. Кто познает себя, тот познает и других. Вот почему люди говорят, что мир можно познать, не выходя из дома. Оттого же говорится, что в государстве можно водворить порядок, не покидая храма предков.

Вновь похвалив ответ Конфуция, Лин-гун окончил аудиенцию, обещав гостю и впредь «смиренно внимать его наставлениям». На самом деле у Лин-гуна были совсем другие намерения. Благосклонно слушая луского ученого, этого друга всех законных государей, он больше думал о том, как бы укоротить своих старых советников-земляков из родовитых семей, и вовсе не собирался следовать наказам этого мечтателя из Лу, уверявшего, что процветания в царстве можно достичь, просто «называя вещи правильными именами»! Какой вздор! Даже привратник на рынке знает, что в государственных делах все решают не слова, а сила, на худой конец хитрость. И потом: что хотел сказать этот Кун Цю, когда он заявил – придворные наушники поспешили передать эти слова Лин-гуну, – что «Лу и Вэй в делах правления похожи друг на друга, как братья»? Конечно, в Лу умеют хранить обычаи наших великих пращуров. А все же подозрительно слышать такое из уст человека Лу, бежавшего без оглядки от своих господ. Что ни говори, а комплимент какой-то двусмысленный…

Возможно, Конфуцию и удалось бы завоевать расположение Лин-гуна, если бы он понравился окружению вэйского государя. Но тут у него не было никаких шансов. Как некогда в царстве Ци, в характере и манерах пришлого ученого было немало такого, что вызвало сначала глухую, а со временем все более усиливавшуюся неприязнь в придворном обществе. Недюжинная эрудиция Конфуция легко будила зависть в местных книжниках, а его честность, чувство собственного достоинства, безупречная выдержка делали его слишком опасным соперником для советников Лин-гуна. Конфуцию то и дело приходилось выдерживать словесные атаки приближенных вэйского правителя. Так, престарелый советник Лин-гуна Вансунь Цзя решил испытать ученого из Лу народной поговоркой: «Лучше поклоняться очагу, чем юго-западному углу дома». Что означают эти слова?» (В древнем Китае в юго-западной комнате дома жил глава семьи, так

что демарш Вансунь Цзя можно рассматривать как замаскированное предложение Конфуцию служить лично ему, а не Лин-гуну.) Как легко догадаться, Учитель Кун быстро нашел достойный ответ.

– Поговорка эта неправильная, – отрезал он. – Тому, кто нарушил веление Неба, нигде нет места для молитвы.

Известно также, что вэйские царедворцы не без ехидства спрашивали Цзы-Гуна, каким образом его учителю удалось стать таким образованным человеком (тут был весьма прозрачный намек на сомнительное происхождение Конфуция). Самый остроумный из Конфуциевых учеников не ударил в грязь лицом. «Разве не известно вам, уважаемые, что путь древних царей Чжоу не оборвался с их смертью? – отвечал он злопыхателям. – Величие древних живет в великих мужах нынешних времен, а их слабости продолжают жить в нынешних низких людях. Так найдется ли в мире такое место, где Учитель не смог бы извлечь для себя урок?»

Очень может быть, соглашались оппоненты Цзы-Гуна, что Учитель Кун и в самом деле находит какой-то полезный для себя смысл в каждом явлении, да только узнать про это нелегко, поскольку говорит он мало, и все больше загадками и недомолвками. Похоже, он просто пытается оправдать свои собственные недостатки, когда твердит всем подряд:

«Те, кто красиво говорят и обладают привлекательной внешностью, редко бывают человечными».

Впрочем, свет не без добрых людей. Нашлись достойные мужи и в вэйской столице. Вот сановник Ши Ю: о нем Учитель Кун говорил позднее: «Сколь прям был Ши Ю! Когда в стране был порядок, он был прям, как стрела. Когда в стране не было порядка, он тоже был прям, как стрела!» А вот советник Цюй Боюй: «Когда в стране был порядок, он был на виду, а когда в стране не было порядка, он хранил правду в себе и скрывался». Вот у кого можно было поучиться мудрой осмотрительности!

Время шло, интриги вокруг Конфуция разрастались, как снежный ком, а положение гостя из Лу оставалось все таким же неопределенным. Между тем слухи о знаменитом и к тому же наделенном удивительной внешностью ученом проникли на женскую половину дворца и достигли ушей жены Лин-гуна по имени Наньцзы – женщины столь же распутной, сколь и властной. Репутация у нее была самая дурная: поговаривали, что она держала в любовниках чуть ли не две дюжины красавцев из дворцовой гвардии и даже не стыдилась делить ложе со своим сводным братом. Ходили слухи, что на ее совести загадочная смерть нескольких царских наложниц, завоевавших благосклонность Лин-гуна, да и много других преступлений –

всех не перечесть.

Впрочем, никто не посмел бы в открытую обвинить Наньцзы, ибо она понукала как хотела своим слабовольным супругом и держала в своих руках все нити дворцовых интриг. Без ее согласия не обходилось ни одно сколько-нибудь важное назначение в царстве. А теперь Наньцзы пожелала увидеть необыкновенного ученого из Лу, и двигало ею, надо полагать, не только женское любопытство, но и желание самой по-хозяйски оценить достоинства этого человека, о котором столько говорили вокруг. Она послала Конфуцию приглашение явиться в ее дворец, наказав гонцу на словах передать гордому ученому, что «правители со всех концов земли, приезжая в Вэй для того, чтобы поклясться в братской любви, непременно наносят визит супруге нашего Единственного, и супруга нашего Единственного желает также лицезреть вас».

Это необычное приглашение, разумеется, было воспринято Конфуцием без энтузиазма. Дважды гость из Лу под разными предлогами уклонился от этой более чем деликатной встречи, но в конце концов, как гласит предание, «был вынужден уступить» домогательствам своевольной царицы. Зная, что поступок его не встретит одобрения учеников, требовавших от Учителя святой непорочности, он отправился к Наньцзы тайком от своих спутников и даже не взял с собой слуг, нарушив тем самым элементарные правила хорошего тона. Войдя в назначенное время в покои Наньцзы, он отвесил низкий поклон на север, как если бы стоял перед царской особой, и некоторое время оставался недвижим, позволив хозяйке дворца молча разглядывать его сквозь узорчатый шелковый полог (выйти к постороннему мужчине и даже заговорить с ним через занавес, по обычаям того времени, было бы слишком бестактным даже для такой женщины, как Наньцзы). Вдоволь насмотревшись на гостя, Наньцзы дважды поклонилась, оповещая его об окончании «аудиенции» позвякиванием своих яшмовых подвесок. Конфуций, по-прежнему не говоря ни слова, в свою очередь отвесил прощальный поклон и удалился… Когда ученики узнали, куда ходил Учитель, негодованию их не было предела. Они, конечно, понимали, что Учитель навестил Наньцзы в одиночку, желая избавить их от унизительных сплетен света, и были ему за это благодарны. Но как Учитель мог решиться нанести визит женщине с такой дурной репутацией, да еще без свидетелей, нарушив все приличия? «Я пошел туда не по своей воле! И потом – Наньцзы вела себя пристойно, все приличия были соблюдены», – оправдывался Конфуций. Больше всех возмущался, как и следовало ожидать, темпераментный Цзы-Лу. Он бросил Учителю столько горьких

упреков, что тому пришлось прибегнуть к крайним аргументам. «Если я сделал что-то не так, то пусть Небо покарает меня! Пусть Небо покарает меня!» – заявил в конце концов Конфуций.

Визит Учителя Куна к царице не пошел ему на пользу. Он лишь дал новую пищу для кривотолков, которые охотно поддерживала и сама Наньцзы, почуявшая в Конфуции сильного конкурента в борьбе за влияние на государя. В придворных кругах поползли слухи о том, что бывший советник луского двора – лазутчик Дин-гуна и что не сегодня-завтра луские войска вторгнутся во владения Вэй. Этот человек из Лу, говорили недоброжелатели Конфуция, с утра до вечера только и делает, что разглагольствует о человечности и добродетели, а сам пошел на тайное свидание с Наньцзы. Разве можно ему доверять? Кто поручится, что завтра он не приведет под стены столицы вражеское войско? Лин-гуну подобные разговоры не казались вовсе лишенными основания, и он даже приставил к дому, где жил Учитель Кун, соглядатая, время от времени бесцеремонно осматривавшего покои луских гостей. Вообще же Лин-гун, уже поживший свое и давно пресытившийся интригами, очень скоро стал тяготиться присутствием чужеземного учителя с его бесконечными назиданиями, советами и требованиями. Он стал позволять себе жесты, унижающие достоинство уважаемого гостя. Однажды он пригласил Конфуция для совместной прогулки по улицам вэйской столицы. Придя во дворец, Конфуций увидел, что для прогулки заложили два экипажа. В первом экипаже, украшенном разноцветными шелковыми лентами и запряженном четверкой лошадей, должны были разместиться Лин-гун и его жена, а другой экипаж, победнее и запряженный всего лишь одним быком, предназначался для Учителя Куна. Пришлось Конфуцию долго ездить по улицам Дицюя в хвосте царской колесницы и на позорном для благородного мужа положении человека из свиты. Говорят, что эта выходка Лин-гуна побудила Конфуция произнести свою знаменитую сентенцию:

«Я еще не видел человека, который любил бы добродетель больше, чем женские прелести».

Конфуцию принадлежит и еще одно столь же пессимистичное, но, наверное, не менее справедливое изречение:

«Мое дело, кажется, безнадежно! Я еще не встречал человека, который осудил бы себя сам, видя свою вину».

Теперь Учитель Кун убедился в том, что его мечтам найти применение своим талантам при дворе Лин-гуна так и суждено остаться мечтами. Вскоре он покинул вэйскую столицу, держа путь на запад. Он думал добраться до столицы царства Цзинь, возглавлявшего в те времена союз нескольких северных

государств Поднебесного мира. Если бы ему удалось завоевать доверие цзиньского правителя, он получил бы прекрасную возможность претворить в жизнь задуманные им преобразования. Но когда Учитель проезжал через маленькое владение Куан, случилось непредвиденное: местные жители по ошибке приняли его за того самого Ян Ху, который когда-то был военным диктатором в своем родном Лу, а потом бежал и занялся разбоем. Как раз незадолго до появления Конфуция этот Ян Ху напал на город Куан и учинил в нем страшный разгром. Местным жителям было немудрено спутать знаменитого учителя с не менее знаменитым разбойником, поскольку оба отличались огромным ростом, да и выговор у них был одинаковый. Кроме того, в провожатом Конфуция куанцы опознали человека из шайки Ян Ху. Не успели путешественники опомниться, как их окружила толпа возмущенных, готовых вот-вот накинуться на них людей. Неизвестно, чем бы закончился этот инцидент, если бы не завидное самообладание Учителя. Вместо того чтобы призвать своих спутников к оружию, он взял в руки цитру и запел так безмятежно, что гнев нападавших понемногу рассеялся. Вскоре Конфуцию и его людям удалось выскользнуть из осады и перебраться в безопасное место. Правда, во время этого бегства потерялся любимый ученик Конфуция – Янь Юань. Учитель очень тревожился за его судьбу, ибо Янь Юань, как настоящий книжник, был слаб здоровьем и не искушен в жизни. Лишь через пять дней Янь Юань разыскал своих товарищей, и учитель, увидев его живым и невредимым, признался, что был уже готов оплакивать преждевременную кончину своего любимца. «Пока вы, учитель, живы, разве посмею я умереть?» – сказал в ответ Янь Юань. Эта бесхитростная фраза стала для всех поколений китайцев лучшим примером того, как ученик должен признаваться в любви к своему учителю.

Что же касается Учителя Куна, то он сохранял завидное хладнокровие даже в самые драматические моменты. Казалось, смертельная опасность только укрепляла его веру в свое высокое предназначение. Окруженный воинственными жителями города Куан, находясь на волосок от гибели, он объявил своим спутникам:

«С тех пор как не стало нашего царя Вэнь-вана, разве не во мне суждено было возродиться его правде? Если бы Небо хотело эту правду погубить, то и я, пришедший позднее, не смог бы ее обрести. А коли Небо не хочет, чтобы эта правда пропала для мира, то и куанцы ничего не смогут со мной поделать!»

Но вера в справедливость небес одно, а превратности земных судеб другое. Конфуцию так и не удалось расположить к себе

куанцев и продолжить свой путь. Лишь благодаря вмешательству сопровождавшего его вэйского аристократа, который поручился за благонадежность путешественников, тем удалось вырваться из плена. Пришлось Конфуцию и его спутникам повернуть назад. Но на обратном пути их подстерегали новые испытания. Уже на границе вэйских владений они натолкнулись на воинов из крепости Пу, поднявших мятеж против вэйского государя. На сей раз не обошлось без кровопролития. Среди спутников Учителя был смелый воин, имевший под своим началом пять боевых колесниц и отряд в полсотни человек. Он вышел вперед и обратился к Учителю с такими словами: «Мы только что вырвались из осады у города Куан, а сейчас наша жизнь снова в опасности. Видно, Небо хочет испытать нас! Лучше обнажить оружие и умереть на этом месте, чем позволить врагам унижать нашего дорогого учителя!» С мечом в руке храбрец бросился на врагов, зарубил нескольких человек и сумел увести Учителя в безопасное место. Казалось, вот-вот закипит нешуточный бой. Но тут предводитель мятежников узнал, что ему повстречался сам Учитель Кун, и тотчас приказал своим людям расступиться и пропустить путешественников. Правда, он взял с Конфуция клятву изменить маршрут и направиться в какое-нибудь другое царство. Затем мятежники возвратились в свою крепость, а Конфуций, свернув поначалу в сторону, вскоре, к удивлению его спутников, снова вернулся на дорогу, ведущую к вэйской столице.

Узнав о возвращении своего несостоявшегося советника, Лин-гун лично вышел встречать его за городские ворота и с почетом препроводил во дворец. Ему явно не хотелось портить отношения со знаменитым ученым. А на первой же аудиенции у Лин-гуна Учитель Кун охотно рассказал о положении в крепости Пу.

– Можно ли напасть на Пу? – спросил Лин-гун.

– Конечно, – ответил Конфуций.

– Но мои советники говорят, что этого делать не надо, потому что Пу защищает нас от ударов соседей…

– Люди Пу готовы стоять насмерть, но державному владыке нужно наказать трех-четырех мятежных командиров, только и всего. Отправляйтесь в поход смело, – посоветовал Конфуций.

Лин-гун одобрил совет Конфуция, но от намерения усмирить мятежный гарнизон все же отказался. Тем не менее Цзы-Лу не преминул упрекнуть учителя в том, что тот не сдержал данную им клятву, хотя сам всегда учил быть верным своему слову.

– Клятвы, данные по принуждению, неугодны духам, – последовал ответ Конфуция.

Таков Учитель Кун: ничего формального и безличного – даже честности – он в жизни не принимал. Могло ли быть иначе, если

речи мудрого непременно являются, помимо прочего, экраном, скрывающим глубины внутренней жизни? И уж во всяком случае все решают обстоятельства. «Благородный муж не настаивает на истинности своих слов», – гласит одна из заповедей конфуцианской традиции. Что ж, не цепляться за слова – это тоже честность. И, может быть, требующая наибольшего мужества… А нам остается добавить, что поведение Учителя Куна в этом случае оказало сильное влияние на традиционную мораль китайцев: нарушить слово, данное неискренне, вовсе не считалось в Китае прегрешением.

Возвратившись в Дицюй, Конфуций остановился у своего доброго друга – престарелого сановника Цюй Боюя. Но как ни приятно после дорожных волнений и тягот вновь очутиться в гостеприимных стенах, Учитель Кун все еще не оставлял надежды поступить на службу в царстве Цзинь (на вэйского Лин-гуна он уже давно не надеялся). Да и не пристало благородному мужу привязываться к домашнему уюту… И вдруг удача: цзиньский вельможа Чжао Цзяньцзы предложил Конфуцию стать его советником. Правда, это приглашение было сделано при весьма щекотливых обстоятельствах: в царстве Цзинь боролись за власть две партии, и Чжао Цзяньцзы в тот момент находился в оппозиции к государю и, следовательно, формально был мятежником. Естественно, что Цзы-Лу и другие ученики не хотели, чтобы их учитель столь поспешно, не думая о собственном достоинстве, примкнул к такому человеку. Сам же Конфуций решил использовать еще один шанс, который давала ему судьба.

«Да, я всегда говорил, что человек достойный не живет там, где нет праведного Пути, – отвечал он ученикам. – Но разве не говорят еще и так: „То, что воистину прочно, никакие жернова не перемелют“? И еще говорят: „То, что воистину бело, и сажей не замажешь“. И потом добавил с грустной улыбкой: „Неужто уродился я горькой тыквою, которой суждено не к столу быть поданной, а попусту висеть на стене?“

Через несколько дней Конфуций отправился в Цзинь. Но едва достиг он берегов Желтой реки, как пришло известие, что Чжао Цзяньцзы жестоко расправился с двумя своими советниками, такими же, как Конфуций, учеными мужами. О службе в Цзинь не могло быть и речи. Учитель встретил это известие с достоинством. Он долго глядел на раскинувшуюся перед ним реку, а потом изрек:

«Как прекрасен этот водный простор! Судьба определила мне не пересекать его!»

С этими словами он повернул обратно.

А у Лин-гуна тем временем случились большие неприятности. Сын властолюбивой Наньцзы и наследник престола Куайвай задумал убить собственную мать (как он сам утверждал, из желания отомстить за ее прегрешения). Однако подосланный им убийца в последнее мгновение струсил, дело раскрылось, и Куайваю пришлось бежать в царство Цзинь. Наследником был назначен его сын, внук Лин-гуна. Теперь престарелый государь был озабочен тем, как вырвать ростки неумолимо назревавшей смуты. Он хотел было снарядить карательный поход против мятежного сына и даже предложил Конфуцию взять на себя командование войсками. Более оскорбительного предложения для Учителя Куна и придумать было невозможно! Мало того, что Лин-гун пренебрег первой заповедью Конфуция – «управлять не силой оружия, а силой добродетели», – он чуть было не втянул его в братоубийственную войну. Конфуций ответил вежливым, но твердым отказом. «Ваш слуга немного разбирается в церемониях, – сказал он Лин-гуну, – но не имеет чести быть знатоком воинского искусства». Вэйский государь и на этот раз не стал затевать военных действий, но к своему строптивому гостю из Лу охладел окончательно. О настроении Конфуция в ту пору свидетельствует один странный анекдот, записанный в «Беседах и суждениях». Однажды Конфуций, будучи не у дел, музицировал, ударяя в каменные гонги – старейший и почтеннейший музыкальный инструмент в древнем Китае. Некий прохожий, несший «корзину с травой», остановился у ворот и долго слушал звуки, доносившиеся из дома учителя, а потом заметил: «Я слышу в этой музыке плач по несбывшимся надеждам. Никто не понимает музыканта! Ну и пусть! Как поется в песне, „коли брод глубок – перейду, не снимая одежды, а если брод мелкий – подниму края платья!..“ Когда Конфуцию доложили о словах прохожего, он сказал: „Вот это решительность! Тут не уговоришь отступить!“

В этом рассказе много загадочного. Тайной овеяны и занятие Конфуция, и странный старик с корзиной, и суждение старика, припомнившего слова народной песни, и, наконец, заключительная фраза самого Конфуция. Но его общий смысл проступает все-таки довольно отчетливо сквозь нагромождение малопонятных, почти анекдотических деталей: Конфуций преисполнен решимости претворять свой Путь, хотя решимость эта проистекает не из желания получить власть или прославить свое имя; она вообще чужда всем мирским понятиям. Конфуций следует высшему, чисто внутреннему чувству долга – некоему «зову Неба» в себе, который сильнее и надежды, и отчаяния.

Рассказывают, что однажды, прогуливаясь с Лин-гуном по

дворцу и рассказывая ему что-то поучительное, Конфуций заметил, что государь, отвернувшись от него, любуется летящей в вышине стаей диких гусей. На следующий же день Конфуций вновь уехал из вэйской столицы.

На сей раз Учитель Кун решил попытать счастья в землях, лежавших к югу и к западу от Вэй. Поначалу он заехал на родину своих предков – в царство Сун. Сопровождаемый все теми же верными ему людьми, он переезжал от одного городка к другому, без устали наставлял своих последователей в ритуалах и музыке, секретах мудрого правления и свершениях древних, а пуще всего – в доблестях благородного мужа. Эти разговоры о мужах бесстрашных и добрых, честных и скромных помогали путникам переносить тяготы странствий, вселяли в них веру в свои силы и в свое призвание. Вот и сейчас, на полуденном привале, после того как Учитель Кун и его ученики закусили просяной кашей, Цзы-Гун подошел к учителю и, поклонившись, задал вопрос на все ту же неисчерпаемую тему:

– О каком человеке можно сказать, что он воистину благородный муж?

Учитель на мгновение задумывается, потом говорит ровным и уверенным голосом:

– Тот, кто в своих поступках движим чувством стыда, кто не роняет чести своего государя, будучи посланным с поручением в чужие страны, тот и есть настоящий благородный муж.

– Осмелюсь спросить: а кто стоит на ступень ниже его?

– Таков тот, кто славен любовью к родственникам и уважением к соседям.

– А кто стоит еще ниже?

– Тот, кто верен слову и доводит дело до конца, хотя, признаться, такому человеку трудно избежать известной ограниченности.

– Ну а что тогда можно сказать о тех, кто состоит на службе в наше время?

По лицу Учителя пробегает улыбка:

– О, это люди настолько мелкие, что и разговора не заслуживают!..

Воцаряется молчание. Учитель как будто погружается в раздумье. Но дотошный ученик уже придумал беседу.

– Скажите, учитель, – продолжает Цзы-Гун, – как лучше управлять народом?

– Накормите людей, дайте им оружие, и они будут доверять вам.

– А если бы от чего-то из названного вами пришлось отказаться, чем следовало бы пожертвовать в первую очередь?

– Оружием.

– Ну а потом?

– Едой. Видишь ли, из всех пришедших в этот мир людей еще никто не избежал смерти, но, когда между людьми нет доверия, не будет и жизни…

Мог ли кто-нибудь предположить, что, пока Учитель Кун мирно беседовал с учениками на сунских дорогах, над ним нависла смертельная опасность? Могущественный военачальник сунского царства и близкий друг самого правителя Хуань Туй задумал погубить ничего не подозревавших путешественников. Можно только догадываться, отчего этот Хуань Туй воспылал ненавистью к безобидному странствующему ученому. Известно, что он был не кем иным, как старшим братом ученика Конфуция Сыма Ню, который отрекся от своих властолюбивых родичей. Быть может, Хуань Туй усмотрел в этом козни Учителя Куна, заморочившего его брату голову разговорами о «человечности» и «добродетели». Такое предположение не столь уж невероятно. Казнили же Сократа за то, что он «совращал юношество»… Хуань Туй выбрал еще и на редкость изощренный способ осуществления своего злодейского плана: он велел своим людям повалить на Конфуция огромное дерево, под которым тот отдыхал, по своему обыкновению неспешно беседуя с учениками. Рассказывают, что в последний момент, услышав треск падающего дерева, Учитель успел отбежать в безопасное место. К покушению на его жизнь он отнесся с величественной снисходительностью.

– Я ношу в себе правду, ниспосланную Небом! – воскликнул он. – Что может против меня этот человек?

Тем не менее Конфуций и его спутники не чувствовали себя в безопасности в сунских землях, и им пришлось бежать (по некоторым сведениям, переодевшись простолюдинами) в соседнее царство Чжэн – то самое, где не так давно у кормила власти стоял мудрый советник Цзы-Чань, и притом бежать так поспешно, что по дороге они опять потеряли друг друга. Сохранился рассказ о том, как ученики Конфуция, добравшись до чжэнской столицы, безуспешно искали своего учителя на ее улицах. Какой-то местный житель сказал им, что у восточных ворот города стоит человек необыкновенной наружности: у него лоб, как у древнего праведника Яо, шея, как у мудрого судьи древности Гао Яо, спина, как у советника Цзы-Чаня, ноги же его похожи на ноги Великого Юя. «А выглядит этот человек растерянным и грустным, словно собака, потерявшая хозяина!» – добавил прохожий. Ученики побежали к месту, указанному прохожим, и к великой своей радости увидели там учителя – живого и невредимого. Конечно, они передали ему странные

слова, сказанные о нем незнакомцем, на что Учитель Кун, добродушно рассмеявшись, ответил: «Ну, внешность человека значения не имеет, а вот то, что я похож на собаку, потерявшую хозяина, это в самом деле точно сказано! Да, точнее и не скажешь!»

Некоторое время Конфуций провел в столице царства Чжэн, но вниманием чжэнского двора избалован не был. После Цзы-Чаня, сумевшего заметно урезать привилегии родовитой знати, местные аристократы и слышать не хотели о реформах, тем более направленных на упрочение царской власти. Ну а самому Конфуцию едва ли могла прийтись по душе местная музыка, прослывшая по всей Срединной стране самой «распутной» и «вредной», самой далекой от возвышенных образцов древней музыки Чжоу. Чего можно достичь в царстве, имеющем такую музыку? А в результате никто из чжэнских вельмож не захотел устроить знаменитому учителю аудиенцию у государя, и даже ученые мужи чжэнской столицы не искали с ним знакомства…

Не прижившись в Чжэн, Конфуций решил ехать дальше на юг и запад – в царство Чэнь. Тамошний правитель радушно встретил именитого гостя и принял его на службу. Царство Чэнь уже давно страдало от постоянных набегов могущественных южных соседей – царств Чу и У и крайне нуждалось в хороших стратегах и дипломатах. (Спустя полтора десятка лет Чэнь будет окончательно завоевано чускими войсками.) Учитель Кун пробыл при чэньском дворе три года, но никаких сведений о его государственной деятельности в то время не сохранилось. Зато ему представилась возможность продемонстрировать свою ученость, после того как рядом с царским дворцом нашли птицу, пронзенную необычной стрелой с кремниевым наконечником. Никто из ученых мужей царства не мог объяснить происхождения этой стрелы. Тогда спросили Учителя Куна, и тот ответил, что такие стрелы в стародавние времена варвары южных земель в знак своей покорности подносили высокомудрым государям Поднебесной, а те жаловали их своим старшим дочерям, выказывая тем самым свою отцовскую любовь. Одна из этих принцесс стала женой основателя удела Чэнь, так что подобные стрелы, заключил Учитель Кун, должны храниться в дворцовой сокровищнице. Государь немедленно послал ученых людей осмотреть хранилище царских реликвий, и те действительно обнаружили там стрелы с кремниевым наконечником. Все советники царя были изумлены широтой познаний знаменитого учителя.

Нельзя забывать, впрочем, что Конфуций приехал в Чэнь не для того, чтобы вести ученые разговоры, а с мечтою «претворить

праведный Путь». Но мог ли он убедить чэньского правителя отказаться от силы оружия и уповать на силу добродетели в тот момент, когда его царство гибло под натиском воинственных соседей? Могли ли прислушаться к нему предводители больших и малых армий, ожесточенно воевавшие друг с другом за земли, людей и богатства? Призыв Конфуция управлять так, чтобы народ был счастлив, показался бы им наивной мечтой книжника. А его убежденность в том, что одно умение всегда и всюду соблюсти ритуал восстановит в Срединной стране мир и благоденствие, они и вовсе сочли бы чистым безумием.

Странное, двусмысленное положение было уготовано Учителю Куну в годы его странствий. Почти везде знаменитого ученого встречали с почетом. Его изысканные манеры, широчайшая эрудиция, радушие и честность не могли не внушать симпатии. Одним своим присутствием он умел побудить окружающих быть лучше – воспитаннее, добрее, справедливее. Он мог заставить других устыдиться своих низких поступков или невежества. Но до реальных перемен дело не доходило. Заезжего праведника вежливо выслушивали, сочувственно вздыхали и… продолжали жить, как прежде.

А что же Конфуций? Он не уставал заверять всех: «Если мне дадут власть, я наведу порядок за месяц, а за три года добьюсь процветания!» Слыша эти слова, одни недоумевали, другие посмеивались, третьи же настораживались. Похвалы добродетели и невероятные обещания этого странного чужеземца казались немыслимым бахвальством или чем-нибудь похуже. Случалось, его принимали за лазутчика и соглядатая. Известно, что Цзы-Гуну не раз приходилось отвечать на вопрос, каким образом его учитель узнавал о положении в царствах, через которые проезжал: сам ли расспрашивал местных жителей или кто-то ему докладывал? Цзы-Гун объяснял, что его учитель собирает сведения по-особому, благодаря ненавязчивому желанию слушать.

Порой случались и драматические события. Когда после трехлетнего пребывания в царстве Чэнь Конфуций решил переехать в расположенный по соседству небольшой удел Цай, кое-кто среди советников чэньского правителя решил воспрепятствовать этому из опасения, что Учитель Кун окажет услуги врагам государства. И вот в каком-то пустынном месте Конфуций и его спутники были окружены чэньскими воинами и несколько дней провели без пищи. Кое-кто из учеников уже начинал бредить от голода, Конфуций же оставался невозмутим и сохранял полную ясность сознания. Казалось, страдания только укрепляли его волю. «Бывает же, что и благородного мужа жизнь

доводит до крайности!» – пробурчал, будучи уже не в силах терпеть муки голода, Цзы-Лу, на что Конфуций спокойно ответил:

«Благородный муж не пугается, даже если жизнь доводит его до крайности. А вот низкий человек, доведенный до крайности, теряет стыд!»

Предание донесло до нас несколько рассказов о Конфуции, «терпящем бедствие между Чэнь и Цай». Все они толкуют о том, как Учитель Кун поднял дух своих спутников, внушив им в очередной раз, что благородный муж черпает радость в сознании несокрушимости своей воли и должен скорее благодарить Небо за посланные ему испытания. Легенда? Да, легенда. Но опять-таки столь же придуманная, сколь и правдивая. Ибо только средствами мифа и можно оповестить мир о внутреннем опыте «самопостижения», открытии в себе непоколебимой, самодостаточной и всепобеждающей воли. Это легенды о Конфуции как учителе в каждом из нас. В одной из них рассказывается о том, как в те черные дни Конфуций решил испытать, тверда ли вера учеников в его дело. Он подозвал Цзы-Лу и пропел ему строчки народной песни:

Не буйволы мы и не тигры,
Отчего же мы здесь, в этой глуши?

А потом сказал:

– Может, путь наш неверен, оттого и угодили мы в эту глушь?

– Наверное, мы не настолько добродетельны, чтобы люди верили нам, и недостаточно мудры, чтобы они чтили нас.

– Вот как? – удивился Конфуций. – Если добродетелен тот, кому верят, то почему люди позволили древним праведникам Бои и Шуци уморить себя голодом?

Потом Конфуций позвал Цзы-Гуна и спросил его:

Не буйволы мы и не тигры,
Отчего же мы здесь, в этой глуши?

Может быть, путь наш неверен, оттого и угодили мы в эту глушь?

– Учитель, ваш путь несказанно велик, вот почему мир неспособен принять его, – ответил Цзы-Гун. – Не лучше ли вам приспособиться к миру?

– Хороший земледелец может вспахать и засеять поле, но не может ручаться, что снимет богатый урожай, – сказал Учитель Кун. – Хороший ремесленник может сработать изящную вещь, но

не может ручаться, что ее оценят в мире. Мудрый может следовать праведному Пути, но не может ручаться, что люди примут его правду. Боюсь, устремления твои не слишком возвышенны!

Наконец Конфуций подозвал к себе своего любимца Янь Юаня и задал ему все тот же вопрос:

Не буйволы мы и не тигры,
Отчего же мы здесь, в этой глуши?

Может, путь наш неверен, оттого и угодили мы в эту глушь?

– Учитель, путь ваш непостижимо велик, а потому мир не может принять его, – ответил Янь Юань. – Но вы должны и впредь твердо идти своим путем. Если человек не имеет успеха в свете, это лучше всего доказывает, что он – достойный муж. Если мы сами не претворяем праведный путь, нам должно быть стыдно. А если в царстве есть праведные мужи, а правда отвергнута светом, за это должно быть стыдно государю. Что ж огорчаться из-за того, что мир не следует нашему Пути?

– Как хорошо ты сказал! – воскликнул Учитель. – О, славный сын рода Янь, если бы ты был знатным вельможей, я хотел бы быть твоим слугой!

Небо и на этот раз не дало погибнуть правде, которую хранил в себе Учитель Кун: в конце концов путешественники ускользнули от погони и благополучно добрались до северных рубежей Чу – могущественного южного царства, располагавшегося в районе среднего течения реки Янцзы. И попали в новый и незнакомый мир: непонятная речь, непривычные письмена, необычные дома на сваях, странные смуглолицые люди, покрывающие себя татуировкой. Другие леса, и холмы, и реки. Другое небо… Настоящий край земли. Царство Чу было страной самобытной культуры, вобравшей в себя многое из жизненного уклада местных некитайских племен. Обитатели равнины Желтой реки считали его «варварским» или в лучшем случае полуварварским. Но правители царства, именовавшие себя, как и чжоуские цари, ванами, все решительнее вмешивались в политические раздоры уделов Севера, все настойчивее боролись за верховенство в Поднебесном мире. Может быть, оттого чуские власти и отнеслись к необычным гостям с вниманием? Измученные путешественники нашли приют у правителя области Шэ, которого звали Чжу Лян. Поначалу случился небольшой конфуз: когда Чжу Лян спросил у Цзы-Лу, что за человек его учитель, Цзы-Лу не нашелся что ответить. Узнав об этом, Учитель Кун сам дал себе оценку – изумительно простую, честную и непринужденную.

– Почему же ты не сказал, – воскликнул он, обращаясь к Цзы-Лу, – что это человек, который так поглощен размышлениями, что забывает поесть, и так радуется жизни, что забывает о всех тяготах и не замечает надвигающейся старости?..

Цзы-Лу быстро исправил свой промах, и Чжу Лян пригласил к себе Конфуция.

– В чем секрет мудрого правления? – задал он неизбежный на таких встречах вопрос.

– Мудрый правитель делает так, что живущие вблизи радуются ему, а живущие далеко стекаются в его владения, – ответил Конфуций.

Как всегда, Учитель Кун не просто изрекал какие-то всеобщие, всегда и для всех пригодные истины, а действовал «по обстоятельствам». Незадолго до их встречи Чжу Лян расселил на своих землях многих жителей удела Цай, так что совет Учителя Куна был ему как нельзя кстати. Но в этом совете было, конечно, и что-то абсолютное, непреходящее, сопричастное чистой и возвышенной мечте. Это умение в одном частном примере, одном простом образе выразить величие человеческого духа – одна из самых верных примет Конфуциевой мудрости.

Чжу Лян показал себя способным администратором и к тому же преданным своему господину: спустя несколько лет он поможет чускому царю затоптать пламя крупного мятежа. Но он был только одним из многих провинциальных военачальников и, конечно, не имел возможности всерьез посодействовать Учителю Куну. Надо было ехать дальше на юг – в столицу чуского правителя, Чжао-вана, могущественнейшего из царей Поднебесного мира. Да и сам правитель Чу, прослышав о Конфуции, изъявил желание иметь своим советником ученейшего человека на свете. Тут как раз случилось так, что Чжао-ван остановился лагерем у северных границ своего царства и пригласил Конфуция к себе. Он даже решил пожаловать знаменитому учителю большой удел. Вот здесь чуские царедворцы не на шутку встревожились, и первый советник Чжао-вана употребил всю свою хитрость, чтобы задушить в зародыше союз государя с надменным северянином.

– Подумайте, светлейший владыка, – обратился он к Чжао-вану, – есть ли в вашей свите такие же ученые, мудрые и добродетельные люди, как этот Учитель Кун?

– Пожалуй, нет, – ответил, поразмыслив, Чжао-ван.

– А теперь подумайте: отцы-основатели Чжоу поначалу владели крошечным уделом, а потом завладели всей Поднебесной. Теперь же вы хотите пожаловать Учителю Куну удел куда больший. Что же из этого выйдет? Прошу еще раз

хорошо все обдумать.

Чжао-ван подумал… и не взял Конфуция на службу.

Так и остался Учитель Кун странствующим ученым, да еще с репутацией чудака, над которым впору было посмеяться. И смеялись… Больше всего – над обещаниями Конфуция одним махом переделать мир. Конфуциевы ученики записали для потомков рассказ о том, как их учитель встретился в Чу с неким «безумцем Цзе Юем».

Узнав, что перед ним Учитель Кун, этот Цзе Юй, слывший у себя на родине как бы блаженным пророком, вдруг запрыгал по-птичьи и запел:

Феникс, о феникс!
Как померкла доблесть твоя!
То, что ушло, не воротишь.
То, что придет, еще можно сберечь.
Кончено! Кончено! Горе тем, кто нынче на службе…

Конфуций вышел из повозки и хотел поговорить с безумцем, но того уже и след простыл…

В другой раз, подъехав к какой-то речке, Конфуций послал Цзы-Лу расспросить о дороге (символическая деталь!) двух трудившихся поблизости старцев, по виду ученых мужей. Узнав, что Цзы-Лу – ученик «того самого Кун Цю из Лу», старцы сказали ему:

– А не будет ли лучше для вас, уважаемый, если вы пойдете не за тем, кто сторонится людей, а за тем, кто сторонится всего мира?

Вернувшись назад, Цзы-Лу передал учителю слова мудрых отшельников. Конфуций задумался и в конце концов заключил: «Нельзя человеку жить среди птиц и зверей. Если не жить мне среди людей, то с кем же мне жить? Пока в Поднебесной есть праведный Путь, я ни за что не поменяюсь с ним местами…»

Рассказывают еще и такую историю. Однажды Цзы-Лу отстал в пути от учителя и встретил на дороге старого крестьянина.

– Уважаемый, вы не видели моего учителя? – окликнул его Цзы-Лу.

– Вы, как я погляжу, ногами и руками не трудитесь, хлеб не растите. Что уж говорить о вашем учителе! – отвечал старик.

Цзы-Лу вежливо поклонился незнакомцу, и тот позволил ему заночевать в своем домике. На следующий день Цзы-Лу догнал Конфуция и рассказал ему о встрече с тем сердитым стариком. «Это, должно быть, мудрый отшельник», – решил Учитель Кун и велел ученику разыскать старца. Цзы-Лу помчался назад, но

старика того уже не застал. Вероятно, из желания хотя бы заочно оправдаться перед отшельником, Цзы-Лу потом говорил, вспоминая ту мимолетную встречу: «Благородный муж поступает на службу для того, чтобы выполнить свой долг. А то, что праведный Путь неосуществим, это он уже знает!»

Рассказы о встречах Конфуция с чуским безумцем и мудрыми отшельниками поначалу вызывают скорее недоумение: откуда взялись эти смелые критики великого учителя и, главное, почему эти истории, казалось бы, совсем не лестные для Конфуция, сохранились в предании его школы? Присмотревшись внимательнее, мы увидим, что эти странные обитатели далеких южных окраин «Поднебесного мира», не знавшие чжоуских ритуалов и, конечно, неспособные понимать их чудодейственную силу, больше похожи на неких литературных персонажей, которые выполняют в предании особую роль, выявляя в Конфуции ту потаенную правду, которая не видна его окружению – слишком несамостоятельному и слишком привыкшему к мудрецу. Эти отшельники, несомненно, вовлечены в многозначные и по-своему деликатные отношения с Учителем Куном. Да, они не очень жалуют луского мечтателя, считают его проповедь, как некогда Лао-цзы, мирской суетой, но они же как будто и сочувствуют ему (это сочувствие проступает еще нагляднее в более подробных версиях соответствующих эпизодов, вошедших в даосские книги). Конфуций же, со своей стороны, относится к ним с искренним интересом и почтением, хотя и не собирается следовать их примеру. Не в том ли дело, что и Учитель Кун, и отшельники постигли нечто, недоступное простым людям – «небесную» основу жизни, – и эта встреча внезапно обнажает сокровенную глубину их душевной жизни? И, следовательно, их связывает некое внутреннее, безмолвное понимание. Но Конфуций и отшельники, кажется, сделали из своего открытия диаметрально противоположные выводы. Заметим, что встречи Конфуция с отшельниками и «безумцами» южных краев развивают наметившийся ранее мотив нелицеприятного суда над великим моралистом, который вершат безымянные мудрецы из народа. Эти простолюдины оказываются прозорливее всех книжников: они заявляют, что Учитель Кун «хочет невозможного», и знаменитый мудрец готов согласиться с ними!

Что все это означает с точки зрения духовного развития Конфуция? Вспомним теперь, что лускому мудрецу к тому времени перевалило за шестьдесят, то есть он уже смог «настроить свой слух». Некоторые исследователи полагают, что Учитель намекает здесь на свою способность «отличать правду от неправды». Не поздновато ли? Да и странно слышать такое о

человеке, который любил повторять, что благородный муж «быстрее всех распознает обман». Надо думать, видеть истинные намерения дворцовых интриганов и тем более обычное человеческое вранье Конфуций научился гораздо раньше. И потом, к чему такой изощренный образ для столь тощего смысла? Вероятно, смысл этой сентенции, которая в оригинале означает буквально: «следую слухом», куда более глубок. Речь идет о способности понимать духовную подоплеку каждого суждения и, стало быть, видеть в жизни нечто *непреложное,* принимать реальность такой, какая она есть. Мы можем только следовать истоку наших душевных движений, тем самым постигая корень всего происходящего. Вот это и значит «следовать древности» – той древности, в которую великий учитель, прямо по слову Тютчева, мог только… верить! Эта «древность» не принадлежит истории, она вообще никогда не принадлежала настоящему, но она все предвосхищает, всему дает возможность быть.

Оказывается, всякое непонимание есть на самом деле только недо-понимание! В таком случае, просветленный ум способен распознавать истинность всякого душевного порыва, всякого настроения, даже если они выражаются в мнениях чуждых и даже противоположных собственной точке зрения. В сущности, только таким и может быть высший фазис морального сознания: способность превзойти все субъективные мнения, сознавая в то же время, что каждое из них имеет свою правду. Тут уже исчезает разрыв между сущим и должным, и каждое мгновение жизни становится актом свободы и любви – свободы для себя, любви для всех:

«А теперь, в свои семьдесят лет, я следую влечению сердца, не преступая правил…»

Однако следовать означает не только уподобляться, но и иметь твердую ориентацию на своем жизненном пути. Непреложное в жизни – это, помимо изначально заданного, еще и вечно чаемое. В сущности, одно неотделимо от другого: незапамятная древность смыкается с невообразимым будущим. Тот, кто «настраивает свой слух», умеет слушать не только немолчный хор Земли, но и громовое безмолвие Неба – один неведомый, но всеобъятный напев вселенской жизни. «Настроить слух», по Конфуцию, – значит превратить свою жизнь в одну нить Пути, собирающую воедино древнее и вечно новое, неизбежное и вечно отсутствующее. Видно верно говорил почтенный Лао-цзы: «Кто следует Пути, тот уходит, чтобы вернуться»…

Здесь, на диких берегах Длинной реки, Конфуций открыл последнюю правду своей жизни: правду *приятия* мира в освобождении от него. Нет, он не уподобится отшельникам,

которые, хоть и мудры своей отстраненностью от мирских дел, одновременно стеснены ею. Он вернется в мир и будет до конца жить среди людей. Не потому, что живет миром, а потому, что мир жив теми, кто способен свободно его принять.

Мы живем, чтобы умереть и умираем, чтобы жить.

Мы умираем для мира, чтобы жить в нем.

Учитель сказал: «Утром познав Путь, вечером можно умереть».

Без преувеличения можно сказать, что это последнее открытие Конфуция определило весь облик китайской цивилизации, высшая мудрость которой есть именно самое полное и подлинное переживание человеком своей *социальности.* Великий Путь китайских мудрецов – реальность всецело деятельностная. Идущий им учится понимать, что такое человек, живущий среди людей.

Но Конфуций не был бы Учителем десяти тысяч поколений, если бы его последняя, высшая правда выразилась в каких-то эксцентричных, оторванных от обыденных представлений формах. Учитель Кун просто изжил в себе потребность в странствиях и вместил в себя мир, когда достиг последних пределов Срединной страны. Он выдержал то «самое трудное испытание», которое сам себе уготовил. Теперь он мог только вернуться, что означает: принять неизбежное…

Словно откликаясь сокровенным думам Учителя Куна, к нему пришли вести из далекого дома. Еще в 494 году до н. э. умер Дин-гун, на престол взошел его сын, взявший себе имя Ай-гун. Спустя два года не стало и Цзи Хуаньцзы. Перед смертью этот могущественный человек царства признался своему сыну и преемнику Цзи Канцзы, что чувствует себя виноватым перед Конфуцием, и просил вернуть честного ученого на родину. Однако кто-то уговорил Цзи Канцзы ограничиться приглашением кого-нибудь из Конфуциевых учеников. Выбор пал на Жань Цю – самого сведущего в окружении Учителя и к тому же самого исполнительного и покладистого. И вот в маленькую чускую крепость, где остановился Конфуций со своими учениками, прибыли гонцы из Лу и вручили Жань Цю предложение стать советником при Цзи Канцзы. Жань Цю ходил, сияя от радости, хотя и не мог отделаться от смутного чувства вины перед Учителем. «Вот увидите, учитель, когда я вернусь в Лу, я устрою так, что государь призовет вас к себе», – повторял он, словно оправдываясь, пока слуги складывали его вещи в повозку. Конфуций стоял с невозмутимым видом и лишь чуть заметно наклонял голову, как бы благодаря ученика за заботу. А потом он вышел за городские ворота провожать Жань Цю и долго смотрел

вслед удаляющейся повозке.

«Мои дети на родине прямо-таки одержимы великими замыслами. Успехи у них большие, но они не умеют сдерживать себя». Он помолчал и вдруг выкрикнул, словно не в силах больше сдерживать себя: «О, я хочу домой! Я хочу домой!»

В тот же вечер он велел ученикам собираться в дорогу. Но ехать ему было некуда.

Возможно, вместе с Жань Цю на службу в Лу был приглашен и Цзы-Гун. Произошло это не позднее 489 года до н. э., поскольку в следующем году, согласно записи в местной хронике, Цзы-Гун представлял Ай-гуна на переговорах с правителем царства У и с честью вышел из трудного положения, предотвратив, казалось бы, неминуемое нашествие уских войск. А еще через три года тот же Жань Цю и другой ученик Конфуция, Фань Чи, нанесли чувствительное поражение армиям царства Ци, вторгшимся в луские владения. Конфуций, как выяснилось, воспитал превосходных стратегов и по праву мог бы рассчитывать на благодарность луского двора. Но родина не звала его к себе.

И снова странствия, долгие месяцы дорожных тягот… Знакомой дорогой Конфуций вернулся в гостеприимную столицу вэйского царства и стал жить у друзей уединенной и тихой жизнью человека, уставшего от скитаний. Он сделал свое дело: добрался до края земли и испытал все опасности и лишения, которые только могут выпасть на долю странника. Теперь он вернулся к людям, но вернулся, познав цену вечного одиночества. Он даже не чурался дворцовой жизни: известно, что он поддерживал тесные отношения с тогдашним фактическим главой вэйского двора Кун Юем, первым советником и опекуном малолетнего преемника Лин-гуна. Кун Юй был замешан в нескольких скандальных интригах и уже изрядно подмочил свою репутацию, но Конфуций, как всегда, не придавал значения сплетням. Он верил только тому, что видел и слышал сам. В общении с людьми он следовал принципу:

«Если кого-то все хвалят, нужно присмотреться. Если кого-то все ругают, тоже нужно присмотреться».

И, конечно, Конфуций доверялся виденному и слышанному. Ему было достаточно того, что ритуал соблюден и «имена выправлены». Он честно искал в диктаторе достоинства и отмечал с одобрением, что тот «извлекает уроки из прошлого и не стыдится расспрашивать тех, кто стоит ниже него». Когда же Цзы-Лу, по своему обыкновению, упрекнул учителя в том, что тот несколько неразборчив в выборе покровителя, Конфуций ответил как человек, переживший все и при том не потерявший здравого смысла: «У меня уже не осталось надежд встретить настоящего

мудреца или святого. Я был бы доволен, если бы мне удалось повстречать человека, не изменяющего своим добрым помыслам».

Вот с таким настроением жил Учитель Кун на седьмом десятке своей жизни. Но бесчестных поступков Учитель Кун по-прежнему не прощал. Когда Кун Юй решил заставить одного аристократа жениться на своей дочери и обратился за помощью к Конфуцию, тот вместо ответа приказал ученикам закладывать экипаж. Пришлось Кун Юю спешно приносить свои извинения.

Вокруг только и было разговоров, что о противоборстве между мятежным сыном Лин-гуна и его внуком, занявшим престол. Многим хотелось знать, кому принадлежали симпатии Учителя Куна, и однажды тот дал понять, что внуку Лин-гуна не следовало принимать царский титул в обход отца. Впрочем, в интриги вэйских царедворцев Конфуций напрямую не ввязывался. Он уже не питал иллюзий в отношении «большой политики». Не тешил он себя иллюзиями и насчет готовности рода людского последовать его заветам.

Учитель сказал: «Встретившись с добротой людской, я бегу вперед так, словно боюсь отстать. Видя пред собою злобу людскую, я бегу прочь так, словно ступил в кипящую воду». Я слыхал такие слова и видел таких людей. «Я живу в уединении, дабы стать лучше, и следую должному, дабы претворить свою правду». Я слышал эти слова, но не видал такого человека».

С малолетним правителем, незаконно занявшим трон, и его властолюбивым опекуном жизнь в вэйской столице была для Учителя Куна подлинной мукой. Но напрасно в минуту гнева он грозил Кун Юю тем, что немедленно уедет из города. Ему некуда было бежать. Он пережил свои годы странствий. Ему оставалось только довериться неизбежному и ждать, ждать… Ибо судьба всегда приходит как случай. С горькой иронией он говорил о своей участи Кун Юю:

«Птица выбирает дерево. Дерево не выбирает птицу».

А потом случилось чудо, и на ветви одинокого дерева опустились птицы в облике гонцов из Лу, привезших Конфуцию приглашение занять должность советника государя. Жань Цю сдержал-таки свое слово. Цзи Канцзы был настолько восхищен его воинским искусством (а равно и дипломатическими успехами Цзы-Гуна), что в конце концов решился призвать ко двору Учителя Куна.

– Мой учитель, – поспешил заметить Жань Цю, – человек необыкновенный. Нельзя ронять его достоинство.

Тогда за Учителем Куном послали не просто гонцов, а двух знатных сановников и царский экипаж, украшенный разноцветными шелковыми лентами. Посланцы из Лу привезли

добровольному изгнаннику богатые дары и даже почетный титул «старейшины государства».

Конфуций не заставил просить дважды. Наскоро собравшись, он снова пустился в путешествие – последнее в своей жизни. Опять потянулись деревни, долины и холмы, мимо которых он проезжал когда-то, покидая родину. А когда вдали показались знакомые стены Цюйфу, он велел вознице ехать быстрее. Пусть все знают, как надо возвращаться в родной дом!

Глава четвертая
На пороге бессмертия

«Настроив свой слух…»

Конфуций вернулся в Лу в 484 году до н. э., проведя в странствиях долгих четырнадцать лет. И сладостно, и мучительно возвращаться в родной город, прожив так долго на чужбине. Видеть те же стены, улицы и те же дома, уже заметно обветшавшие или окруженные новыми постройками. Какая это радость, привычно отворив ворота, войти в знакомый с детства двор, где на память знаешь каждое дерево, каждый поворот дорожки в саду, каждую ступеньку на крыльце… Только вот где старинные друзья и соседи? Неузнаваемо изменились знакомые лица. А многих уже нет на свете. Как постарел сын Боюй! Ему за сорок, и он выглядит совсем разбитым. Какой недуг его точит? А внука Цзы-Сы и вовсе не узнать. Четырнадцать лет тому назад он был еще совсем ребенок, а нынче уже завязывает волосы в пучок, как взрослый мужчина. И к учению способен. Выучил наизусть и Песни, и Предания, знает досконально про обряды. Цзы-Сы – это его надежда…

Ну а сам Конфуций – каков он? Все такой же или уже другой? Да, он все тот же и, как никогда, ощущает свою связь с прошлым. Тяжелые испытания и неудачи, выпавшие на его долю, выбелили виски и бороду, прорезали лицо морщинами, еще больше согнули его. Но они не отняли у Учителя его волю, не озлобили его, не ввергли в уныние. Он все тот же молодой, полный сил и веры Кун Цю, который «всем сердцем любит древность» и по-прежнему учится, не ведая усталости, и наставляет, не ожидая наград…

Легко и спокойно вернулся Учитель к своему обычному образу жизни: еда в установленные часы, регулярные беседы с учениками, занятия музыкой, непременный послеобеденный отдых и прогулки, прием посетителей, чтение, исполнение семейных обрядов, участие в общих празднествах… Учитель все так же неподдельно радушен и отзывчив. Со стороны, кажется, невозможно было усмотреть какие-либо перемены в его жизни. Могло ли быть иначе? Ведь мудрость Конфуция в ее внешнем, зримом образе и была не чем иным, как прочным, хорошо отлаженным бытом, правильно устроенной жизнью, вместившей в себя вековой опыт предков. Она вся сходится в одном великом завете:

«Не пренебрегай повседневными делами».

Но: *«Не гонись за мелкими успехами, иначе не совершишь великого дела».*

Мудрец Лао-цзы, по преданию, навеки покинул Срединную страну. А Конфуций, напротив, после долгих странствий вернулся

на родину. Вернулся скромно, безропотно, не предприняв никаких демаршей. Что это? Во всяком случае, не признак разочарования и усталости, вовсе не свойственных Учителю Куну. Возвращение Конфуция – это исход его жизни, знак судьбы, высшее, самое правдивое проявление его мудрости. Ибо нет ничего более «конфуцианского», чем принятие этой жизни со всей ее обыденностью и всей ее непреходящей изменчивостью. В этом поступке он остался, как принято говорить, «верен себе». Но по той же причине цельность личной судьбы Конфуция определена не его «мировоззрением» или даже личным опытом, а присутствием возвышенной воли, дающей ему способность «оживлять старое» и каждое мгновение словно проживать жизнь заново. Конфуций еще не имел представления об индивидуальной психике, о драме души – во всяком случае, ему были неведомы ни угрызения совести, ни чувства вины, раскаяния или даже надежды. Он мог сознавать недостаточность своих усилий и стыдиться ее (что и делало его вечным учащимся), но он не знал мук нравственного самоопределения. Он видел перед собой лишь ровный и прямой Путь. Внутренняя цельность его жизни заключалась как раз в том, что он в каждый момент мог «превозмогать себя» и, следовательно, сознавать себя обновленным, как будто заново родившимся…

Но было в нем на этом последнем этапе его жизненного пути какое-то новое видение и чувствование мира, какой-то новый, неведомый прежде покой. Размышляя об этой перемене в себе, Конфуций скажет незадолго до смерти:

«В шестьдесят лет я настроил свой слух…»

Признание многозначительное, и над ним стоит вновь задуматься. Из него явствует, что для Учителя Куна жить воистину – значит внимать глубине жизни (потому жизнь истинная, по Конфуцию, и есть учение). Первый учитель Китая не выдвигает догматов, не формулирует принципов, не выводит никаких «общих истин». Он внимает древним образцам благочестия и речью своей лишь отмечает их свойства. Он *следует* (так сказано в оригинале) безусловному, изначально заданному. Его интересует не предметное содержание наследуемых им образцов, но запечатленное в них качество переживания, настрой души, по которому он и сам настраивает себя. Этот восторженный поклонник музыки и пения, любитель игры на цитре и каменных пластинах недаром прослыл колоколом, который призван огласить своим возвышенно-чистым звучанием всю Поднебесную. А раз Учитель Кун живет музыкой, то и жизнь его подчиняется не отвлеченным правилам, а неисповедимому закону житейских случайностей,

неисчерпаемому разнообразию вариаций одной неизреченной темы. Он не проповедует, не читает лекций, а «задает тон» самим качеством своего образа жизни. Он не знает, какова «идея» древней мудрости, но знает доподлинно, что на нее нельзя не положиться. Учительствование Конфуция есть воистину сотворчество человеческих душ в бесконечно сложном хаосе мировой жизни, со-бытийность зова и отклика, резонанс духа, где звук взывает к жесту, а жест – к слову, где все есть только движение, одна нескончаемая метаморфоза. В конце концов быть мудрым, по Конфуцию, – значит уметь по мельчайшему фрагменту жизни восстановить все богатство бытия. Разве не сам Конфуций явил тому пример, прозрев сокровенный образ царя Вэнь-вана в разученной им мелодии?

Выходит, объявить свой слух «вполне настроенным» в устах Конфуция означало назвать себя не больше и не меньше, как преемником незапамятной древности. Именно: непостижимого истока всякого одухотворенного жеста, жизненности всякой жизни. Но почему Учитель Кун высказывается о себе так скромно и так иносказательно? Да потому, что иносказательно всякое правдивое слово о Великом Пути, и хорошо говорит тот, кто умеет молчать. «Имеющий уши да услышит…» Учитель Кун говорил помимо слов и о том, что дается каждому прежде слов, что согрето теплом человеческого сердца. Его мысли всегда о том, что «близко лежит», – о родном, интимно-невысказанном, греющем душу. Не он владеет своей правдой, но правда владеет им. Чем меньше он знает о ней, тем больше может доверять ей. И потому есть своя справедливость в том, что эта истина музыкальной настроенности души открылась ему в годы странствий и лишений, быть может, в те тяжкие дни, когда он и его ученики умирали с голоду в далеких и чужих землях Юга. Ничто так не высвечивает внутреннюю правду, как неуютность мира, окружающего нас.

Наверное, Конфуций и сам не смог бы сказать в точности, когда постиг он истину музыкальной настроенности жизни. Но, вероятно, он верил, что истина эта не случайно открылась ему именно в шестьдесят лет – в пору завершения земных трудов человека. И еще он знал, что эта правда привела его обратно в родной дом, как привела она его сердце к неведомому прежде, легкому, естественному и все-таки возвышенному покою…

Почему легкая правда? Да хотя бы потому, что она освобождала от необходимости что-то выражать, доказывать, объяснять. Она учила видеть жизнь своей собственной тенью, своей собственной оградой, экраном, но также и украшением, узором, орнаментом. Нет ничего более истинного и более

глубокого, даже более таинственного для Конфуция, чем прихотливая вязь человеческой культуры, запечатлевшаяся в том самом понятии *вэнь,* в правде царя Вэнь-вана, которая обозначала для Учителя Куна и этикет, и ученость, и нравственный долг – вообще стильную жизнь в широком смысле слова. Повторимся: можно убрать вещь, но невозможно убрать тень. Культура воистину бессмертна, потому что она не зависит от субъективной воли и присутствует в обществе неизбежной тенью сокровенной матрицы человеческих деяний. Возможно, тут и кроется разгадка того удивительного обстоятельства, что Конфуций совершенно не интересовался смертью и не имел никакого представления о конце времен. Человек, по Конфуцию, может либо наполнить формы культуры своей творческой волей, и тогда он выполнит свое человеческое призвание, либо не усвоить культуру – и тогда он не состоится как человек. Вообще же культура так же врождена жизни, как – воспользуемся тут удачным сравнением Цзы-Гуна – темные полоски – шкуре тигра или пятна – леопарду.

Учитель Кун мог быть покоен, ибо свершил свой Путь: он облачился в узорчатый покров культурных форм и так стал своей бессмертной тенью. Он больше не принадлежал себе. Так для чего ему теперь обременять себя житейскими заботами? Его старые верные ученики вели хозяйство и передавали его науку новому поколению. Дело Учителя на глазах становилось традицией, обретало бессмертие сверхличного, символического тела духа. Конечно, с новичками приходилось быть настороже. Большинство из них были привлечены авторитетом Учителя Куна и возможностью легкой карьеры, ведь об учащихся Конфуциевой школы уже ходила добрая слава по всей Срединной стране. «Нынче уж и не встретишь молодого человека, который, проучившись три года, не мечтал бы о чинах и наградах», – ворчал Конфуций, но, как здравомыслящий человек, вовсе не отвергал ни богатства, ни стремления к достатку. Однажды он даже осудил богатого ученика, отказавшегося от жалованья, заметив, что было бы лучше, если бы он поделился своими доходами с друзьями. Он понимал, что нужно не подавлять юношеское честолюбие, а направлять его на достижение великих целей. Он по-прежнему никому не отказывал во встрече при условии, конечно, что все приличия и требования нравственности будут соблюдены. «Если кто-то приходит ко мне умытый и подобающим образом одетый, я обязательно принимаю его», – говорил он ученикам. И добавлял с улыбкой: «Ведь я не обязан брать его в семью, правда?» Впрочем, доброжелательность Конфуция не мешала ему без колебаний отказывать во встрече тем, кого он не считал достойным быть его гостем, и даже не

скрывать истинных причин отказа. Известен случай, когда Учитель Кун не захотел принять некоего сановника и велел сказать, что его нет дома, а сам взял в руки цитру и запел нарочито громко, чтобы нежеланный визитер услышал его.

Конфуций на склоне лет как никогда скромен, но мы чувствуем, что его скромность из тех, что дороже гордости. Он прост, но его простота приучает быть изысканно вежливым. Он доступен, но его столь добродушная, непринужденная открытость делает его неприступным и непроницаемым для других. При всей его мягкости с ним было очень нелегко. Никогда и ни при каких обстоятельствах не снижал он своих требований к окружающим (но прежде всего к самому себе). Он жил, как завещал:

«Благородному мужу легко услужить, но трудно угодить».

Преклонный возраст, возможно, лишь усугубил его обычную строгость, с близкими людьми он бывал порой крут. Домашние и ученики, несомненно, робели перед ним и старались в его присутствии вести себя безукоризненно. Но, как бы ни возвеличивали, ни приукрашивали образ Учителя Куна потомки, он остается человеком «во плоти и крови» – человеком, несомненно, наделенным огромной силой воли, но чуждым героической патетики, очень естественным в каждом своем слове и поступке, скромным, знакомым с мучительными сомнениями и даже немного сентиментальным. Вот и то новое качество жизни, которое открылось Конфуцию в преклонном возрасте и, возможно, сделало его великим учителем, тоже было свойством чисто человеческим и даже, может быть, самым что ни на есть человеческим на этом свете. Традиция утверждает, что Учитель на старости лет жил «праздной жизнью» *(сянь цзюй)*. Конфуций, научившийся внимать творческой стихии жизни, «живет в праздности». Его праздность – это, конечно, название не легкомысленного безделья, а умудренной и возвышенной недеятельности. Конфуций, праздный, празднующий свою волю к «преодолению себя», живет памятью предвечного и предвосхищением еще неведомого. В сущности, его «праздность» есть примета по-праздничному радостной работы духа, которая не закрепощает, а, напротив, освобождает сознание, воспитывает возвышенный покой души, дарит отдохновение в «труднейшем из свершений»: самопреодолении человека, пресуществляющего свою жизнь в памятные, вечно живые моменты бытия. Чтобы стать свободным, человек должен не бежать от действительности, а пережить ее.

«Знающий, как делать, ниже того, кто любит делать. А любящий делать ниже того, кто наслаждается делом».

«Учитель Кун, живущий в праздности» – это отдельный,

самобытный мотив «конфуцианского эпоса» в Китае. Так назван, пожалуй, самый поразительный старинный портрет Конфуция, где изображение Учителя, выписанное в очень свободной, отчасти даже гротескной манере, далекой от штампов канонического лика, светится острым умом и веселой иронией, неподдельной щедростью человеческого сердца. «Учитель Кун, живущий в праздности» – это и тема популярных рассказов о Конфуции, в которых Учитель поверяет кому-нибудь из учеников сокровенные истины своего учения. Итак, «праздный» Конфуций наставляет:

«Тот, кто честен и не лукавит, добьется того, что его наставлениям будут верить, его слова будут передавать другим, его поступкам – подражать. Он будет надежен, как смена времен года; в сердце своем он вместит сердца всех людей. Он уподобится тому, кто дает голодному поесть, а умирающему от жажды – напиться. Он не обнажит оружия, а люди будут в страхе трепетать перед ним; не будет раздавать товары и драгоценности, а люди будут ценить его. Вот почему говорится: «Когда мудрые цари выступали на защиту своих владений, укрепления врага рушились за тысячи ли…

Ритуалы совершенны, когда люди не пекутся о вежливости, а в мире царит порядок. Награда совершенна, когда казна не терпит убытка, а чиновники довольны. Музыка совершенна, когда звуки не слышны, а люди пребывают в согласии…

Правление мудрых царей древности было подобно вовремя выпавшему дождю: где он выпадает – там ликуют люди. И при них воины в походе чувствовали себя так покойно, словно они не покидали уютного сиденья…»

Нет, пресловутую «праздность» Конфуция нельзя путать ни с отдыхом, ни тем более с бездельем. Это не безделье, а нечто совсем иное, даже противоположное: некая символическая полнота деяния, бесконечная деятельность, предваряющая, вмещающая в себя единичные действия, некий способ, как говорили в Китае, «все свершать, ничего не предпринимая», ибо всякое действие здесь есть органическая и совершенно естественная реализация жизненных свойств вещей. Ведь благородный муж для Конфуция потому и человечен, что «приводит к завершению себя, приводя к завершению других», и живет «одним сердцем» со всем сущим. Конфуциева «праздность» предвосхищает все многообразие событий в мире и все людские свершения. И она хранит в себе бездонную глубину человеческой воли, уже неотделимую от правды «Небесного веления». В возвышенной праздности Учителя Куна человеческая жизнь пресуществляется в «Небесную судьбу». Нет большей ошибки, чем принять Конфуциеву «праздность» за признак старческой

усталости и тем более беспечности. Не такой человек был Конфуций, чтобы оправдывать свои неудачи хотя бы старческой немощью. Нет, он «не замечал надвигающейся старости», дух его был ясен и бодр, как никогда…

Велик был Конфуций на закате своей жизни, когда он, завернувшись в длинный халат, часами сидел неподвижно под своим любимым абрикосовым деревом, как будто чутко вслушиваясь в одному ему слышимый напев. (Таким представляли его старинные китайские живописцы, создававшие картины на традиционный сюжет: «Конфуций в абрикосовом саду».) Учитель стал еще молчаливее, но за него тем более выразительно говорили его мягкие, изящные, всегда осмысленные жесты, его живой и теплый взгляд, его плавная, полная достоинства походка… Учитель не изменил привычкам своей молодости и был по-прежнему скромен в одежде и пище, по-прежнему выходил состязаться в стрельбе из лука на площадь за Западными воротами. И когда он, седобородый, по-стариковски сутулый, выходил на середину площади и мягким движением руки натягивал свой лук, зрители, по отзыву очевидца, «стояли вокруг стеной». Но менее всего хотелось ему превращать благородное состязание в площадное зрелище. В этой забаве удалых молодцов он тоже искал повод для совершенствования себя. «Чем хороша стрельба из лука? – говаривал он ученикам. – Когда стрелок промахивается, он ищет причину своей неудачи в самом себе!» Он был все еще полон решимости учиться на своих ошибках. Он не оставлял надежды стать лучше.

Поистине, велик был Учитель Кун в те преклонные, в те вершинные годы своей жизни – господин самого себя, сам вылепивший свое внутреннее пространство духовного подвижничества, открывший в себе безграничный простор искреннего и свободного Деяния; всеобъятный человек, знающий начало и завершение жизненных трудов:

«Я поставил своей целью Путь, укрепляюсь силой добродетели, нахожу опору в человечности и обретаю отдохновение в искусствах».

Таков зрелый Конфуций, открывший в себе источник неизбывной радости. Конфуций, чья премудрая «праздность» – эта единственная верная спутница удовольствия – исполнена юношеской свежести духа.

Не будем поэтому удивляться тому, сколь на самом деле деятельна – и действенна – «праздность» старика Конфуция. Ведь Учитель Кун возвратился на родину для того, чтобы быть опорой правителю. Он не отказался – и никогда не смог бы отказаться – от карьеры государственного мужа. И он был все так же строг и

непреклонен в своих политических требованиях. На аудиенции у юного Ай-гуна в ответ на неизбежный вопрос: «В чем секрет мудрого правления?» – он ответил:

– Секрет мудрого правления состоит в том, чтобы отбирать на службу честных людей!

– А что нужно делать мне, Единственному, чтобы люди меня слушались? – спросил по своей юношеской наивности Ай-гун, наслышанный о том, что народ бунтует, а на дорогах полно грабителей.

– Возвышайте праведных, ставьте их над неправедными—и люди будут послушны. А если возвысить неправедных и поставить их над праведными, люди слушаться не будут, – ответил Конфуций.

Он был по-прежнему до неудобства прямодушен, почти дерзок. Окружению Ай-гуна не составило труда разглядеть истинную подоплеку этих колючих слов: все знали, что служебными назначениями при дворе ведали вожди «трех семейств». Что же следует думать о тех, кто стоит наверху, если в царстве не прекращаются мятежи и кишат разбойники?.. Будь перед Ай-гуном не знаменитый учитель и «старейшина государства», верой и правдой служивший еще его отцу и старшему дяде, столь дерзкий выпад мог бы дорого обойтись смельчаку. Конфуций, конечно, жизнью не рисковал, но и шансов сделать карьеру при луском дворе он себе не оставил.

«Правитель Лу не мог сообразить, как лучше использовать Учителя Куна на службе, а тот не искал должности», – дипломатично сообщают древние летописцы. Присутствие Конфуция в царском дворе имело, так сказать, чисто символическое, декоративное значение, каким, надо заметить, ему и полагалось быть по внутреннему смыслу Конфуциевой судьбы. Нет никаких известий о том, что Конфуций в те годы пытался влиять на управление государством. Кажется, он почти не раскрывал рта на дворцовых аудиенциях. Во всяком случае, ученика, взявшегося разъяснять правителю некоторые детали ритуалов предшествующих династий, он строго одернул, напомнив ему, что говорить нужно только «ко времени»: «То, что сделано, не следует разъяснять. То, что закончилось, не следует оправдывать. То, что безвозвратно ушло, не следует осуждать». Он был настолько молчалив и даже – мы это уже знаем – с таким трудом подыскивал слова в разговоре, что его недоброжелатели во дворце пустили сплетню о скудоумном и косноязычном старике, которым и восхищаются-то лишь его ученики. Цзы-Гуну не единожды приходилось давать отпор такого рода наветам. В одном случае он сравнивал своего учителя, как нам известно, с

высокой стеной, которая мешает видеть стоящий за ней красивейший дворец – то бишь истинное сокровище мудрости. В другой раз он уподобил учителя солнцу и луне на небесах… Звучит красиво, но вот убедительно ли для оппонентов Цзы-Гуна?

Нетрудно понять, почему так прохладно и отчужденно отнесся Конфуций к жизни луского двора. Он по-прежнему не мог смириться с узурпацией власти «тремя семействами» и, как и сорок лет назад, не собирался делать вид, что в его родном царстве процветает древнее благочестие. Он открыто протестовал против исполнения на домашних обрядах «трех семейств» гимна, соответствовавшего царскому чину.

С присущей старикам ворчливостью он заявлял, что «не в силах смотреть», как на церемонии жертвоприношения в царском храме предков подносили жертвенное вино – ведь в эту минуту живые как бы воочию предстояли перед усопшими родителями и должны были отвечать перед ними за все свои прегрешения. Подносить жертвы отцам государства, делая вид, что потомки свято хранят их заветы, было для Конфуция нестерпимым лицемерием. Наконец, Учитель Кун безуспешно пытался через Жань Цю воспрепятствовать планам Цзи Канцзы принести жертвы Небу на горе Тай-шань, что всегда считалось привилегией царей.

По-видимому, спустя некоторое время Конфуций окончательно оставил службу, но продолжал поддерживать связь с двором и пользоваться знаками внимания государя. По его собственным словам, Ай-гун и его приближенные по-прежнему «извещали его о важных делах». Без сомнения, авторитет Учителя Куна был столь велик, что, даже перестав быть чиновником, он мог быть наставником первых лиц государства.

Об отношении Конфуция к политике красноречиво свидетельствует эпизод из его жизни – кажется, последний имеющий точную дату. Летом четырнадцатого года правления Ай-гуна – в 481 году до н. э. – в царстве Ци всесильный вельможа Чэн Тяньцзы совершил государственный переворот и убил малолетнего государя. Когда Конфуций узнал об этих событиях, он день постился, совершил ритуальное омовение и, облачившись в парадное платье, пришел на аудиенцию к Ай-гуну с требованием послать в цискую столицу войска, чтобы покарать цареубийцу. «Обратитесь к предводителям трех семейств», – ответил Ай-гун, не смевший ничего решать без ведома могущественных министров.

– Как бывший советник, я не мог не прийти с докладом к верховному владыке. Теперь же мне сказано: «Обратитесь к вождям трех семейств», – не удержался от упрека правителю раздосадованный Учитель, но царскую волю исполнил. А когда

командующие войсками тоже ответили отказом, он вновь заметил: «Как бывший советник, я не мог не обратиться к вам. Теперь же я удаляюсь к себе…»

Запись этого разговора содержится в «Беседах и суждениях», и сомневаться в ее достоверности нет оснований. Конфуций до конца остается верен своему понятию долга, даже живя в почетной «праздности». При всех внутренних переменах в его миросозерцании Конфуций ни на йоту не отступал от своих критериев благочестия и добродетели в делах государства. Кесарю – кесарево. Он по-прежнему не отделял формальности от существа дела, хотя как человек, искушенный в политике, скорее всего не питал иллюзий насчет готовности Ай-гуна внимать его советам. Но и молчать он считал себя не вправе. Снова и, кажется, в последний раз он показал, как должен вести себя честный советник государя. Он мог утешить себя тем, что исполнил свой верноподданнический долг. Его отчуждение от властей предержащих позволяло ему, как ни странно, остаться в некотором смысле в выигрыше: оно ограждало его от пошлости дворцового быта и дарило почти недоступное политикам право до конца быть честным в своих поступках. Чем меньше слушали его при дворе, тем тверже мог он следовать своим собственным заповедям:

«Знать правду и не открывать ее миру – это называется трусостью.

Не обманывай государя, но умей противостоять ему».

Так Учителю Куну удалось то, что нечасто удается политическому деятелю: соединить светскую церемонность с искренностью государственного мужа, хотя бы и ценой отказа от политической карьеры. Ну а Ай-гун со своей стороны счел за благо не посягать на авторитет знаменитого учителя, покуда тот сам не требовал власти. Одним словом, Конфуцию вольно или невольно пришлось отказаться от практического управления ради своего престижа высоконравственного мужа.

Похожие отношения сложились у Конфуция и с первым советником правителя Цзи Канцзы – самым богатым и могущественным человеком в царстве. У Конфуция было более чем достаточно поводов не верить в добрые намерения этого корыстного вельможи, озабоченного лишь приумножением своих доходов и мощью своего войска. Советы Конфуция, обращенные к Цзи Канцзы, – это череда плохо скрытых обвинений диктатора в самоуправстве и алчности. Так, на вопрос Цзи Канцзы, как нужно управлять страной, Конфуций отвечает: «Управлять – значит исправлять. Исправьтесь сами, и никто среди ваших слуг не посмеет не быть прямым!» Однажды, когда Цзи Канцзы вслед за

Ай-гуном попросил у Учителя Куна совета, как избавиться от разбойников, наводнивших царство, тот рекомендовал ему для начала самому «очиститься от корыстных желаний».

Конфуций и в дальнейшем не стеснялся напоминать Цзи Канцзы о нравственной ответственности за положение дел в его владениях. Когда Цзи Канцзы захотел усмирить один непокорный городок, расположенный недалеко от его ставки, Учитель Кун не пожелал скрыть свое возмущение. Если «тигры вырвались из клетки, а драгоценная яшма разбита», это вина правителя, втолковывал он Цзы-Лу и Жань Цю, которые служили тогда советниками Цзи Канцзы и не смогли противостоять его планам. Истинно добродетельный государь, продолжал наставлять учитель своих незадачливых учеников, без всяких поощрений привлечет землепашцев в свои земли, идти же войной против собственных подданных и вовсе чистое безумие.

Конечно, сам по себе призыв «Исцелися сам!» звучал достаточно безобидно, да к тому же – и Цзи Канцзы, конечно, это знал – в нем сошлась вся жизненная философия Учителя Куна. Но каково было Цзи Канцзы выслушивать подобный совет, обращенный к нему лично, зная, что сам он, в нарушение священных заветов предков, богатством своим затмил законного государя? К стяжательству придворного диктатора Конфуций был особенно непримирим. На этой почве он даже публично отмежевался – едва ли не единственный раз в жизни – от своего давнего ученика. А дело было так: Цзи Канцзы задумал повысить налоги в царстве, но, опасаясь всеобщего возмущения, решил для начала сделать вид, что хочет посоветоваться с Учителем Куном. Тот, верный своему принципу: «богатый народ – богатое государство», не одобрил замысла первого советника. Тогда, отбросив церемонии, Цзи Канцзы своей диктаторской властью ввел новые подати и велел надзирать за их сбором Жань Цю – способному администратору и к тому же доверенному ученику Конфуция. Учитель, считавший Жань Цю, несомненно, близким человеком и возлагавший на него большие надежды, воспринял его новое занятие как предательство. Когда на следующий день Жань Цю показался в воротах дома учителя, тот громко крикнул своим домашним и ученикам: «Эй, люди! Вы видите этого человека? Знайте, он не мой ученик! Бейте же в барабаны, гоните его прочь!..» Но, похоже, то была минутная вспышка гнева, и полного отлучения Жань Цю от школы все же не произошло. Во всяком случае, Жань Цю и позднее бывал в кругу Конфуциевых учеников и отзывался об учителе с неизменным почтением. Тем не менее суровый урок, преподанный Жань Цю, крепко запомнился товарищам по школе. Когда позднее Ай-гун в

голодный год решил увеличить казенные подати, один из учеников Конфуция, Ю Жо, стал убеждать его не делать этого. «Когда у людей всего в достатке, как может быть недостаток у правителя? – рассуждал Ю Жо. – Когда у людей нет достатка, как может быть достаток у правителя?» Пришлось Ай-гуну отступиться.

Некоторые эпизоды показывают, что в хозяйственных вопросах Конфуций руководствовался не просто сочувствием или даже здравым смыслом, а соображениями о должном и справедливом в поступках. Когда, к примеру, его ученик по имени Цзы-Хуа, человек состоятельный, был отправлен с дипломатическим поручением за границу, Конфуций посоветовал Жань Цю, ведавшему тогда хозяйственными делами в доме учителя, выдать матери Цзы-Хуа меру зерна. Жань Цю счел это количество недостаточным, и тогда Конфуций разрешил добавить еще три меры. Но Жань Цю выдал матери Цзы-Хуа более 50 мер зерна, чем весьма рассердил учителя. «Цзы-Хуа уехал на сытых лошадях, одетый в халат на меху! – воскликнул учитель. – Благородный муж помогает нуждающимся, но не обогащает богатых!» В другом случае, когда Конфуций назначил своему управляющему Юань Сяню жалованье в 900 мер зерна и тот счел такое жалованье чрезмерно щедрым, учитель велел Юань Сяню принять вознаграждение и, если он хочет, какую-то часть раздать беднякам в своей округе.

В странном и даже несколько двусмысленном положении оказался Учитель Кун в последние годы жизни. Порой кажется, что ему приходилось отстаивать свои идеалы, делая их заведомо недостижимыми! Не на службе и не в отставке, всем знакомый и никем не узнанный, живущий среди людей и одинокий – что это был за человек? Пророческими оказались шутливые слова его современника: «Велик Учитель Кун! Он постиг все науки, но ни в одной не составил себе имя…» Человек без послужного списка, без привычек, пожалуй, даже без «мировоззрения», живущий ровно и просто, – так, как нельзя не жить. Педантизм был способом общения Конфуция с миром и, надо сказать, общения очень легкого и общепонятного. Что может быть проще и удобнее отношений с безупречно вежливым человеком? Но педантизм – всегда маска, и безупречная вежливость равнозначна полному сокрытию внутреннего мира личности. Педантизм Конфуция есть пластический образ немоты, знак самоскрывающейся жизни духа. Неизбежно обманчивый, как обманчива всякая видимость. Но в высшей степени искренний и правдивый, как правдива всякая сообщительность между людьми. Живое и деятельное безмолвие церемонного жеста осталось последним словом Учителя Куна…

Однажды, обращаясь к своему любимцу Янь Юаню, Конфуций обронил загадочную фразу: «Только ты да я знаем, что такое пребывать в мире и быть вне мира». Принято считать, что Конфуций всегда предлагает выбор: либо «выходить в свет», либо «скрываться от света». Но мы уже могли заметить, что в жизни Учителя Куна одно не отрицало другого. Такая жизненная позиция – быть светским человеком, оставаясь одиноким, – позднее имела в Китае немало сторонников. Но похоже, что ее разделял уже сам Конфуций…

Конфуций, стоящий на краю могилы, был, как никогда, далек от своей заветной цели. И все же он был, как никогда, покоен. Он знал, что поверхность жизни хранит в себе недостижимую глубину. Ему открылась окончательная истина его жизни: «Следовать велению сердца, не изменяя жизненным предписаниям». Он знал, что в самоотречении воли таится и высшая награда; что свободен тот, кто принимает неизбежное и дает звучать одному вечно ускользающему напеву среди всех голосов земли. Он открыл мир, который никто не мог разрушить. Он сам создал себе свой вечный памятник – жизнь, претворившуюся в культуру. Теперь ему оставалось сделать последний шаг: войти в этот правдоподобно обманчивый мир и обрести бессмертие. Ибо бытие неизбежно имеет конец, но Смысл бытия неисчерпаем.

Последние наставления

В жизни Конфуция проглядывает одна великая загадка: загадка единства ритуальной заданности поведения и внутренней свободы духа. Удел Конфуция в миру – безукоризненная аккуратность каждого жеста и слова, изысканное кружево стильных манер, сквозь которое просвечивает духовный свет жизни. Это мир теней, отблесков, отчужденных следов мировой со-бытийности и – мир-экран, мир-ограда, оберегающий «полноту добродетели» мудрого. Конфуций живет в миру строго по этикету – и не более того. Он защищает этикетом свою неприкосновенность и свое достоинство; ему нравится держать дистанцию в светском общении. «Хороший человек не стремится получить доступ во внутренние покои чужого дома», – часто повторяет он. Мы никогда не узнали бы о внутреннем источнике силы Учителя, о сокровенном просторе его сообщительности с миром, о теплоте его сердца, согревающей «древнюю правду», если бы не одно совершенно особое измерение его бытия: его школа, круг его учеников, которые только и имели возможность и право бывать во внутренних покоях дома Учителя Куна. Разумеется, речь идет о школе не просто как учебном заведении, но как пространстве внутреннего, доверительного общения между людьми, обители «многотрудной праздности» самовысвобождающегося духа, затаенной мечте о совершенстве. Школа Конфуция, мы уже знаем, не отгорожена от жизни и даже едва ли отделена от нее. В сущности, она и есть жизнь подлинная и доподлинно прожитая; она есть жизнь внутри жизни. Ничего удивительного, что в обществе учеников Конфуций держится совсем не так, как в свете. Здесь его церемонность отступает на второй план или вовсе испаряется, и перед нами встает образ человека поразительно живого и непосредственного – задумчивого, остроумного, ценящего шутку, готового признать свои ошибки, в чем-то сомневающегося, порой тоскующего или рассерженного, но всегда внимательного к ближнему и требующего от себя и от других искренности каждого поступка и каждого слова. Образ скорее заботливого отца и старшего товарища, чем классного наставника. Он и в самом деле называл учеников своими «детьми». Он любил их как родных детей.

К Учителю Куну приходили за наукой сотни людей всех возрастов, нередко из дальних краев. Единицам удавалось войти в круг близких учеников – тех, кто был «допущен в личные покои» учителя. Мы довольно много знаем об этом новом поколении лучших выучеников Конфуция, поскольку именно им (и их

собственным ученикам) мы обязаны появлением на свет книги «Беседы и суждения». Все они были моложе учителя по крайней мере лет на сорок и годились ему не то что в сыновья, но и во внуки. Самый молодой из них, уроженец далекого царства Чу Гунсунь Лун, родился на 53 года позже учителя. Как и старшие ученики, это были люди очень разные по характеру, интересам, происхождению, способностям. Все же преобладали среди них отпрыски высокопоставленных семей, чему не следует удивляться: искать расположения Учителя Куна уже не считали зазорным даже знатнейшие аристократы. А Конфуций честно признавался:

«Те, кто пришел ко мне поначалу, были по части ритуалов и музыки дремучими людьми. А те, кто пришел ко мне потом, в ритуалах и в музыке были людьми сведущими. И все же в жизни я отдаю предпочтение первым».

Трудно сказать, почему Конфуций так любил своих первых учеников. Быть может, причиной тому была его давняя неприязнь к интригам двора, а может, дело было всего-навсего в силе привычки или в обыкновенной стариковской ворчливости. Но только характеристики новичкам он и впрямь давал до крайности нелицеприятные. Одного назвал «тугодумом», другого – «медлительным», третьего – «ограниченным», четвертого – «слишком жестким». А впрочем, к чему деликатничать среди своих!

В кругу учеников младшего поколения особенно выделялся своим усердием и преданностью учителю его земляк Цзэн Шэнь, заслуживший среди товарищей по школе почетное прозвище Цзэн-цзы – Учитель Цзэн. Наибольшую славу Цзэн-цзы принесло его жизненное кредо, выраженное в следующих словах:

«Каждый день я трижды спрашиваю себя: все ли я сделал, чтобы помочь другим? Был ли я до конца искренен в отношениях с друзьями? Осуществил ли на деле то, что передал мне учитель?»

Судя по этим словам, дело Учителя Куна находилось в надежных руках. Не меньшую известность получило другое изречение Цзэн-цзы, выдающее в нем человека на редкость волевого, целеустремленного и готового на самопожертвование. Речь в нем идет об идеальном конфуцианце. «Не бывает ученого служилого человека без возвышенных помыслов и твердой воли, ибо ноша его тяжела, а путь далек, – говорил Цзэн-цзы. – Человечность – вот его ноша. Разве не тяжела она? Только смерть прерывает его путь. Разве не долог он?» Целеустремленности и твердости воли ученого мужа посвящено и еще одно удачное суждение Цзэн-цзы, которое гласит: «Когда человеку доверяют

жизнь маленького ребенка и судьбу большого удела, а он даже в миг смертельной опасности не отвлекается от своего идеала, – вот тогда его можно назвать благородным мужем». Из всех добродетелей благородного мужа Цзэн-цзы, как примерный ученик, превыше всего ценил почтительность сына к родителям: однажды он услышал от учителя, что сыновняя почтительность – это, кажется, единственное чувство, в котором человечность может претвориться сполна. Все же Цзэн-цзы был порой слишком педантичен в своих жизненных правилах. Учитель порой называл его «тугодумом».

Близко к Учителю стояли еще два его младших ученика – Цзы-Ю и Цзы-Ся. Оба они, по отзыву самого Конфуция, больше всего преуспели в изучении церемоний и книжной премудрости. Правда, от Цзы-Ю сохранился лишь один афоризм, и притом навеянный чисто жизненными наблюдениями: «Тот, кто причиняет хлопоты старшим, будет терпеть унижения. Тот, кто причиняет хлопоты друзьям, потеряет дружбу». Видно, Цзы-Ю был несловоохотлив и старался не докучать товарищам по школе даже назидательными сентенциями. Зато Цзы-Ся отличался ненасытной страстью не только к учению, но и к разговорам о сущности и пользе учения. В «Беседах и суждениях» записано несколько его высказываний на эту вечную тему:

«Тот человек может считаться любящим учение, который целый день помнит о своих недостатках и целый месяц помнит о своих достижениях».

«Всякий мастер совершенствуется в своем ремесле благодаря своим орудиям. Благородный муж совершенствуется в своем Пути благодаря учению».

«Когда служилый человек понимает, что может сделать больше, чем требует служба, он учится. Когда учащийся понимает, что может сделать больше, чем требует учеба, он поступает на службу».

Учитель Кун не скупился на похвалы учености Цзы-Ся, но все-таки считал его успехи довольно скромными и призывал его «быть ученым возвышенным, а не мелочным». Когда Цзы-Ся назначили правителем одного из городков в Лу, Конфуций посоветовал ему «не быть нетерпеливым и не увлекаться мелкими успехами».

По словам Цзы-Ю, ученики Цзы-Ся «умели только подметать пол, вежливо входить и выходить», а вот «в главном ничего не смыслили». Цзы-Ся в ответ заявлял, что научить сразу всему невозможно и мудрость «праведного Пути» надо постигать постепенно. Все же замечания учителя и товарищей по школе, видимо, пошли Цзы-Ся на пользу: он потом часто говаривал, что

благородному мужу, «вознамерившемуся идти далеко», не к лицу заниматься «мелочными делами».

Совсем другим человеком был ученик по имени Цзы-Чжан. Кажется, он принадлежал к числу тех людей, которые хотят добиться всего разом, а нетерпеливость свою оправдывают прекраснодушными речами. Цзы-Чжан утверждал, что главное в жизни – не правила поведения, не исполнительность, а наши переживания. Это был первый, еще очень робкий и стихийный критик лицемерия и снобизма, неизбежно прививаемых условностями культуры. Услыхав однажды, что Цзы-Ся советовал своим ученикам «искать дружбы с подходящими людьми и отвергать неподходящих», он заявил, что было бы лучше «чтить достойных и быть благосклонным к обыкновенным людям, любить добрых и сочувствовать неспособным». Конфуций находил, что Цзы-Чжан в учении «слишком спешит». В свою очередь, Цзэн-цзы, подсмеиваясь над непомерными претензиями своего товарища по школе, иронически называл его человеком «столь великим, что с ним трудно ладить». А Учитель Кун, видя, что красивые декларации Цзы-Чжана того гляди разойдутся с делом, давал ему совет: «Не пренебрегай выполнением повседневных обязанностей. Когда же придет время для решительных поступков, действуй со всей отвагой».

Конечно, среди новых учеников было немало других симпатичных Конфуцию людей – например, крестьянский сын Чжунгун, который, по отзыву учителя, был достоин царского престола, или Ю Жо, снискавший славу «второго Учителя Куна» и почетное прозвище Учитель Ю. Но уже и сейчас мы видим, что ученики Конфуция не были ни записными праведниками, ни безликой и бездумной массой школяров. Они выглядят живыми людьми, которые поверяют заветы учителя своим личным опытом, ищут свой путь в жизни и не лишены здорового чувства соперничества, а сам Учитель Кун не ломает индивидуальность своих учеников, напротив, – совершенствует и облагораживает ее, побуждая своих поклонников преодолеть недостатки, усвоить себе мудрость «Срединного Пути». Он по-прежнему не чувствует потребности в регулярных занятиях и отвлеченных нравоучениях. Здесь, в школе, его окружают поистине родственные души – те, кто согласился разделить его судьбу и продолжить его дело. Только среди них он и может называть вещи своими именами, «исправлять имена», не рискуя столкнуться с недоумением и насмешками света. Только им он может сказать, что «искренность в речах и уважительность в поступках» позволяют человеку достойно прожить свою жизнь даже среди дикарей; что нет ничего отвратительнее «скользких разговоров, напыщенных

манер и наигранного уважения»; что человек, прикрывающий свою слабость грубыми манерами, уподобляется вору, залезшему в чужой дом. Только ученикам он может сказать, что добродетельный человек подбирает себе достойных друзей, ибо только так он может продвигаться по пути совершенствования. Только здесь, в школе, он мог заявить, что «ненавидит краснобаев, губящих царства», и предостеречь всех, кто решился служить истине, что «ищущий малой выгоды не добьется большого успеха».

Как и прежде, Конфуций отдавал предпочтение тем из своих учеников, кто более других был привержен внутреннему подвижничеству духа и не спешил «показать себя». По-прежнему он объявлял образцами для подражания своих давних любимцев, двух скромных бедняков – Минь Суня и Янь Юаня, которые, как и двадцать с лишним лет назад, жили в безвестности, ничуть этим не тяготясь. Особенное восхищение Учителя Куна вызывал Янь Юань – тот, кто умудрился быть и беднее, и молчаливее учителя, а о служебной карьере и слышать не хотел. По словам учителя, Янь Юань был в школе единственным, кто воистину любил учиться. «Вот мое учение!» – любил объявлять Конфуций, показывая на Янь Юаня, и, возможно, не только в шутку, но и с большей, чем кажется на первый взгляд серьезностью, если вспомнить, что правда Учителя Куна – это не абстрактная идея, а просто человеческое в человеке, интуиция, предвосхищающая и опыт, и знание.

Эта глубинная человечность выражает себя, впрочем, в полном само-отстранении от субъективных чувств и мыслей. Конфуций особенно восхищался Янь Юанем потому, что тот «никогда не переносил гнев на других». Это свойство характера Янь Юаня снискало ему в конфуцианской традиции славу мудреца, чье сознание и вправду подобно чистому зеркалу: он только принимает в себя внешние образы, но не пытается ими завладеть, чтобы впоследствии спроецировать на других. Это не означает, конечно, что конфуцианский мудрец вовсе лишен чувств. Просто он не отождествляет себя со своей субъективностью и тем самым не создает почвы для чрезмерной чувственности и разного рода психических комплексов. Знакомый нам Чэн И говорил по поводу образцовой умиротворенности Янь Юаня: «Некоторые, претерпев обиду у себя дома, дают волю своему гневу на улице. Но в мудром гнев вспыхивает лишь сообразно обстоятельствам, и сам он к нему непричастен. Благородный муж – господин вещей, а низкий человек – их раб».

Перед учениками Учитель Кун не скрывал, что красноречию и славе предпочитает молчание и скрытность. Однажды он

напрямую спросил богатого и удачливого на службе Цзы-Гуна, не считает ли тот себя выше Янь Юаня, и был очень доволен, услышав от Цзы-Гуна, что тот даже не смеет сравнивать себя с этим достойнейшим учеником. Судя по этому разговору, любовь Учителя к великому молчуну Янь Юаню, который, казалось бы, ничем не выделялся среди своих товарищей по школе, была для многих большой загадкой. Но ведь загадкой была и сама мудрость Конфуция. Называя Янь Юаня своим «учением», Конфуций, надо думать, нисколько не лукавил: Янь Юань и в самом деле представал воплощением правды внутренней жизни. Необыкновенная скромность, почти полностью стиравшая его субъективное я, должна была восприниматься как обещание неисповедимого духовного богатства, «обители дальней» сосредоточенного внутреннего труда, каковым, по существу, и была школа в представлении Конфуция. Среди его многочисленных учеников только Янь Юань был живым воплощением безмятежного покоя духа, сопутствующего «знанию своего Пути». Только Янь Юань выдавал тайное духовное родство учителя с умиротворенными отшельниками. И, кажется, только Янь Юань, покинув этот мир, стал Конфуцию, «недосягаемому» для земных людей, настоящим другом…

Любопытно, что китайские толкователи расходятся в оценке духовных достижений Янь Юаня. Чэн И, например, заявлял: «Если Янь Юань радовался Пути, он не мог быть Янь Юанем».

Действительно, радость Пути – в преодолении себя, и мудрец, по Конфуцию, «радуется Небу» в себе. Но преодолеть свое маленькое «я» – значит вернуться к своей настоящей самости. Поэтому в конфуцианской литературе часто можно встретить утверждение о том, что мудрый «радуется тому, что есть он сам».

Так, для Конфуция счастье в том, чтобы возвращаться к себе, открывая себя Небу, то есть «полноте своей природы». Мудрец, словно могучий дракон, «не имеет установленного облика». Конфуций умудренный, то есть «живущий в праздности», все больше отходит от всех формальностей в деле обучения. И значит, все больше сближается с учениками, все больше доверяет им. Его единственным педагогическим инструментом остается живая, подлинно свободная беседа, рождаемая ищущей мыслью, глубоко осмысленная и нравственно значимая в каждом ее слове. Эта беседа питается счастливым парадоксом: стать самим собой, преодолев себя. Поэтому она проникнута добродушной иронией, расцвечена блестками ненарочитых шуток.

Эта глубинная человечность выражает себя, впрочем, в полном само-отстранении от субъективных чувств и мыслей. Конфуций особенно восхищался Янь Юанем потому, что тот

«никогда не переносил гнев на других». Это свойство характера Янь Юаня снискало ему в конфуцианской традиции славу мудреца, чье сознание и вправду подобно чистому зеркалу: он только принимает в себя внешние образы, но не пытается ими завладеть, чтобы впоследствии спроецировать на других.

Это не означает, конечно, что конфуцианский мудрец вовсе лишен чувств. Просто он не отождествляет себя со своей субъективностью и тем самым не создает почвы для чрезмерной чувственности и разного рода психических комплексов. Знакомый нам Чэн И говорил по поводу образцовой умиротворенности Янь Юаня: «Некоторые, претерпев обиду у себя дома, дают волю своему гневу на улице. Но в мудром гнев вспыхивает лишь сообразно обстоятельствам, и сам он к нему непричастен. Благородный муж – господин вещей, а низкий человек – их раб». Знание специальные и технические, отвлекавшие от духовного совершенствования, Конфуций, по-видимому, считал опасным соблазном и демонстративно их сторонился. Это и понятно: всеединство и полнота истинной добродетели плохо уживаются с предметным знанием. Ученик Фань Чи, служивший, подобно Жань Цю в свите Цзи Канцзы и интересовавшийся хозяйственными делами, однажды вызвал большое неудовольствие Учителя тем, что стал расспрашивать его о земледельческом труде. «Об этом надо спросить у крестьянина!» – с досадой отрезал Конфуций. Если в высшем свете он со временем все более замыкался в панцире официального этикета и холодной вежливости, с учениками он вел себя все более непринужденно, ведь в их кругу излишняя церемонность могла даже повредить, если бы она показалась кому-нибудь признаком недоверия. Обычно он даже не устраивал специальных занятий, а просто подзывал к себе одного-двух учеников и проводил в их обществе несколько часов, занимаясь разными домашними делами. Говорил односложно, весомо, с какой-то ненавязчивой, но неоспоримой убедительностью. Как прежде подолгу сиживал во дворе своего дома, глядя задумчиво вдаль, невозмутимо слушая разговоры сидящих рядом учеников и время от времени трогая шелковые струны своей цитры. И это был, быть может, главный его урок: он показывал, являл воочию, что такое безмолвие праведного Пути, что такое свобода и гармония жизни, обретаемые в возвышенном молчании. Теперь он все чаще советовал своим питомцам не обольщаться красивыми словами, а самим быть опорой себе:

«Дети мои, запомните: не Путь возвеличивает человека, а человек возвеличивает Путь!»

Впрочем, для того Конфуций и держал школу – и притом не

мог ее не держать, – чтобы не просто молчать, а говорить о своей безмолвной правде. Только ученикам и мог он сделать признание, которое показалось бы постороннему нелепой причудой, капризом человека, избалованного славой:

«Я не хочу больше говорить… Разве Небо говорит? А времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет. Разве говорит что-нибудь Небо?..»

Повторим еще раз: молчание Конфуция – это не отказ от своего голоса, а нежелание заглушать своим голосом великое многоголосие мира. Конфуций хочет уподобиться Небу. Значит, он ведет речь, а точнее, именно «не говорит» о всеобщем порядке мироздания, который охватывает и природу, и человека, и материальное, и духовное. Об этом порядке ничего нельзя сказать, ибо он равнозначен предельной полноте, высшему изобилию природных свойств жизни.

Праведный Путь для Конфуция – это сама жизнь, которая зарождается, созревает и приходит к завершению. И этот Великий Путь всего живого не имеет ни формы, ни «единственно правильного» образа, но доподлинно переживается в каждый момент времени.

Ученые заметили, что повествование в древних мифах как бы воспроизводит самое течение годового цикла природы или биологического цикла живых существ. Другими словами, миф – это образное воплощение, драматизация вечного круговорота жизни. В противоположность создателям древних мифов Конфуций не преображал реальность жизни в миф, а скорее обнажал действительные истоки мифотворчества. Его «желание молчать» возвращает к простейшей и очевиднейшей данности жизни за пределами всех логических построений или словесных фигур:

Учитель сказал: «Дети мои! Думаете ли вы, что я что-то скрываю от вас? Нет, я ничего от вас не таю и ничего не делаю без вашего ведома…»

Мудрость Конфуция не загадочнее светлого неба, просторной земли или, если еще раз воспользоваться любимым образом Учителя, раскрытой ладони. Ничего не может утаить тот, кто учится «во всякое время» и в любом обществе, для кого учение – это усилие самоосознания, научающее доверию к жизни и умению жить в согласии с другими.

Нет нужды, говорит Конфуций, создавать отдельное учение, что-либо специально сообщать о правде, поскольку жизнь и есть сообщительность человеческих душ. Высшая истина для Учителя Куна – это встреча сердец, всегда неожиданная и все же ожидаемая, мимолетная, но оставляющая о себе бесконечно

долгую память. Конфуция интересуют не абстрактные истины, а поведение конкретных лиц в конкретных обстоятельствах; для него человек целиком помещается в его делах. А потому у него был лишь один способ познания Великого Пути вещей: рассмотреть как можно подробнее все события, все «случаи» истории. Он был воистину приговорен «любить прошлое»… И надо ли удивляться тому, что беседы Конфуция с учениками в часы их школьного досуга, их возвышенной «праздности» так часто вращались вокруг всевозможных происшествий или политических лиц? В превратностях человеческой судьбы ловили они отблески «Небесного веления». И находили поучительные примеры на любой вкус. Скажем, пример искренности и благородства:

Учитель сказал: «Лукавые речи, надменное лицо, угодливые манеры – все это Цзо Цюмин считал позором для себя. И я тоже считаю это постыдным. Выказывать кому-нибудь свое расположение, тая в сердце вражду, – это Цзо Цюмин считал позором для себя. И я тоже считаю это постыдным».

Или пример скромности, выдающий большую силу духа:

Учитель сказал: «Мэнчжи Фань не любил хвастать. Когда его войско побежало с поля битвы, он отступал последним. Но, въезжая в ворота крепости, он хлестнул свою лошадь и сказал: „Я оказался позади не по своей воле. Просто моя лошадь не хотела идти вперед!“

Пример мудрой отрешенности от хвалы и хулы света:

Люся Хой трижды уходил в отставку с должности судьи. Кто-то спросил его: «Не пора ли вам уехать из царства?» Но Люся Хой ответил: «Если в служении государю не изменять праведному Пути, куда могу я пойти и не быть трижды опозоренным? А если в служении государю пренебрегать праведным Путем, зачем покидать страну предков?»

Снова и снова Учитель и его ученики возвращаются к своим вечным вопросам: кого считать мудрым или человечным, как надо поступить в том или ином случае, каким должен быть благородный муж и т. п.

Нередко они сообща придумывают собирательный образ человека: «мудрого, как умнейший сановник Цзан, хладнокровного, как Мэн Гунчо, и образованного, как Жань Цю». Но в наше время, немного иронично прибавляет Учитель, не обязательно обладать такими выдающимися совершенствами: «Достаточно помнить о справедливости, когда тебе в руки идет богатство, быть готовым пожертвовать собой в минуту смертельной опасности и даже в самые трудные времена не забывать о возвышенных помыслах молодости – и ты вправе

назваться настоящим человеком». В своих вольных беседах Конфуций и его ученики не ищут окончательных истин, а как бы сверяют свои взгляды и направляют друг друга к общей цели – еще невысказанной, но уже предчувствуемой. Они соучаствуют в творении великого Пути, ибо, как сказано самим Учителем Куном, «в мире множество дорог, но их назначение едино…»

– Есть ли в жизни что-нибудь такое, чего не любит благородный муж? – вопрошает, к примеру, Цзы-Гун.

– Конечно, есть, – отвечает Учитель. – Благородный человек не любит тех, кто пробуждает в других дурное. Он не любит тех, кто сплетничает о своем господине. Он не любит тех, чья отвага не уравновешивается рассудительностью. Ну а сам ты чего не любишь?

– Я не люблю тех, у кого привычка жить чужим умом заменяет мудрость, – отвечает Цзы-Гун. – Я не люблю тех, в ком безрассудство заменяет храбрость. И я не люблю тех, в ком забота о других заменяет чувство справедливости…

Напрасно искали бы мы в подобных беседах попытки дать общие определения тем или иным понятиям. Их участники не стараются «вывести» общее для всех правило жизни. Их разговор всегда идет о неповторимом явлении, и они ищут не взаимного подобия, а целомудренно неизреченного согласия. Между ними неизбежно сохраняются различия не просто во взглядах, но в самом уровне понимания. Перед нами развертываются диалоги между «знающим» и «незнающим», посвященным и непосвященным, но учитель «знает» больше лишь в том смысле, что обладает большей волей к «превозмоганию себя», к непрерывному «самообновлению». Учитель – это тот, кто устраняется из жизни и практикует «праздность», предоставляя свободу творческим метаморфозам бытия; кто устанавливает предел всякого понимания, внушая присутствие неведомого в известном. Вот почему в диалогах Конфуция с его учениками так много загадочного, как бы недосказанного. Вот почему Учитель Кун, беседуя с учениками, так часто берет иронический и даже шутливый тон, ведь ирония и шутка свидетельствуют о безмолвном понимании между людьми, о переживании для каждого внятном и все-таки неизъяснимом (право, на свете нет ничего труднее, чем объяснять, где в словах таится ирония и что смешного в шутке). Ирония Конфуция хранит в себе тайну доверительного общения учителя с учениками. Вот Конфуций во всеуслышание нарочито удивляется: «Что цитра Цзы-Лу делает у дверей моей комнаты?» Он явно намекает на то, что мастерство Цзы-Лу-музыканта все еще далеко от совершенства. Товарищи по школе начинают в открытую посмеиваться над неудачливым

музыкантом, и тогда Учитель смягчает свой приговор старейшему ученику: «Цзы-Лу, возможно, еще не вхож во внутренние покои моего дома, но он вполне достоин стоять в его главном зале!»

Порой Учитель доходит до шуточного отрицания собственных поучений – но лишь для того, чтобы удостовериться: ученики преданы его заветам. К примеру, он приезжает проведать Цзы-Ю, назначенного правителем небольшого городка, и слышит, как в местной управе его ученик играет на цитре и поет песни, обучая музыке своих подчиненных. «Зачем ножом для разделки быков резать цыплят?» – с улыбкой замечает Учитель Кун. «Но ведь вы, Учитель, сами говорили, что благородный муж, взыскующий праведный Путь, любит людей, а простыми людьми, которым ведом праведный Путь, легко управлять», – откликается неутомимый спорщик Цзы-Лу.

– Дети мои, он прав, – признается учитель. – А те слова я сказал в шутку!

Иронизируя или говоря серьезно (а в речах Учителя на удивление часто одно невозможно отделить от другого), Конфуций побуждает слушателей взглянуть на себя по-новому, вообразить себя в новом и неожиданном свете. Его излюбленная тактика состоит в том, чтобы поначалу установить дистанцию в общении с учеником, умалить его, даже ввергнуть в недоумение и потом внезапно сократить дистанцию и тем самым подбодрить и возвысить собеседника. Вот, к примеру, тот же Цзы-Гун не без кокетства спрашивает учителя:

– Что я, по-вашему, за человек?

– Ты – предмет, – односложно отвечает Конфуций. Цзы-Гун смущен и расстроен. Ответ Учителя ему непонятен, но в нем прозвучало то самое слово «предмет», «орудие», которое присутствует в другом известном изречении учителя: «Благородный муж – не орудие». Значит, ему, Цзы-Гуну, не суждено быть благородным мужем? В полном замешательстве, но смутно надеясь, что еще не все потеряно, он вновь спрашивает:

– Какой предмет?

– Яшмовый сосуд для жертвоприношений, – словно уточняет Конфуций.

Услыхав последнюю фразу, Цзы-Гун мог бы облегченно вздохнуть. Все-таки он не просто предмет, а предмет благородный – ритуальный сосуд из драгоценного камня, покрытый прекрасным узором и священными письменами. И притом вместилище божественной силы. Конечно, он большей частью стоит без пользы, но это потому, что его берегут для самого важного дела. Не хотел ли сказать Учитель, предварительно развенчав в нем самонадеянность «старшего ученика», что ему

следует всю жизнь преобразить в одну торжественную церемонию, то есть в одно возвышающее дух усилие, и проникнуть чутко внемлющим сердцем в глубины вселенской гармонии?.. Но нет ни меры, ни границы музыкальному согласию, взращиваемому ритуалом, и потому нет дна у слов учителя…

О жертвенности как высшей цели нравственного подвижничества Конфуций заговаривает не единожды и каждый раз все в той же загадочно-иронической манере, словно напоминая о пропасти, отделяющей таинство ритуала от пошлости общепонятной речи. Так, он сказал о Чжун-гуне, намекая на его крестьянское происхождение: «Вот бычок для пахоты, но рыжей масти и рога добрые! Неужто отвергнут его духи гор и рек, даже если использовать его не положено?» Конфуций сравнивает Чжунгуна с быком, приносимым в жертву духам, а между тем обычай в те времена запрещал отбирать жертвенных быков среди пахотных буйволов. И снова коллизия, знакомая нам по разговору Учителя с Цзы-Гуном: вещь, казалось бы, совсем обыкновенная, даже «низкая», может оказаться пригодной для свершения священного обряда. Снова негласным, полушутливым тоном высказанный призыв «превозмочь себя», пресуществить свою частную жизнь в возвышенно всеобщую жизнь «гор и рек»…

Конфуций и сам не замыкался в стенах своего дома. Часто он выходил за стены Цюйфу на широкую равнину, окаймленную вдали холмами, и там степенно прогуливался в парадной одежде, словно и в самом деле свершал некий торжественный обряд. За ним, почтительно склонившись, следовали верные ученики, державшие в руках цитру Учителя, его сиденье, корзинки с провизией. Время от времени Учитель останавливался и погружался в созерцание пейзажа, а потом изрекал какую-нибудь загадочную фразу, которую потом еще многие годы пытались уразуметь его спутники:

«Знающие радуются водам. Человечные радуются горам. Знающие деятельны, человечные покойны. Знающие наслаждаются жизнью, человечные живут долго».

Похоже, даже говоря о человечном совершенстве, Конфуций не мог отказаться от идеи иерархии. По его словам, как ни завидна участь «знающих», все же выше их стоят «человечные», которые не просто «знают свое знание», но еще и воистину претворяют его. И если знание побуждает нас действовать, то «человечность» – это воплощенное, бытийственное знание – дарит нам бесконечно действенный покой. Покой бытийствующего и подвижность познающего, гора и река – две стороны идеального человека; их единение делает нас целыми и самодостаточными.

Что ж такое Конфуциева мудрость? Прозрение всевременности светлого потока жизни:

Стоя на берегу реки, Учитель сказал: «Жизнь течет, как эти воды, всякий день и всякую ночь…»

Конфуций изрекает истину как будто очевидную, житейски-обыденную. Но он говорит еще и о вечнопреемственности духа в метаморфозах бытия.

– Почему благородный муж созерцает водный поток всякий раз, когда встречает его на своем пути? – спрашивает учителя Цзы-Гун.

– Потому что вода вечно пребывает в движении и без усилия растекается по земле, – отвечает Конфуций. – Вода всегда течет по пути, указанному природой: в этом она являет образец справедливости. Водный поток не имеет предела и никогда не иссякает: в этом он подобен Великому Пути. Вода стремглав направляется в глубокие ущелья: в этом она являет образец отваги. Вода равномерно заполняет пустоты: в этом она уподобляется закону. Омывая все сущее, она очищает мир от скверны. Вот почему благородный муж любит созерцать водный поток!

Созерцать громады гор и раскинувшуюся до самого горизонта водную гладь – значит вверять себя бескрайнему простору Неба и Земли, предаваться вольным странствиям духа. И вольный дух, отразившись в бесконечности мироздания, высвечивает неизбывное в человеческой жизни. С некоторых пор постаревший и «возрадовавшийся судьбе» Учитель стал время от времени предлагать ученикам новое занятие, которое получило в традиции название «отпускать на волю свои думы». Теперь, собравшись вокруг Учителя, ученики делятся друг с другом своими заветными мечтами: что бы они сделали, если бы… если бы могли делать то, что хотят. Вроде бы праздный разговор о том, чего нет и даже, пожалуй, быть не может, а все-таки есть немалая польза и в фантазиях, если они помогают людям лучше понять самих себя и поверить в свои силы. Более того, не обойтись без воображения там, где говорится все намеком, и мысль должна идти «за словами». Вот так ученики мечтают вслух, а учитель, давая каждому вдоволь наговориться, молча слушает их разговоры и чуть заметно улыбается каким-то затаенным своим мыслям.

– Я бы хотел управлять царством в тысячу боевых колесниц! – говорит Цзы-Лу. – Всего за три года я накормил бы народ и воспитал в людях мужество.

– А я, – подхватывает Жань Цю, – взялся бы управлять уделом с десятком городов и за три года плотно заселил бы свои

владения землепашцами. Ритуалы же и музыку я оставил бы на попечение более достойных мужей.

– Я не взялся бы утверждать, что у меня есть способности, но учиться я люблю, – вступает в разговор ученик по имени Гунси Хуа. – На торжественных жертвоприношениях в храме предков или на приеме иностранных гостей я хотел бы помогать распорядителю церемоний и носить халат из тонкого шелка и шапку с яшмовыми нитями.

– Ну а ты, Цзэн Си? – обращается Учитель Кун к последнему участнику этой беседы. – Чего бы ты хотел?

Цзэн Си, все это время негромко перебиравший струны своей цитры, доиграл мелодию до конца, потом поднялся и сказал:

– Моя мечта не такая, как у остальных… В конце весны, когда уже сотканы весенние одежды, я хотел бы с пятью-шестью юношами искупаться в реке, освежиться на ветру у алтаря Дождя и с песней возвратиться домой!

Лицо Учителя озаряет улыбка. «Я был бы рядом с тобой!» – неожиданно восклицает он.

Странно видеть, как учитель, всю жизнь приучавший своих учеников быть немногословными и ценить в словах как раз то, что остается невысказанным, поощряет все эти «пустые мечтания» и длинные монологи. Но крайности сходятся. Обрывки фраз, афоризмы-недомолвки Учителя Куна естественно дополняются словесными фантазиями: первые устанавливают границу нашего понимания, вторые заставляют верить, что нам доступно даже недоступное. Естественное соседство двух столь несходных видов речи не оставляет места для рассуждения или повествования в собственном смысле слова. Речь как диалог учителя и ученика в Конфуциевой школе – а другой речи там и быть не могло – принципиально прерывна, неоднородна в стилистическом и жанровом отношениях. И такая речь – правдивый образ творческой стихии жизни.

Невозможно представить Конфуция вне его бесед с учениками, и на этом основании его часто сравнивают с другим знаменитым мудрецом Древнего мира – Сократом, который тоже прославился своей любовью к философским беседам. Но нельзя не видеть и глубоких различий между двумя великими учителями древности. Беседы Сократа кажутся скорее замаскированными монологами; они преследуют цель найти общие определения понятий, одну-единственную формулу истины. Сократ нуждается в придуманном, условном собеседнике как заданной посылке размышления, некой точке опоры, от которой отталкиваются, чтобы идти дальше. В беседах же Конфуция истина не рождается – она оберегается учителем. Эти беседы в самом деле являют

собой диалог, соседство двух точек зрения, двух уровней понимания, и раскрывается в них не универсальная истина, а уникальная, неповторимая правда творческого поновления жизни. Это правда «страстного молчания» мудреца, который живет одной жизнью с миром и произносит слово лишь для того, чтобы оно отзвучало, оставив память о чудесной встрече безмолвия Небес и немолчного гомона Земли. Слово как плывущий звон колокола…

Воистину велик был Учитель Кун на закате своей жизни – в ту пору, когда ему открылось мудрое единение свободы и долга, слова и молчания. За непритязательной «праздностью» старого Учителя, скромным его бытом угадывается жизнь глубоко цельная, органичная и искренняя в каждом своем проявлении; жизнь, которая повинуется непроизвольной музыке сердца, преломляется в бесконечный ряд памятных образов и вселяет ликующую радость прозрения собственной бесконечности в череде смертей и рождений. Но эта радость дается в великом самоограничении, в аскезе подвижнического труда; она невыразима и даже не нуждается в выражении. Учитель хранит ее в себе, не умея и не желая поведать о бездне Небесного промысла. Он может засвидетельствовать перед учениками свое молчание, но он не может рассказать им о «велении Неба». Напрасно ученики ждали от него последних, самых важных наставлений – их ожидания не оправдались. Конфуций перестал быть проповедником своих идеалов. Он стал их живым образцом.

Учитель сказал: «О благородстве сосен и кипарисов узнаешь лишь после того, как придут холода…»

В свои семьдесят лет Конфуций словно пережил сам себя, шагнул в жизнь новую, неизведанную… вечную? А новое отношение к жизни толкало и к новым оценкам былого. Все чаще оглядываясь на пройденный путь, Учитель Кун с удовлетворением отмечал теперь, что вся его подлинная, сердцем прожитая жизнь словно соткана из одной нити, проникнута одним дыханием, наполнена одним чувством. Только нить эта невидимая и чувство глубоко затаенное. Со стороны их и не различить. В эту пору он рассказывает ученикам уже известную нам историю своей внутренней жизни, где названы основные вехи его духовного пути – вехи неприметные и, скорее всего, непонятные для посторонних. И все же главная тема его лаконичной исповеди – это постоянство духовного подвижничества, бездонная глубина «самосознающего сознания», о которой не расскажешь словами. О ней можно разве что оповестить мир.

– Как ты думаешь, – спросил однажды Конфуций Цзы-Туна, – из

тех ли я людей, которые любят учиться и удерживают в памяти все, что узнали?

– Конечно, разве не так? – не раздумывая, отозвался Цзы-Гун.

– А вот и нет, – неожиданно заявил учитель. – В моей жизни все нанизывается на одну нить.

Об «одной нити», пронизывающей его жизнь, Конфуций говорил и другому своему доверенному ученику – Цзэн-цзы. Когда учитель ушел, Цзэн-цзы объявил товарищам по школе: «Путь нашего учителя – это не что иное, как честность перед самим собой и способность самому быть мерой для других». Примечательно, что Конфуций не разъясняет сам, что такое «одна нить» в его жизни, а предоставляет сделать это ученику. Он лишь свидетельствует о неизъяснимой правде, «выразительно безмолвствует». Говоря его собственными понятиями, он из «человечных» мужей, которые воплощают в себе Путь и потому «живут долго». Разделение между безмолвствующим Учителем и учеником-толкователем, между человеком действующим и человеком знающим – непреложный закон его школы, которым, кстати сказать, оправдывается столь важное для традиционной мысли сосуществование канона и комментария к нему.

Можно спорить о том, правильно ли истолковал Цзэн-цзы слова учителя. Но мы знаем уже, что упоминаемый им принцип «взаимности» – эта основа основ Конфуциевой этики «человечности» – и в самом деле образует тот узор стильного быта, ту поверхность человеческих отношений, которые таят в себе нерукотворную, небесную глубину жизненного опыта. В свете конфуцианской традиции человеческая культура обретает некую прозрачность: она одновременно и скрывает, и обнажает правду просветленного духа. И, наконец, этот образ гирлянды, ожерелья прозрачных жемчужин, бесчисленных бусинок, нанизанных на «вечно вьющуюся» нить – центральный во всей китайской традиции. Образ творческой стихии жизни, «каждодневного обновления» духа, ведомого безначальной и бесконечной Волей. Образ всевременности, переживаемой в каждом моменте человеческого самоосознания…

Конфуций высказал и еще одну очень искреннюю и вдохновенную оценку собственной жизни. Это случилось, когда он не на шутку захворал и Цзы-Лу предложил ему обратиться с молитвой к духам. И тут обнаружилось, что этот великий знаток обрядов не очень хорошо разбирался в народных молебствиях.

– А принято ли так делать? – засомневался учитель.

– Конечно, – ответил Цзы-Лу. – А молиться нужно так: «Молю всех духов, что обитают вверху и внизу…»

– Моя молитва творится уже давно, – прервал его Учитель

Кун.

Вся жизнь, сошедшаяся в неизбывном усилии «волящей воли», и есть возвышающая нас молитва: таким видится смысл этого поразительного признания. Что стоит за ним? Благородный пафос дистанции… Бездна ненарушаемого одиночества… Невозможность дать «последнее наставление» и, как следствие, ненужность завета. Освобождение от всех тревог и иллюзий. И уже звучит в сердце неведомый голос: откажись от знаний – и все будешь знать, не пытайся угадать свой путь – и великая сила безошибочно поведет тебя вперед.

Конфуций-ученый

Всю жизнь Конфуций учился и любовь к учению считал главным своим достоянием. Нетрудно видеть почему: только образованный человек способен «расслышать» все тонкости музыкальной полноты жизни, хранимой традицией, и только такой человек способен пресуществить свою личную жизнь в неувядающую жизнь культуры. Конфуций ценил в человеке культурное начало во всех его проявлениях: и как ученость, и как хорошее воспитание, и как высокие нравственные качества. Культура была для него не только плодом человеческого творчества и, следовательно, вершиной человечности, но и единственно возможным, единственно подлинным отпечатком возвышенной воли «благородного мужа», воплощением Великого Пути мироздания. Культурная традиция, этот нестареющий музей человеческих свершений, и была для Учителя Куна истинной формой человеческого бессмертия. Такого, надо сказать, не знали другие цивилизации мира.

И вот в последние годы жизни, удалившись от дел и даже преподавания, Учитель Кун погрузился в напряженные ученые изыскания. Рассказывают, что, вернувшись после долгих странствий на родину, он сказал: «Благородный муж стыдится умереть, ничего не свершив в своей жизни. Мне не дано обладать властью и претворить в мире Путь. Как же оправдаться мне перед потомками?» И тогда старый учитель взялся запечатлеть на письме «путь древних царей», дабы не был он утерян для грядущих поколений.

Как всегда, предание упрощает действительный смысл событий. Ученые занятия Конфуция не были, конечно, следствием неудовлетворенного честолюбия, а проистекали из глубокой духовной потребности любителя извечно «древнего». Да и откуда Учитель Кун мог знать, что создание ученых трудов обессмертит его имя? Ведь история не сохранила имен ученых и архивистов, живших прежде него. Но в одном традиция, безусловно, права: труд книжника (как и преподавателя) всегда имел в Китае значение аналога, или, лучше сказать, замены – хотя и не совсем полноценной – политики, ведь и то, и другое было выражением ритуала как действия символического, эффективного, без усилий. С легкой руки Учителя Куна занятия не только словесностью, но и классическими видами искусства – каллиграфией, живописью, музыкой – стали в Срединной стране почетным и надежным способом снискать славу «возвышенного мужа» и вписать свое имя в скрижали истории.

Конфуций обращался к прошлому потому, что только исторический опыт народа позволял ему выявить в жизни людей типическое и, следовательно, непреходящее. Но это означает, что он не просто собирал знания о древности, но также «излагал» и «передавал» истину, иными словами, осуществлял основные процедуры научного исследования: классифицировал, сравнивал, обобщал, толковал. Это был, наверное, первый в истории критически мыслящий ученый, который не только разыскивал сведения о древности, но и старался судить об их достоверности. Конечно, в его суждениях было немало наивного и придуманного, ведь он свято «верил в древность», а потому искал в ней оправдания собственным идеалам. Мог ли он предположить, что герои древних легенд, которые служили для него неувядаемыми образцами мудрости и добродетели, были когда-то божествами гор или рек и не совершали никаких высоконравственных подвигов? В образцах столь любезной сердцу Учителя Куна «древности», по сути дела, отражались его собственные взгляды на жизнь и на прошлое своей страны. В конце концов, у каждой эпохи и цивилизации свои предрассудки и заблуждения. Но вот в желании не провозгласить, а установить истину, строить свое знание на «твердой почве» фактов Конфуцию действительно не откажешь. Отвечая на вопрос ученика: «Можно ли знать о том, что будет через десять поколений?» – он говорит:

«Дом Инь основывался на обычаях дома Ся, а что он в них выпустил и что к ним прибавил – про то знать можно. Дом Чжоу основывался на обрядах Инь, а что он выпустил в них и что к ним прибавил – про то знать можно. Стало быть, и о том, что последует за Чжоу, даже через сотню поколений, тоже можно знать».

Какое необычное для далекого времени трезвое и осмысленное отношение к истории, какая твердая вера в возможности человеческого познания – не менее редкая, чем в наши дни! Но чем больше дорожит Конфуций свидетельствами глубокой старины, тем острее ощущает он ограниченность собственных знаний, тем глубже и ненасытнее в нем жажда узнавания. Конфуций – прирожденный ученый еще и в том, что постоянно ощущает себя стоящим на передовой линии знания, лицом к лицу с бездной незнаемого.

«Я могу говорить об обрядах Ся, – заявлял Конфуций ученикам, – но в царстве Ци не хватает необходимых свидетельств (тут надо заметить, что правители Ци вели свое происхождение от царей Ся). Я могу говорить об обрядах дома Инь, но в царстве Сун (где правили потомки иньских царей) тоже нет всех нужных свидетельств. А все потому, что недостаточно

записей и знающих людей. Поэтому я не всегда могу досконально обосновать свою точку зрения…»

Обратим внимание, что Учитель Кун ищет знание о прошлом в текстах, в письменной традиции, которая всегда выходит за рамки живой памяти людей, принадлежит миру, так сказать, запамятованного. Вместе со знаками, таящими нетленный смысл, он ценит древние предметы – этих вестников того же запамятованного мира, где человеческое сознание обретает непроницаемость вещи, кристаллизуется в неизменных устоях народного быта. Как это непохоже на представления об истории историков античной Европы, которые считали безусловно заслуживающими доверия лишь рассказы о событиях, еще хранимых в памяти живых людей. Историки Древней Греции как бы психологизируют историю, возводят ее к субъективному восприятию людей. Для Конфуция история – реальность сверхличная, постигаемая преображенным, просветленным сознанием; она принадлежит области заповедного смысла.

Естественно, Конфуция интересовали первым делом ритуалы предшествующих династий, и, как видно, долгие годы странствий не прошли для него даром: он смог ознакомиться с церемониями, принятыми при дворах разных царств. Его эрудиция архивиста и его вера в человеческую культуру позволили ему прийти к поразительно смелому для тех времен выводу: человеческое общество последовательно развивается и совершенствуется! «Культура Чжоу наиболее богата, потому что она наследовала двум предыдущим династиям, – объявил как-то Конфуций ученикам и добавил: – Я следую Чжоу!» Так что, как видим, «любовь к древности» отнюдь не сделала Учителя Куна ретроградом и тем более фантазером, любящим только свою придуманную архаику. Обращаясь к прошлому в поисках примера для себя, Конфуций здравомысленно принимал то, что предлагала ему сама жизнь, и в поверхности народного быта искал глубинный, «древний» смысл вещей. У него были, правда, и другие суждения о человеческой истории. Однажды он сказал Янь Юаню, что для того, чтобы достичь порядка в государстве, нужно принять календарь династии Ся, ездить в колесницах династии Инь, носить ритуальную шапку Чжоу, слушать музыку в стиле Шао, изобретенную мудрым царем Шунем, и запретить соблазнительную музыку в новом вкусе. Этот рассказ кажется немного надуманным и, вероятно, не слишком заслуживает доверия. Но само стремление свести действительность к символическим образам и всяческим «показательным примерам», несомненно, глубоко проникло в конфуцианскую мысль. Не менее примечательно и то, что Конфуций составляет некий

собирательный образ идеального ритуала, выбирая лучшие достижения всех династий.

Где ритуалы, там и музыка: всю свою жизнь Конфуций внимательно изучал музыкальное наследие прошлого. А положение дел с музыкальным искусством даже при дворе Лу в его времена, по-видимому, оставляло желать лучшего. С гордостью говорил Учитель о том, что после возвращения на родину он привел в порядок придворную музыку Лу, восстановив уже забытые мелодии торжественных гимнов. Конечно, он не уставал напоминать своим ученикам о том, что музыка – дело государственной важности, ибо в ней воплощается вселенская гармония. Поэтому музыка должна быть не просто красивой, но первым делом «правильной» и «хорошей». С негодованием отвергал он «порочные напевы царства Чжэн», возбуждающие низменные чувства. Для него «правильная» музыка была вестником «срединного пути» – музыкальностью самой жизни, обладающей своей мерой и ритмом, некой внутренней завершенностью. Известен его отзыв о дворцовой музыке родного царства, который гласит: «О музыке вот что можно знать: вначале звучит она как бы слитно, потом достигает могучего и чистого согласия и медленно замирает в конце…» Отзыв, лишенный, возможно, блеска, но принадлежащий, без сомнения, знатоку.

Музыкальные изыскания Конфуция неотделимы от работы над сводом церемониальных гимнов и народных песен, который был, как мы уже знаем, главным источником лирического вдохновения, а равно и политического остроумия тогдашних ученых мужей. Этому канону Учитель Кун всегда придавал особое значение, и тех, кто не знал его наизусть, чуть ли не в глаза называл неучами и тупицами. Он отредактировал тексты песен, подобрал к ним мелодии и часто показывал ученикам, как их следует петь. Конечно, занимался он и толкованием их смысла, выискивая в них, как нетрудно догадаться, подтверждения своим мыслям. К примеру, он говорил о самом первом гимне этого канона, что в нем есть «радость без распущенности и печаль, не повергающая в отчаяние», и эта оценка выглядит как иллюстрация Конфуциева идеала «срединного пути» – мудрой уравновешенности переживаний. В славословиях торжественных гимнов и в лирике безыскусных народных песен Учитель Кун неизменно подмечал какой-нибудь назидательный или политический подтекст. Верный своей привычке превращать образы в символы всеобщего и вечного, он искал в песнях одно главенствующее настроение, одно всеобъятное чувство. Он говорил о том, что смысл всей «Книги Песен» выразился в одной-единственной песенной строке, которая гласит: «Не отклоняйся

от правильного пути». Столь отвлеченные оценки могут показаться слишком произвольными, а иногда просто банальными, но именно они заложили основы комментаторской традиции конфуцианства, задали тон всему мироощущению позднейших поколений ученых людей Китая. С них началась жизнь символического тела традиции, сотканного из иносказаний и цитат, словесных клише и идиом – всей той игры смысла, которым оправдывалось существование конфуцианской словесности и всей конфуцианской культуры. И если не столько Конфуций оправдывал символизм культуры, сколько, напротив, законы символического языка культуры создали первого учителя Китая, то в своих толкованиях «Книги Песен» Конфуций был даже в большей степени образцом для подражания, чем в своей нравственной проповеди. Ибо моральные ценности могут быть неверно поняты, искажены и даже забыты, текст же служит неиссякаемым источником порождения смысла. И этот предположительный, дословесный прототекст, эта смысловая матрица языка вновь и вновь воспроизводит культуру.

Еще известно, что Конфуций изучал знаменитую «Книгу Перемен» – загадочную гадательную книгу и авторитетнейший китайский канон. Ядро «Книги Перемен» составляют шестьдесят четыре графические фигуры, так называемые гексаграммы, представляющие собой сочетания шести черт двух видов: сплошной и прерывистой. Первая символизирует мужское, светлое, деятельное начало мироздания, вторая – начало женское, темное, пассивное. Считалось, что всеми возможными комбинациями этих черт, каковых как раз и насчитывалось в общей сложности шестьдесят четыре, исчерпывается и все разнообразие ситуаций в мире. И гексаграммы в целом, и все их многочисленные элементы являли собой все те же символические типы вещей, знаки творческих метаморфоз, из которых складывалось все здание китайской традиции. Гадания по «Книге Перемен» должны были дать ответ на вопрос, как нужно поступать в той или иной обстановке, а ведь именно это более всего занимало Учителя Куна, считавшего истинной мудростью только «следование обстоятельствам». Гадали древние китайцы обычно по палочкам, выделанным из стебля тысячелистника, вырывая непроизвольным движением руки часть палочек из общей связки, а потом путем сложных расчетов составляя соответствующую гексаграмму. Не молитва, не откровение, а именно гадание стоит в центре китайской традиции. Ибо идею личностного бога или даже противостояния мира богов и мира людей китайцам заменяла идея преемственности Человека и Неба, цивилизации и хаоса. В китайской картине мира

человеческий язык понятий как бы растворяется в «небесном узоре» образов-типов, соскальзывает в прото-язык Хаоса, а тот, в свою очередь, теряется (но и находит завершение) во всеобъятной Пустоте. Но и сама пустота, не имея «ничего своего», непрерывно «самоопустошаясь», возвращается в мир во всем изобилии природной жизни, в полноте естественных свойств каждой вещи. В этом вечном круговороте бытия мудростью является знание пути метаморфоз, и мудрость эта может быть выражена только символически.

Предание гласит, что Конфуций много лет пытался разгадать загадку этого древнейшего и глубочайшего канона Срединной страны. По рассказу Сыма Цяня, он так часто заглядывал в него, что кожаные ремешки, стягивавшие бамбуковые планки, «трижды перетирались». Но даже великому Конфуцию оказалось не под силу разобраться в таинственной игре мировых метаморфоз. Он сказал однажды: «Дайте мне еще несколько лет спокойной жизни, чтобы я смог изучить „Книгу Перемен“, и я избавлюсь от всех ошибок». Неизвестно, удалось ли ему осуществить свою мечту.

Но, пожалуй, главным результатом своих ученых изысканий Конфуций считал составление хроники своего родного царства. Она называлась по-китайски «Чуньцю», что значит «Весны и осени». Разумеется, традиция наделяла это произведение нравоучительным смыслом: уже в древности было принято считать, что Учитель Кун так ясно разделил в нем правду и кривду, что, читая его, «мятежные советники и порочные сыновья непременно трепетали от страха». И все же остается лишь догадываться, в чем именно заключается назидательность «Чуньцю»: перед нами очень сухая, бесстрастная и лапидарная хроника событий без каких-либо комментариев. Мы можем лишь предположить, что Учитель Кун создал свою летопись для того, чтобы напомнить о привилегиях законных государей и одернуть узурпаторов из могущественных аристократических семейств. Но сделано это в лучших традициях конфуцианского ритуализма – посредством тонкого, почти неуловимого намека.

Как видим, не было в ту эпоху такой области знаний, где Конфуций не являлся бы признанным авторитетом и не оставил после себя классические памятники учености. Уже одно это обстоятельство делало его бессмертным в книжной традиции Китая.

Смерть единорога

В скромных книжных трудах, в вольных беседах с учениками и в тихих раздумьях завершалась жизнь Конфуция. Мерно сочилось время сквозь песок дней. Две весны и две осени минуло с тех пор, как он решил удалиться от двора и целиком посвятить остаток жизни ученикам и ученым изысканиям. Он оставлял будущему не царства и законы, а людей и книги. Но будут ли потомки помнить о нем? Поймут ли его? Этот вопрос он каждодневно задавал себе, упорно искал на него ответ, но не находил… Все чаще он оглядывался на свою жизнь, и мысли – то светлые, то печальные – теснились в его голове…

С тех пор как в его сердце зазвучала какая-то восторженная нездешняя музыка и помыслы его «обратились к учению», вся его жизнь была подчинена одному властному порыву, одному чувству. Эта жизнь пролетела как один день, прошла в трудах и в смиренном покое, как торжественный обряд. И теперь, когда Учитель Кун был уже совсем непохож на смешного увальня Кун Цю, когда он познал и сладость побед, и горечь неудач и пережил много такого, чего и представить не мог в те уже далекие годы, он так и не умел объяснить себе сам, какие же перемены случились с ним, чем отличался он от того молодого и наивного «сына человека из Цзоу»? Его вера, его мечты, его воля – все это было по-прежнему с ним. Прошла жизнь, как один вздох, и дала ему покой, но его цель была по-прежнему впереди – все такая же близкая и такая же недостижимая. И Небо все так же твердо хранило молчание. Но он был уверен в себе. Почему? Он и сам не мог бы сказать… Какое-то неисповедимое чувство, невероятное усилие воли примиряло его с собственной, такой неласковой к нему судьбой. Ощущение какой-то неведомой тайной нити, связывающей его с прошлым и с куда более ранними временами великих подвижников древности, не покидало его и становилось с годами все сильнее, все отчетливее.

Он не мог выбросить из своей жизни ни одного дня. Он знал, что должен принимать ее всю целиком. Потому что его жизнь и была правдой. Правдой, которой он не мог поделиться даже с самыми близкими людьми. Правдой, постигаемой в «сокровенном безмолвии», подобном покою великого Шуня.

А между тем окружающие имели все основания считать его неудачником. Его карьере государственного мужа не суждено было состояться. В соседних царствах не утихала братоубийственная рознь – тягчайшее преступление перед великими предками! А на его родине властвовали узурпаторы.

Школа? Но его ученики, если не считать Янь Юаня, все еще так далеки от совершенства! Книги? Но кто может поручиться, что люди поймут их?.. Хватало и недоброжелателей при дворе. Больше всех усердствовал советник Шу Ушу, который, кажется, прилюдно называл Учителя Куна выскочкой и бездарностью. Цзы-Гуну приходилось употреблять все свое красноречие, отбивая выпады этого нахала. А Учителя не покидали мрачные предчувствия:

Учитель сказал: «Не показывается феникс, не выходит из реки священная черепаха. Ничто не предвещает явление мудрого государя. Увы мне! Не будет мне достойного дела в этом мире!»

Дорогой ценой безнадежного одиночества Конфуцию приходилось платить за свое положение великого Учителя. Насмешки света были ему наградой за его правду. И Небо, поведавшее ему свою сокровеннейшую тайну, заставило его расплатиться за нее сполна. Напоследок оно послало ему еще более тяжкие испытания.

Сначала умер его сын Боюй. Умер прежде отца, не дожив и до пятидесяти, нарушив своей смертью первую заповедь любящего сына: служить родителям до самой их кончины, а потом приносить им жертвы. Служебных постов Боюй никогда не занимал, и отец похоронил сына, как подобает быть погребенным скромному ученому: в тонкостенном гробу, без погребальной колесницы.

Не успел он прийти в себя после смерти Боюя, как на него обрушилось новое несчастье: умер Янь Юань – наследник его дела, некогда обещавший не умирать прежде Учителя. Горе старого учителя было безмерным. Забыв об этикете и о собственном достоинстве, он безудержно рыдал, вновь и вновь повторяя: «Небо хочет погубить меня!» О, даже он, умевший быть невозмутимым и перед лицом смерти, в эти черные дни не смог сдержаться и возроптал на само Небо.

– Учитель, вы убиваетесь о Янь Юане сверх всякой меры, – осмелились напомнить ему ученики.

– Разве? – ответил Учитель Кун. – Но если мне не оплакивать Янь Юаня, то кого же мне оплакивать?

Он был только человеком – этот мужественный и свободный в своих чувствах старик.

А потом Конфуцию пришлось объясняться с отцом покойного, его давним учеником Янь Лу. Этот бедный, обиженный судьбою человек, который, конечно же, души не чаял в сыне и связывал с ним большие надежды, никак не мог взять в толк, почему Учитель Кун, любивший Янь Юаня больше родного сына и притом никогда не жалевший денег на похороны близких, порой хоронивший за

свой счет даже незнакомых людей, не захотел устроить для своего признанного преемника пышные похороны, которые соответствовали бы истинным достижениям усопшего. Безуспешно пытался Конфуций объяснить убитому горем отцу, что он не только Янь Юаня, но и всех учеников считает своими детьми и что даже собственного сына похоронил в обычном тонкостенном гробу без погребальной колесницы. Несчастный отец ничего не хотел слышать.

– Но уважаемый Учитель мог бы продать свою колесницу, чтобы купить двойной гроб, – стоял на своем Янь Лу.

Услышав это бестактное предложение, Конфуций поморщился. «Я – ученый человек и советник, – отрезал он. – В моем положении мне нельзя без экипажа».

Тогда за дело взялись ученики и на собственные средства устроили своему товарищу роскошные похороны, о которых мечтал его отец. Конфуций не скрывал своего недовольства: «Янь Юань считал меня своим отцом, а я не смог отнестись к нему, как к собственному сыну, – воскликнул он. – Я не виноват, мне помешали!»

Засим споры были окончены, и ученики проводили останки Янь Юаня до их последнего пристанища, а потом носили по усопшему траур, как по родному брату.

От всех этих переживаний Учитель Кун занедужил и слег. Услыхав про его болезнь, Цзи Канцзы прислал ему какое-то снадобье, изготовленное его личным лекарем, но Конфуций отверг подарок. «Не зная, что это за лекарство, я не буду его принимать…» – пробормотал он. Ему становилось все хуже. По городу поползли слухи, что Учитель Кун при смерти. И вот однажды утром в гости к больному пришел сам Ай-гун в сопровождении своих знатнейших сановников. Конфуций не имел сил встать, но пренебречь этикетом, конечно, не мог и велел положить на него сверху парадную одежду, а в руку вложить скипетр советника. Теперь государь мог без особого труда вообразить, что престарелый Учитель стоит перед ним в полном ритуальном облачении.

Желая подбодрить больного, Ай-гун завел с ним разговор на темы, как он знал, приятные ему, – о церемониях и музыке, древних книгах и реликвиях. Он даже спросил, кто из учеников уважаемого учителя более всего преуспел в учении – глядишь, приблизят его ко двору, дадут хорошую должность… Но все эти расспросы не вызвали в Учителе Куне воодушевления.

«Прежде у меня был ученик по имени Янь Юань – вот он любил учиться, – сухо ответствовал Конфуций. – А теперь он умер, и у меня больше никого нет…»

На том и закончилась беседа знаменитого учителя с государем. А потом в доме Конфуция собрались старшие его ученики, пришедшие со словами признательности и утешения. Многие из них уже высоко продвинулись по служебной лестнице и предстали перед наставником в парадных одеяниях, держа в руках свои чиновничьи таблички-скипетры: посланники и секретари, распорядители и писцы, начальники управ и командиры гарнизонов. Ни дать ни взять – аудиенция в царском дворце! Конфуций и тут не выказал никакой радости, напротив, был не на шутку рассержен. «Кого хотите вы обмануть? – вскричал он слабым голосом. – Неужто вы думаете, что сможете обмануть Небо?» Лишний раз напоминают нам эти слова о том, что Конфуций вовсе не считал учение только подспорьем в службе, что он видел в своей школе интимный и доверительный круг хранителей сокровенной правды традиции, а не место, где учатся будущие министры. Но его не оставляли мрачные предчувствия. Однажды он признался: «Мое дело, кажется, безнадежно. Уже давно я не вижу во сне Чжоу-гуна…»

Он оправился от болезни, снова засел за книги. Одинокий, как никогда ранее. Теперь вслед за Цзы-Гуном и другими его покинул Цзы-Лу – старейший, преданнейший ученик, уже давно и не ученик даже, а близкий и верный друг. Слава о талантах и необыкновенной честности Цзы-Лу давно уже облетела всю Срединную страну, и даже иноземные послы, приезжавшие в Цюйфу, больше верили слову Цзы-Лу, чем клятвам вождей «трех семейств». И вот старый знакомый Конфуция, вэйский вельможа Кун Юй, предложил Цзы-Лу стать советником юного правителя царства Вэй. Цзы-Лу принял предложение, наскоро собрался… Конфуций вышел проводить своего воспитанника за городские ворота и долго смотрел вслед удаляющейся колеснице. «Какой честный человек! – неожиданно воскликнул он. – Боюсь, не суждено ему умереть своей смертью». Старый учитель как в воду глядел. Очень скоро Цзы-Лу погиб в сражении, решив до конца защищать своего господина. Вражеский меч вонзился в него, когда он поправлял помятую в бою шапку. Такой был человек Цзы-Лу: он не мог встретить врага небрежно одетым.

А в царстве Лу весной того же года на большой царской охоте загонщики убили невиданного зверя. Добычу взвалили на повозку и привезли в столицу, чтобы показать придворным ученым. Никто не мог опознать это животное. Тогда позвали Конфуция, и тот сразу же определил: охотники убили единорога – вестника державной власти. Последний раз это волшебное животное появлялось, по слухам, ровно семьдесят лет назад, в год рождения самого Конфуция. И вот теперь его привезли в столицу

мертвым. Недоброе предзнаменование!

Рассказом о гибели единорога заканчивается Конфуциева летопись «Весны и осени». Символический смысл подобной концовки не нуждается в пояснениях. Еще рассказывают, что, завершив свои ученые труды, семидесятилетний Конфуций призвал к себе Цзы-Гуна и сказал ему: *«Все кончено! Никто в целом мире так и не понял меня…»*

– Учитель, почему вы говорите, что никто не понял вас? – удивился Цзы-Гун.

– Я не виню Небо, я не виню людей! – продолжил, словно не слыша этого вопроса, Конфуций. *– Я лишь весь отдаюсь учению и пестую в себе возвышенные устремления. Наверное, только Небо знает, кто я такой!*

В последний раз Учитель Кун сказал о главной тайне своей жизни – о ненарушаемом, но внушающем столь же нерушимое доверие безмолвии Небес.

О чем говорил, прощаясь с миром, старый Учитель? О себе? Что ж, и о себе тоже. Что было, то было: не признали, не оценили… Но все-таки в своем последнем слове, по сути, в своем завещании людям этот великий в своей скромности мудрец говорил не просто о своих обидах, но о глубочайшей и вечной тайне всечеловеческого Великого Пути. Ибо правду не дано знать даже самому сообразительному, самому ясному уму, но невозможно усомниться в том, что она есть. И чем меньше знают о ней, тем крепче можно ей доверять. Человек, чтобы оставаться – но и стать! – человеком, не может без таинства. И все же ему, в сущности, нечего скрывать. Жизнь сама обернется культурой – этим ярким фейерверком огней, освещающих сокровенное присутствие родового, неумирающего Человека. В этой бездонной неопределенности внутренней жизни, требующей от нас великой твердости духа, человек осуществляет свое настоящее – не придуманное, даже непонятное – призвание. Истинный мудрец проходит через этот мир неузнанным…

Теперь земной путь Учителя подошел к концу: он сказал все. Одинокий, лишившийся любимых учеников и друзей былых лет, доживал он свои дни в том самом доме, где вырос, уже почти никого не принимая, часто отказываясь беседовать даже с близкими людьми. Вот и с Цзы-Гуном, изредка навещавшим учителя, он не хотел говорить ни о велении Небес, ни о природе человека, ни о тайнах мироздания. Он вычерпал свою истину до дна – и она расплескалась по миру пестрой мозаикой жизни. Имеющий глаза да увидит!

Так прошел еще год. И однажды к Цзы-Гуну явился посыльный, передавший просьбу учителя навестить его.

Служебные дела не позволили Цзы-Гуну отправиться тотчас, и он подъехал к знакомому дому, когда солнце уже клонилось к закату. Учитель Кун неспешно прогуливался во дворе, опираясь на посох. «Почему ты пришел так поздно?» – по-стариковски ворчливо встретил он лучшего своего ученика и, не дожидаясь ответа, вдруг затянул надтреснутым голосом странный куплет:

Колеблется-дрожит священная гора,
Вот-вот обрушатся стропила.
Пришла пора учителю уйти…

Учитель и ученик молча зашагали по дорожке к дверям дома. «Во времена дома Ся, – внезапно прервал молчание Конфуций, – гробы усопших предков ставили у восточного входа в родовой храм. При правителях Чжоу гробы ставят у западного входа. А при доме Инь гробы ставили между колоннами, как раз посередине. На днях мне приснилось, что я сижу между двух колонн и вкушаю жертвенные яства. Видно, род мой и вправду идет от дома Инь!»

Цзы-Гун лишь почтительно склонился в ответ, не зная, что и сказать. Печальный смысл рассказа учителя был слишком уж очевиден. Больше Учитель не сказал ничего, и Цзы-Гун с тяжелым чувством покинул его дом.

С того дня Конфуций опять занедужил, слег в постель и уже не поднимался. Дни напролет тихо лежал он в своей комнате, почти не отвечая на вопросы, все чаще впадая в забытье. В болезненном сне ему виделись залитая светом равнина и полноводная река, искрящаяся солнечными бликами. Легкий ветерок навевает запах свежей травы… Откуда-то доносится простой напев древней песни, которую он маленьким мальчиком слышал в полях вокруг родного города, и эта мелодия наполняет сердце неизъяснимым блаженством… Он подходит к реке, прозрачные струи плещутся под его ногами, он скользит по реке все дальше, все быстрее, быстрее… И уже неудержимо летит в ослепительную белую пустоту необъятного неба. А древняя песнь звучит все громче, все торжественнее…

На похороны Конфуция съехался весь столичный свет. Собравшихся почтил присутствием сам Ай-гун, произнесший прочувствованную речь, в которой заявил, что с уходом почтенного старца он «остался сиротою». Ответное слово взял Цзы-Гун, не упустивший случай применить завещанный учителем принцип «исправления имен». Когда при жизни человека не используют на службе, а после смерти воздают ему чрезвычайные

почести, сказал Цзы-Гун, явно намекая на предшествующего оратора, это и называется «нарушением ритуала».

Похоронили учителя там, где он сам незадолго до смерти выбрал место для своей могилы: на берегу небольшой речки, под сенью благородных кипарисов. Кто знает, быть может, в ту минуту, думая о своей судьбе, он вспомнил слова, которые произнес, глядя на эту самую реку:

«Жизнь течет, как эти воды, каждый день и каждую ночь…»

Ведь только тот, кто видит жизнь вечным потоком, понимает, как сходится незапамятное прошлое и неведомое будущее, вечное и вечно новое. И только такому человеку внезапно наступившее молчание Учителя обнажит тайну немолкнущей музыки жизни.

Эпилог
Учитель Кун: тысячи новых жизней

Поистине велик Учитель Кун! Он не совершал подвигов, не облагодетельствовал мир гениальными открытиями, а стал самым почитаемым человеком в Китае. Необычный, невероятный удел Конфуция: устраниться из этого бурлящего мира, чтобы вернуться к людям в неумирающих качествах жизни, в неисчерпаемой силе ее мирного покоя. Сжаться до семени, до первоначального зерна истории, чтобы прорасти древом народной судьбы и преломиться в бесчисленных зеркалах всех частных жизней. Бессмертие Конфуция заключается не в «великих идеях» и даже не в тех или иных чертах общественного уклада китайцев. Хотя Конфуций посвятил себя поиску вечно живого в жизни и мечтал говорить с людьми словами, достойными того, чтобы их «повторяли и впредь», он и сам не знал, какими должны быть эти слова. У него не было готовых формул истины, он учил лишь «следовать обстоятельствам времени». Его правда – это все непреходящее, доподлинно переживаемое, судьбийное в потоке «жизни осознанной и сознательно прожитой».

Конфуций не отделял свое учение от собственной личности и даже обстоятельств своей жизни, прожитой, как непреложная судьба, день за днем и год за годом. Потому и умер он с чувством какой-то смутной тревоги. Ибо как повториться единственному и неповторимому? Как открыться тому, что лишь внутри хранится и переживается? «Никто не узнал меня» – вот его предсмертные слова…

Но спасение приходит там, где опасность. Нет ничего постояннее непостоянства, и неповторимое – и только оно! – не может не повторяться. А внутреннее, будучи недоступным обладанию, не может не ускользать во внешнее. Прозрачное, сияющее, всему и вся разверстое Небо – вот величайшая тайна мироздания…

Мы знаем теперь: правда Конфуция, его глубочайшая интуиция, альфа и омега его мудрости – это творческое поновление жизни, чистое Событие, высвеченное светом кристально ясного сознания и потому переживаемое как безусловно подлинное. Конфуция интересует лишь то, что навеки запечатлевается в памяти, «западает в сердце». Сознательное же событие есть не что иное, как со-бытие, событийность всего живого, момент самопревозмогания, даже самопотери. Такое событие – реальность символическая, и оно является не идеей и

сущностью, а телом, которое не имеет внешнего образа, а просто бытийствует. Как нам уже известно, телесность занимает центральное место в Конфуциевом учении сразу по нескольким причинам. Во-первых, тело обладает внутренней глубиной, и ему свойственно скрывать себя. Во-вторых, тело есть среда нашей сообщительности, событийности с миром. В-третьих, тело, будучи прообразом символической реальности, является подлинным вместилищем смысла и воплощением бесконечной осмысленности жизни. Традиция и стала этим необозримо пустотным телом событийности вещей, средой всякого существования. Имя «Конфуций» стало наименованием этого вселенского тела.

Конфуций потому и прослыл Учителем десяти тысяч поколений, что первым стал учить соприсутствию мудрого с каждым человеком в каждый момент его самоосознания. Жизнь Учителя Куна – это бесконечная череда моментов существования, отмеченных печатью «подлинности», а потому одновременно необычайных, исключительных и извечно возобновляемых. Образ Учителя – это только деяние, а точнее сказать, «праздное существование», непреходящее Недеяние, которое предвосхищает все действия и потому обладает неисчерпаемой эффективностью. Но в силу той же логики символического бытия, устанавливающей совпадение сокровенного и очевидного, изначального и завершающего, тело Учителя пребывает в его собственной тени. Недаром именно словом «тень» обозначалась в Китае живая, личностная преемственность поколений: потомки живут в «тени» своих предков, ибо и сама тень есть образ неразрушимого кристалла бытия. Учитель есть таков, каков он в людской памяти. Он есть, другими словами, свое собственное предание, миф своей жизни и в речах своих доносит до нас безмолвие вечного покоя. Вопрос в том, чего мы ищем в его заветах: безмолвия в речах или речь в молчании?

На первых порах предание о Конфуции, а в известном смысле, как мы видели, сама жизнь Учителя Куна, целиком сводилось к живой памяти его учеников. Личное обаяние учителя все еще заслоняло от них его «учение» как некую отвлеченную доктрину. Цзы-Ю, Цзы-Ся и некоторые другие ученики даже захотели объявить своего товарища по школе Ю Жо преемником Конфуция за то, что он «обликом и манерами напоминал Учителя». Правда, Цзэн-цзы воспротивился этой затее, и она не была осуществлена. Но можно не сомневаться в том, что близкие ученики Конфуция еще не отделяли своего наставника от его личности и стремились передать не просто его слова и тем более «идеи», но и весь его, так сказать, духовный образ, всю ту

«пластику духа», которая так отчетливо выявлялась в поведении и манерах Конфуция. Одним словом, они все еще жили «в тени Учителя», и притом не только в переносном смысле. Некоторые из них сочли своим долгом обосноваться рядом с могилой Учителя и там обучать своих учеников. На том месте вскоре выросла целая слобода. А по мере разрастания школы усиливалось ее общественное и политическое влияние. Немало учеников Конфуция уже находились на постах при дворах разных царств. Предание гласит, что после смерти Учителя Куна семьдесят лучших его учеников «рассеялись по свету и сблизились с правителями многих уделов. Самые выдающиеся среди них стали наставниками или советниками государей. Менее способные стали друзьями или учителями служилых людей, были и такие, которые стали жить в уединении и более не показывались в свете».

Пожалуй, наибольшие заслуги в распространении заветов Учителя принадлежат Цзэн-цзы, который был сыном одного из старших учеников Конфуция, – так сказать, потомственным учеником. Традиция приписывает ему составление нескольких важнейших глав конфуцианского канона «Записки о ритуале» и еще одного популярного в древности трактата – «Книги сыновней почтительности». Кроме того, Цзэн-цзы, имевший собственную школу, занимался обучением внука Конфуция Цзы-Сы – автора конфуцианского канона «Середина и Постоянство», в котором дается первое связное изложение основ конфуцианского учения. Из школы Цзэн-цзы вышел и самый знаменитый из последователей Конфуция в древности – философ Мэн Кэ, он же Мэн-цзы.

Немалый вклад в популяризацию Конфуциева учения внес и Цзы-Ся, который еще при жизни учителя стал правителем одного из луских городов, а впоследствии переехал в Цзинь и тоже завел собственную школу, где учились несколько царских наставников, ряд знаменитых ученых и даже правитель царства Вэй. Цзы-Ся прославился как знаток «Книги Песен» и летописей. Собственную школу в своем родном уделе Чэнь на южной окраине тогдашнего Китая завел и Цзы-Ю – человек темпераментный и амбициозный, ни в чем не желавший уступать землякам учителя, которые порой добродушно подтрунивали над диковатым южанином. К примеру, однажды Цзы-Ся дал ученикам Цзы-Ю такой совет относительно дружбы: «Принимайте того, кто приемлем, и отвергайте того, кто неприемлем». Узнав про эти слова, Цзы-Ю тотчас поправил мнение товарища по школе: «Если я добр, мне следовало бы принимать любого. Если я плох, я был бы неприемлем для других. Как могу я в таком случае отвергать кого-либо?»

Разумеется, наставления Учителя передавали потомкам и многие другие его ученики. Есть сведения, что последние разделились на восемь школ, и, как показывает только что приведенный пример заочного спора между Цзы-Ся и Цзы-Ю, отношения между ними не были свободны от соперничества, облеченного, впрочем, в форму ученых споров или даже дружеской шутки. Тем не менее предание гласит, что каждая из школ «считала истинной только себя».

С угасанием живой памяти об Учителе возникла и потребность сберечь ее для потомков. Так появились «Беседы и суждения». Создание этой книги ознаменовало поворотный пункт в исторической судьбе Конфуциева наследия. Теперь память об Учителе была закреплена письменно, преобразилась в литературный памятник (ставший в этом отношении аналогом вещественных реликвий Конфуциева дома – одежды Учителя, его жертвенных сосудов, колесницы и проч.). Отныне задача последователей и поклонников Конфуция заключалась не в том, чтобы сберечь для будущего опыт непосредственного общения с Учителем, сколько в том, чтобы разгадать тайну его скупых и ускользающих слов, домыслить недосказанное им. Началась эпоха конфуцианского мифотворчества, эпоха проповедников и апологетов, мыслителей и комментаторов. Множились всевозможные притчи и анекдоты об Учителе Куне, нашедшие себе место в самых разных произведениях философской и политической мысли древнего Китая. Среди конфуцианцев многие ограничивались разучиванием освященных традицией ритуалов и канонических книг, признавая в Конфуциевом наследии лишь его бытовую и обрядовую стороны. Находились конфуцианские ученые, которые приписывали Учителю Куну те или иные общие суждения о сущности человека и мира – например, идею о том, что человек по своей природе добр или, наоборот, зол (чего сам Конфуций, конечно, не говорил и говорить не мог, поскольку вообще не интересовался отвлеченными понятиями). Сторонники управления государством посредством законов и суровых наказаний прославляли аккуратность и строгость Конфуция как в частной жизни, так и особенно в служебных делах, его готовность, якобы проявленную им в свою бытность судьей, казнить смутьянов ради спокойствия и порядка в государстве. А последователи основоположника даосизма Лао-цзы изображали Учителя Куна мудрецом, целиком поглощенным правдой внутренней жизни и равнодушным к условностям этикета и общественной морали. Немало было и таких, кто видел в Учителе Куне великого мага, знатока тайных законов природы.

Почему же учение человека, который, по отзыву своих современников, «хотел невозможного» и не сумел воплотить свои мечты в жизнь, приобрело в древнем Китае такую огромную популярность и столь неоспоримый авторитет? Ответ прост: Конфуций сумел обозначить основные посылки китайской традиции и наметить контуры всеобъемлющего учения, связывавшего в одно целое обычай, мораль, политику, религию и прочие стороны общественной жизни древних китайцев. Конфуций воистину определил стиль всей китайской цивилизации. Помимо прочего, он положил начало традиционной системе образования, которая имела целью подготовку не только знающих и умелых, но и высоконравственных служилых людей.

Выполняя роль некоего фокуса китайской традиции, конфуцианство в то же время было слишком своеобразным и многоликим, чтобы безраздельно господствовать в древнекитайском обществе. Первый китайский император Цинь Шихуан, объединивший всю Срединную страну в конце III века до н. э., даже повелел сжечь все конфуцианские книги и начал гонения на конфуцианцев, усмотрев в их учении угрозу его неограниченной власти. Но держава Цинь Шихуана очень скоро рухнула, на смену ей пришла новая династия Хань, и с тех пор правители Китая, наученные опытом неудачливого деспота, не пытались оспаривать превосходство культуры над голым насилием. А конфуцианство было не только восстановлено в правах, но и превратилось, по существу, в государственную идеологию китайской империи, каковой и оставалось вплоть до XX века. С конца II века до н. э. оно обладало и монополией на образование: в столице империи и в провинциальных городах были учреждены школы для будущих чиновников, где изучались конфуцианские каноны. Знания и грамотность учащихся проверяли на специальных экзаменах, и тем, кто успешно выдерживал их, присваивали ученое звание. Вот так государство заставило служить своим интересам завет Конфуция посвятить свою жизнь учению. В результате догматизм и начетничество почти целиком вытеснили из казенных учебных заведений творческий дух Конфуциевой школы. Конечно, это официозное конфуцианство имело мало общего с теми идеалами нравственного подвижничества, которые завещал будущим поколениям сам Конфуций. Пожалуй, оно было даже прямой противоположностью им. Мы встречаем в нем как бы «миф об Учителе», плоды домысливания слов Учителя Куна. Конфуций, по отзыву его учеников, «не любил говорить о Небесном велении, человеческой природе и всяких чудесах». Спустя пять веков его высокопоставленные поклонники как раз охотнее всего говорили

о чудесных обстоятельствах рождения Учителя и о его необыкновенных, божественных способностях. Если Конфуций утверждал, что «Небо породило в нем правду» и что он может «создать на востоке новое царство Чжоу», то слова эти теперь понимались буквально: оказывается, Учитель Кун и был истинным властелином, Сыном Неба в Поднебесной, который по каким-то высшим соображениям не принял царские регалии или, как говорили в те времена, остался «неукрашенным царем» *(су ван)*. Именно он, скромный ученый из царства Лу, был подлинным преемником мудрых царей древности, явившимся в мир для того, чтобы передать «праведный Путь» новым законным правителям Поднебесной. В подтверждение приводились и нехитрые арифметические подсчеты: распространилось мнение, например, что истинный царь приходит в мир лишь раз в пятьсот лет – ведь именно такой срок отделял Конфуция, с одной стороны, от великих основателей династии Чжоу и с другой – от императоров ханьского дома, присягнувших на верность Учителю Куну. Канонические книги, приписываемые Конфуцию, теперь прочитывались как собрание зашифрованных пророчеств о судьбах грядущих династий. А сам Учитель Кун стал персонажем вполне самостоятельных мифологических сюжетов, олицетворением неких всеобщих, космических сил. Не случайно изображения Конфуция ханьской эпохи имеют вид схематической фигуры, которая сводится к условности знака, к церемониальной позе, лишенной индивидуальности. Не забыли и о пышных титулах для «неукрашенного царя». Сразу после смерти Конфуция правитель Лу Ай-гун присвоил ему почетное имя Ни-фу, что значит «Отец Ни». Позднее царственные поклонники Учителя Куна жаловали ему все более громкие титулы: «Прежний учитель», «Прежний мудрец», «Учитель десяти тысяч поколений», «Сиятельный мудрец» и нечто совсем уж замысловатое: «Сокровенный мудрец», «Просвещенностью блистательный царь»… Обильные жертвы Учителю Куну по самому высокому чину приносились официально от чиновников Срединной империи, и не было в стране крупного города, где не возвышался бы, блистая красным лаком колонн и зеленью черепичной крыши, храм, посвященный Конфуцию.

Конечно, наследие Конфуция в старом Китае не могло служить интересам одного лишь государства. Для образованных верхов китайской империи оно вмещало в себя целую жизненную философию со своим сводом правил этикета и моральных ценностей, идеалами духовного усовершенствования и человеческого достоинства. Эта философия терпимости и надежды, здравого смысла и нравственного мужества, философия

«срединного Пути», неколебимой гармонии человеческого бытия стала подлинным средоточием жизненного уклада и миросозерцания китайского народа. Она сделала возможным поразительное стилистическое единство китайской цивилизации при необыкновенной сложности и разнообразии ее форм. Именно конфуцианский ритуализм наиболее полно и убедительно оправдывал символический язык культуры и выражаемый этим языком опыт «подлинности» жизни, который давал хранителям китайской традиции силы и право противостоять административной власти. Именно конфуцианство породило самобытнейшее явление китайской истории – традицию мудрецов, которые умеют «управлять посредством добродетели» с помощью одного лишь «исправления себя», ставящего их даже выше земной власти. Это противостояние высоконравственного ученого и государственной администрации стало лейтмотивом всей истории Китая. И не сам ли Конфуций, проповедуя внутреннюю неприступность и самодостаточность благородного мужа, подал пример возвышенного отвержения «суетного света»? Не он ли советовал «скрываться от мира, если в мире нет праведного Пути»? Разумеется, находились люди, которые внимали этому совету. Летописцы древнего Китая из века в век упоминают об ученых мужах, которые жили в уединении или пускались в странствия, подражая Учителю, и даже присваивали своим ученикам имена его учеников. В обществе этих независимых ученых, посвящавших свою жизнь «пестованию возвышенной воли», не только не угасала, но со временем все более крепла память о символической природе речей Учителя, о его премудром безмолвии. Считалось даже, что Учитель Кун был мудрее всех прочих философов как раз потому, что не рассуждал о возвышенных предметах и находил все нужное для своего совершенствования «рядом с собой». По мнению многих ученых мужей, слова Учителя следовало понимать как бы наоборот, ибо Учитель «говорил о близком и явном, а сам воплощал собой отдаленное и сокровенное». Иными словами, Конфуций был велик не тем, что успел сказать за свою жизнь, а как раз тем, что не говорил. Такой взгляд на Конфуция позволял по-своему оправдать все личное и частное в судьбе Учителя, ведь он побуждал искать бесконечный смысл каждого его слова и каждого жеста, а точнее было бы сказать – за словом, за жестом. Неудивительно, что в скором времени появились и неизвестные прежде индивидуальные портреты Конфуция, где достоверно выписанная внешность Учителя была призвана выразить его духовное состояние. Классический образец такого портрета принадлежит кисти выдающегося живописца VIII века У Даоцзы. В

последующие столетия портреты Конфуция в подобном «реалистическом» ключе были созданы еще несколькими знаменитыми художниками Китая. Они стали достойными памятниками нового культурного синтеза, достигнутого в эпоху Средневековья; синтеза, предполагавшего прежде всего равновесие скрытого и явленного, слова и молчания.

В эпоху династии Сун, правившей с X по XIII век, наследие Конфуция вступило в новый этап своего развития. Давно уже отмерла мифология «небесных знамений», в которой Конфуцию отводилась роль пророка и царя. Изжито было и наивное, почти бессознательное стремление усвоить «тень Учителя» через обряды и телесную интуицию. Идея и практика Конфуциева наследия сошлись воедино в художественно законченном образе Учителя. Словно следуя заветам Учителя, первозданный хаос природы вернулся к человеку хаосом эстетических моментов существования. Резко обострилось внимание к внутреннему умозрению, к неустанному подвигу воли. Но жизнь, озаренная светом «сознающего сознания», вернулась к своей исходной безыскусности, и эта «последняя простота» жизни уже воспринималась как нечто искусственное – как иллюзия, сон, ширма. Теперь образ Учителя осмыслялся как *маска* действительности, которая тем утонченнее, чем она натуралистичнее. Не случайно именно в это время храм и усадьба Конфуция в Цюйфу заполняются иллюзорно правдоподобными приметами старины, включая каменное изваяние Учителя в натуральную величину. Отныне и уже навсегда мудростью в Китае было объявлено умение скрывать свою мудрость, жить повседневностью, жить «как все». Соответственно, и образ Конфуция в позднесредневековом Китае неумолимо терял свой прежний божественный ореол. В конце концов в XVI веке Учитель Кун особым указом императора был даже лишен царского титула и исключен из числа божеств (правда, поклонение ему сохранилось в среде простого народа). Понятно, что в это время мы наблюдаем постепенное разложение классического, гармонически законченного образа Учителя Куна. Этот образ теряет свою торжественность, становится более приземленным и интимным.

На картинах художников позднего Средневековья Конфуций обычно изображается музицирующим, беседующим с учениками, прогуливающимся, одним словом, «живущим в праздности», и образ его нередко несет в себе черты гротеска, который напоминает о вечном несовпадении «глубоких дум» мудреца и текучки будней, в которую он погружен. У нового образа Учителя Куна есть и еще одно, полностью новаторское измерение:

Конфуций на гравюрах расхожих книг, герой популярных анекдотов. Этот Конфуций позднесредневековой эпохи вновь, как и в древние времена, оказывается сведенным к знаку, но на сей раз – знаку не эпически возвышенных, а обыденных, каждому знакомых житейских ситуаций. Его поступки заставляют не столько благоговеть, сколько умиляться. Они не столько наставляют, сколько развлекают.

Так Конфуций снова вошел в жизнь, из которой когда-то вышел в начале своего посмертного существования в китайской культуре. Но вошел уже как внешний образ, предмет снисходительного созерцания, почти карикатура. Не случайно с XVI века в Китае поднялась волна критического изучения конфуцианских канонов, и вот тогда выявилось позднее происхождение многих текстов, дотоле вызывавших у китайских читателей лишь священный трепет. В конце концов Конфуций превратился в мертвую оболочку собственной мудрости, в символ цивилизации, замкнувшейся в своем горделивом самолюбовании. Он стал стеной на пути к познанию тайны творческой стихии жизни. Спустя две тысячи лет после своей смерти Конфуций умер и как историческая сила. И эта смерть ознаменовала историческую смерть всей китайской цивилизации.

* * *

По странному стечению обстоятельств в то самое время, когда в Китае дух Конфуция медленно угасал под игом имперского догматизма и ударами филологической критики, наследие первого китайского учителя обрело новую жизнь в далекой Европе. Как раз на рубеже XVI–XVII веков в Китае появились первые европейцы. Наряду с завоевателями, купцами и всевозможными авантюристами среди них было немало христианских миссионеров, главным образом из ордена иезуитов, которые первыми из европейцев занялись изучением этой огромной и многолюдной страны. У иезуитов была своя цель: обратить в христианство как можно больше людей из высших слоев китайского общества. А это означало, что прежде всего им необходимо было завоевать симпатии последователей конфуцианского учения. Посланники Ватикана и на этот раз проявили недюжинную изворотливость: всеми правдами и неправдами они принялись доказывать сходство учений Христа и Конфуция и даже сами переоделись в платье конфуцианских ученых. В наставлениях Учителя Куна им то и дело слышались отголоски евангельских заповедей, в его словах о «Небесном

велении» они усматривали указание на «Божественный Промысел» и даже конфуцианский культ предков не казался им угрозой христианскому благочестию: они сочли его лишь выражением признательности детей своим родителям. «Если бы Конфуций жил в наше время, – без обиняков заявлял один из ученых миссионеров, – он первым принял бы христианство».

Миссионеры-иезуиты опубликовали немало книг о Китае, и нарисованный в этих книгах привлекательный образ далекой восточной империи был благосклонно встречен европейской публикой. Впрочем, успех Конфуцию в Европе принесли совсем не те качества, которыми восхищались сами иезуиты. Ведь в Европе наступил «век Просвещения», время решительной борьбы с наследием Средневековья – привилегиями знати и догматизмом церкви. «Разум правит миром» – таков был девиз новой эпохи. Многие из властителей дум тогдашней Европы, познакомившись с учением Конфуция по книгам и переводам, изданным миссионерами, неожиданно увидели в нем живой образец «просвещенной мысли», которой сами поклонялись; мысли, опиравшейся не на догматы или слепую веру, а единственно на доводы разума, оправдывавшей «естественные права» человека, настаивавшей на единении религии и науки и даже ненужности религии вообще. Знаменитый философ Лейбниц находил в конфуцианстве заманчивый пример «естественной теологии». Другой великий поклонник Китая того времени, Вольтер, утверждал, что в книгах Конфуция он «не нашел ничего, кроме самой чистой морали без малейшей примеси шарлатанства». Европейцы, считал Вольтер, «должны стать учениками Конфуция». Деятелям Просвещения нравилось стремление Конфуция опереться на повседневный жизненный опыт – оно было созвучно их собственной идее о нерасторжимой связи чувств и мышления человека. А лаконичные, безыскусные сентенции великого китайского учителя вполне соответствовали требованию эпохи мыслить просто и ясно, не увлекаясь риторическими красотами слога. В глазах многих современников Лейбница и Вольтера «Срединная империя» на Востоке была не только страной «самой чистой морали», но и подлинным царством разума, ведь на службу там благодаря экзаменам отбирали самых образованных и добродетельных! Самые горячие головы делали Конфуция своим союзником в борьбе за полное уничтожение «религиозных предрассудков». Например, французский вольнодумец Фрере утверждал, что Конфуций передал своим близким ученикам тайное учение о божественности всей природы. Некоторые же соотечественники Фрере прямо называли Конфуция атеистом.

Разумеется, неумеренное преклонение перед экзотическим восточным мудрецом вызывало и определенное противодействие. Откроем, к примеру, книгу «Разговоры мертвых», опубликованную в 1700 году известным французским литератором Фенелоном. Мы можем прочитать в ней воображаемый диалог между первым учителем Китая и первым философом европейской древности – Сократом. У Фенелона Сократ говорит о себе:

«– Я никогда не помышлял о том, чтобы сделать из людей философов. Я предоставил невежд и злодеев их заблуждениям, ограничившись наставлениями небольшому числу учеников, возвышенных духом.

– А что касается меня, – признается Конфуций, – я пренебрег утонченными размышлениями, ограничившись общепонятными правилами, дабы воспитывать в людях добродетель. И я разослал по свету своих учеников в надежде распространить основы нравственности во всех пределах нашей империи…»

В изображении Фенелона Конфуций предстает невзыскательным проповедником житейской мудрости, думающим не столько об истине, сколько о благонравии людей. Оценка, прямо скажем, не имеющая отношения к действительному Конфуцию, но зато неожиданно много сообщающая об умонастроении эпохи самого Фенелона. В ней угадывается одна из глубочайших посылок европейской традиции: человек в его нынешнем, «падшем» состоянии не может сбросить гнет собственного эгоизма, и поэтому его добродетельные поступки и даже обычная вежливость – не более чем личина, маскирующая его истинный лик. Но противопоставление истины и благочестия, конечно, совершенно чуждо конфуцианской традиции, которая наставляла: «Не обманывай в темноте – это пригодится тебе, когда ты будешь на виду».

Мода на Конфуция в Европе прошла после Великой французской революции, и в XIX столетии китайским Учителем там интересовались разве что профессиональные востоковеды. В самом деле: чем мог увлечь этот автор простодушных сентенций корифеев тогдашней европейской учености – самовлюбленных теоретиков «исторического прогресса», создателей изощренных систем диалектики? Но приятно отметить, что интерес и уважение к Учителю Куну не пропали в России. В 1796 году увидел свет первый русский перевод избранных изречений китайского мудреца. И как не вспомнить упоминание о Конфуции в черновых набросках к первой главе пушкинского «Евгения Онегина», где великий поэт с присущим ему блеском позволяет нам взглянуть на Учителя Куна в несколько неожиданном, но

отнюдь не обманчивом ракурсе:

…мудрец Китая
Нас учит юность уважать,
От заблуждений охраняя,
Не торопится осуждать.
Она одна дает надежды…

С особым вниманием отнесся к первому мудрецу Китая Лев Толстой, много лет изучавший конфуцианское учение и назвавший его создателя человеком «необычайной нравственной высоты». А в 1910 году, в год смерти писателя, появилось составленное им изложение основных заповедей конфуцианства. Толстого больше всего привлекала в Конфуции проповедь «внутреннего равновесия» в человеке и непрестанного нравственного совершенствования, столь созвучная его собственной жизненной философии. Высоко ценил Толстой и гуманистическое содержание Конфуциева учения, неприязненное отношение китайского мудреца к войнам и вообще насилию, его внимание к практической морали, совет искать великое в малом. По свидетельству Буланже, издавшего в сотрудничестве с Толстым книгу «Жизнь и учение Конфуция», великий русский писатель прозорливо учил «не поддаваться первому впечатлению „скучности“ учения китайцев, а терпеливо ознакомиться с ним и проникнуться его духом». Мудрый совет, который и в наш спешащий век будет полезен каждому, кто хочет прикоснуться к духовным сокровищам Востока.

* * *

Драматична и полна противоречий судьба наследия Конфуция на Дальнем Востоке в Новое время – время революционной ломки старинного уклада. Еще в эпоху Средневековья конфуцианское учение пустило глубокие корни в соседних с Китаем странах – Корее, Японии, Вьетнаме. Оно же, к слову сказать, немало способствовало складыванию в этих странах новой национальной культуры. Еще и сегодня в японской столице Токио по соседству с бетонными коробками современных зданий прячется в зелени тополей храм Конфуция, построенный чуть больше ста лет тому назад – в те годы, когда Япония вступила на путь капиталистического развития. И сегодняшние японцы горды тем, что сберегли в своей жизни Конфуциев идеал ритуала… А вот в самом Китае идеи Учителя Куна с трудом

находили себе место в новой жизни. В 1911 году последний в китайской истории император отрекся от престола и в стране была провозглашена республика. С гибелью старой государственности потеряло свою политическую опору и конфуцианство, всегда связывавшее свой общественный идеал с правлением «просвещенного государя». Правда, после 1911 года консервативные правители Китайской Республики некоторое время пытались превратить конфуцианство в национальную религию китайцев на манер христианства или ислама, но эти попытки заново обожествить Конфуция были явно надуманными и успеха не имели. И все-таки даже во времена правления Гоминьдана почитание Конфуция все еще официально поощрялось. Достаточно сказать, что в 1935 году всем государственным служащим было вменено в обязанность поклоняться Конфуцию как «величайшему и мудрейшему Первому Учителю».

Но по мере углубления революции Конфуций подвергался все более резкой критике со стороны передовой китайской интеллигенции. Борцы за новую, демократическую культуру Китая увидели в Конфуции и его идейном наследии главную причину отсталости родины, засилья в ней «деспотических и феодальных порядков». Конфуцианской традиции они с некоторых пор дали насмешливое прозвище «семейная лавочка Конфуция». И хотя многие критики Учителя Куна оговаривались, как выразился один из первых китайских марксистов Ли Дачжао, что они «нападают не на Конфуция, а на высохший труп двухтысячелетней давности», отделить одно от другого в тогдашней китайской действительности было не так-то просто. Конфуций оставался в глазах китайских революционеров поборником тирании, удушающей схоластики, угнетения женщин, бездушной церемонности, одним словом, виновником тысячелетиями процветавших в Китае бесчеловечных, или, если воспользоваться крылатым словом виднейшего революционного писателя Китая Лу Синя, «людоедских» порядков, которые поставили страну на грань гибели. «Семейная лавочка Конфуция» стала излюбленной мишенью китайских сатириков нового поколения, благо для осмеяния Учителя Куна большой фантазии не требовалось. Небольшое усилие воображения – и вот он, первый мудрец Китая: автор псевдоглубокомысленных сентенций, что-то вроде китайского Козьмы Пруткова, человек ограниченный и не приспособленный к жизни, случайный баловень истории, вознесенный до небес учениками, такими же глупцами, как он сам. Какая пикантная тема для китайцев, веками воспитывавшихся в атмосфере благоговейного почитания

«первого Учителя»! Впрочем, сатирический взгляд на Учителя Куна в немалой степени был подготовлен предшествующей эволюцией его образа в китайской культуре: превращением Конфуция в героя популярных анекдотов, в персонажа грубоватых простонародных гравюр. Новые сатирики пользовались старым материалом, совершив почти незаметную подмену ценностей: на место анекдота, еще оберегавшего внутреннее, символическое пространство смысла в традиционной словесности, пришла карикатура – образ, отсылающий к внешней действительности и по сути своей натуралистический. Это разрыв с прошлым, не отрицающий преемственности с ним. Может быть, поэтому нет-нет да и проскользнет в сатирических выпадах против традиции грусть по чему-то безвозвратно утерянному в образе незабвенного Учителя…

Однако грусть – чувство хрупкое и скоротечное. После образования Китайской Народной Республики в 1949 году имя Конфуция вновь было поставлено на службу политике. Учителя Куна объявляли то реакционером, виновным в вековой отсталости Китая, то мыслителем не менее прогрессивным для своего времени, чем Карл Маркс в современную эпоху. А потом, уже в начале 70-х годов, пронеслась бурной грозой кампания «критики Конфуция», когда имя Учителя Куна превратилось в символ контрреволюции. Но не являются ли все эти ожесточенные нападки на древнего мудреца и эта неутолимая потребность использовать его имя в политической борьбе наилучшим свидетельством того, что даже в революционном Китае тень Конфуция по-прежнему осеняла собой живых?

* * *

Может ли Конфуций быть нашим современником? Еще два-три десятилетия тому назад такой вопрос показался бы по меньшей мере странным. Кто мог тогда увидеть в этом картинно-церемонном мудреце из невообразимо далекой древности нечто большее, чем интеллектуальное ископаемое, экзотический курьез, в лучшем случае – глашатая прописных истин морали, столь же всеобщих и безупречных, сколь и малопригодных в реальной жизни? Кто, кроме горстки кабинетных ученых или любителей назидательного резонерства, мог всерьез интересоваться им? Да и нет у Учителя Куна достоинств, так привлекающих современных людей в иных мудрецах Востока: не обещает он своим последователям ни сверхъестественной силы, ни райского блаженства, ни «полного прозрения». Его правда скромна,

обыденна, не сказать скучна. И каждый ли может легко принять ту истину, что всякие возвышенные прозрения пройдут, но лишь повседневное, неприметно обычное в человеческой жизни конца не имеет? Это «откровение» Учителя Куна кое-кому покажется, наверное, пострашнее разверстого ада.

Тем не менее в наши дни Конфуций, так долго бывший объектом яростной критики, снисходительного любопытства или отстраненно-академического созерцания, снова возвращается в круг живых учителей человечества. Происходит это уже в силу чисто объективных причин. Оказалось, что наследие Конфуция вовсе не мешает, а во многих отношениях даже способствует научно-технической революции в нынешних восточных обществах, входящих в орбиту конфуцианской цивилизации. Достаточно вспомнить поразительные успехи, достигнутые в последние десятилетия Японией, Тайванем, Сингапуром, Южной Кореей. Да и в самом Китае конфуцианство ныне вновь объявлено основой духовной жизни китайского народа. Выяснилось, кроме того, что конфуцианство, уделяющее главное внимание проблеме человеческого общения и общественного согласия, способно резко повысить и творческий потенциал общества, и даже эффективность новейших технологических систем. И мы уже не удивляемся, когда встречаем в журнале статью о японском экономическом чуде, озаглавленную: «Капитализм по Конфуцию»… Мы не удивляемся и тому, что даже в Америке, с легкой руки почитателей Учителя Куна из числа университетских профессоров, вошел в обиход термин «бостонское конфуцианство»… В самом деле, мы только сейчас начинаем понимать, что эффективны не технические приспособления сами по себе, но воля и разум самого человека, или, как говорили в Китае, «техника сердца» (синь шу), обеспечивающая доверие, искренность и радушие между людьми. «Техника сердца», помноженная на технику ума и технику рук, – вот завтрашний день человечества, и наследию Конфуция уготовано в нем, несомненно, одно из видных мест. Выходит, древнее и в древность обращенное конфуцианство может быть учением электронного века? Это звучит парадоксально, но ведь крайности сходятся: полная технизация жизни наделяет человека новой ответственностью за судьбу Земли и, как никогда ранее, требует от него веры в силы и возможности человеческого духа.

Условия возвращения конфуцианства и современный мир заданы тем событием, которое в литературе часто называют «концом истории», или, если воспользоваться более резким выражением французского философа М. Фуко, «смертью человека». Речь идет о преодолении того типа цивилизации,

которая сложилась на Западе в Новое время: цивилизации, ставящей во главу угла собственно гуманитарные ценности, провозгласившей своим героем человека-борца, человека-исследователя – Прометея и Фауста, который добивается господства над миром, делая его предметом своего знания. Этот прометеевский и фаустовский человек сам творит свою историю, он целиком историчен и живет отрицанием прошлого, борьбой и самоутверждением. В XX столетии тоталитарные режимы и призрак ядерной войны обозначили пределы развития цивилизации Нового времени, за которыми свобода и величие взращенного ею человека-титана оборачиваются его порабощением и гибелью.

В противоположность историзму Нового времени конфуцианство с непревзойденной в мировой культуре последовательностью и полнотой выдвигает в качестве основы человеческого бытия традицию как вечнопреемственность сознательной жизни. Традиция – это не линейный путь развития, отсекающий человека от природы, а сама среда человеческой сообщительности. Жизнь в традиции знаменует не движение вперед, а уход в глубину, не строительство заново, а открытие все новых глубин смысла в уже известном. Человечество, обратившееся к традиции, восстановит символическое измерение человеческого бытия, создаст цивилизацию не образа или идеи, а живого опыта. Наследие Конфуция входит в современную жизнь не как ее продолжение или отражение, но как альтернатива, предъявляющая «всегда иной» образ человека – образ, возможно, недостижимый и все же неизбежный, ибо он является необходимым моментом человеческого самопознания.

Институты и ценности современного общества имеют рациональное – даже назойливо рациональное – обоснование, но общественная жизнь в целом может представать глубоко неразумной, подобно кошмарному миру антиутопий или романов Кафки – миру, созданному человеком и все-таки насквозь бесчеловечному. В традиционном обществе, всегда почитающем таинство ритуала, рациональное объяснение его отдельных институтов и ценностей может отсутствовать, но культура в ее конкретных проявлениях оправдывается практическими потребностями людей, а взятая как целое представляется бесконечно осмысленной. Собственно, призвание традиции и состоит в том, чтобы сберегать полноту смысла человеческого бытия. Нарождающаяся на наших глазах новая, планетарная цивилизация, не копируя исторические формы традиционных обществ, будет руководствоваться этим призванием традиционного миросозерцания.

Конфуцианство восстанавливает для нас исконную правду человека – простую и возвышенную правду человеческого соприсутствия в мире. В дебрях цивилизации, создавшей смутные призраки людей, лишенных внутренней глубины, людей-винтиков, людей-роботов, оно указывает путь к подлинной, осмысленной коммуникации, обретаемой за пределами абстрактного равенства «субъектов» и столь же абстрактного неравенства социальных «лиц». Оно возвещает о вечно влекущей к себе мысль и вечно ускользающей правде внутреннего человека – единственной, не дающей человеку утерять человеческое в себе. Учение Конфуция требует не крикливой веры в человека, а скорее целомудренно молчаливого доверия к нему. Оно не слагает гимнов «человеку с большой буквы», но оно глубоко и неподдельно человечно.

Привычно повторяя слова Достоевского о том, что человек – это «великая тайна», задумываемся ли мы над тем, что тайна человека потому и велика, что остается как бы невидной, целомудренно-скромной и прячется она в стороне от утешительных догм и громких деклараций – в безыскуснейшей и простейшей данности человеческого существования? Тайна Конфуция заключается, конечно, не в загадках «тайного знания». Она – в безусловной открытости сознания миру, открытости, в которой человек бесконечно превосходит себя. Человек станет человечным, говорил Конфуций, когда «совершит самое трудное в жизни». То, что проще всего, дается труднее всего. С этой бесхитростной мудростью Конфуция можно жить вечно.

Приложение

Из «бесед и суждений» [2]

Учитель сказал: «Учиться и всякое время прикладывать выученное к делу – разве это не удовольствие? Беседовать с другом, приехавшим издалека, – разве это не радостно? Не быть по достоинству оцененным светом, а обиду не таить – не таков ли благородный муж?»

Учитель сказал: «Того, кто при жизни отца в состоянии постичь его намерения, а по смерти – оценить его деяния и кто в течение трех лет не изменяет заведенных им порядков, можно назвать почтительным сыном».

Учитель сказал: «Беспокойся не о том, что люди тебя не знают, а о том, что ты не знаешь людей».

Учитель сказал: «Если управлять с помощью законов и обеспечивать порядок с помощью наказаний, народ будет стараться избегать их, но у него не будет чувства стыда; если же управлять посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи церемоний, у народа будет чувство стыда, и он будет исправляться».

Учитель сказал: «Кто повторяет старое и узнает новое, может наставлять других».

Учитель сказал: «Благородный муж заботится не о своих, но об общих интересах; низкий человек, напротив, заботится не об общих, но о собственных интересах».

Учитель сказал: «Учение без размышления бесполезно, а размышление без учения опасно».

Учитель сказал: «Благородный муж никогда не состязается, разве только в стрельбе; но и в этом случае он поднимается в зал, приветствуя своих соперников и уступая им, а спустившись, пьет чару за их здоровье. И тогда даже в состязаниях он остается благородным мужем».

Учитель сказал: «Люди почитают за лесть служение государю с соблюдением всех правил этикета».

Учитель сказал: «Человек, не обладающий человечностью, не

может долго выносить бедность и постоянно пребывать в радости. Человеколюбивый муж благодаря человечности обретает спокойствие, мудрец извлекает из нее пользу».

Учитель сказал: «Я не видел, чтобы у человека недостало сил быть человечным, если он приложил к тому старание. Может быть, такие люди есть, но я их не встречал».

Учитель сказал: «Если человек поутру познает истинный Путь, вечером он может умереть без сожаления».

Учитель сказал: «С ученым, который, стремясь к истине, стыдится бедного платья, дурной пищи и людской нищеты, не стоит говорить».

Учитель сказал: «Благоразумный муж знает долг, а низкий человек – выгоду».

Учитель сказал: «При виде достойного человека думай о том, чтобы сравняться с ним, при виде недостойного – обратись к собственным недостаткам».

Учитель сказал: «Те, кто ведет себя сдержанно, редко совершают ошибки».

Учитель сказал: «Благородный муж желает быть медленным в словах и скорым в делах».

Учитель сказал: «Добродетель не останется в одиночестве. Она обязательно соберет вокруг себя людей».

Учитель сказал: «Человек от рождения прям и если потом, искривившись, остается цел, то по счастливой случайности».

Учитель сказал: «Умный находит удовольствие в воде, человечный любит горы; умный подвижен, человечный покоен; умный весел, человечный долговечен».

Учитель сказал: «Далеко ли от нас человечность? Когда мы обращаемся к ней, она у нас под руками».

Учитель сказал: «Благородный муж безмятежен и свободен, низкий человек удручен и скорбен».

Конфуций сказал: «Мне не доводилось видеть, чтобы люди любили добро так же, как красоту».

Конфуций сказал: «Бывают колосья, которые не цветут, а бывают и такие, которые цветут, но не наливаются».

Конфуций сказал: «Большую армию можно оставить без главнокомандующего, но даже у обыкновенного человека нельзя отнять его воли».

Конфуций сказал: «Лишь с наступлением холодов мы узнаем, что сосна и кипарис опадают последними».

Учитель сказал: «Если сдерживать свою ученость церемониями, это также не позволит уклониться от истины».

Конфуций сказал: «Если правитель праведен, народ будет ему покорен без приказаний; если же правитель неправеден, что бы он ни приказал, его не послушают».

Учитель сказал: «Если кто-то исправит себя, разве трудно ему управлять людьми? Если же кто-то не в состоянии исправить себя самого, как будет он исправлять других?»

Учитель сказал: «Благородный муж миролюбив, но не льстив; низкий человек льстив, но не миролюбив».

Учитель сказал: «Благородному человеку легко служить, но трудно угодить; если угождать ему не по закону, он будет недоволен. Что касается употребления им людей на службе, то он дает им дело, смотря по их способностям. Низкому же человеку трудно служить, но легко угодить, потому что, если угождать ему и не по закону, он все равно будет доволен».

Учитель сказал: «Благородный муж отличается спокойным достоинством, но не тщеславен; подлый человек, напротив, тщеславен, но не обладает спокойным достоинством».

Учитель сказал: «Человек твердый, решительный, безыскусный и простой недалек от человечности».

Учитель сказал: «Посылать на войну людей необученных – значит их предавать».

Учитель сказал: «Ученый муж, думающий о спокойствии и удобствах, не заслуживает этого имени».

Учитель сказал: «Быть бедным и не роптать – трудно; быть богатым и не гордиться – легко».

Учитель сказал: «Благородный муж постепенно совершает восхождение; низкий человек постепенно опускается все ниже».

Учитель сказал: «В древности люди учились для себя, ныне учатся для других».

Учитель сказал: «Человека, не имеющего дальних замыслов, непременно ожидает близкая скорбь».

Учитель сказал: «Благородный муж, признавая справедливость всему основой, претворяет ее при помощи правил, проявляет ее в уступчивости и увенчивает искренностью. Таков благородный муж».

Учитель сказал: «Благородный муж ищет причины своих неудач в себе самом, низкий человек ищет их в других».

Учитель сказал: «Благородный муж важен, но не сварлив, общителен, но ни с кем не вступает в сговор».

Учитель сказал: «Льстивые речи сбивают с толку добродетель, а легкое нетерпение расстраивает великие замыслы».

Учитель сказал: «Человек может сделать истину великой, истина же не сделает великим человека».

Учитель сказал: «Ошибки, которых не исправляют, – вот настоящие ошибки».

Учитель сказал: «Благородный муж прям и тверд, но не упрям».

Учитель сказал: «Люди, идущие различными путями, не могут делать общее дело».

Учитель сказал: «По натуре люди близки друг другу, а по привычкам – далеки».

Учитель сказал: «Деревенский любимчик – вор добродетели».

Учитель сказал: «За хитрыми речами и притворным выражением лица редко скрывается человечность».

Учитель сказал: «В собственном доме трудно иметь дело с женщинами и со слугами. Если приблизить их – они станут развязными, если отдалить – возненавидят».

Учитель сказал: «Если кого ненавидят в сорок лет, тот ничего уже не сможет изменить».

Разные фрагменты

Когда Конфуций был в царстве Чу, некий рыбак предложил ему в дар рыбу. Конфуций отказался этот дар принять, и рыбак сказал: «День жаркий, а до рынка далеко, продать рыбу мне не удастся. Вот я и подумал, что лучше предложить рыбу вам, чем выбросить ее». Учитель дважды поклонился в знак благодарности и принял рыбу, после чего велел ученикам подмести землю, поскольку он намеревался принести рыбу в жертву духам.

Один ученик сказал: «Этот человек хотел выбросить свою рыбу, а вы намереваетесь принести ее в жертву. Как такое возможно?»

«Мне доводилось слышать, – ответил Конфуций, – что тот, кто, не желая сгубить еду, выражает свое почтение, предлагая ее другому, истинно человечен. Можно ли, получив дар от истинно человечного мужа, не принести его в жертву духам?»

Конфуций сказал: «Есть нечто, что я считаю постыдным, что считаю недостойным и чего опасаюсь: в юности не выказывать прилежания к учебе – вот что я считаю постыдным; покинуть отчий дом, успешно служить государю, а потом, встретив старого друга, отвернуться от него – вот что я считают недостойным; жить в окружении низких людей и быть неспособным завязать дружбу с благородным мужем – вот чего я опасаюсь!»

Конфуций сказал Цзы-Лу: «Если благородный муж взрастил в себе могучий дух, смерть ему не страшна. Если низкий человек взрастил в себе силу, ему не избежать казни».

Конфуций сказал: «Доскональное разбирательство претит справедливости. Пустые разговоры нарушают Путь. Олени считаются благородными животными потому, что, когда находят пищу, сзывают друг друга криком. И считать их просто зверьем совершенно непозволительно».

Конфуций сказал: «Хорошее лекарство горько на вкус, но помогает излечиться от болезни. Искренние речи неприятны на слух, но помогают выправлять характер. Если правитель не враждует с подданными, отец не враждует с детьми, старшие братья не враждуют с младшими, ничего дурного не случится. Поэтому говорится: „Правитель потеряет – подданный найдет. Отец потеряет – сын найдет. Старший брат потеряет – младший брат найдет“.

Конфуций сказал: «Ритуал, не имеющий формы, – это почтительность. Траур, не облаченный в траурные одежды, – это скорбь. Музыка, не явленная в звуках, – это радость. Когда мы не говорим, а нам верят, не двигаемся, а нас чтут, не раздаем богатств, а нас любят, – это действие нашей воли. Если яростно ударить в колокол, звук его будет воинственным, если ударить в колокол в печали, звук его будет скорбным. Звучание колокола подвластно нашей воле. Искренность способна растрогать металл и камень. Тем более она способна тронуть человеческие сердца!»

Основные даты жизни и деятельности Конфуция

551 г. – Рождение.

Ок. 535 г. – Смерть матери Конфуция. Неудачная попытка Конфуция принять участие в пире служилых людей семейства Цзи.

Ок. 533 г. – Женитьба Конфуция. Конфуций поступает на службу смотрителем амбаров.

532 г. – Рождение сына Боюя.

531 г. – Конфуций поступает на должность смотрителя пастбищ.

525 г. – Конфуций встречается с правителем удела Тань. Конфуций обучается музыке.

Ок. 523 г. – Конфуций впервые участвует в обряде жертвоприношения в царском храме предков. Начало учительской деятельности Конфуция.

Ок. 519 г. – Предполагаемая поездка в Лои.

517 г. – Отъезд в царство Ци, где Конфуций проводит около двух лет. Аудиенция у циского Цзин-гуна, знакомство с древней музыкой в стиле «шао».

514 г. – Возвращение в Лу.

505 г. – Переворот Ян Ху, беседа Ян Ху с Конфуцием.

502 г. – Мятеж Гуншань Фуцзяо, Конфуций готов примкнуть к мятежнику.

501–500 гг. – Служба на постах правителя Чжунду в должности главы ведомства общественных работ и верховного судьи.

500 г. – Успех Конфуция на переговорах с правителем Ци.

498 г. – Конфуций пытается срыть укрепления «трех семейств».

497 г. – Циский Цзин-гун присылает в дар правителю Лу танцовщиц и лошадей. Конфуций покидает Лу и направляется в царство Вэй.

493 г. – Неудачная попытка переехать в царство Цзинь.

492 г. – Переезд в царство Сун.

491 г. – Пребывание в царстве Чэнь.

489 г. – Пребывание в царстве Чу.

487 г. – Возвращение в царство Вэй.

484 г. – Возвращение в Лу.

481 г. – Завершение работы над хроникой «Чунь цю». Конфуций приводит в порядок церемониальную музыку Лу,

производит окончательную редакцию канонических книг.

479 г. – Кончина Конфуция.

Библиография

Алексеев В. М. Луньюй (образец перевода с китайского первых трех глав «Бесед и суждений» Конфуция). – В кн.: Алексеев В. М. Китайская литература. М., 1978.

Буланже П. А. Жизнь и учение Конфуция. Со статьей Л. Н. Толстого «Изложение китайского учения». М., 1903.

Головачева Л.И. Беседы и суждения Конфуция. // Рубеж. 1992., № 1.

Древнекитайская философия. М., 1972. Т. 1–2.

Карягин К. М. Конфуций, его жизнь и философская деятельность. СПб., 1897.

Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй». М., 1998.

Попов П. С. Изречения Конфуция, учеников его и других лиц. СПб., 1910.

Семененко И. И. Афоризмы Конфуция. М., 1987.

Куан Ямин. Кун-цзы пинчжуань (Критическая биография Конфуция). Цзинань, 1985 (на китайском языке).

Кун-цзы яньцзю (Исследования о Конфуции). Цюйфу, 1984 (на китайском языке).

Ли Цицянь. Кунмэнь дицзы яньцзю (Исследования об учениках школы Конфуция). Цзинань, 1987 (на китайском языке).

Ли Чанчжи. Кун-цзы ды гуши (Рассказы о Конфуции). Пекин, 1956.

Люй Тао. Дай цзяоюйцзя Кун-цзы (Великий педагог Конфуций). Шэнъян, 1987 (на китайском языке).

Цянь Сюнь. Луньюй цзяньцзе («Суждения и беседы» с разъяснениями). Пекин, 1988 (на китайском языке).

Сирокава Сидзука. Ко-си дэн (Жизнеописание Конфуция). Токио, 1972 (на японском языке).

Hall D., Ames R. Thinking through Coniucius. NY., 1987.

The Analects of Coniucius. Tr. by A. Waley. NY., 1938.

Greel H. Confucius. The Man and the Myth. L., 1953.

Dawson R. Confucius. Oxford, 1981.

Do-Dinh P. Confucius et l'humanisme chinois. P., 1958.

Etiemble R. Confucius (Maitre K'ung). P. 1966.

Fingarette H. Confucius: the secular as sacred. NY., 1972.

The Four Books. Confucian Classics. Tr. by J. Legge. Shanghai, 1948.

Kelen B. Confucius in life and legend. NY., 1971.

Wilhelm R. Kung-tse. Leben und Werk. Stuttgart, 1925.

The Wisdom of Confucius. Ed & tr. by Lin Yutang. NY., 1943.

notes

Примечания

1

Перевод А. Штукина.

2

Перевод П. С. Попова в редакции В. В. Малявина.